

ТОМАС
МАНН

✧
Смерть
в Венеции
✧



✧ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✧

Annotation

Томас Манн был одним из тех редких писателей, которым в равной степени удавались произведения и «больших», и «малых» форм. Причем если в его романах содержание тяготело над формой, то в рассказах форма и содержание находились в совершенной гармонии.

«Малые» произведения, вошедшие в этот сборник, относятся к разным периодам творчества Манна. Чаще всего сюжеты их несложны – любовь и разочарование, ожидание чуда и скука повседневности, жажда жизни и утрата иллюзий, приносящая с собой боль и мудрость жизненного опыта. Однако именно простота сюжета подчеркивает и великолепие языка автора, и тонкость стиля, и психологическую глубину.

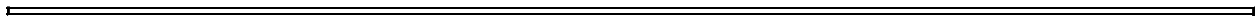
Вошедшая в сборник повесть «Смерть в Венеции» – своеобразная «визитная карточка» Манна-рассказчика – впервые публикуется в новом переводе.

-
- [Томас Манн](#)
 -
 - [Паяц](#)
 - [Маленький господин Фридеман](#)
 - [Луизхен](#)
 - [Тристан](#)
 - [Тонио Крёгер](#)
 - [Смерть в Венеции](#)
 - [Глава первая](#)
 - [Глава вторая](#)
 - [Глава третья](#)
 - [Глава четвертая](#)
 - [Глава пятая](#)
 - [Непорядок и ранние страдания](#)
 - [Хозяин и собака](#)
 - [Он появляется из-за угла](#)
 - [Как нам достался Баушан](#)
 - [Некоторые данные о характере и образе жизни Баушана](#)
 - [Угодья](#)
 - [Охота](#)
 - [Марио и фокусник](#)

- [notes](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)

- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)



Томас Манн

Смерть в Венеции

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2005

© Перевод. С. Апт, наследники, 2017

© Перевод. В. Курелла, наследники, 2017

© Перевод. Н. Ман, наследники, 2017

© Перевод. М. Рудницкий, 2017

© Перевод. Е. Шукшина, 2017

© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

* * *

Паяц

После всего, что случилось, под занавес, как, ей-богу, достойный финал всего этого жизнь, моя жизнь – «всё это», скопом – внушает мне одно отвращение; оно душит меня, преследует, приводит в содрогание, давит, и, как знать, рано или поздно, возможно, даст необходимый толчок, чтобы мне подвести черту под этой до неприличия смехотворной комедией и убраться отсюда подобра-поздорову. И тем не менее вполне вероятно, я еще какое-то время протяну, еще три месяца или шесть буду продолжать есть, спать, чем-то заниматься – так же машинально, упорядоченно и безмятежно, как протекала моя внешняя жизнь эту зиму – в чудовищном противоречии опустошительному процессу распада внутри. Внутренние переживания человека тем сильнее, тем острее, чем уединеннее, безмятежнее, бесстрастнее он живет внешне – разве нет? Но делать нечего: жить приходится; и если ты отказываешься быть человеком действия и уходишь в самый мирный затвор, то жизненные неурядицы обрушатся на тебя изнутри и тебе неминуемо придется проявить характер там, будь ты хоть героем, хоть шутом.

Я приготовил эту чистую тетрадь, чтобы рассказать свою «историю». Интересно, зачем? Чтоб хоть чем-то заняться? Или от страсти к психологии? Чтобы испытать от необходимости всего этого удовольствие? Ведь необходимость дает такое утешение! Или чтобы получить секундное наслаждение от какого-то превосходства над самим собой, чего-то вроде равнодушия? Ибо равнодушие есть своеобразное счастье, уж я-то знаю...

I

Он в такой глуши, этот старинный городок с узкими петляющими улицами, над которыми возвышаются высокие фронтоны, с готическими церквями, фонтанами, хлопотливыми, солидными, простыми людьми и большим поседевшим от старости патрицианским домом, где я вырос.

Дом стоял в центре города и пережил четыре поколения состоятельных, уважаемых купцов. Над входной дверью значилось «Ora et labora»^[1], и когда вы оставляли позади широкую каменную прихожую, которую сверху огибала деревянная беленая галерея и поднимались по широкой лестнице, нужно было еще пройти просторную переднюю и

маленькую темную колоннаду, лишь тогда, открыв одну из высоких белых дверей, вы оказывались в гостиной, где мать играла на рояле.

Она сидела в полумраке, поскольку окна были задернуты тяжелыми темно-красными шторами, и белые фигурки богов на обоях, словно двигаясь, отделяясь от голубого фона, прислушивались к тяжелым, глубоким первым звукам одного из шопеновских ноктюрнов, которые она любила больше всего и играла очень медленно, словно чтобы до дна насладиться печалью каждого аккорда. Рояль был старый, и полноты звучания несколько поубавилось, но при помощи педали, приглушавшей высокие ноты, что они напоминали потускневшее серебро, исполнитель мог добиться необычайно странного воздействия.

Сидя на массивном дамастовом диване с высокой спинкой, я слушал и смотрел на мать – невысокая, хрупкого сложения, обычно в платье из мягкой светло-серой ткани. Узкое лицо было не красиво, но под расчесанными на пробор, слегка волнистыми, робко-белокуроыми волосами оно казалось тихим, нежным, мечтательным, детским, и, чуть склонив голову над клавишами, мать напоминала трогательных ангелочков, что часто прилежно перебирают струны гитары у ног Мадонны на старых картинах.

Когда я был маленький, мать своим тихим, затаенным голосом нередко рассказывала мне сказки, каких не знал никто, или, положив мне руки на голову, что лежала у нее на коленях, просто сидела молча, неподвижно. Эти часы представляются мне счастливейшими и покойнейшими в жизни. Она не седела и, как мне виделось, не старела; только облик становился все нежнее, лицо все уже, тише, мечтательнее.

Отец же мой был высокий крупный господин в черном сюртуке тонкого сукна и белом жилете, где висело золотое пенсне. Между короткими бакенбардами с проседью кругло и твердо выступал гладко выбритый, как и верхняя губа, подбородок, а между бровями навечно залегли две глубокие вертикальные складки. Это был могучий мужчина, имевший большое влияние на общественные дела. Я видел, как от него уходили: одни – легко, неслышно дыша, с лучистым взором, другие – надломленные, совсем отчаявшиеся. Изредка мне, а бывало, и матери, и обеим моим старшим сестрам случалось присутствовать при подобных сценах: то ли отец желал внушить мне честолюбивые помыслы добиться в жизни того же, что и он, то ли, как недоверчиво думал я, он нуждался в публике. Он имел такую манеру, откинувшись на стуле и заложив руку за отворот сюртука, смотреть вслед осчастливленному или уничтоженному человеку, что я уже в детстве питал подобные подозрения.

Я сидел в углу, смотрел на отца и мать и, будто выбирая между ними, размышлял, как лучше провести жизнь – в мечтательных чувствованиях или действуя и властвуя. Наконец взгляд мой останавливался на мирном лице матери.

II

Не сказать, что я внешне походил на нее, поскольку занятия мои большей частью не были мирными и бесшумными. Вспоминаю одно, которое я безоглядно предпочитал общению со сверстниками и их играм и которое и сегодня еще, когда мне, ну, предположим, тридцать, дарит меня весельем и удовольствием.

Речь идет о большом, прекрасно оснащенном кукольном театре; с ним я один-одинешенек запирался у себя и ставил престранные музыкальные пьесы. Комната моя на третьем этаже, где висели два темных портрета, на которых были изображены предки с валленштейновой бородкой, погружалась во мрак, к театру придвигалась лампа: искусственное освещение представлялось необходимым для усиления настроения. Так как сам я был капельмейстером, то занимал место перед самой сценой и водружал левую руку на большую круглую картонную коробку, составлявшую единственный видимый инструмент оркестра.

Затем появлялись артисты, участвовавшие в действе помимо меня, их я рисовал пером и чернилами, вырезал и наклеивал на реечки, чтобы они могли стоять. Это были мужчины в накидках и цилиндрах и женщины невысказанной красоты.

– Добрый вечер, господа! – говорил я. – Надеюсь, все чувствуют себя прекрасно? Я готов, нужно было отдать еще несколько распоряжений. А теперь прошу в костюмерную.

Все отправлялись в костюмерную, что находилась за сценой, и скоро возвращались совершенно преобразившиеся, красочными театральными персонажами. Через дырочку, прорезанную мною в занавесе, они наблюдали, как заполняется зал. Заполнен он был и впрямь недурно, и я, дав звонок к началу спектакля, поднимал дирижерскую палочку и какое-то время наслаждался вызванной этим взмахом полной тишиной. Вскоре следовал еще один взмах, раздавалась зловещая глухая барабанная дробь, являвшаяся началом увертюры (ее я исполнял левой рукой на картонной коробке), вступали трубы, кларнеты, флейты (их характерный звук я бесподобно воспроизводил голосом), и музыка играла до тех пор, пока под

мощное крещендо не поднимался занавес и не начиналась драма в темном лесу или роскошной зале.

Наброски делались в голове, но детали приходилось импровизировать, и в страстных, сладких ариях, под трели кларнетов и гром картонной коробки звучали странные, полнозвучные стихи, исполненные высоких, дерзновенных слов, иногда рифмованные, но редко имевшие внятное содержание. Однако опера продолжалась, я пел и изображал оркестр, левой рукой барабанил, а правой с превеликой осторожностью управлял действующими фигурами и всем остальным, так что в конце каждого акта раздавались восторженные аплодисменты, приходилось снова и снова открывать занавес, а порой капельмейстер даже бывал вынужден поворачиваться и гордо, но вместе с тем польщенно, изъявлять комнате благодарность.

Право, когда после столь напряженного представления я с разгоряченной головой убирал театр, меня переполняло счастливое изнеможение, какое должен испытывать крупный художник, победоносно завершивший труд, в который он вложил все свое умение. До тринадцати-четырнадцати лет эта игра оставалась моим любимым занятием.

III

Как проходило мое детство и отрочество в большом доме, где в нижних помещениях вел дела отец, наверху мать мечтала в кресле или тихонько, задумчиво играла на пианино, а обе сестры, на два и три года старше, возились на кухне или у шкафов с постельным бельем? Помню очень мало.

Несомненно одно: будучи необычайно резвым мальчиком, я более выгодным происхождением, эталонным передразниванием учителей, бесчисленными разнообразными затеями и довольно изысканными речевыми оборотами снискал уважение и любовь одноклассников. Однако на уроках дела шли неважно, я слишком увлеченно ловил в жестах учителей комичное, чтобы быть внимательным к остальному, а дома голова была слишком забита оперным материалом, стихами и всяческим пестрым вздором, чтобы заниматься всерьез.

– Фу, – говорил отец, закладывая руку за отворот сюртука и читая дневник, который я после обеда приносил в гостиную. Складки у него между бровей становились глубже. – Не радуешь ты меня, вот тебе мое слово. Что же из тебя выйдет, скажи на милость? Никогда не выбьешься в

люди...

Это удручало, однако не мешало тому, чтобы я уже после ужина читал родителям и сестрам написанное после обеда стихотворение. Отец при этом смеялся так, что пенсне подпрыгивало у него на белом жилете.

– Какая чепуха! – то и дело восклицал он.

Мать же притягивала меня к себе, убирала со лба волосы и говорила:

– Совсем неплохо, мой мальчик. Я считаю, там есть пара удачных мест.

Позже, став немного старше, я как-то умудрился самостоятельно выучиться играть на пианино. Поскольку черные клавиши приводили меня в особенный восторг, я начал с фа-диез-мажорных аккордов, затем принялся искать переходы в другие тональности и постепенно, проведя много часов за роялем, добился в гармонических чередованиях, которые были лишены что такта, что мелодии, известной сноровки, вкладывая в эти мистические переливы как можно больше чувства.

Мать говорила:

– Его пианизм выдает вкус.

И она устроила так, что мне наняли учителя, занятия с которым продолжались полгода, так как я, право слово, не горел желанием учиться ставить пальцы и разбирать такты.

В общем, годы шли, и, несмотря на беспокойство, которое причиняла мне школа, я рос необычайно жизнерадостным. Веселый, всеми любимый, я вращался в кругу знакомых и родственников и, желая казаться обаятельным, был находчив и обаятелен, хотя каким-то инстинктом уже начинал презирать всех этих сухих, лишенных фантазии людей.

IV

Однажды после обеда – мне было где-то восемнадцать, предстоял переход в старшие классы – я подслушал короткий разговор родителей, которые сидели за круглым журнальным столиком в гостиной и не знали, что сын в смежной столовой празднично рассматривает бледное небо над островерхими домами. Разобрав свое имя, я потихоньку подошел к белой приоткрытой двустворчатой двери.

Отец, откинувшись в кресле и перебросив ногу на ногу, одной рукой придерживал на коленях биржевые ведомости, а другой медленно поглаживал подбородок между бакенбардами. Мать сидела на диване, склонив тихое лицо к пальцам. Между ними стояла лампа. Отец сказал:

– Думаю, в ближайшее время его нужно забрать из школы и отдать в

обучение на какую-нибудь крупную фирму.

– О, такой одаренный ребенок, – расстроено ответила мать, подняв глаза.

Отец мгновение помолчал и старательно сдул пылинку с сюртука. Затем пожал плечами и развел руками, выставив ладони в сторону матери:

– Если ты полагаешь, дорогая, что для занятий торговлей не нужен никакой талант, это воззрение ошибочно. Иначе в школе, как я, к моему сожалению, все больше и больше убеждаюсь, мальчик не дойдет ни до чего. Его талант, о котором ты говоришь, – своего рода талант паяца. Спешу прибавить, я такое вовсе не недооцениваю. Когда хочет, он может быть обаятельным, умеет общаться с людьми, забавлять их, льстить, имеет потребность нравиться и добиваться успехов; с подобной предрасположенностью уже не один составил свое счастье, и, обладая ею, ввиду его безразличия ко всему остальному, он вполне способен поставить торговое дело на широкую ногу.

Тут отец удовлетворенно откинулся, достал из сигаретницы сигарету и медленно закурил.

– Ты, разумеется, прав. – И мать печальным взглядом обвела комнату. – Я часто думала и в известной степени надеялась, что из него выйдет художник... Это верно, на его музыкальные способности, оставшиеся неразвитыми, пожалуй, уповать нельзя, но ты заметил, что недавно, посетив художественную выставку, он начал немного рисовать? Совсем неплохо, как мне кажется...

Отец выпустил дым, выпрямился в кресле и коротко ответил:

– Это все клоунада и blague^[2]. Впрочем, полагалось бы поинтересоваться его собственными желаниями.

Ну а какие же у меня, по-вашему, могли быть желания? Перспектива изменить внешнюю жизнь казалась весьма радужной, я с серьезным лицом изъясил готовность оставить школу, чтобы стать купцом, и поступил учеником на крупное лесоторговое предприятие господина Шлифогта, внизу, у реки.

Перемена, разумеется, стала исключительно внешней. Мой интерес к крупному лесоторговому предприятию господина Шлифогта был крайне незначителен, я сидел на вращающемся стуле под газовой лампой в темной, тесной конторе такой же далекий, отсутствующий, как когда-то и за

школьной партой. Только забот стало меньше, вот и вся разница.

Господин Шлифогт, дородный мужчина с красным лицом и седой, жесткой шкиперской бородкой, уделял мне мало внимания, поскольку в основном пропадал на лесопилке, располагавшейся довольно далеко от конторы и склада, служащие же обращались со мной уважительно. Дружеские отношения связали меня лишь с одним из них, одаренным и веселым молодым человеком из хорошей семьи, которого я знал еще по школе. Звали его Шиллинг. Он, как и я, надо всеми посмеивался, но помимо этого проявлял ревностный интерес к лесоторговле; и дня не проходило, чтобы он не выразил твердого намерения тем или иным способом разбогатеть.

Я же машинально исполнял свои обязанности, а в остальном бродил по складу между наваленными досками и рабочими, через высокий деревянный забор смотрел на реку, вдоль которой ехали товарные поезда, и думал при этом о театральном представлении, концерте, которые посетил, или о книге, которую читал.

Читал я много, читал все, что попадалось под руку, способность моя к восприятию была немалой. Каждую поэтическую личность я вбирал ощущением; и я думал, чувствовал в стиле книги до тех пор, пока на меня не начинала оказывать влияние следующая. В комнате, где когда-то стоял кукольный театр, я теперь сидел с книгой на коленях, поднимая глаза на портреты предков, чтобы еще раз насладиться звучанием покорившего меня языка, и нутро при этом переполняло неплодотворный хаос из полумыслей и полуобразов.

Сестры одна за другой вышли замуж, и я, когда не бывал занят на фирме, часто спускался в гостиную, где несколько хворавшая мать, чье лицо становилось все более детским, все более мирным, теперь, как правило, сидела совсем одна. Она играла мне Шопена, я показывал ей какое-нибудь новое гармоническое сочетание, а потом она спрашивала меня, доволен ли я профессией, счастлив ли... Какие могли быть сомнения в том, что я счастлив.

Мне было чуть за двадцать, положение в жизни – лишь временное, я не чурался мысли, что вовсе не обязан провести все годы своей жизни у господина Шлифогта или на каком-нибудь еще более крупном лесоторговом предприятии, что в один прекрасный день я обрету свободу, оставлю город с фронтонами и устроюсь где-нибудь в соответствии со своими склонностями: стану читать хорошие, изящно написанные романы, ходить в театр, понемногу заниматься музыкой... Счастлив? Но я отлично питался, прекрасно одевался и уже рано, в школе еще, видя, как бедные,

плохо одетые товарищи по привычке горбятся и с какой-то льстивой робостью добровольно признают меня и мне подобных своими господами и законодателями мод, с весельем в сердце сознавал, что принадлежу к высшим, богатым, к тем, кому завидуют, кто имеет полное право смотреть на бедных, несчастных и завистливых с благожелательным презрением, сверху вниз. Как же мне не быть счастливым? Пусть все идет как идет. И лучше всего было, не сближаясь, с чувством превосходства, весело общаться с этими родственниками и знакомыми, над чьей ограниченностью я потешался и кого в то же время из желания нравиться искусно очаровывал, и блаженствовать в лучах смутного почтения, которое все они мне выказывали, при этом опасливо чувствуя в моей натуре что-то противоположенное и из ряда вон.

VI

Перемены начали происходить с отцом. Когда он в четыре появлялся за столом, складки между бровями у него день ото дня казались глубже, и он уже не закладывал импозантным жестом руку за отворот сюртука, а производил впечатление человека подавленного, нервного, потерянного. Как-то он сказал мне:

– Ты достаточно взрослый, чтобы разделить со мной заботы, подрывающие мое здоровье. Кроме того, я обязан ознакомить тебя с ними, дабы ты не предавался ложным ожиданиям в связи с дальнейшим положением в жизни. Как тебе известно, замужество сестер стоило немалых жертв. Недавно фирма понесла убытки, значительно уменьшившие ее капитал. Я стар, утратил душевные силы и не думаю, что положение дел существенно изменится. Прошу тебя уяснить, что полагаться ты можешь только на себя...

Он сказал это примерно за два месяца до своей смерти. Однажды его нашли в кресле кабинета – он был желт, разбит параличом, что-то лепетал, а неделю спустя весь город принимал участие в его похоронах.

Мать, мирная, нежная, сидела теперь на диване у круглого столика в гостиной, и глаза ее обычно были закрыты. Когда мы с сестрами пытались за ней ухаживать, она кивала, иногда улыбалась, не убирая руки с колен, и продолжала молчать, неподвижно, большими, отсутствующими и печальными глазами глядя на какого-нибудь бога с обоев. Когда господа в сюртуках приходили с докладами о ходе ликвидации фирмы, она снова кивала и опять закрывала глаза. Она больше не играла Шопена, а когда

время от времени поглаживала волосы, то бледная, нежная, усталая рука ее дрожала. Не прошло и полугода после смерти отца, как она слегла и умерла, без единого стога, безо всякой борьбы за жизнь...

Вот все и кончилось. Что еще удерживало меня здесь? Дела худо-бедно уладили, выяснилось, что моя доля наследства составила примерно сто тысяч марок; этого было довольно, чтобы сделаться независимым – ото всего мира, тем более что меня по какой-то несущественной причине признали негодным к воинской службе.

Ничто более не связывало меня с людьми, среди которых я вырос, чьи глаза смотрели на меня все неприязненнее и изумленнее, чьи воззрения были слишком однобоки, чтобы я мог испытывать желание под них подладиться. Надо сказать, эти люди неплохо меня знали, знали как совершенно бесполезного человека, каким я знал себя и сам. Но поскольку мне хватало цинизма, фатализма, чтобы весело смотреть на свой, по выражению отца, «талант паяца», и радостной воли наслаждаться жизнью по собственному усмотрению, довольства собой у меня было хоть отбавляй.

Я затребовал свое небольшое состояние и, почти ни с кем не простившись, покинул город, дабы сначала отправиться в путешествие.

VII

Три следующих года, когда я с жадной восприимчивостью отдавался бесконечно новым, меняющимся, самым разнообразным впечатлениям, вспоминаю словно прекрасный, далекий сон. Как давно среди снегов и льдов я отмечал Новый год у монахов на Симплоне, в Вероне бродил по пьяцца Эрбе, с Борго Сан-Спирито впервые зашел под колоннаду Святого Петра и мои оробевшие глаза потерялись на неимоверной площади, с Корсо Витторио-Эммануэле смотрел вниз на мерцающий белизной Неаполь и далеко в море видел расплывающийся в голубой дымке грациозный силуэт Капри... А на самом деле прошло немногим более шести лет.

О, я жил очень осторожно, полностью по средствам – в простых частных комнатах, недорогих пансионах, но поскольку поначалу мне было трудновато избавиться от привычек зажиточного бюргера, да и из-за частых переездов, лишние расходы оказались все же неизбежны. Я выделил на странствия пятнадцать тысяч марок моего капитала, однако в эту сумму не уложился.

Кстати, с людьми, встречавшимися в путешествиях, мне было хорошо – незаинтересованные, сами же часто весьма интересные создания, для кого я, правда, не являлся предметом почитания, как для прежнего моего окружения, но мне не приходилось опасаться и неприязненных взглядов и вопросов.

Со своими светскими талантами я порой пользовался в пансионатах искренним расположением, в этой связи вспоминаю одну сцену в салоне пансионата «Минелли» в Палермо. В кругу разновозрастных французов я, активно используя мимический арсенал актеров трагического амплуа, мелодекламацию и бурные гармонии, с ходу начал импровизировать на пианино музыкальную драму «Рихарда Вагнера», и стоило мне под неистовые аплодисменты завершить ее, как с места сорвался пожилой господин, почти уже без волос на голове, с тощими белыми бакенбардами, елозившими по воротнику серой дорожной куртки. Он схватил меня за руки и со слезами на глазах воскликнул:

– Но это поразительно, сударь! Поразительно, дорогой вы мой! Клянусь вам, за тридцать лет я не получал более изысканного удовольствия! Ах, вы ведь позволите мне поблагодарить вас от всего сердца, не так ли? Но вам просто необходимо стать актером или музыкантом!

Нужно признаться, в таких случаях я испытывал нечто вроде высокомерия гениальности, свойственной крупным художникам, в дружеском кругу снисходящих до того, чтобы прямо на столе нарисовать простенькую, но остроумную карикатуру. После ужина, однако, я проводил в салоне одинокие и печальные часы, извлекая из инструмента размеренные аккорды и полагая, что вкладываю в них настроение, пробуждаемое во мне видом Палермо.

Из Сицилии я коротко наведалься в Африку, затем сразу же поехал в Испанию и там-то, недалеко от Мадрида – дело было в сельской местности, – в один из мрачных, дождливых зимних дней впервые испытал желание вернуться в Германию, более того – необходимость. Ибо, не говоря уже о том, что я начал тосковать по спокойной, упорядоченной, оседлой жизни, было несложно подсчитать, что к возвращению я при всей экономии израсходую двадцать тысяч марок.

Я не слишком оттягивал момент, чтобы потихоньку пуститься в обратный путь через Францию, где, подолгу задерживаясь в некоторых городах, провел приблизительно полгода, и с печальной отчетливостью вспоминаю еще летний вечер, когда въехал на вокзал одной средненемецкой резиденции, которую уже осматривал в начале

путешествия. Теперь я был чуть более образован, обладал определенным опытом, знаниями, и меня переполняла ребяческая радость оттого, что я наконец-то получил возможность в беззаботности и независимости, с удовольствием ограничившись моими скромными средствами, устроить здесь наконец свою неомраченную и созерцательную жизнь.

Было мне тогда двадцать пять лет.

VIII

Место оказалось выбрано недурно. Пристойный город, еще без слишком шумной сутолоки метрополии, без слишком противной деловой возни, а с другой стороны, несколько довольно больших старых площадей и не лишенная оживленности и элегантности уличная жизнь. В окрестностях попадались симпатичные места, но я всегда предпочитал со вкусом разбитую эспланаду на холме Жаворонков, узком протяженном отроге, к которому прислонилась большая часть города и с которого можно любоваться широкой панорамой домов, церквей, реки с плавными излучинами и дальних просторов. В некоторых ракурсах, а особенно когда чудесным летним вечером дает концерт военная капелла и снуют экипажи и прохожие, вспоминается Пинчо. Но мне еще предстоит вернуться к этой эспланаде...

Трудно представить, с каким хлопотливым наслаждением я обустроивал просторную комнату, вместе с прилегающей спальней, снятую мной почти в центре города, в оживленном квартале. Хоть родительская обстановка большей частью перешла сестрам, мне все же досталось необходимое: солидная прочная мебель, доставленная вместе с моими книгами и обоими портретами предков, но в первую очередь – старый рояль, отписанный мне матерью.

Должен признаться, когда все было расставлено и разобрано, когда скопившиеся в путешествии фотографии украсили стены, тяжелый стол красного дерева и пузатый комод и я, предавшись праздности и уюту, опустил в одно из кресел у окна, переводя взгляд с улицы на новую квартиру и обратно, испытанное мною удовольствие было немалым. И все же – никогда не забуду этого мгновения, – все же помимо довольства и уверенности во мне зашевелилось нечто иное, какое-то крохотное ощущение беспокойства, едва слышное сознание некоего негодования и противления мощной угрозе... слегка гнетущая мысль, что положение мое, до сих пор бывшее лишь временным, теперь нужно считать определенным

и неизменным...

Не скрою, эти и подобные чувства всплывали снова и снова. Но возможно ли избежать известных вечеров, когда смотришь в сгущающиеся сумерки, а то и в медленный дождь и становишься жертвой припадков мрачного провидения? В любом случае было несомненно, что будущее мое обеспечено. Круглую сумму в восемьдесят тысяч марок я доверил городскому банку, проценты – Господи, какие скверные времена! – составили где-то шестьсот марок в квартал, позволяя мне, таким образом, жить пристойно, снабжать себя чтением, иногда посещать театр, не исключая и чуть более неприятязательного препровождения времени.

Отныне дни мои проходили сообразно идеалу, издавна бывшему моею целью. Поднимался я около десяти, завтракал и до полудня проводил время то за пианино, то за чтением литературного журнала или книги. Затем брел в ресторанчик, куда заходил регулярно, обедал, после чего предпринимал более длительную прогулку по улицам, по пассажи, окрестностям, на холм Жаворонков. Возвратившись домой, снова принимался за утренние занятия: читал, музицировал, иногда даже развлекался чем-то вроде рисования или писал подробное письмо. Если после ужина не шел в театр или на концерт, то сидел в кафе и до отхода ко сну читал газеты. Но день выходил чудесным, имел отрадное наполнение, когда за пианино мне удавался мотив, казавшийся мне новым, красивым, когда из прочитанной повести, увиденной картины я выносил устойчивое нежное настроение...

Не умолчу, впрочем, о том, что, выстраивая распорядок дня, к делу я подходил не без определенного идеализма, всерьез намереваясь придавать дням возможно больше «наполнения». Питался я скромно, имел, как правило, всего один костюм, короче, осмотрительно ограничивал телесные потребности, чтобы, с другой стороны, быть в состоянии уплатить высокую цену за хорошее место в опере или концерте, купить литературную новинку, посетить ту или иную художественную выставку...

Но дни проходили, из них складывались недели, месяцы – скука? Признаюсь, не всегда попадается в руки книга, способная наполнить целый ряд часов; а в остальном ты, бывает безо всякого успеха, пытаешься фантазировать на пианино, сидишь у окна, куришь сигареты, и тебя неотвратимо окутывает чувство отворачивания к миру и самому себе; снова тобой овладевает боязнь, злосчастная боязнь, и ты вскакиваешь, бежишь на улицу, чтобы весело, как заправский счастливец, пожимая плечами, поглазеть на служащих и рабочих людей, духовно и материально слишком бедных для праздности и наслаждения.

Способен ли вообще двадцатисемилетний человек всерьез верить в окончательную незыблемость своего положения, пусть она и лишь предполагается? Птичий щебет, крошечный фрагмент небесной лазури, улетучившийся ночной сон – все сгодится, чтобы излить в сердце внезапные потоки смутной надежды и наполнить его большим праздничным ожиданием непредвиденного счастья... Я брел изо дня в день – созерцательно, бесцельно, сосредоточившись на какой-либо мелкой надежде – даже если речь шла всего-навсего о дне выхода в свет развлекательного журнала, – в истовой убежденности, что я счастлив, и время от времени несколько утомляясь одиночеством.

Право, не так уж редко выпадали часы, когда меня охватывала досада от нехватки общения с людьми, – ибо нужно ли объяснять эту нехватку? У меня не было никаких связей с хорошим обществом, а также с первыми и вторыми кругами города; дабы влиться в ряды золотой молодежи в качестве *fêtard'a*^[3], мне, ей-богу, просто не хватало средств, а с другой стороны – богема? Но я получил хорошее воспитание, ношу чистое белье и нештопанный костюм, у меня нет ни малейшего желания за липким от абсента столом вести анархистские разговоры с неряшливыми юношами. Одним словом, не находилось ни одного четко очерченного общественного круга, которому я мог бы принадлежать по праву очевидности, а знакомства, которые тем или иным образом завязывались сами по себе, являлись редкими, поверхностными и прохладными, – честно признаюсь, по моей вине, поскольку я и тогда вел себя сдержанно, с чувством неуверенности и неприятным сознанием, что даже какому-нибудь опустившемуся художнику не смогу коротко, ясно, с последующим признанием с его стороны объяснить, кто я и что.

Впрочем, я ведь порвал с «обществом», отказался от него, решив стать свободным, никак не служить ему, идти своим путем, и если уж мне для счастья нужны были бы «люди», то пришлось бы спросить себя: а не был бы я в таком случае занят сейчас обогащением во благо общества в ипостаси крупного дельца, вызывая всеобщую зависть и уважение?

Тем временем... тем временем! Вышло так, что философское уединение стало раздражать меня слишком сильно и в конечном счете никак не хотело согласовываться с моим представлением о «счастье», с сознанием и убежденностью в том, что я счастлив, потрясти которые – какие сомнения! – было просто-напросто невозможно. Не быть

счастливым, быть несчастным – да разве такое вообще мыслимо? Немыслимо. И тем самым вопрос казался решенным, пока снова не наступали часы, когда это «сидение в себе», заключенность, выключенность переставали казаться мне чем-то нормальным, а начинали казаться чем-то совсем ненормальным и доводили до ужасающей мрачности.

«Мрачность» – это ли свойство счастливого человека? Я вспоминал о жизни дома, в узком кругу, где я кружился, полный радостного сознания своих гениально-художественных задатков – общительный, обаятельный, с глазами, полными веселости, насмешки и благожелательной ко всем снисходительности, странноватый, по всеобщему мнению, но тем не менее всеми любимый. Тогда я был счастлив, хоть и приходилось работать на крупном лесоторговом предприятии господина Шлифогта, а теперь? А теперь?..

Но выходила крайне интересная книга, новый французский роман; я позволял себе приобрести его с намерением неторопливо, уютно насладиться в кресле. Еще триста страниц, полные вкуса, остроумия, тонкого искусства! Ах, я устроил свою жизнь к полному своему удовольствию! Разве я не счастлив? Смешно даже спрашивать, просто смешно, вот и все...

X

Еще один день кончился, день, который, слава богу, нельзя упрекнуть в отсутствии наполнения; наступил вечер, шторы на окнах задернуты, на письменном столе горит лампа, уже почти полночь. Можно пойти спать, но ты, развалившись в кресле и положив руки на колени, упорно продолжаешь сидеть, смотреть в потолок и покорно следить за тем, как тебя буравит и пожирает какая-то полунеопределенная боль, которую не удастся отогнать.

Всего пару часов назад я находился под воздействием большого искусства, одного из тех жутких, жестоких творений, которые с порочной напыщенностью кричаще гениального дилетантизма сотрясают, оглушают, истязают, дают блаженство, повергают в прах... Нервы еще дрожат, фантазия взбаламучена, волнами во мне плавно вздымаются редкие ощущения – тоски, религиозного рвения, триумфа, мистического мира, – и появляется потребность, все подстегивающая их, желающая их выстегнуть, потребность выразить эти ощущения, поделиться ими, показать, «что-нибудь из этого сделать»...

А что, если бы я в самом деле был художником, способным выразить себя в звуке, слове или зрительном образе, – а честно говоря, лучше во всем сразу? Но ведь это правда, я могу по-всякому! Как удачный пример – могу сесть за рояль и в тихой комнатке прекрасно излить свои чудесные чувства, и в общем-то этого мне должно бы хватать – ведь, чтобы быть счастливым, я, кажется, не нуждаюсь в «людях»... Предположим, все так и есть! Но вот если допустить, что мне чуть-чуть важен успех, слава, признание, похвалы, зависть, любовь?.. Ей-богу, вспоминая хоть ту сцену в салоне Палермо, должен признать, сейчас подобное несравненно благотворно подбодрило бы меня.

По здравом размышлении, не могу не согласиться с софистической и смехотворной разницей – между понятиями «внутреннее» и «внешнее» счастье. «Внешнее счастье» – что же это, собственно, такое? Бывают люди, баловни судьбы, счастье которых, судя по всему, состоит в гении, а гений – в счастье, люди света, которые легко, прелестно, обаятельно порхают по жизни с отражающимся, играющим в глазах солнцем; а вокруг них все теснятся, ими все восхищаются, завидуют, хвалят, любят, поскольку даже зависть не в состоянии их ненавидеть. Они же смотрят в жизнь, как дети, насмешливо, избалованно, надменно, с солнечной приветливостью, уверенные в своем счастье и гении, словно иначе и быть не может...

Что до меня, признаю свою слабость: я был бы не прочь принадлежать к числу таких людей, и мне все хочется думать – не важно, по праву или нет, – будто некогда я к ним и принадлежал, совершенно «не важно», ибо, давайте уж начистоту: все дело в том, за кого человек себя держит, как себя подает, кем у него хватает уверенности подать себя!

Может быть, все так и есть: я на самом деле отверг «внешнее счастье», отказавшись от службы «обществу», устроив свою жизнь без «людей». Однако в моем довольстве моей жизнью, само собой разумеется, нельзя усомниться ни на миг, в нем не возможно усомниться, никто не вправе в нем усомниться, ибо, повторю, и повторю с отчаянной настойчивостью: я хочу и должен быть счастлив! Понимание «счастья» как своего рода заслуженного вознаграждения, таланта, возвышенности, обаяния и понимание «несчастья» как уродства, чего-то презренного, что боится вылезти на свет, одним словом, чего-то жалкого, во мне, если честно, слишком глубоки, чтобы я мог уважать себя, будучи несчастлив.

Как же я могу позволить себе быть несчастным? Какую же роль в таком случае мне играть перед самим собой? Разве не пришлось бы мне тогда схорониться во тьме какой-нибудь летучей мышью, сычом и с завистью высматривать «людей света», обаятельных счастливых? Мне

пришлось бы возненавидеть их той ненавистью, которая есть не что иное, как отравленная любовь, – и презирать себя!

«Схорониться во тьме»! Ах, и сразу вспоминается все, что я думал, чувствовал в течение стольких месяцев в связи со своей выключенностью и «философским уединением»! И снова дает о себе знать страх, злосчастный страх! И сознание некоего негодования перед лицом мощной угрозы...

Несомненно, нашлось какое-то утешение, отвлечение, обезболивающее средство и на этот раз, и на следующий, и потом. Но оно возвращалось, все это, тысячи раз возвращалось на протяжении месяцев и лет.

XI

Бывают осенние дни, подобные чуду. Лето ушло, за окном давно желтеет листва, на улицах уже много дней свистит по углам ветер, а в сточных канавах бурлят грязноватые ручьи. Ты уже смирился, ты уже, так сказать, подсел к печке, чтобы перепустить зиму, но в одно прекрасное утро, проснувшись, не веря своим глазам, замечаешь, как сквозь щель между шторами в комнату пробивается узкая полоса сверкающей синевы. В полном изумлении ты вскакиваешь с постели, открываешь окно, тебе навстречу мчится волна трепещущего солнечного света, и одновременно сквозь уличный шум ты различаешь болтливый, задорный птичий щебет, а у самого на душе так, будто вместе со свежим и легким воздухом первого октябрьского дня ты вдыхаешь несравненно сладкую, многообещающую пряность, вообще-то свойственную майским ветрам. Весна, совершенно очевидно, что весна, вопреки календарю, и ты набрасываешь одежду, торопясь под мерцающее небо, на улицы, на простор...

Такой нечаянный, примечательный день выдался месяца четыре тому назад – сейчас у нас начало февраля, – и в этот день я увидел нечто удивительной прелести. Я вышел до девяти и, исполненный легкого, радостного настроения и неопределенной надежды на перемены, неожиданности и счастье, взял курс на холм Жаворонков. Я поднялся справа и прошел вдоль всего хребта, не отклоняясь от края главной эспланады, низенькой каменной ramпы, чтобы в продолжение всего пути, занимающего около получаса, беспрепятственно видеть ступенчато спускающийся город и реку, излучины которой блестели на солнце, а за ними в солнечной дымке растворялся холмистый зеленый ландшафт.

Наверху еще почти никого не было. Вдоль дорожки одиноко стояли

скамейки, то и дело из-за деревьев, мерцая белизной в солнечных лучах, выглядывали статуи, хоть время от времени на них плавно падали увядшие листья. Тишину, к которой я прислушивался при ходьбе, устремив взгляд в сторону, на светлую панораму, ничто не нарушало до самого края холма, где дорожка между старыми каштанами уходила вниз. Тут позади послышался быстро приближающийся стук лошадиных копыт и хруст гравия под колесами экипажа, которому где-то посередине спуска мне пришлось уступить дорогу. Я отошел в сторонку и остановился.

То была маленькая, совсем легкая двухколесная охотничья коляска, запряженная двумя крупными, лоснящимися, энергично фыркающими гнедыми. Поводья держала молодая дама лет девятнадцати-двадцати, возле которой сидел пожилой господин внушительной, благородной наружности с седыми, зачесанными вверх усами *à la russe*^[4] и густыми седыми бровями. Слуга в простой черно-серебристой ливрее украшал собою заднее сиденье.

В начале спуска лошади перешли на шаг, так как одна из них занервничала и забеспокоилась. Она сдвинулась влево в дышло, пригнула голову к груди и с таким судорожным упорством переставляла стройные ноги, что пожилой господин, несколько встревожившись, наклонился, дабы элегантной левой рукой в перчатке помочь молодой даме натянуть поводья. Управление коляской, судя по всему, было поручено ей на время и полушутя, по крайней мере она правила с какой-то детской важностью и вместе с тем неопытно. Пытаясь успокоить боязливое, упирающееся животное, она в серьезном негодовании слегка повела головой.

Девушка была стройной шатенкой. Волосы, повыше затылка стянуты в тугой узел, на лбу и висках лежали легко, свободно, так что виднелись отдельные светло-каштановые пряди, их покрывала круглая темная соломенная шляпка, украшенная лишь тонким плетением из лент. Одета девушка была в короткий темно-синий жакет и простого покроя юбку из светло-серой ткани.

На овальном, утонченных линий нежно-смуглом лице, посвежевшем и порозовевшем на утреннем воздухе, самым привлекательным, без сомнения, являлись глаза: пара узких, удлиненного разреза глаз – тоненький ободок радужки сверкал чернотой, – а поверх неправдоподобно равномерными дугами выгнулись будто пером выписанные брови. Нос, пожалуй, был немного длинен, а губам, хоть четким и изящным, полагалось бы быть потоньше. Сейчас, однако, им придавали очарования мерцающие белизной, чуть разреженные зубы, которыми девушка, силясь справиться с лошадью, крепко зажала нижнюю губу, почти по-детски

выдвинув круглый подбородок.

Было бы неверно утверждать, что лицо это отличалось броской, восхитительной красотой. Оно обладало привлекательностью молодости и радостной свежести, и привлекательность эту словно разглаживала, утишала, облагораживала состоятельная беспечность, благородное воспитание и холеная роскошь; представлялось несомненным, что узкие блестящие глаза, с избалованной досадой смотревшие на упирающуюся лошадь, через минуту снова примут выражение уверенного, само собою разумеющегося счастья... Рукава жакета, широко взбитые у плеч, плотно обхватывали запястья, и до сих пор ничего не производило на меня столь неотразимого впечатления изысканной элегантности, чем то, как эти узкие, матово-белые руки без перчаток держали поводья!

Я стоял на дороге, меня никто не окинул взглядом, коляска проехала мимо, и, когда снова набрала скорость и быстро исчезла, я медленно двинулся дальше. Во мне затрепетали радость и восхищение, но в то же время всплыла какая-то странная острая боль, горькое, распирающее чувство – зависти? любви? – я не смел додумать до конца – презрения к себе?

Пишу эти строки, и мне представляется жалкий попрошайка перед витриной ювелирного магазина, уставившийся в дорогостоящее мерцание сокровищ. В нем никогда не родилось бы отчетливое желание обладать драгоценностями, ибо уже одна смехотворно-невероятная мысль о подобном желании превратила бы его в посмешище в собственных глазах.

XII

Хочу рассказать, как вследствие случайности через восемь дней я увидел молодую даму вторично – в опере. Давали «Маргариту» Гуно, и едва я вошел в ярко освещенный зал, чтобы занять свое место в партере, как она появилась с другой стороны в ложе у просцениума слева от пожилого господина. Попутно я отметил, что во мне при этом самым смехотворным образом ненадолго взмыл страх, какое-то смущение и что я по непонятной причине тут же отвел глаза на другие ярусы и ложи. Только с началом увертюры я решился рассмотреть пару несколько подробнее.

Пожилой господин в наглухо застегнутом сюртуке и черной бабочке с покойным достоинством сидел, откинувшись в кресле, одну руку в коричневой перчатке легко опустив на бархат бордюра ложи, другой же время от времени медленно поглаживая то бороду, то короткие поседевшие

волосы. Зато молодая девушка – его дочь, без сомнения? – с живым интересом наклонилась вперед, положив обе руки, в которых держала веер, на бархатную обивку. Она то и дело быстро встряхивала головой, отбрасывая со лба, с висков распущенные светло-каштановые волосы. На ней была легкая блузка из светлого шелка, на поясе она закрепила букетик фиалок, а узкие глаза при резком освещении блестели еще большей чернотой, чем восемь дней тому назад. Кстати, я сделал наблюдение, что движение губ, подмеченное мною у нее давеча, свойственно ей вообще: ежеминутно она захватывала белыми, мерцающими, неплотно посаженными зубами нижнюю губу и слегка выдвигала подбородок. Это невинное лицо, лишенное какого бы то ни было кокетства, радостный, спокойный и вместе с тем блуждающий взгляд, нежная, белая шея, стянутая узкой шелковой ленточкой под цвет открытой блузки, жесты, когда она время от времени обращалась к пожилому господину, привлекая его внимание к чему-либо происходящему в оркестре, у занавеса, в ложах, – все производило впечатление невыразимо изящной, милой детскости, не имевшей при этом ничего трогательного или пробуждающего «сочувствие». То была возвышенная, уравновешенная детскость, вследствие элегантной состоятельности приобретшая уверенность и чувство превосходства, она свидетельствовала о счастье, не отличающемся никакой надменностью, скорее известным покоем, поскольку то само собой подразумевалось.

Умная, нежная музыка Гуно стала, мне показалось, удачным сопровождением к данной минуте, и я слушал, не обращая внимания на сцену, полностью отдавшись мягкому, задумчивому настроению, печаль которого без этой музыки, возможно, была бы болезненнее. Однако уже в первом антракте из партера поднялся человек где-то двадцати семи – тридцати лет, исчез и вскоре с ловким поклоном появился в ложе, бывшей предметом моего внимания. Пожилой господин тут же протянул ему руку, юная дама, приветливо кивнув, подала свою, которую он пристойно поднес к губам, после чего хозяева настояли, чтобы гость присел.

Изъявляю готовность признать, что человек этот обладал самой бесподобной манишкой, какую мне довелось видеть в жизни. Она вся была на виду, поскольку жилет представлял собой лишь узкую черную ленту, а фрак на одной пуговице, приходившейся на низ живота, имел необычайно широкий вырез, начинавшийся от самых плеч. Но манишка, широкой черной бабочкой подпирающая высокий стоячий воротничок с загнутыми уголками, с двумя крупными, четырехугольными и также черными, расположенными на умеренном расстоянии друг от друга пуговицами,

была ослепительной белизны и восхитительно накрахмалена, не утратив при этом гибкости, так как в области живота образовывала некое приятное углубление, дабы затем снова округлиться симпатичной блестящей выпуклостью.

Понятно, такая манишка требовала львиной доли внимания. Однако темя совершенно круглой головы покрывали очень коротко подстриженные светлые волосы, далее ее украшали пенсне без оправы и шнура, не слишком сильные, чуть курчавые усы потемнее, а одну щеку до виска – множество мелких дуэльных шрамов. Человек был безупречно сложен и двигался уверенно.

За вечер – ибо он остался в ложе – я сделал наблюдение, что ему в особенности свойственны две позы. Когда беседа с хозяевами замирала, он сидел, перебросив ногу на ногу, поместив бинокль на колени, удобно откинувшись, опускал голову, сильно выпячивал губы, дабы погрузиться в рассматривание кончиков усов, судя по всему, совершенно загипнотизированный этим зрелищем, причем медленно, покойно водил головой из стороны в сторону. Вступая же в разговор с юной дамой, он из почтения переменил положение ног, однако откидывался еще больше, обхватывая при этом обеими руками подлокотники, как можно выше поднимал голову и обаятельно, с заметным чувством превосходства, довольно широко раздвигая губы, улыбался молодой соседке. Человек этот наверняка напоен сознанием удивительного счастья...

Если серьезно, я такое высоко ценю. Ни за одним его жестом, хоть их небрежность была все-таки дерзкой, не последовало мучительной неловкости; его преисполняло чувство собственного достоинства. А почему должно быть иначе? Ведь ясно: он, возможно, особо не выделяясь, идет верным путем, будет идти им, пока не достигнет ясной, полезной цели, живет в согласии со всеми и под солнцем всеобщего уважения. Сейчас вот сидит в ложе, беседует с молодой девушкой, чистому, изысканному очарованию которой, возможно, не вполне закрыт и надеяться на руку которой в таковом случае имеет все основания. Право, у меня нет никакого желания говорить что-либо презрительное об этом человеке!

А я? Что же я? Сижу внизу и довольствуюсь тем, что издали, из темноты мрачно наблюдаю, как изысканное, недостижимое существо беседует и смеется с этим ничтожеством! Изгнанный, безвестный, бесправный, чужой, hors ligne^[5], опустившийся, пария, жалкий в собственных глазах...

Я остался до конца и снова увидел всех троих в гардеробе, где, облачаясь в меховые пальто, они немного замешкались, чтобы

переброситься парой слов со знакомыми – с какой-то дамой, с офицером... Молодой человек отправился к выходу вместе с отцом и дочерью, а я на небольшом расстоянии последовал за ними по вестибюлю.

Дождя не было, на небе виднелось несколько звезд, и они пошли пешком. Неторопливо беседуя, все трое шагали передо мной, а я двигался за ними на робкой дистанции – побитый, терзаемый остро болезненным, жалким, злорадным чувством... Идти им было недалеко; едва кончилась улица, как троика остановилась перед солидным домом с простым фасадом; сразу же после теплого прощания отец с дочерью исчезли, а провожатый, ускорив шаг, удалился.

На тяжелой резной двери дома можно было прочесть: «Советник юстиции Райнер».

XIII

Я решился довести записи до конца, хотя от внутреннего отвращения мне то и дело хочется вскочить и бежать. Я тут копал, буравил до полного изнеможения! И сыт всем этим до тошноты!..

Еще не прошло и трех месяцев, как газеты известили меня о благотворительном базаре, который устраивался в городской ратуше – с участием благородного общества. Я прочел анонс с вниманием и сразу решил сходить.

Она будет там, думал я, возможно, в качестве продавщицы, а в таком случае ничто не помешает мне к ней приблизиться. Если спокойно вздуматься, я человек образованный, из хорошей семьи, и если нахожу эту фройляйн Райнер симпатичной, то как и господину с восхитительной манишкой, мне не возбраняется при okazji заговорить с ней, обменяться парой шутивых слов...

День, когда я отправился в ратушу, перед порталом которой теснились люди и экипажи, стоял ветреный и дождливый. Я проложил себе путь внутрь, уплатил за входной билет, передал на хранение пальто и шляпу и с некоторым усилием поднялся по широкой, усеянной людьми лестнице на второй этаж в праздничный зал, откуда мне навстречу плыли душные испарения вина, блюд, духов, запах елок, беспорядочный шум, смех, разговоры, музыка, выкрики и удары гонга.

Невероятно высокое и просторное помещение украшали разноцветные флаги, гирлянды, а вдоль стен, как и по центру, тянулись торговые лотки – открытые прилавки и палатки, – посетить которые во всю мочь зазывали

мужчины в фантастических масках. Дамы, повсюду продававшие цветы, сувениры ручной работы, табак, всевозможные освежающие средства, также были в разнообразных костюмах. В конце зала на уставленной растениями эстраде гремела музыкальная капелла, а по узкому проходу между лотками медленно тянулась плотная людская масса.

Несколько ошалев от грохота музыки, лотерей и веселой рекламы, я присоединился к потоку, и не прошло и минуты, как увидел в четырех шагах слева от входа ту, которую искал. Стоя за небольшим, увешанным елочными венками прилавком, она торговала винами и лимонадами, нарядившись в итальянский костюм: пестрая юбка, белый прямоугольный головной убор и короткий лиф селянки Альбанских гор; рукава рубашки обнажали нежные руки до локтя. Несколько разгорячившись, бочком облокотившись на стол, она поигрывала пестрым веером и беседовала с несколькими господами, которые с сигаретами обступили лоток и среди которых я сразу заметил мне уже хорошо известного; он стоял около самого стола ближе всех к ней, заложив четыре пальца каждой руки в боковые карманы пиджака.

Я медленно проплелся мимо, исполненный решимости подойти, как только представится возможность, как только она несколько освободится... Ах! Сейчас выяснится, располагаю ли я еще остатками радостной уверенности и решительной находчивости, или же мрачность и полуотчаяние последних недель были оправданны! А почему я, собственно, волнуюсь? Откуда в связи с этой девушкой такие мучительные, убогие смешанные чувства – зависть, любовь, стыд и раздраженная горечь, – которые вот опять, признаюсь, опалили мне лицо? Легкость! Обаяние! Веселое, прелестное самодовольство, какое, черт подери, полагается талантливому, счастливому человеку! И с нервным усердием я обдумывал шутливый оборот, удачное словцо, итальянское приветствие, с которым обращусь к ней...

Прошло довольно много времени, прежде чем я в еле-еле движущейся толпе обошел зал; и в самом деле, когда снова очутился возле винной лавочки, господа, стоявшие полукругом, исчезли, и только хорошо известный мне человек облакачивался еще на прилавок, живейшим образом беседуя с юной продавщицей. Что ж, позволю себе прервать их беседу... Быстро свернув, я отделился от потока и стал у стола.

Что произошло? Ах, ничего! Почти ничего! Разговор оборвался, известный мне человек на шаг отступил, всеми пятью пальцами обхватил пенсне без оправы и шнура и принялся рассматривать меня сквозь эти самые пальцы, а юная дама смерила меня спокойным испытующим

взглядом, захватив костюм и сапоги. Костюм отнюдь не новый, сапоги запачканы уличной грязью, я знал. Кроме того, я разгорячился, и, вполне возможно, волосы пришли в беспорядок. Я не был холоден, не был свободен, не был на высоте положения. Меня охватило чувство, будто я, чужой, бесправный, неотсудошный, всем только мешаю иставляю себя на смех. Неуверенность, беспомощность, ненависть, жалкость затмили взор... Одним словом, я осуществил свои бравые намерения, мрачно сдвинув брови и сиплым голосом коротко и почти грубо сказав:

– Бокал вина, пожалуйста.

Совершенно не важно, ошибся ли я, когда мне показалось, что я заметил, будто молодая девушка метнула на друга быстрый насмешливый взгляд. Молча, как молчали и остальные участники сцены, она подала мне вина, а я, не поднимая глаз, раскрасневшийся, подкошенный гневом и болью, несчастный, смешной, стоя между ними, сделал пару глотков, положил на стол деньги, растерянно поклонился, вышел из зала и бросился вон.

С той минуты со мной покончено, и крайне мало прибавляет к делу то обстоятельство, что несколько дней спустя я прочитал в газетах объявление:

«Имею честь покорнейше сообщить о помолвке моей дочери Анны с господином ассессором д-ром Альфредом Витцнагелем. Советник юстиции Райнер».

XIV

С той минуты со мной покончено. Последние остатки сознания счастья, самодовольства затравлены, уничтожены, больше не могу, да, я несчастлив, признаюсь, я жалок и смешон! Но мне этого не выдержать! Я гибну! Застрелюсь – не сегодня, так завтра!

Моим первым побуждением, первым инстинктом была лукавая попытка вытянуть из истории побольше беллетристики, перетолковать свое убогое, мерзкое самоощущение в «несчастную любовь»: ребячество, само собой разумеется. От несчастной любви не погибают. Несчастливая любовь – вовсе не такая скверная позиция. В несчастной любви себе нравятся. Я же гибну оттого, что покончено с моей приязнью к самому себе, и покончено безнадежно!

Любил ли я, спросим наконец, любил ли я, собственно, эту девушку? Возможно... но как и зачем? Не была ли эта любовь уродливым

порождением моего давно уже раздраженного и больного тщеславия, которое при первом же взгляде на недосыгаемую изысканность мучительно вспенилось и выкинуло зависть, ненависть, презрение к себе, для чего любовь, в свою очередь, стала просто предлогом, выходом и спасением?

Да, все дело в тщеславии! Разве еще отец не называл меня паяцем?

Ах, я был не вправе – я как никто другой – отходить в сторону, игнорировать «общество», это я-то, такой тщеславный, чтобы вынести его небрежение и неуважение, чтобы обойтись без его рукоплесканий! Но ведь речь идет не о праве? Ведь речь идет о необходимости? И моя бесполезная паяцеспособность не пришла бы ни для какого социального положения? Но теперь я гибну именно из-за нее.

Ах, равнодушие было бы для меня своего рода счастьем... Но я не в силах быть равнодушным к себе, не в силах смотреть на себя иными глазами, кроме как глазами «людей», и от стыда гибну – совершенно невинный... Неужели стыд всегда есть лишь загноившееся тщеславие?

Существует только одно несчастье: перестать нравиться самому себе. Себе не нравиться, вот оно, несчастье – да, я всегда очень отчетливо ощущал это! Все остальное – игра и обогащение жизни, при любом другом страдании можно превосходно любоваться собой, так бесподобно смотреться. Жалкий, отвратительный вид придают тебе только разлад с собой, стыд в страдании, потуги тщеславия...

Объявился старый знакомый, господин по имени Шиллинг, с которым мы некогда совместно служили обществу на крупной лесоторговой фирме г-на Шлифогта. У него возникли дела в моем городе, и он заехал ко мне – «скептический индивид», руки в карманах брюк, пенсне в черной оправе и реалистически терпеливое пожимание плечами. Шиллинг приехал вечером и сообщил:

– Я здесь на несколько дней.

Мы пошли в винную.

Шиллинг говорил со мной, будто я еще был тем самодовольным счастливецом, каким он меня знал, и, искренне полагая, что просто делится со мной своим радостным мнением, сказал:

– Честное слово, славную жизнь ты себе устроил, малыш! Независим, да что там, свободен! Черт подери, ей-богу, ты прав! Живем-то всего один раз, правда? Вообще-то, что человеку до всего остального? Должен сказать, ты из нас двоих оказался умнее. Впрочем, ты всегда был гениален...

И он, как прежде, начал изо всех сил нахваливать меня, говорить любезности, не подозревая, что я обмирал от страха не понравиться.

Я отчаянно силился отстоять то место, что занимал в его глазах,

силился казаться, как прежде, на высоте, казаться счастливым и самодовольным – тщетно! Не было стержня, никакого куража, никакого самообладания, я говорил с ним, полный тусклого смущения и сгорбившейся неуверенности, – и Шиллинг уловил это с невероятной быстротой! Было ужасно видеть, как он, в общем, готовый признать старого товарища счастливым, высокого пошиба человеком, начал пронизывать меня, смотреть с изумлением, набирать прохладцы, высокомерия, нетерпения, отвращения, и, в конце концов, он уже не скрывал своего ко мне презрения, сквозившего уже в каждой его гримасе. Он рано ушел, а на следующий день несколько беглых строк уведомили меня, что ему все-таки пришлось уехать.

Все очень просто: люди слишком усердно заняты собой, чтобы серьезно желать составить мнение о других; все с пассивной готовностью принимают ту степень уважения, которую ты уверенно выказываешь самому себе. Будь каким хочешь, живи как хочешь, но демонстрируй дерзкую победительность, никаких стыдливых сомнений, и ни у кого не достанет нравственной твердости презирать тебя. В противном случае, если утратится согласие с собой, уйдет самодовольство, проявится презрение к себе, все в мгновение ока сочтут, что ты прав. Что до меня, со мной покончено...

Я заканчиваю, отбрасываю перо – полный отвращения, полный отвращения! Положить всему конец, но для «паяца» не будет ли это чуть не геройством? Боюсь, получится так, что я стану дальше жить, дальше есть, спать, немножко чем-то заниматься и потихоньку отупленно привыкать быть «несчастливым и жалким».

Боже мой, кто бы подумал, кто бы мог подумать, какое это проклятие, какое несчастье – родиться «паяцем»!..

Маленький господин Фридеман

I

Виновата была кормилица. Конечно, когда возникло первое подозрение, консульша Фридеман настоятельно увещевала ее покончить с этим пороком – и что толку? Помимо питательного пива она ежедневно выдавала ей еще по стакану красного вина – и что толку? Неожиданно выяснилось, что девушка пристрастилась и к спирту, предназначенному для горелки, и прежде чем ей нашли замену, прежде чем ее можно было рассчитать, беда уже стряслась. Когда мать и три ее дочери-отроковицы как-то раз вернулись с выезда, маленький, около месяца от роду Йоханнес, свалившись с пеленального столика, лежал на полу и ужасающе тихо поскуливал, а рядом стояла ослушница.

Врач, с бережной твердостью осмотрев конечности скрюченного, подрагивающего крохотного существа, сделал очень, очень серьезное лицо; три дочери, рыдая, сбились в угол, а охваченная сердечным смятением госпожа Фридеман принялась громко молиться.

Бедной женщине еще до рождения ребенка пришлось пережить смерть супруга, нидерландского консула, которого унесла сколь внезапная, столь и тяжелая болезнь, и она была слишком сломлена, дабы вообще иметь способность надеяться, что у нее останется маленький Йоханнес. Лишь через два дня врач, ободряюще пожав ей руку, заявил, что непосредственная опасность, безусловно, миновала, и прежде всего, организм совершенно справился с легкой аффектацией мозга, что заметно хотя бы по взгляду, не имеющему уже того застывшего выражения, как в начале... Однако в остальном нужно посмотреть, как будет развиваться дело, и надеяться, так сказать, на лучшее, надеяться на лучшее.

II

Серый дом с высоким фронтоном, где рос Йоханнес Фридеман, стоял у северных ворот старинного, но далеко не самого крупного торгового города. Через входную дверь вы попадали в просторную, выложенную каменной плиткой прихожую, откуда наверх вела лестница с белыми

деревянными перилами. На стенных драпировках гостиной второго этажа красовались поблекшие пейзажи, а вокруг тяжелого стола красного дерева, покрытого бордовой плюшевой скатертью, стояли стулья с прямыми узкими спинками.

Здесь у окна, под которым всегда пышно цвели красивые цветы, он часто ребенком сидел на маленькой скамеечке в ногах у матери и, глядя на гладкий седой пробор, доброе, кроткое лицо, вдыхая всегда исходивший от нее еле уловимый запах, слушал какую-нибудь волшебную историю. Или послушно смотрел на портрет отца, приветливого господина с седыми бакенбардами. Отец теперь на небесах, говорила мать, и ждет их всех к себе.

За домом находился небольшой садик, где, несмотря на вечное сладковатое марево, наплывавшее с соседней сахарной фабрики, летом обычно проводили добрую половину дня. Там стояло старое, узловатое ореховое дерево, и в его тени маленький Йоханнес, расположившись на низеньком деревянном табурете, часто колол орехи, а госпожа Фридеман и три взрослые уже сестры сидели под тентом серой парусины. Взгляд матери, однако, часто отрывался от рукоделия, с печальной приветливостью обращаясь на ребенка.

Он не был красив, маленький Йоханнес; скорчившись на табурете, с ловким усердием вскрывая ореховую скорлупу, с высокой выпирающей грудью, сильно выступающей спиной и очень длинными, тонкими руками, он являл собой в высшей степени странное зрелище. Узкие кисти и стопы, впрочем, имели нежную форму; у него также были большие светло-карие глаза, мягко очерченный рот и чудесные светло-каштановые волосы. Лицо, хотя оно столь жалко вжималось в плечи, все же можно было назвать почти красивым.

III

Семи лет его отправили в школу, и годы полетели однообразно и быстро. Каждый день немного смешной, важной походкой, порой свойственной уродцам, он шествовал между островерхими домами и лавками к старому школьному зданию с готическими сводами, а сделал дома уроки, читал какую-нибудь из своих книг с красивыми пестрыми обложками или возился в саду, пока сестры вместо хворой матери хлопотали по хозяйству. Они выходили и в свет, так как Фридеманы принадлежали к высшим кругам города, но замуж еще, к сожалению, не

вышли, ибо были не то чтобы богаты и довольно-таки уродливы.

Время от времени Йоханнес тоже получал приглашения от сверстников, но общение с ними приносило ему мало радости. В играх их он принимать участие не мог, а поскольку приятели в обращении с ним всегда сохраняли смущенную сдержанность, дружбы выйти не могло.

Пришло время, и он стал часто слышать, как одноклассники на школьном дворе рассказывают об известных приключениях; внимательно, широко раскрыв глаза, мальчик слушал мечтательные разговоры о какой-нибудь девочке и молчал. «Для всего этого, – твердил он себе, – что остальных, судя по всему, переполняет, я не гожусь, это как гимнастические трюки и игра в мяч». Порой его это огорчало, но, в конце концов, он с незапамятных времен привык быть сам по себе и не разделять общих интересов.

И все-таки случилось, что Йоханнеса – ему уже исполнилось шестнадцать – внезапно потянуло к одной сверстнице. То была сестра классного товарища, светловолосое, безудержно-радостное существо, познакомился он с ней у ее брата. В присутствии девушки он испытывал странное смущение, а то, как она обращалась с ним – натянуто и искусственно-приветливо, – иногда вселяло глубокую печаль.

Как-то летним днем, прогуливаясь в одиночестве по городскому валу, за кустами жасмина он услышал шепот и осторожно подглядел между ветвей. На стоявшей там скамейке сидела та самая девушка, а рядом с ней – высокий рыжий юноша, которого он прекрасно знал; парень обнимал ее одной рукой и прижимался к губам поцелуем, на который она, хихикая, отвечала. Увидев это, Йоханнес Фридеман развернулся и тихо ушел.

Голова его как никогда глубоко вжалась в плечи, руки задрожали, а из груди к горлу поднялась острая, распирающая боль. Но он затолкал ее обратно и решительно распрямился как мог. «Ладно, – сказал он сам себе, – с этим покончено. Никогда в жизни больше не буду обо всем этом думать. То, что другим дает счастье и радость, мне может принести лишь горе и страдание. Тут я подвел черту. Дело решенное. Никогда в жизни».

Решение пошло ему на пользу. Он отказался от этого, отказался навсегда. Йоханнес отправился домой и взял в руки книгу, а может, скрипку, на которой, несмотря на уродливую грудь, выучился играть.

IV

Семнадцати лет он оставил школу, чтобы заняться торговлей, которую

в его кругах вели просто все, и поступил учеником в крупную лесоторговую контору господина Шлифогта, внизу, у реки. Обращались с ним бережно, он со своей стороны был вежлив и предупредителен, и так мирно отлаженно текло время. Однако, когда ему шел двадцать второй год, после долгих страданий умерла мать.

Это стало для Йоханнеса Фридемана источником огромной боли, он нес ее долго. Он наслаждался ей, этой болью, отдавался ей, как отдаются большому счастью, питал ее тысячами детских воспоминаний и смаковал как первое сильное переживание.

Разве жизнь не хороша сама по себе, не важно, складывается ли она для нас таким образом, который принято называть «счастливым»? Йоханнес Фридеман чувствовал так и любил жизнь. Никому не понять, с каким задушевным тщанием он, сумев отказаться от величайшего счастья, какое она только может нам предложить, наслаждался доступными ему радостями. Весенняя прогулка в загородном парке, благоухание цветка, птичье пение – разве можно за это не быть благодарным?

Он понимал и то, что со способностью получать наслаждение тесно связано образование, более того, что образование и является таковой способностью, – он понимал это и повышал свое образование. Он любил музыку и посещал все концерты, что давали в городе. Со временем сам, хотя и смотрелся при этом необычайно странно, стал неплохо играть на скрипке и радовался каждому удававшемуся красивому и нежному звуку. Он много читал и постепенно развил литературный вкус, который, пожалуй, не мог разделить ни с кем в городе. Он был осведомлен о новинках дома и за рубежом, умел почувствовать ритмическую прелесть стихотворения, поддаться воздействию душевного настроения изящно написанной повести... О, почти можно утверждать, что он был эпикурейцем.

Он выучился понимать, что способностью давать наслаждение обладает все и что почти нелепо различать счастливые и несчастные мгновения. И он с величайшей готовностью принимал все свои ощущения, настроения, лелеял их – как мрачные, так и радостные, в том числе и несбывшиеся желания – томление. Он любил это томление ради него самого и говорил себе, что с осуществлением лучшее окажется позади. Разве сладостная, болезненная, смутная тоска и надежда тихих весенних вечеров не доставляют большего наслаждения, чем все сбывшееся, что могло бы принести лето? Да, он был эпикурейцем, маленький господин Фридеман.

Но этого, по-видимому, не знали люди, приветствовавшие его на улице

с той сострадательной вежливостью, к которой он привык с незапамятных времен. Они не знали, что этот несчастный калека, с комичной важностью вышагивающий по улице в светлом пальто и лоснящемся цилиндре – как ни странно, он был несколько щеголеват, – нежно любит жизнь, полегоньку утекающую от него без особых тревожлений, однако исполненную тихого ласкового счастья, которое он умел обрести.

V

Однако главным увлечением господина Фридемана, его настоящей страстью являлся театр. Он обладал необычайно острым драматическим восприятием, и в случае мощного сценического воздействия, во время трагедийной развязки все его маленькое тело нередко начинала сотрясать дрожь. В первом ярусе городского театра у него было место, которое он занимал регулярно, иногда в сопровождении трех сестер. После смерти матери они одни вели свой и братнин старый дом, владея им совместно.

Замуж они, к сожалению, так до сих пор и не вышли, но уже давно вступили в тот возраст, когда обретается умеренность, так как Фредерика, старшая, обогнала господина Фридемана на семнадцать лет. Она и сестра Генриетта были слишком высоки и худы, а Пфифи, младшая, уродилась чрезмерно низкорослой и полной. Последняя, кстати, имела чудное обыкновение подергиваться при каждом слове, при этом уголки рта у нее покрывались продуктами слюноотделения.

Маленький господин Фридеман не особо заботился о трех девушках; они же крепко держались вместе и всегда были одного мнения. Особенно когда в кругу их знакомых случалась помолвка, они в один голос настаивали, что это о ч е н ь радостное известие.

Брат остался жить с ними, и когда покинул контору господина Шлифогта и обрел самостоятельность, переняв какое-то мелкое дело – что-то вроде агентства, не требовавшего особого попечения. Он занимал в доме несколько помещений нижнего этажа, чтобы подниматься по лестнице только к столу, так как по временам его немного мучила астма.

В свой тридцатый день рождения, светлый и теплый июньский день, он сидел после обеда в серой палатке в саду, подложив под голову новый валик, который смастерила ему Генриетта, с хорошей сигарой во рту и хорошей книжкой в руке. То и дело он отводил книгу в сторону, прислушивался к довольному чириканью воробьев на старом ореховом дереве, бросал взгляд на чистую, посыпанную гравием дорожку, ведущую в

дом, и на газон с пестрыми клумбами.

Маленький господин Фридеман не носил бороды, и лицо его почти не изменилось, только черты стали чуть резче. Чудесные светло-каштановые волосы он гладко зачесывал на боковой пробор.

Он окончательно опустил книгу на колени, прищурившись, посмотрел в синее солнечное небо и сказал себе: «Что ж, прошло тридцать лет. Будет, может, еще десять или двадцать, кто знает. Они придут и уйдут так же тихо и бесшумно, как и минувшие, и я жду их с миром в душе».

VI

В июле того же года произошла смена коменданта округа, взбудоражившая всех. Дородного jovиального господина, долгие годы занимавшего этот пост, в обществе очень любили и отставке его опечалились. Бог весть вследствие каких обстоятельств, но только из столицы прибыл не кто иной, как господин фон Ринлинген.

Замена, впрочем, казалась неплохой, так как подполковник – женатый, но бездетный – снял в южном предместье весьма просторную усадьбу, из чего заключили, что он намерен принимать. Во всяком случае, слухи о том, что новый комендант изрядно богат, подтверждались в числе прочего и тем, что он привез с собой четверых посыльных, пять верховых и упряжных лошадей, ландо и легкую охотничью коляску.

Вскоре после приезда супружеская чета начала делать визиты в уважаемые семьи, их имя было у всех на устах; основной интерес вызывал, правда, не сам господин фон Ринлинген, а его жена. Мужчины были озадачены и пока не вынесли суждения; дамы же положительно не могли согласиться с тем, что представляла собой Герда фон Ринлинген.

– Что пахнет столичным воздухом, – как-то в разговоре заявила Генриетте Фридеман адвокатша Хагенштрём, – ну, это естественно. Она курит, ездит верхом – ладно. Но она держится не просто свободно, а с грубоватой развязностью, и это еще мягко... Она, видите ли, отнюдь не уродлива, ее даже не грех назвать хорошенькой. И все же ей решительно недостает женского очарования. Взгляд, смех, жесты – все лишено всего того, что любят мужчины. Она не кокетка, и, видит Бог, я последняя считаю это предосудительным; но возможно ли, чтобы в такой молодой женщине – а ей двадцать четыре года – естественная прелесть, привлекательность... отсутствовали начисто? Милочка, я, может, не слишком красноречива, но знаю, о чем говорю. Наши мужчины пока еще ошарашены. Вот увидите,

через пару недель они отвернутся от нее совершенно дегутированные.

– Ну, уж она-то устроена прекрасно, – заметила барышня Фридеман.

– Да, ее муж! – воскликнула госпожа Хагенштрём. – А как она обращается с ним? Вы бы видели! Вы увидите! Я первая настаиваю, что замужней женщине следует в известной степени сторониться противоположного пола. Но как она ведет себя с собственным мужем? Обыкновенно смотрит на него с таким ледяным холодом и эдак свысока говорит «дорогой друг» – что просто возмутительно. Нужно при этом видеть е г о – корректный, подтянутый, рыцарственный, блестящий сорокалетний офицер, великолепно сохранился! Они женаты четыре года... Милочка...

VII

Местом, где маленькому господину Фридеману довелось впервые лицезреть госпожу фон Ринлинген, стала главная улица, на которой располагались почти одни магазины, и встреча эта произошла около обеда, он как раз шел с биржи, где тоже молвил словечко.

Он, ничтожный и вельможный, шагал подле оптового торговца Штефенса, необыкновенно высокого, кряжистого мужчины с выстриженными кругом бакенбардами и чудовищно толстыми бровями. Оба были в цилиндрах и из-за жары распахнули пальто. Ритмично постукивая тростями по тротуару, они говорили о политике, однако, дойдя примерно до середины улицы, оптовый торговец Штефенс вдруг сказал:

– Разрази меня гром, если это не Ринлинген.

– Что ж, весьма кстати, – своим высоким, несколько резким голосом ответил господин Фридеман и нетерпеливо всмотрелся вперед. – Я ведь еще так и не видел ее. А вот вам и желтая коляска.

И впрямь, сегодня госпожа фон Ринлинген выехала в желтой охотничьей коляске, она самолично правила двумя стройными лошадьми, а слуга, скрестив руки, сидел позади. На ней был широкий, очень светлый жакет и такая же светлая юбка. Из-под круглой соломенной шляпки с коричневой кожаной тесьмой выбивались светлые рыжеватые волосы, зачесанные за уши и низко на затылке стянутые в большой узел. Овальное лицо было матово-белым, а в уголках необычайно близко посаженных карих глаз залегли голубоватые тени. Верхнюю часть короткого, но хорошо вычерченного носа усыпали шедшие к ней веснушки; однако красив ли рот, понять было нельзя, так как она все время елозила нижней губой по

верхней.

Когда коляска приблизилась, оптовый торговец Штефенс чрезвычайно почтительно поздоровался; маленький господин Фридеман, большими глазами внимательно глядя на госпожу фон Ринлинген, тоже приподнял шляпу. Она опустила хлыст, легонько кивнула и медленно проехала мимо, поводя головой по сторонам и осматривая дома и витрины.

Через несколько шагов оптовый торговец сказал:

– Выезжала на прогулку и возвращается домой.

Маленький господин Фридеман, уставившись себе под ноги, ничего не ответил. Затем вдруг поднял взгляд на оптового торговца и спросил:

– Что вы сказали?

И господин Штефенс повторил свое проницательное замечание.

VIII

Три дня спустя в двенадцать часов Йоханнес Фридеман вернулся с привычной прогулки домой. В половине первого обедали, а он еще хотел на полчаса зайти к себе в «кабинет», находившийся сразу за входной дверью, направо. Вдруг прихожую пересекла служанка и, подойдя к нему, сказала:

– У вас посетители, господин Фридеман.

– У меня? – спросил он.

– Нет, наверху, у барышень.

– Кто же?

– Госпожа и господин подполковник фон Ринлинген.

– О! – промолвил господин Фридеман. – Но тогда следует...

И поднялся по лестнице. Наверху он пересек лестничную площадку и уже взялся за ручку высокой белой двери, что вела в «пейзажную», как вдруг замер, сделал шаг назад, развернулся и медленно удалился той же дорогой. И хотя господин Фридеман был совершенно один, он громко сказал:

– Нет, лучше не надо.

Он спустился в «кабинет», уселся за письменный стол и взял в руки газету. Через минуту, однако, опустил ее и посмотрел вбок, в окно. Так он сидел, пока пришедшая горничная не сообщила, что накрыто; тогда он поднялся в столовую, где сестры уже его ожидали, и занял место на своем стуле, где лежали три сборника нот.

– Знаешь, Йоханнес, кто у нас был? – начала разливавшая суп

Генриетта.

– И кто же? – спросил он.

– Новый подполковник с женой.

– Вот как? Любезно.

– Да, – кивнула Пфифи, и уголки рта у нее увлажнились, – по-моему, весьма приятные люди.

– Во всяком случае, – решила Фредерика, – с ответным визитом затягивать нельзя. Предлагаю пойти послезавтра, в воскресенье.

– В воскресенье, – откликнулись Генриетта и Пфифи.

– Ты ведь пойдешь с нами, Йоханнес?

– А как же иначе! – воскликнула Пфифи и передернулась.

Господин Фридеман не услышал вопроса и с тихим, боязливым выражением на лице продолжал есть суп. Он словно к чему-то прислушивался, к каким-то жутким звукам.

IX

На следующий вечер в городском театре давали «Лоэнгрина» и собралось все образованное общество. Небольшой зал был забит до отказа и наполнен гулом, запахами газа духов. Однако все бинокли, как из партера, так и из ярусов, были устремлены на тринадцатую ложу, сразу справа от сцены, поскольку сегодня там впервые появился господин фон Ринлинген с женой, и все получили возможность наконец-то как следует их рассмотреть.

В безупречном черном костюме со сверкающе белой, выступающей углом манишкой рубашки войдя в свою ложу – тринадцатую, – маленький господин Фридеман отпрянул к двери, провел рукой по лбу, а ноздри его на мгновение судорожно расширились. Затем, однако, он опустил в кресло, слева от госпожи фон Ринлинген.

Пока он усаживался, она смотрела на него долгим внимательным взглядом, выдвинув при этом нижнюю губу, а затем отвернулась обмениваться парой слов со стоявшим позади супругом. Это был высокий крупный мужчина с зачесанными кверху усами и добродушным загорелым лицом.

Когда началась увертюра и госпожа фон Ринлинген перегнулась через бордюр, господин Фридеман скосил на нее быстрый, торопливый взгляд. Она надела светлый вечерний туалет, даже – единственная из присутствующих дам – с небольшим декольте. Взбитые рукава платья были

очень широки, белые перчатки доходили до локтя. Сегодня в ней появилось что-то роскошное, накануне, когда она была в белом жакете, не так бросающееся в глаза; грудь вздымалась полно и медленно, а узел светлых рыжеватых волос низко, тяжело опустился на затылок.

Господин Фридеман сделался бледен, намного бледнее обычного, а на лбу под гладко зачесанными светло-каштановыми волосами проступили мелкие капельки. С покоившейся на красном бархате бордюра левой руки госпожа фон Ринлинген стянула перчатку, и он все время – с этим ничего нельзя было поделать – видел округлую, матово-белую руку, по которой, как и по кисти без украшений, шли бледные-бледные голубые прожилки.

Запели скрипки, в их пение с грохотом ворвались духовые, пал Тельрамунд, в оркестре воцарилось всеобщее ликование, а маленький господин Фридеман сидел неподвижно, бледный, тихий, низко втянув голову в плечи, прижав указательный палец к губам, а другую руку заложив за отворот фрака.

Пока падал занавес, госпожа фон Ринлинген встала и вышла с супругом из ложи. Господин Фридеман, не глядя в ее сторону, проследил за ними, легонько промокнул носовым платком лоб, резко встал, подошел к двери, ведущей в коридор, снова вернулся, сел на свое место и застыл в прежней позе.

Когда прозвенел звонок и соседи вернулись, он почувствовал, что глаза госпожи фон Ринлинген направлены на него, и, не желая того, поднял к ней голову. Взгляды их встретились, но она вовсе не отвернулась, а продолжала без тени смущения внимательно смотреть на него до тех пор, пока он, поверженный, униженный, не опустил глаза. При этом он стал еще более бледен, в нем взмыл странный сладковато-едкий гнев... Началась музыка.

К концу этого действия случилось так, что госпожа фон Ринлинген уронила веер и тот упал на пол возле господина Фридемана. Оба нагнулись одновременно, но она подняла веер сама и с улыбкой – насмешливой – сказала:

– Благодарю.

Их головы очутились совсем близко, и ему пришлось на мгновение вдохнуть теплый запах ее груди. Лицо его исказилось, он весь съежился, а сердце застучало так отвратительно тяжело и гулко, что прервалось дыхание. Он посидел еще с полминуты, затем отодвинул кресло, тихо встал и тихо вышел.

Преследуемый звуками музыки, он прошел по коридору, принял в гардеробе цилиндр, светлое пальто, трость и по лестнице спустился на улицу.

Был мирный теплый вечер. В свете газовых фонарей, устремив высокие фронтоны в небо, на котором светло и мягко блестели звезды, молча стояли серые дома. Шаги редких прохожих, встречавшихся господину Фридеману, отдавались от тротуара. Кто-то с ним поздоровался, но он не заметил; господин Фридеман низко опустил голову, а высокая, угловатая грудь ходила ходуном, так тяжело он дышал.

– Боже мой! Боже мой! – время от времени тихонько бормотал он.

Ужаснувшись, перепуганным взглядом он заглянул в себя и увидел, как мир его чувств, за которым он так ласково ухаживал, о котором всегда так мягко, умно заботился, теперь взорвался, вздыбился, взвихрился... И вдруг, совершенно потерявшись, в припадке головокружения, опьянения, тоски и муки, он прислонился к фонарному столбу и судорожно прошептал:

– Герда!

Вокруг по-прежнему было тихо, ни души. Маленький господин Фридеман взял себя в руки и двинулся дальше. Он дошел до конца довольно круто спускавшейся к реке улицы, где располагался театр, и по главной свернул на север, к дому...

Как она на него смотрела! Да как! Она ведь вынудила его опустить глаза! Унизила своим взглядом! Разве она не женщина, а он не мужчина? Ведь ее необычные карие глаза при этом буквально трепетали от удовольствия!

Он снова почувствовал, как в нем поднимается эта бессильная сладострастная ненависть, но затем припомнил, как его коснулась ее голова, как он вдохнул запах ее тела, еще раз остановился, запрокинул уродливое туловище, втянул сквозь зубы воздух и опять в полной растерянности, отчаянии пробормотал:

– Боже мой! Боже мой!

И снова, омываемый душным вечерним воздухом, он машинально, медленно двинулся дальше по безлюдным гулким улицам, пока не очутился наконец перед домом. В прихожей он чуть помедлил,дохнул стоявшим там прохладным подвальным запахом и прошел в «кабинет».

Он уселся у раскрытого окна за письменный стол и уставился на крупную желтую розу, которую кто-то поставил ему в стакан с водой. Он взял ее, закрыв глаза, вдохнул аромат, однако затем усталым и печальным жестом отложил в сторону. Нет, нет, все кончено! Что ему теперь этот

аромат? Что ему теперь все, до сих пор составлявшее его «счастье»?..

Он развернулся и стал смотреть на тихую улицу. Время от времени, отдаваясь эхом, приближались и удалялись чьи-то шаги. Блестели неподвижные звезды. Как он смертельно устал и обессилен! В голове стало пусто, и отчаяние постепенно растворилось в большой, мягкой печали. В памяти промелькнуло несколько стихотворных строчек, в ушах снова зазвучала музыка «Лоэнгрина», он опять увидел перед собой госпожу фон Ринлинген, ее белую руку на красном бархате и погрузился в тяжелый, лихорадочно-глухой сон.

XI

Часто он был близок к пробуждению, но боялся этого и всякий раз вновь погружался туда, где не было сознания. Однако когда совсем рассвело, он широко раскрыл глаза и осмотрелся затравленным взглядом. Все ясно стояло перед душой, страдание будто и не прерывалось сном.

Голова отяжелела, глаза горели; однако умывшись и смочив лоб одеколоном, он почувствовал себя лучше и снова тихо сел у окна, которое так и осталось открытым. Было еще очень рано, около пяти. Иногда пробегал мимо какой-нибудь подмастерье пекаря, больше никого. В доме напротив еще были опущены шторы. Но защebetали птицы, и небо осветилось голубым. Наступило чудесное воскресное утро.

Ощущение покоя и уверенности снизошло на маленького господина Фридемана. Чего он боится? Разве что-то изменилось? Да, нужно признаться, вчера случился скверный припадок; но тем все и кончится! Еще не поздно, он еще может избежать гибели! Следует воздерживаться от любого повода, который мог бы опять вызвать припадок; он чувствовал в себе эти силы. Чувствовал силы все преодолеть и полностью подавить в себе...

Пробило половину восьмого, и вошла Фредерика; на круглый стол возле кожаного дивана у задней стены она поставила кофе.

– Доброе утро, Йоханнес, – сказала она. – Твой завтрак.

– Спасибо, – ответил господин Фридеман. И еще: – Дорогая Фредерика, мне очень жаль, но визит вам сегодня придется отдать одним. Я не очень хорошо себя чувствую, чтобы сопровождать вас. Плохо спал, болит голова, короче, вынужден просить...

– Жаль, – откликнулась Фредерика. – Но тебе нельзя совсем манкировать визитом. Однако ты и впрямь неважно выглядишь. Хочешь

мой карандаш от мигрени?

– Спасибо, – покачал головой господин Фридеман. – Пройдет.

И Фредерика ушла.

Стоя у стола, он медленно пил кофе и жевал рогалик. Он был доволен собой, горд своей решимостью. Допив кофе, он взял сигару и снова сел у окна. Завтрак пошел ему на пользу, он почувствовал себя счастливым, почувствовал надежду. Господин Фридеман взял книгу и принялся читать, курить и, щурясь, поглядывать на солнце.

Улица теперь оживилась: в окно врвался грохот колясок, людской гомон и дребезжание конки; но за всем этим слышалось птичье щебетанье, а с сияюще-синего неба наплывал мягкий теплый воздух.

В десять часов он услышал шаги сестер в прихожей, скрип входной двери, потом увидел, как три барышни прошагали мимо окна, однако не обратил на это особого внимания. Прошел час: он чувствовал себя все счастливее и счастливее.

Его охватил какой-то задор. Какой воздух, как щебечут птицы! А что, если пойти погулять? Но вдруг без перехода, со сладким страхом всплыла мысль: «А если пойти к ней?» И самым настоящим мускульным напряжением подавив в себе все, что испуганно предупреждало, с блаженной решимостью он прибавил: «Я иду к ней!»

Он надел черный воскресный костюм, взял цилиндр, трость и, часто дыша, быстро направился через весь город в южное предместье. Не замечая никого вокруг, погруженный в экзальтированную прострацию, он при каждом шаге старательно поднимал и опускал голову, пока не очутился в каштановой аллее перед красным особняком, на входной двери которого можно было прочесть: «Подполковник фон Ринлинген».

XII

Тут его охватила дрожь, и сердце судорожно, тяжело забилося в груди. Но он пересек входную площадку и позвонил. Вот и решилось, назад пути нет. «Пусть все идет как идет», – подумал он. Все в нем вдруг мертвенно стихло.

Дверь распахнулась, вышедший к нему на площадку слуга принял визитную карточку и заторопился с ней вверх по лестнице, застеленной красной дорожкой. На эту дорожку господин Фридеман неподвижно таращился до тех пор, пока вернувшийся слуга не объявил, что госпожа просит оказать любезность и подняться.

Наверху у двери в салон, где он ставил трость, господин Фридеман кинул взгляд в зеркало. Лицо было бледным, волосы над покрасневшими глазами прилипли ко лбу, а рука, державшая цилиндр, неукротимо дрожала.

Слуга открыл дверь, и господин Фридеман вошел. Он очутился в довольно большой, сумрачной комнате; шторы на окнах оказались задвинуты. Справа чернел рояль, а по центру вокруг круглого стола были расставлены обитые коричневым шелком кресла. На левой торцовой стене над диваном в тяжелой золотой раме висел пейзаж. Стены тоже задрапированы темным. В глубине, в эркере стояли пальмы.

Прошла минута, прежде чем госпожа фон Ринлинген откинула справа портьеру и бесшумно подошла к нему по толстому коричневому ковру. На ней было простое платье в черно-красную клетку. Сноп света из эркера, где плясала пыль, упал прямо на тяжелые рыжие волосы, так что они на мгновение вспыхнули золотистым огнем. Она испытующе всмотрелась в него своими странными глазами и, как всегда, выдвинула нижнюю губу.

– Сударыня, – начал господин Фридеман, глядя на нее вверх, так как доходил ей лишь до груди, – я со своей стороны также хотел нанести вам визит. К сожалению, когда вы почтили моих сестер, я отсутствовал и... весьма о том сожалею...

Он совершенно не знал, что еще сказать, но она неумолимо смотрела на него, словно заставляя говорить дальше. Вся кровь вдруг бросилась ему в голову. «Она хочет меня помучить, посмеяться! – подумал он. – И видит насквозь. Как дрожит ее взгляд...» Наконец высоким и таким чистым голосом госпожа Ринлинген сказала:

– Очень любезно, что вы пришли. Мне также давеча было жаль не застать вас. Будьте так добры, присаживайтесь.

Она опустила в кресло недалеко от него, положила руки на подлокотники и откинулась. Он сидел, наклонившись вперед, и держал шляпу между колен. Она продолжила:

– Знаете ли, что еще четверть часа назад здесь были ваши барышни сестры? Они сказали, что вы больны.

– Это так, – ответил господин Фридеман, – сегодня утром я неважно себя чувствовал и полагал, что не смогу выйти из дома. Прошу простить меня за опоздание.

– Вы, кажется, и теперь еще не вполне здоровы, – совсем спокойно промолвила она, неотрывно глядя на него. – Бледны, глаза воспалены. Вы вообще не крепкого здоровья?

– О... в целом не жалуюсь... – пробормотал господин Фридеман.

– Я тоже часто бываю больна, – продолжила она, не сводя с него глаз, –

но этого никто не замечает. Я нервна, и у меня бывают престранные состояния...

Она умолкла, опустила подбородок на грудь и выжидательно посмотрела на него исподлобья. Но он не отвечал. Он сидел неподвижно, устремив на нее большие задумчивые глаза. Как странно она говорила, как трогал его этот чистый, хрупкий голос! Сердце у него успокоилось, он будто видел сон.

– Я не ошибаюсь, вы ведь вчера ушли из театра, не дождавшись конца представления? – снова заговорила госпожа фон Ринлинген.

– Да, сударыня.

– Какая жалость. Вы показались мне внимательным соседом, хотя постановка и не хороша, или относительно хороша. Так вы любите музыку? Играете на фортепиано?

– Я немного играю на скрипке, – ответил господин Фридеман. – Ну, то есть... это почти ничего...

– Вы играете на скрипке? – переспросила она.

Затем устремила взгляд куда-то мимо, в воздух, и задумалась.

– Но тогда мы могли бы иногда музицировать, – внезапно сказала она. – Я могу немного аккомпанировать и была бы рада найти здесь кого-нибудь... Вы придете?

– С удовольствием поступаю в ваше распоряжение, сударыня, – ответил он, все еще будто во сне.

Наступила пауза. И тут выражение ее лица вдруг изменилось. Он увидел, как оно исказилось в едва уловимую жестокую насмешку, как взгляд ее опять устремился на него с тем жутким дрожанием, как уже дважды давеча. Лицо его запылало румянцем, и, не зная, куда деваться, совершенно беспомощный, растерянный, он низко-низко втянул голову в плечи и оторопело уставился на ковер. Однако его снова обдал тот бессильный, сладковато-мучительный гнев...

Когда он с отчаянной решимостью вновь поднял глаза, она уже отвела взгляд и поверх его головы уже спокойно смотрела в сторону двери. Он с трудом выдавил несколько слов:

– Сударыня более-менее довольна пребыванием в нашем городе?

– О, разумеется, – равнодушно откликнулась госпожа фон Ринлинген. – Отчего же мне не быть довольной? Правда, такое ощущение, что на меня насаждают, наблюдают, но... Кстати, – вдруг сменила она тему, – пока не забыла: мы думаем в ближайшие дни пригласить несколько человек, небольшая непринужденная компания. Можно помузицировать, поболтать... Кроме того, за домом у нас чудесный сад, он идет до самой

реки. Словом, вы и ваши барышни, разумеется, еще получите приглашение, но я уже сейчас прошу вас прийти. Вы доставите нам это удовольствие?

Господин Фридеман едва успел выразить свою благодарность и согласие, как дверная ручка энергично опустилась и вошел подполковник. Оба встали, и пока госпожа фон Ринлинген представляла мужчин, супруг одинаково вежливо поклонился господину Фридеману и ей. От жары его загорелое лицо сильно лоснилось.

Снимая перчатки, он сильным, резким голосом говорил что-то господину Фридеману, который смотрел на него снизу вверх большими бездумными глазами и все ждал, что тот благосклонно похлопает его по плечу. Но подполковник, прищелкнув каблуками и слегка наклонившись, повернулся к супруге и, заметно понизив голос, спросил:

– Ты уже просила господина Фридемана быть на нашем скромном вечере, дорогая? Если у тебя не будет возражений, думаю, его можно устроить через восемь дней. Надеюсь, погода продержится и мы сможем выйти в сад.

– Как хочешь, – ответила госпожа фон Ринлинген, глядя куда-то мимо.

Через две минуты господин Фридеман простился. Еще раз поклонившись в дверях, он встретил ее взгляд, покоившийся на нем безо всякого выражения.

XIII

Он ушел, но не вернулся в город, а невольно свернул на дорожку, что отходила от аллеи и вела к бывшему крепостному валу у реки. Там располагался ухоженный парк, тенистые тропинки, скамейки.

Он шагал быстро, ни о чем не думая, не поднимая глаз. Ему было нестерпимо жарко, он чувствовал, как внутри вспыхивают и гаснут языки пламени и неумолимо стучит в усталой голове...

Может, на него все еще давил ее взгляд? Но не как под конец, пустой и без выражения, а давешний, после странно-тихий речей, судорожно-жестокий. Ах, неужели ее забавляет его беспомощность, растерянность? Но если уж она видит его насквозь, могла бы проявить хоть толику сострадания?

Внизу у реки он прошел вдоль поросшего зеленью вала и сел на скамейку, за которой полукругом цвел жасмин. Все вокруг заполнил сладкий, душный запах. Прямо перед ним над судорожной водой нависло солнце.

Он чувствовал себя таким усталым, вымотанным, и тем не менее все в нем мучительно бурлило! Разве не лучше еще раз, осмотревшись кругом, зайти в тихую воду, чтобы после короткого страдания освободиться и обрести покой? Ах, покоя, он желал лишь покоя! Но не покоя в пустом, глухом небытии, а в мире, ласкаемом мягким солнцем, полном хороших, тихих мыслей.

В это мгновение Йоханнеса Фридемана пронзила вся его нежная любовь к жизни и глубокая тоска по утраченному счастью. Но затем он окинул взором безмолвный, бесконечно равнодушный покой природы, увидел, как несет свои воды залитая солнцем река, как судорожно колышется трава, и растут цветы, распустившиеся лишь для того, чтобы увянуть и угаснуть, увидел, как все, все с немой покорностью склоняется пред бытием, – и невольно принял, согласился с необходимостью, способной дать силу над судьбой.

Господин Фридеман припомнил вечер своего тридцатого дня рождения, когда ему казалось, что он, счастливый обладатель душевного мира, без страха и надежды смотрит в оставшуюся ему жизнь. Он не видел в ней ни света, ни тени, все перед ним стелилось в мягких сумерках, а сам он почти незаметно растворялся где-то внизу, во мраке, и со спокойной, чуть свысока улыбкой смотрел в годы, которым еще только предстояло прийти, – как давно это было?

А потом появилась эта женщина, она должна была появиться, это его судьба, она и есть его судьба, она одна! Разве он не почувствовал этого в первое же мгновение? Она появилась, и, хоть он и пытался защитить свой мир, из-за нее в нем неизбежно всколыхнулось все, что он подавлял в себе с юности, чувствуя, что для него это означает муку и крах; чудовищная, неодолимая сила подхватила его и влекла к гибели!

Его влекло к гибели, он это чувствовал. Тогда зачем еще бороться и мучиться? Пусть все идет, как идет! Лучше, не сворачивая со своего пути, закрыть перед разверзнувшейся пропастью глаза – с покорностью судьбе, покорностью превосходящей, мучительно-сладкой силе, убежать от которой никто не в силах.

Блестела вода, резким душным запахом дышал жасмин, вокруг на деревьях, в кронах которых сияло тяжелое, синего бархата небо, щебетали птицы. Но маленький горбатый господин Фридеман еще долго сидел на скамейке. Он сидел нагнувшись, обхватив обеими руками лоб.

Все были единодушны в том, что у Ринлингенов замечательно весело. За длинным, со вкусом сервированным столом, вытянувшимся в просторной столовой, расселось человек тридцать; слуга и два специально нанятых официанта уже торопились обнести мороженым, звенела и бренчала посуда, от блюд и духов поднимались теплые испарения. Здесь собрались степенные оптовые торговцы с супругами и дочерьми, а также почти все офицеры гарнизона, старый доктор – всеобщий любимец, несколько юристов и все, кто причислял себя к высшим кругам города. Присутствовал и некий студент-математик, племянник подполковника, навещавший родственников; он вел глубокомысленные разговоры с барышней Хагенштрём, сидевшей напротив господина Фридемана.

Тот восседал на красивой бархатной подушке в дальнем конце стола подле некрасивой супруги директора гимназии и неподалеку от госпожи фон Ринлинген, которую подвел к столу консул Штефенс. Поразительно, какие изменения произошли с маленьким господином Фридеманом за эти восемь дней. Может, в том, что лицо его казалось таким пугающе бледным, отчасти был виноват белый газовый свет, заполнявший залу; но щеки его запали, покрасневшие, в темных кругах глаза приобрели невыразимо печальный блеск, а уродливость будто сделалась еще уродливее. Он пил много вина и изредка обращался к соседке.

За столом госпожа фон Ринлинген еще не обменялась с господином Фридеманом ни словом; теперь она слегка наклонилась и крикнула ему:

– Я напрасно ждала вас эти дни, вас и вашу скрипку!

Мгновение, прежде чем ответить, он смотрел на нее с совершенно отсутствующим видом. На ней был легкий светлый туалет, открывавший белую шею, а в свечах волосах закреплена пышно распустившаяся роза «Маршал Нил». Щеки сегодня вечером несколько порозовели, но в уголках глаз, как всегда, лежали голубоватые тени.

Господин Фридеман опустил взгляд в тарелку и выдавил что-то в ответ, после чего ему пришлось ответить на вопрос жены директора гимназии, любит ли он Бетховена. В этот момент, однако, сидевший во главе стола подполковник бросил взгляд на супругу, постучал о бокал и сказал:

– Господа, предлагаю пить кофе в других комнатах. Кстати, сегодня вечером должно быть неплохо и в саду, если кто желает подышать воздухом, я присоединяюсь.

Наступившую тишину тактично нарушил остротой лейтенант фон Дайдесхайм, так что все поднялись с мест под веселый смех. Господин Фридеман вместе со своей дамой одним из последних покинул залу; он

провел ее через «старонемецкую» комнату, где уже курили, в полутемную уютную гостиную и простился.

Одет он был тщательно: безупречный фрак, белоснежная рубашка, а узкие, красивой формы стопы в лакированных туфлях. Иногда показывались чулки красного шелка.

Выглянув в коридор, он увидел, что гости довольно большими группами уже спускаются по лестнице в сад. Но сам с сигарой и кофе сел у дверей «старонемецкой» комнаты, где стоя болтали несколько мужчин, и стал смотреть в гостиную.

Справа от двери вокруг маленького стола образовался небольшой кружок, в центре которого оказался горячо говоривший студент. Он заявил, что через одну точку можно провести несколько параллельных линий. Адвокатша Хагенштрём воскликнула: «Но это невозможно!», и теперь студент так убедительно сие доказывал, что все делали вид, будто его понимают.

А в глубине комнаты на оттоманке, возле которой стоял невысокий торшер с красным абажуром, беседуя с юной барышней Штефенс, сидела Герда фон Ринлинген. Она чуть откинулась на желтую шелковую подушку и, перебросив ногу на ногу, медленно курила, выдыхая дым через нос и выпятив нижнюю губу. Барышня Штефенс вытянулась перед ней, будто деревянная, и, боязливо улыбаясь, отвечала на вопросы.

Никто не обращал внимания на маленького господина Фридемана, и никто не заметил, что он не сводит больших глаз с госпожи фон Ринлинген. Несколько развалившись на стуле, он сидел и смотрел на нее. Во взгляде не было ничего страстного, вряд ли была и боль; в нем лежало что-то тупое и мертвое, глухая, бессильная и безвольная покорность.

Так прошло минут десять, и госпожа фон Ринлинген неожиданно поднялась, не глядя на него, будто все это время тайком за ним наблюдала, подошла и остановилась возле его стула. Он встал, запрокинул голову вверх и услышал:

– Не угодно ли проводить меня в сад, господин Фридеман?

– С удовольствием, сударыня, – ответил он.

XV

– Вы ведь еще не видели нашего сада? – спросила она на лестнице. – Он довольно большой. Надеюсь, там не слишком много народу; хочу подышать. За ужином у меня разболелась голова; может, слишком для меня

крепкое красное вино... Нам сюда, в эту дверь.

Через стеклянную дверь они прошли от лестницы на маленькую, холодную входную площадку; несколько ступенек спускались прямо к земле. Чудесная звездно-ясная теплая ночь набухла запахом всех клумб. Сад был залит светом полной луны, а на белых, светящихся, посыпанных гравием дорожках, куря и переговариваясь, прохаживались гости. Одна группа собралась у фонтана, где старый доктор, всеобщий любимец, под веселый смех пускал бумажные кораблики.

Госпожа фон Ринлинген, слегка кивнув, прошла мимо и указала вдаль, где элегантные, душистые цветники сменялись темнотой парка.

– Пойдемте по центральной аллее, – сказала она.

В начале ее стояло два невысоких широких обелиска.

В самом конце прямой, как стрела, каштановой аллеи они увидели, как в лунном свете зеленовато-блестяще посверкивает река. Вокруг было темно и прохладно. Иногда от аллеи отходили дорожки, которые дугой, вероятно, тоже спускались к реке. Довольно долго царило полное молчание.

– У воды, – сказала госпожа фон Ринлинген, – есть симпатичное место, я уже частенько там сидела. Можно поболтать. Смотрите, сквозь листву пробиваются звезды.

Господин Фридеман не отвечал, он смотрел на зеленую мерцающую поверхность, к которой они приближались. Отсюда можно было различить противоположный берег, городской вал. Когда они вышли из аллеи на спускающуюся к реке лужайку, госпожа фон Ринлинген сказала:

– Наше место чуть правее. Смотрите, не занято.

Скамейка, на которую они сели, стояла в шести шагах правее аллеи у самого парка. Здесь было теплее, чем под раскидистыми деревьями. В траве, у воды, переходившей в тонкий камыш, стрекотали кузнечики. Залитая луной река отдавала мягкий свет.

Какое-то время оба молчали, глядя на воду. Однако затем господин Фридеман вздрогнул и, потрясенный, вслушался, так как его снова коснулся голос, слышанный им неделю назад, этот тихий, задумчивый, нежный голос:

– С каких пор у вас увечье, господин Фридеман? – спросила госпожа фон Ринлинген. – Вы таким родились?

Он сглотнул, потому что перехватило горло, а затем тихо, учтиво ответил:

– Нет, сударыня. Младенцем меня уронили на пол, поэтому.

– А сколько вам теперь лет? – спросила она еще.

– Тридцать, сударыня.

– Тридцать, – повторила она. – И вы не были счастливы эти тридцать лет?

Господин Фридеман несколько раз потрянул головой, губы его дрожали.

– Нет, – сказал он. – Это я все лгал и воображал.

– Вы, стало быть, думали, будто счастливы? – спросила она.

– Пытался, – ответил он.

И она заметила:

– Отважно.

Прошла минута. Только стрекотали кузнечики и позади тихо-тихо шелестели деревья.

– Мне немного известно, что такое несчастье, – сказала она затем. – Такие летние ночи у воды прямо созданы для этого.

На что он не ответил, а слабо махнул рукой в сторону того берега, мирно лежавшего во тьме.

– Там я недавно сидел, – сказал он.

– Когда ушли от меня? – спросила она.

Он только кивнул.

Однако затем вдруг конвульсивно вскочил со скамейки, всхлипнул, испустил стон, жалобный стон, имевший в себе вместе с тем нечто высвобождающее, и медленно опустился перед ней на землю. Ладонью он коснулся руки, лежавшей рядом, на скамейке, и, держа ее, схватив и другую, содрогаясь и сотрясаясь, распростершись перед ней, прижав лицо к ее коленям, этот маленький, такой уродливый человек, задыхаясь, забормотал нечеловеческим голосом:

– Вы ведь знаете... Позволь мне... Я больше не могу... Боже мой... Боже мой...

Она не сопротивлялась, но и не наклонилась. Она сидела выпрямившись, слегка от него отстранившись, а маленькие, близко посаженные глаза, в которых словно отражалось влажное мерцание воды, неподвижно и напряженно смотрели прямо, выше, вдаль.

А затем вдруг рывком, с резким, горделивым, презрительным смешком она выдернула руки из горячих пальцев, ухватила его за локоть, отшвырнула на землю, поднялась и исчезла в аллее.

Он лежал, уткнувшись лицом в траву, оглушенный, растерянный, и дрожь то и дело пробегала по его телу. Затем с трудом встал, сделал два шага и снова упал. Он лежал у воды.

Что же происходило в нем после того, как это случилось? Может, вернулась та сладострастная ненависть, что он чувствовал, когда она унижала его взглядом, и что теперь, когда он валялся на земле, как побитая

ею собака, переродилась в безумную ярость, которую необходимо утолить действием, пусть и направленным против себя... Может, отвращение к себе, наполнившее его жаждой уничтожить себя, разодрать себя в клочья, истребить...

Он немного прополз на животе, приподнял туловище и бросил его в воду. Он больше не двинул головой, не двинул даже ногами, оставшимися на берегу.

Когда плеснуло водой, кузнечики на мгновение умолкли. Теперь они вновь вступили, тихонько зашелестел парк, а в длинной аллее послышался приглушенный смех.

Луизхен

I

Существуют браки, возникновение которых не в состоянии вообразить себе самая изощренная беллетристическая фантазия. Их следует принимать, как на театре принимаешь авантурные сочетания противоположностей, к примеру, старости и глупости с красотой и живостью – заданные условия, закладывающие основу для математического построения фарса.

Что до супруги адвоката Якоби, она была молода и красива – женщина необыкновенной привлекательности. Лет, ну, скажем, тридцать назад ее крестили Анной-Маргаретой-Розой-Амалией, но с тех пор, сложив первые буквы, называли не иначе как Амра – именем, своим экзотическим звучанием подходившим к ней, как никакое другое. Ибо хотя темень сильных, мягких волос, которые она носила на левый пробор, зачесывая с узкого лба в обе стороны наискось, была всего лишь коричневой гущей каштанового плода, кожа тем не менее отливала совершенно южной матовой, смуглой желтизной, обтягивая формы, также словно созревшие под южным солнцем и своим вегетативным, флегматичным великолепием наводившие на мысль о какой-нибудь султанше. Этому впечатлению, подтверждаемому каждым ее жадно-вялым жестом, ничуть не противоречил тот факт, что разум этой женщины, по всей вероятности, был подчинен сердцу. Стоило ей хоть раз посмотреть на вас невежественными карими глазами – при этом она весьма оригинально четкой горизонталью вдавливала красивые брови в почти трогательно узкий лоб, – и все становилось ясно. Но она, нет, она не была такой уж простушкой, чтобы этого не знать: она просто-напросто предпочитала не выставлять на всеобщее обозрение свои слабые места, редко и мало говоря; а что возразишь против красивой немногословной женщины. О, слово «простушка», скажем прямо, никак к ней не годилось. Взгляд Амры свидетельствовал не просто о глупости, еще и о каком-то похотливом лукавстве; сразу было видно, что женщина эта не настолько ограничена, дабы не иметь склонности победокурить... Кстати, в профиль нос ее смотрелся, пожалуй, немного слишком крупно и мясисто; но роскошный широкий рот был красив совершенной красотой, хотя и не имел никакого

иного выражения, кроме как чувственного.

Итак, эта вселяющая тревожные опасения женщина являлась супругой адвоката Якоби, лет сорока, и вид его поражал всех и каждого. Он был в теле, этот адвокат, он был больше чем в теле, настоящий колосс, а не мужчина! Нижние конечности в вечных пепельно-серых брюках колонноподобной бесформенностью напоминали ноги слона, подбитая волнообразной жировой подкладкой спина была спиной медведя, а чудной, обычный его серо-зеленый пиджачишка с таким трудом застегивался поверх невероятного шарообразного живота на одну-единственную пуговицу, что тут же разлетался в обе стороны до самых плеч, стоило лишь эту пуговицу расстегнуть. На таком-то мощном туловище почти без перехода на шею сидела, однако, сравнительно маленькая голова с узкими водянистыми глазками, коротким плотным носом и свисающими в своей избыточности щеками, между которыми терялся малюсенький рот со скорбно опущенными уголками. Круглый череп, а также верхнюю губу покрывала редкая жесткая щетка светлых волос, под ней, как у перекормленной собаки, равномерно проглядывала голая кожа... Ах, да всем тут же становилось ясно, что полнота адвоката не здорового свойства. Великанское как в длину, так и в ширину тело было слишком жирным, но не мускулистым, и часто можно было наблюдать, как кровь внезапно приливает к отечному лицу, чтобы так же внезапно уступить место желтоватой бледности, а рот при этом кисло кривится...

Практику адвокат вел весьма ограниченную; но поскольку он, отчасти со стороны супруги, имел немалое состояние, то чета – кстати, бездетная – занимала на Кайзерштрассе удобный этаж и была активно вовлечена в жизнь общества; правда, несомненно, в соответствии со склонностями госпожи Амры, так как адвокат, участвовавший во всем лишь с каким-то вымученным старанием, никак не мог быть при том счастлив. Характер этого толстого человека можно назвать самым странным. Не было на свете никого вежливее, уступчивее, предупредительнее; но, пожалуй, не отдавая себе в том отчета, все ощущали, что это сверхдружелюбное и льстивое поведение по каким-то причинам вынужденно, что в основе его малодушие и внутренняя неуверенность – становилось неприятно. Нет зрелища отвратительнее, чем человек, презирающий сам себя, но все же из трусости и тщеславия желающий быть обаятельным и нравиться: не иначе, по моему убеждению, обстояло дело и с адвокатом, который в своем почти пластающемся самоумалении заходил слишком далеко, чтобы сохранять необходимое личное достоинство. Он мог сказать даме, которую хотел подвести к столу: «Сударыня, я, конечно, очень противный, но не угодно

ли?..» И говорил он так, не обладая талантом посмеяться над собой, сладковато-горько, вымученно и отталкивающе. Следующий анекдот также достоверен. Однажды, когда адвокат прогуливался, какой-то рабочий, громыхая мимо ручной тележкой, крепко проехался ему по ноге колесом. Увалень слишком поздно придержал тележку и обернулся, на что адвокат, совершенно оторопев, побледнев, с трясущимися щеками, низко-низко надвинул шляпу на лоб и пробормотал: «Простите». Подобное приводит в негодование. Но этого странного колосса, казалось, постоянно мучила совесть. Появляясь со своей супругой на «холме Жаворонков» – главной эспланаде города, – он ревностно, боязливо и бегло со всеми здоровался, время от времени бросая робкие взгляды на изумительно эластично вышагивающую Амру, словно испытывая потребность смиренно склониться перед каждым лейтенантом и попросить прощения за то, что он, именно он обладает этой красивой женщиной; и в жалостной приветливости поджатые губы, казалось, умоляли, чтобы над ним только, ради бога, не смеялись.

II

Намек уже прозвучал: почему, собственно, Амра вышла замуж за адвоката Якоби, остается лишь гадать. Он, однако, со своей стороны, он любил ее, и любовью столь пылкой, что, несомненно, редко встречается у людей его комплекции, и столь смиренной и робкой, что гармонировала с его натурой в целом. Часто поздно вечером, когда Амра уже отправлялась на покой в большую спальню, высокие окна которой были задернуты сборенными гардинами в цветочек, адвокат так тихо, что слышались не шаги его, а лишь медленное подрагивание пола и мебели, подходил к тяжелой кровати, становился на колени и бесконечно осторожно брал ее за руку. Обычно в подобных случаях Амра горизонтально вдавливала брови в лоб и молча, с выражением чувственной злобы смотрела на своего непомерного мужа, распростершегося перед ней в слабом свете ночной лампы. Он же, пухлыми трясущимися руками бережно отводя с ее локтя рубашку и вжимая печально-толстое лицо в мягкий сгиб этой полной смуглой руки, туда, где на темной коже проступали мелкие голубые прожилки, – он начинал говорить приглушенным дрожащим голосом, как вообще-то разумный человек в повседневной жизни не говорит.

– Амра, – шептал он, – моя дорогая Амра! Я тебе не помешал? Ты еще не спишь? Господи, я целый день думал о том, как ты красива и как я тебя

люблю!.. Послушай, что я хочу тебе сказать... Это так сложно выразить... Я так тебя люблю, что у меня иногда сжимается сердце и я не знаю, куда деваться; я люблю тебя выше моих сил! Ты, должно быть, этого не понимаешь, но верь мне... и хоть раз ты должна сказать, что немного благодарна, потому что, понимаешь, такая любовь, как моя к тебе, имеет в этой жизни свою ценность... и что ты меня никогда не предашь и не обманешь, пусть ты и не можешь меня любить, но из благодарности, из одной благодарности... Я пришел попросить тебя об этом, я так тебя прошу, я очень прошу...

Такие речи обыкновенно заканчивались тем, что адвокат, не меняя положения тела, начинал тихо и горько плакать. В таком случае Амра, однако, бывала тронута, гладила супруга по щетке волос и несколько раз утешительно и насмешливо, как обращаются к пришедшейлизатьноги собаке, тягуче повторяла:

– Да-а! Да-а! Славный пес!..

Подобное поведение Амры, безусловно, не являлось поведением добропорядочной женщины. Пора мне также сбросить наконец бремя правды, которую я до сих пор утаивал, той именно правды, что она все-таки обманывала своего супруга, что она ему, так сказать, изменяла с господином по имени Альфред Лойтнер. То был молодой одаренный композитор, который в свои двадцать семь лет небольшими забавными сочинениями уже приобрел недурное имя; стройный человек с нахальным лицом, светлыми, вольно уложенными волосами и солнечной улыбкой в глазах, очень продуманной. Он относился к тому типу нынешних мелких художников, которые требуют от себя не очень многого, прежде всего хотят быть счастливыми и славными, пользоваться своим симпатичным мелким талантом в целях повышения личного обаяния и в обществе любят производить впечатление наивной гениальности. При всей их сознательной ребячливости, безнравственности, бессовестности, жизнерадостности, самовлюбленности – а к тому же довольно крепком здоровье, чтобы сохранять способность нравиться себе и в болезнях, – тщеславие их в самом деле симпатично, до тех пор пока его крепко не задела. Горе, однако, этим мелким счастливым и лицедеям, коли им выпадет серьезное несчастье, страдание, с которым не пококлетничаешь, в котором они уже не смогут себе нравиться! Они не будут знать, как быть несчастными достойно, не сообразят, как «подступить» к страданию, погибнут... Однако это отдельная история. Господин Лойтнер сочинял прелестные вещички: по преимуществу вальсы и мазурки, веселость которых отдавала, правда, чуть чрезмерной общедоступностью, чтобы позволительно было

(насколько я в этом разбираюсь) причислить их к «музыке», если бы каждое из этих сочинений не содержало в себе оригинального фрагментика, перехода, вступления, гармоничной фразы, какого-нибудь крошечного нервного воздействия, выдававшего остроумие и изобретательность, ради чего они, казалось, и были сделаны и которые делали их интересными и для серьезных знатоков. Часто эти два одиноких такта несли в себе нечто удивительно печальное и тоскливое, что, внезапно и быстро заканчиваясь, взрывалось танцевальным задором пьески в целом...

К этому-то молодому человеку Амра Якоби и пылала преступной привязанностью, а он не имел довольно нравственных оснований противостоять ее соблазнам. Встречались там, встречались сям, нецеломудренные отношения связывали их давным-давно – отношения, о которых весь город знал и о которых весь город судачил за спиной адвоката. А что же он? Амра была слишком глупа, чтобы страдать от угрызений совести и тем самым выдать себя. Нужно утверждать как нечто вполне очевидное: адвокат, сколь бы сердце его ни отягощали беспокойство и страх, не мог питать против супруги своей никакого конкретного подозрения.

III

И вот, дабы порадовать каждую душу, на землю опустилась весна, и Амре пришла в голову чудеснейшая мысль.

– Кристиан, – сказала она (адвоката звали Кристианом), – устроим праздник, большой праздник в честь свежего весеннего пива – совсем простой, конечно, одна холодная телятина, зато много людей.

– Разумеется, – откликнулся адвокат. – Но нельзя ли несколько повременить?

На это Амра не ответила, а тут же пустилась в подробности:

– Представляешь, столько людей, что у нас будет слишком тесно; придется снять помещение, сад, зал у городских ворот, чтобы вдоволь места и воздуха. Ну, ты понимаешь. Я имею в виду, конечно, большой павильон господина Венделина, у подножия холма Жаворонков. Он стоит в стороне, с самой пивоварней соединен только проходом. Мы его празднично украсим, поставим длинные столы и будем пить весеннее пиво, танцевать, музицировать, а может, даже устроим какое-нибудь представление. Там, я знаю, есть небольшая сцена, ей я придаю особое

значение... Ну, словом, это должен быть самый оригинальный праздник, мы замечательно повеселимся.

Лицо адвоката во время этого разговора чуть пожелтело, а задержавшиеся уголки рта опустились. Он сказал:

– Рад всей душой, моя дорогая Амра. Знаю, что могу положиться на твое умение. Прошу тебя все подготовить, как считаешь нужным...

IV

И Амра все подготовила, как считала нужным. Она посоветовалась с представителями общества, она лично арендовала большой павильон господина Венделина, она даже создала нечто вроде комитета, составившегося из господ, которых просили или которые вызвались посодействовать веселому представлению, призванному украсить праздник... За исключением супруги придворного актера Хильдебрандта, певицы, в комитет вошли одни мужчины – сам господин Хильдебрандт, ассессор Витцнагель, некий молодой художник и господин Альфред Лойтнер, не считая нескольких студентов, приглашенных благодаря ассессору, – им надлежало исполнить негритянские танцы.

Уже целых восемь дней, после того как Амра приняла решение, комитет с совещательными целями собирался на Кайзерштрассе, а именно в салоне Амры, небольшой, теплой, заставленной комнате, украшенной толстым ковром, оттоманкой со множеством подушек, веерообразной пальмой, английскими кожаными креслами и столом красного дерева с гнутыми ножками, на котором лежала плюшевая скатерть и стояли роскошные безделушки. Был и камин, еще подтопленный; черную каменную плиту украшали пара тарелок с красиво сервированными бутербродами, фужеры и два графина хереса. Амра, непринужденно перебросив ногу на ногу, откинулась на подушки осененной веерообразной пальмой оттоманки и сияла красотой теплой ночи. Блузка из светлого и очень легкого шелка обтягивала грудь, а юбка была из тяжелой, темной, вышитой крупными цветами ткани; время от времени она отводила с узкого лба каштановую волну волос. Госпожа Хильдебрандт, певица, также сидела подле нее на оттоманке; у той были рыжие волосы, она сегодня надела костюм для верховой езды. А напротив дам тесным полукругом расселись мужчины – посреди них адвокат, облюбовавший совсем низенькое кожаное кресло и выделявшийся невыразимо несчастным видом; он то и дело тяжело вздыхал и сглатывал, словно боролся с подступающей тошнотой...

Господин Альфред Лойтнер, в теннисном костюме из линона, отказался от стула и, нарядный, радостный, прислонился к камину, уверив, что не может так долго сидеть без движения.

Господин Хильдебрандт благозвучным голосом заговорил об английских песнях. Это был крайне солидный и отменно одетый в черное мужчина с крупной головой кесарей и уверенными повадками – придворный актер, прекрасно образованный, с обширной эрудицией и утонченным вкусом. За серьезными разговорами он любил покритиковать Ибсена, Золя и Толстого – ведь они все преследуют предосудительные цели; но сегодня любезно снизошел до обсуждения незначительного предмета.

– Возможно, господам известна прелестная песня «That's Maria!»^[6]... – сказал он. – Она несколько пикантна, но воздействие оказывает необычайное. Кроме того, можно знаменитую... – И он предложил еще несколько песен, относительно которых в конечном счете была достигнута договоренность, а госпожа Хильдебрандт изъявила желание их спеть.

Молодому художнику, господину с низко опущенными плечами и светлой бородкой клинышком, была поручена пародия на фокусника, а господин Хильдебрандт возымел намерение представить знаменитых мужей... Короче, все развивалось как нельзя лучше, и, казалось, программа уже составлена, как вдруг снова взял слово господин ассессор Витцнагель, которого отличали обходительные жесты и дуэльные, со студенчества, шрамы.

– Все это прекрасно, господа, и в самом деле обещает быть увлекательным. Однако осмелюсь высказать одно замечание. Сдается мне, нам чего-то недостает, а именно главного номера, блистательного, гвоздя, кульминации... чего-то совсем особенного, ошеломительного, шутки, которая довела бы веселье до апогея... Словом, на ваше усмотрение, определенных мыслей у меня нет, но чувство говорит мне...

– А в принципе верно! – послышался у камина тенор господина Лойтнера. – Витцнагель прав. Главный заключительный номер был бы весьма желателен. Давайте подумаем... – И несколькими энергичными движениями поправив красный ремень, он внимательно осмотрел собравшихся. Выражение его лица было и впрямь симпатичным.

– Ну что ж, – заметил господин Хильдебрандт, – если не угодно воспринимать знаменитых мужей как кульминацию...

Все согласились с ассессором. Самый шутливый, главный номер желателен. Даже адвокат покивал и тихо сказал:

– И вправду – что-нибудь непревзойденно веселое...

Все погрузились в раздумья.

И вот в конце этой паузы, длившейся примерно минуту и прерываемой лишь негромкими задумчивыми восклицаниями, произошло странное. Амра сидела, откинувшись на подушки оттоманки, проворно и усердно, как мышь, грызла острый ноготь маленького мизинца, а лицо ее приняло весьма своеобразное выражение. У рта залегла улыбка, отсутствующая, почти безумная улыбка, свидетельствующая о болезненной и вместе с тем жестокой похотливости, а глаза, очень широко открытые и очень пустые, медленно обратились к камину, где на секунду задержались во взгляде молодого музыканта. Однако затем, опустив руки на колени, она рывком, всем туловищем наклонилась к супругу, адвокату, впилась в него тягучим, цепким взглядом, причем лицо ее заметно побледнело, и густо, медленно произнесла:

– Кристиан, я предлагаю, чтобы под конец ты вышел в красном шелковом детском платице, как певичка, и что-нибудь станцевал.

Эффект от этих немногих слов был невероятным. Только юный художник постарался добродушно рассмеяться, господин же Хильдебрандт с каменно-холодным лицом решил почистить рукав, студенты закашлялись и принялись неприлично громко использовать носовые платки, госпожа Хильдебрандт сильно покраснела, что случалось не часто, а ассессор Витцнагель просто сбежал за бутербродом. Адвокат в мучительной позе замер на низком кресле и, осмотревшись по сторонам желтым лицом, с испуганной улыбкой пробормотал:

– Но, Боже мой... я... вряд ли способен... не то чтобы... простите меня...

Беспечность на лице Альфреда Лойтнера куда-то пропала. Он приобрел такой вид, как если бы немного покраснел, и, вытянув голову, смотрел в глаза Амры – смущенно, непонимающе испытующе...

Та же, не изменив своей требовательной позы, так же настойчиво продолжала:

– И, Кристиан, ты должен спеть песню, которую сочинит господин Лойтнер, а он будет аккомпанировать тебе на фортепиано; это будет грандиозная и самая эффектная кульминация нашего праздника.

Воцарилась пауза, гнетущая пауза. Затем, однако, совершенно неожиданно произошло удивительное, а именно: словно заразившись, увлекшись, возбуждвшись, господин Лойтнер сделал шаг вперед и, дрожа от своего рода внезапного восторга, быстро заговорил:

– Боже мой, господин адвокат, я готов, я заявляю о своей готовности что-нибудь для вас сочинить... Вы должны спеть, должны станцевать... Да

это единственно возможная кульминация праздника... Вот увидите, вот увидите – это будет лучшее из того, что я сделал и когда-либо сделаю... В красном шелковом детском платье! Ах, ваша супруга художница, художница, говорю я вам! Иначе ей бы такое и в голову не пришло! Скажите «да», умоляю вас, соглашайтесь! Я такое напишу, такое сделаю, вот увидите...

Тут все разрядилось, все пришло в движение. Из недоброжелательства или вежливости – все навалилось на адвоката с просьбами, и госпожа Хильдебрандт зашла так далеко, что голосом Брюнхильды громко-громко сказала:

– Господин адвокат, вы ведь вообще-то веселый, занятный человек!

Однако и сам он, адвокат, нашел теперь слова и, хоть еще слегка желтый, с высоким коэффициентом решительности произнес:

– Но послушайте, господа, что же мне сказать? Я не гожусь, поверьте. У меня мало комического дара, да и помимо того... короче, нет, к сожалению, это невозможно.

Он отпирался с непоколебимым упрямством и поскольку Амра больше не вмешивалась в дискуссию, поскольку она с довольно отсутствующим видом снова откинулась на подушки и поскольку господин Лойтнер тоже больше не сказал ни слова, а лишь с пристальным вниманием уставился на арабески ковра, господину Хильдебрандту удалось направить разговор в другое русло, и скоро общество разошлось, так и не придя к какому-либо решению по последнему вопросу.

Вечером того же дня, однако, когда Амра отправилась спать и лежала с открытыми глазами, тяжелым шагом вошел ее супруг, пододвинул к кровати стул, опустился на него и тихо, нерешительно заговорил:

– Послушай, Амра, честно говоря, меня одолевают сомнения. Если сегодня собрание натолкнулось на мой слишком резкий отказ, если я огорчил его, видит Бог, я не имел такого намерения! Или ты серьезно полагаешь... прошу тебя...

Амра мгновение помолчала, и брови ее медленно вдавились в лоб. Затем она пожала плечами и сказала:

– Не знаю, что тебе ответить, друг мой. Ты повел себя, как я совершенно от тебя не ожидала. В невежливых выражениях ты отказался поддержать программу своим содействием, в чем – и это может тебе только польстить – все усматривали необходимость. Ты, выражаясь мягко, сильно всех разочаровал и грубой неучтивостью испортил праздник, в то время как твой долг хозяина велит...

Адвокат опустил голову и, тяжело дыша, произнес:

– Нет, Амра, я не хотел быть неучтивым, поверь. Я не хочу никого обижать и вызывать неудовольствие, и если повел себя гадко, то готов это исправить. Ведь речь идет о шутке, переодевании, невинном удовольствии – почему бы и нет? Я не хочу портить праздник, я готов...

На следующий день после обеда Амра опять выехала «за покупками». Она остановилась у дома номер 78 по Хольцштрассе и поднялась на третий этаж, где ее ждали. И, растянувшись, растворившись в любви, прижимая его голову к груди, страстно прошептала:

– Сделай для четырех рук, слышишь! Мы будем вместе ему аккомпанировать, а он будет петь и танцевать. Я сама, сама возьму на себя костюм...

И странная дрожь, подавленный, судорожный смех пронзил обоих.

V

Всякому, кто желает устроить увеселение, праздник на широкую ногу под открытым небом, лучше всего порекомендовать площади господина Венделина на холме Жаворонков. С прелестной улицы предместья через высокие решетчатые ворота попадаешь в похожий на парк, принадлежащий заведению сад, в центре которого расположен просторный павильон. Этот павильон, соединенный с рестораном, кухней и пивоварней лишь узким проходом и выстроенный из весело раскрашенного дерева в забавном смешении стилей – китайского и Ренессанса, вмещает большое количество человек и имеет большие распахивающиеся двери, которые при хорошей погоде можно открыть, впустив дыхание деревьев.

Сегодня подъезжающие экипажи уже издали приветствовало разноцветное мерцание огней, так как вся решетка, садовые деревья и сам павильон были густо украшены пестрыми лампами, что же касается праздничного зала, то он представлял собой воистину радостное зрелище. Под потолком висели мощные гирлянды, к которым, в свою очередь, были прикреплены многочисленные бумажные фонарики, хотя декор стен из флажков, ветвей и искусственных цветов был испещрен множеством электрических ламп накаливания, прекрасно освещающих зал. В конце его находилась сцена, по бокам которой стояли листовенные растения, а на красном занавесе парил гений, писанный рукой настоящего художника. С другого же конца почти до самой сцены тянулись длинные, украшенные цветами столы, где гости адвоката Якоби налегали на жареную телятину и весеннее пиво: юристы, офицеры, торговцы, художники,

высокопоставленные чиновники совместно с супругами и дочерьми – никак не меньше полуторасотен человек. Явились совсем просто, в черных сюртуках и полусветлых весенних туалетах, ибо веселая раскрепощенность сделалась нынче законом. Господа самолично бегали с кружками к выставленным у торцовой стены большим бочкам, и в просторном, пестром и хорошо освещенном помещении, заполненном сладковатыми и душистыми праздничными испарениями елок, цветов, людей, пива, закусок, звенела посуда и раздавался гомон громких, простых разговоров, легкий, вежливый, оживленный беззаботный смех всех этих людей... Адвокат, бесформенный и беспомощный, сидел во главе одного из столов, возле сцены; он пил немного, по временам через силу обращая слово к соседке, правительственной советнице Хаверман, и с трудом дышал обвисшими уголками рта, а его опухшие, мутно-водянистые глаза неподвижно, с каким-то скорбным отчуждением смотрели в радостную суету, словно в этих праздничных испарениях, в этом шумном веселье таилось нечто невыразимо печальное и непонятное...

Вот обнесли и большими тортами, которые принялись запивать сладким вином и сопровождать речами. В обращении, целиком состоявшем из классических цитат, – даже греческих, – господин Хильдебрандт, придворный актер, воспел весеннее пиво, а ассессор Витцнагель как нельзя изящнее и с обходительнейшими жестами произнес тост за присутствующих дам, причем, взяв из ближайшей вазы и со скатерти пригоршню цветов, сравнил каждый из них с дамой. Так, сидевшая напротив него в туалете из тонкого желтого шелка Амра Якоби была названа «более красивой сестрой чайной розы».

Сразу после этого она провела рукой по мягкой макушке, подняла брови и серьезно кивнула супругу – на что толстый человек встал и чуть не испортил все настроение, вызвав, как обычно, неловкое чувство и со своей уродливой улыбкой пробормотав какие-то жалкие слова... Послышалось лишь несколько искусственных «браво», и на мгновение воцарилось подавленное молчание. Тем не менее вскоре веселость снова одержала победу, и вот уже прилично поднабравшиеся гости с сигаретами начали подниматься из-за столов и с шумом собственноручно выносить их из зала, так как решили потанцевать...

Уже пробило одиннадцать, и непринужденность стала полной. Часть общества вытекла в пестро освещенный сад глотнуть свежего воздуха, другие остались в павильоне и, разбившись на группки, курили, болтали, доливали пива и пили уже стоя... И тут со сцены раздался громкий трубный клич, созывающий в зал всех и вся. Перед занавесом расселись

музыканты с духовыми и струнными инструментами, были поставлены ряды стульев, на которых лежали красные программки, и дамы расселись, а господа встали позади них или сбоку. Наступила выжидательная тишина.

Тогда небольшой оркестр заиграл бурную увертюру, открылся занавес, и, подумать только, на сцене стояло несколько отвратительных негров в кричащих костюмах, с кроваво-красными губами, они оскалили зубы и принялись варварски выть... Эти выступления в самом деле явились кульминацией праздника Амры. Взорвались восторженные аплодисменты, и номер за номером развернулась умно составленная программа: на сцену в напудренном парике вышла госпожа Хильдебрандт, она ударила по полу длинным посохом и чрезмерно громко пропела: «That's Maria!» В увешенном орденами фраке, дабы продемонстрировать самое удивительное, появился фокусник, господин Хильдебрандт пугающе похоже изобразил Гете, Бисмарка и Наполеона, а редактор доктор Визеншпрунг в последний момент прочитал шуточный доклад на тему «Весеннее пиво в его социальном значении». Под конец, однако, напряжение достигло высшей точки, так как предстоял последний, тот самый таинственный номер, заключенный в программке в рамку из лавровых листьев и значившийся как «Луизхен. Песня и танец. Музыка Альфреда Лойтнера».

Когда музыканты отложили инструменты и господин Лойтнер, который до сих пор молча, с зажатой в равнодушно выпяченных губах сигаретой подпирал дверной косяк, вместе с Амрой Якоби занял место у фортепиано в центре перед занавесом, по залу прошло движение, люди обменивались взглядами. Лицо у сочинителя покраснело, он нервно листал исписанные ноты, Амра же, напротив, несколько бледная, опершись одной рукой о спинку стула, словно из засады смотрела на публику. Затем, когда все вытянули шеи, раздался резкий звонок. Господин Лойтнер и Амра сыграли несколько тактов незначительного вступления, занавес закатали вверх, показалась Луизхен...

Судорога ошеломления, онемения зазмеилась по толпе зрителей, когда на сцену мучительной поступью танцующего медведя вышла грустная, отвратительно разряженная масса. То был адвокат. Широкое, без складок платье кроваво-красного шелка спадало с бесформенного тела до щиколоток; оно имело вырез, так что напудренная мучной пудрой шея была противно открыта. Взбитые фонариком рукава тоже были коротки, правда, толстые, дряблые руки обтягивали длинные светло-желтые перчатки, на голове сидела высокая светлая, в цвет зерна волнистая куафюра, поверх которой покачивалось зеленое перо. Из-под парика выглядывало желтое,

отечное, несчастное и отчаянно-бодрое лицо, щеки которого, вызывая сострадание, постоянно подрагивали вверх-вниз, а маленькие, в красных окружках глаза, ничего не видя, напряженно уставились в пол, сам же толстый человек с трудом перебрасывал вес с одной ноги на другую, причем либо поддерживал платье, либо бессильными руками поднимал вверх оба указательных пальца, – других движений он не знал; и сдавленно, задыхаясь, пел под звуки пианино дурацкую песенку...

Разве не сильнее обычного исходило от этой жалкой фигуры холодное дыхание страдания, убившее всякую непринужденную веселость и гнетущей тяжестью мучительного душевного напряжения, повисшее над обществом?.. Самый настоящий ужас взмыл со дна всех бесчисленных глаз, которые, будто прикованные, устремились на это зрелище, на пару за пианино и на супруга там, наверху... Неслышный, неслыханный скандал длился около пяти долгих минут.

А затем наступил момент, который никто, присутствовавший при нем, не забудет во всю свою жизнь... Представим же себе, что, собственно, произошло в этот небольшой, страшный, сложный промежуток времени.

Всем известен смехотворный куплет под названием «Луизхен», и всем, несомненно, памятны следующие строки:

Никто так польку не танцует,
Как я – Луизхен звать меня.
И любят девушку простую
Гусары, шпагами звеня. —

эти некрасивые, легковесные стишки, образующие рефрен к трем довольно длинным строфам. Так вот, написав к этим словам новую музыку, Альфред Лойтнер создал шедевр, доведя до предела свою манеру посреди вульгарной и нелепой поделки ошеломлять внезапной виртуозной вставкой высокой музыки. До-диез-мажорная мелодия в первых строфах была довольно симпатична и банальна донельзя. К началу цитированного рефрена темп оживлялся, и вступали диссонансы, которые благодаря все бодрее звучащей «си» заставляли ожидать перехода в фа-диез-мажор. Эта дисгармония усложнялась до слова «меня»; после «любят», довершавшего сплетение и напряжение, должно было последовать растворение в фа-диез-мажоре. Вместо этого произошло поразительное. Неожиданной фразой, в результате почти гениальной находки тональность здесь резко переходила в фа-бемоль, и этот зачин, исполненный с нажатием обеих педалей на долго

пропеваемый первый слог слова «девушка», был неопишемого, неслыханного воздействия! Гром посреди ясного неба, внезапное касание нервов, сбегавшее вниз по спине, чудо, откровение, почти жестокое в своей внезапности срывание покрыва, разодравшийся занавес...

И на этом фа-бемольном аккорде адвокат Якоби перестал танцевать. Он замер, замер посреди сцены, словно приросши к полу, еще поднимая вверх оба указательных пальца – один чуть ниже другого, «е» из «девушки» оборвалось, он онемел; почти одновременно резко смолкло и фортепианное сопровождение, и это невероятное, отвратительно-смешное существо там, наверху, по-звериному выдвинув голову, воспаленными глазами уставилось вперед... Он уставился в разукрашенный, светлый, полный людей праздничный зал, где, как испарения всех этих людей, висел сгустившийся почти до атмосферы скандал... Уставился во все эти вскинутые, вытянувшиеся и резко освещенные лица, в сотни глаз, которые с одинаковым понимающим выражением смотрели на пару там, внизу, и на него самого... Над публикой залегла ужасная, не нарушаемая ни единым шорохом тишина, а он медленно и жутко переводил свои все более расширяющиеся глаза с этой пары на публику и с публики на эту пару... Казалось, догадка вдруг пробежала по его лицу, к этому лицу прилил поток крови, затопив его красным, в тон шелковому платью, и сразу вслед за тем оставив желтым, как воск, – и толстый человек рухнул, так что затрещали доски.

Мгновение еще длилась тишина; затем послышались крики; поднялось волнение, несколько отважных мужчин, в том числе молодой врач, вспрыгнули из зала на сцену, занавес опустили...

Амра Якоби и Альфред Лойтнер все еще сидели за пианино, отвернувшись друг от друга. Он, опустив голову, казалось, все еще слушал свой переход в фа-бемоль; она, неспособная куриными мозгами так быстро осознать, что происходит, осматривалась с совершенно пустым лицом...

Вскоре после этого в зал опять спустился молодой врач, невысокий господин еврейского происхождения с серьезным лицом и черной бородкой клинышком. Окружившим его у дверей гостям он, пожав плечами, ответил:

– Всё.

Тристан

Вот он, санаторий «Эйнфрид»! Прямые очертания его продолговатого главного корпуса и боковой пристройки белеют посреди обширного сада, украшенного затейливыми гротами, аллеями и беседками, а за шиферными его крышами плавно, сплошным массивом, поднимаются к небу хвойно-зеленые горы.

По-прежнему возглавляет это учреждение доктор Леандер. У него черная раздвоенная борода, курчавая и жесткая, как конский волос, идущий на обивку мебели, очки с толстыми сверкающими стеклами и вид человека, которого наука закалила, сделала холодным и наделила снисходительным пессимизмом; своей резкостью и замкнутостью он покоряет больных – людей слишком слабых, чтобы самим устанавливать себе законы и их придерживаться, и отдающих ему свое состояние за право находиться под защитой его суровости.

Что касается фройляйн фон Остерло, то она ведет хозяйство поистине самозабвенно. Боже мой, как деловито бегают она вверх и вниз по лестницам, как торопится из одного конца санатория в другой! Она властвует на кухне и в кладовой, роется в бельевых шкафах, командует прислугой и ведает питанием, руководствуясь соображениями экономии, гигиены, вкуса и внешнего изящества, она хозяйничает с необыкновенной осмотрительностью, и в ее бурной деятельности кроется постоянный упрек всей мужской части человечества, ни один представитель которой до сих пор не догадался жениться на ней. Впрочем, на щеках ее двумя круглыми малиновыми пятнами неугасимо горит надежда стать в один прекрасный день супругой доктора Леандера.

Озон и тихий, тихий воздух... Что бы ни говорили завистники и конкуренты доктора Леандера, легочным больным следует самым настоящим образом рекомендовать «Эйнфрид». Но здесь обитают не только чахоточные, здесь есть и другие пациенты: мужчины, дамы, даже дети; доктор Леандер может похвастаться успехами в самых различных областях медицины. Есть здесь страдающие желудочными болезнями, например советница Шпатц, у которой, кроме того, больные уши, есть пациенты с пороком сердца, паралитики, ревматики, есть разного рода нервноболезные. Один генерал-диабетик, непрестанно ворча, проедает здесь свою пенсию. Некоторые здешние пациенты, господа с истощенными лицами, не могут совладать со своими ногами – ноги у них то и дело

дергаются, и движения эти наводят на самые грустные размышления. Пятидесятилетняя дама, пасторша Геленраух, которая произвела на свет девятнадцать детей и уже совершенно ни о чем не способна думать, тем не менее не может уgomониться и вот уже целый год, снедаемая безумным беспокойством и жуткая в своем оцепенелом безмолвии, бесцельно бродит по всему дому, опираясь на руку приставленной к ней сиделки.

Время от времени умирает кто-нибудь из «тяжелых», которые лежат по своим комнатам и не появляются ни за столом, ни в гостиной, и никто, даже их непосредственные соседи, ничего об этом не узнают. Глубокой ночью воскового постояльца уносят, и снова жизнь в «Эйнфриде» идет своим чередом – массажи, электризация, инъекции, души, ванны, гимнастика, потогонные процедуры, ингаляции, – все это в различных помещениях, оборудованных новейшими приспособлениями.

Право же, здесь всегда царит оживление. Швейцар, стоящий у входа в пристройку, звонит в колокол, когда прибывают новые пациенты, и подтянутый, корректно одетый доктор Леандер вместе с фройляйн фон Остерло провожает отъезжающих до экипажа. Каким только людям не давал приюта «Эйнфрид»! Есть тут даже писатель, эксцентричный человек, он носит фамилию, звучащую, как название минерала или драгоценного камня, и, живя здесь, похищает дни у Господа Бога...

Кроме доктора Леандера, в «Эйнфриде» имеется еще один врач – для легких случаев и для безнадежных больных. Но его фамилия Мюллер, и вообще он не стоит того, чтобы о нем говорили.

В начале января коммерсант Клетириан – фирма «А.Ц. Клетириан и К^о» – привез в «Эйнфрид» свою супругу; швейцар зазвонил в колокол, и фройляйн фон Остерло встретила приехавшую издалека чету в приемной, которая помещалась в нижнем этаже и, как почти весь этот старый, величественный дом, являла собой удивительно чистый образец стиля ампира. Тотчас же вышел доктор Леандер, он поклонился, и началась первая, поучительная для обеих сторон беседа.

Клумбы в саду были по-зимнему покрыты матами, гроты – занесены снегом, беседки стояли в запустении; два санаторных служителя несли чемоданы приехавших – коляска остановилась на шоссе, у решетчатой калитки, потому что к самому дому подъезда не было.

– Не спеши, Габриэла, take care^[7], мой ангел, не открывай рот, – говорил господин Клетириан, ведя жену через сад, и к этому «take care» при одном взгляде на нее с нежностью и трепетом присоединился бы в душе всякий. Впрочем, нельзя отрицать, что господин Клетириан с таким же успехом мог бы сказать это и по-немецки.

Кучер, привезший их со станции, человек грубый, неотесанный и не знающий тонкого обхождения, прямо-таки рот разинул в беспомощной озабоченности, когда коммерсант помогал своей супруге вылезти из экипажа; казалось даже, что оба гнедых, от которых в тихом морозном воздухе поднимался пар, скосив глаза, взволнованно наблюдали за этим опасным предприятием, тревожась за столь хрупкую грацию и столь нежную прелесть.

Как ясно было сказано в письме, которое господин Клетериан предварительно послал с Балтийского побережья главному врачу «Эйнфрида», молодая женщина страдала болезнью дыхательного горла, – слава Богу, дело тут было не в легких! Но если бы даже она страдала болезнью легких, все равно нельзя было себе представить существо более миловидное, благородное, отрешенное от мира и бесплотное, чем госпожа Клетериан сейчас, когда она, покойно и устало, откинувшись на высокую спинку белого кресла, сидела рядом со своим коренастым супругом и прислушивалась к разговору. Ее красивые бледные руки, украшенные только простым обручальным кольцом, лежали на коленях, в складках тяжелой и темной суконной юбки; узкий серебристо-серый жакет, с плотным стоячим воротником, был сплошь усеян накладными бархатными узорами. От этих тяжелых и плотных тканей невыразимо нежная, прелестная и хрупкая головка молодой женщины казалась еще более трогательной, милой и неземной. Ее каштановые волосы, стянутые в узел на затылке, были гладко причесаны, и только одна вьющаяся прядь падала на лоб возле правого виска, где маленькая странная, болезненная жилка над четко обрисованной бровью нарушала своим бледно-голубым разветвлением ясную чистоту почти прозрачного лба. Эта голубая жилка у глаза беспокойно господствовала над всем тонким овалом лица. Она становилась заметнее, как только женщина начинала говорить; и даже когда она улыбалась, эта жилка придавала ее лицу какое-то напряженное, пожалуй, даже угнетенное выражение, внушавшее смутную тревогу. Тем не менее она говорила и улыбалась. Говорила непринужденно и любезно, несколько приглушенным голосом и улыбалась усталыми, казалось, готовыми вот-вот закрыться глазами, на углы которых, по обе стороны узкой переносицы, ложилась густая тень, и красивым, широким ртом, бледным, но как бы светившимся потому, может быть, что губы ее были резко и ясно очерчены. Изредка она покашливала. Тогда она подносила ко рту платок и затем рассматривала его.

– Не надо кашлять, Габриэла, – сказал господин Клетериан. – Ты ведь помнишь, darling^[8], что дома доктор Гинцпетер решительно запретил тебе

кашлять, нужно взять себя в руки, мой ангел. Вся беда, как я уже сказал, в дыхательном горле, – повторил он. – Когда это началось, я и впрямь подумал, что неладно с легкими, и бог знает как испугался. Но дело тут не в легких, нет, черт побери, таких вещей мы не допустим, а, Габриэла? Хе-хе!

– Несомненно, – сказал доктор Леандер и сверкнул очками в ее сторону.

Затем господин Клетериан спросил кофе и сдобных булочек; звук «к», казалось, образуется у него где-то глубоко в глотке, а слово «булочка» он произносил так, что у каждого, кто его слышал, должен был появиться аппетит.

Он получил все, что спрашивал, получил также комнаты для себя и для своей супруги, и они пошли устраиваться.

Между прочим, наблюдение над больной доктор Леандер взял на себя, а не поручил доктору Мюллеру.

Новая пациентка привлекла всеобщее внимание в «Эйнфриде», и господин Клетериан, привыкший к успехам жены, с удовлетворением принимал все знаки расположения, ей оказываемого. Когда генерал-диабетик увидел ее в первый раз, он на мгновение перестал ворчать, господа с испытанными лицами в ее присутствии улыбались и усиленно старались справиться со своими ногами, а советница Шпатц тотчас же взяла на себя роль ее старшей подруги. Да, она производила впечатление, эта женщина, носившая фамилию господина Клетериана! Писатель, уже несколько недель живший в «Эйнфриде», удивительный субъект, фамилия которого звучала, как название драгоценного камня, побледнел, когда она прошла мимо него по коридору, – он остановился и, казалось, прирос к месту, хотя она давно уже удалилась.

Не прошло и двух дней, как все санаторное общество узнало ее историю. Родилась она в Бремене, что, впрочем, было заметно по некоторым милым ошибкам в ее произношении, и там же два года назад дала согласие стать женой коммерсанта Клетериана. Он увез ее на Балтийское побережье, в свой родной город, где она, месяцев десять назад, в страшных мучениях и с опасностью для жизни подарила ему сына и наследника, поразительно живого и удачного ребенка. Но после тех ужасных дней силы так и не вернулись к ней, если, разумеется, у нее вообще когда-либо были силы. Едва она поднялась после родов, до предела измученная, до предела ослабевшая, как у нее во время кашля показалась кровь – о, совсем немного крови, так, чуть-чуть, – но лучше, конечно, если

бы она вовсе не показывалась, а самое тягостное было то, что неприятное происшествие вскоре повторилось. Ну, против этого, конечно, имелись средства, и доктор Гинцпетер, домашний врач, пустил их в ход. Больной был предписан полный покой, она должна была глотать кусочки льда, против позывов кашля ей прописали морфий, а на сердце воздействовали всевозможными успокоительными лекарствами. Выздоровление, однако, не наступало, и в то время как мальчик, Антон Клетериан-младший, великолепный ребенок, с невероятной энергией и бесцеремонностью завоевывал и утверждал свое место в жизни, его молодая мать, казалось, медленно и тихо угасала... Всею причиною было, как уже говорилось, дыхательное горло – эти два слова в устах доктора Гинцпетера звучали на редкость утешительно, успокаивающе, почти весело. И хотя с легкими было все в порядке, доктор в конце концов нашел, что более мягкий климат и пребывание в лечебном заведении крайне желательны для скорейшего исцеления, а добрая слава санатория «Эйнфрид» и его главного врача определили остальное.

Так обстояли дела, и господин Клетериан самолично рассказал все это каждому, кто желал его слушать. Говорил он громко, небрежно и добродушно, как человек, пищеварение и кошелек которого находятся в полном порядке, быстро шевеля выпяченными губами, – манера, свойственная жителям северного побережья. Некоторые слова он выпаливал с такой быстротою, что они походили на маленький взрыв, и при этом смеялся, словно от удачной шутки.

Среднего роста, широкий, крепкий, коротконогий, с полным красным лицом, водянисто-голубыми глазами, белесыми ресницами и влажными губами, он носил английские бакенбарды, одевался по-английски и явно пришел в восторг, застав в «Эйнфриде» английское семейство – отца, мать и троих очень красивых детей с их nurse^[9], – семейство, которое пребывало здесь в полном одиночестве, потому что не ведало, где же ему еще пребывать, и с которым он по утрам завтракал на английский манер. Любитель хорошо поесть и выпить, господин Клетериан показал себя знатоком кухни и погреба и чудесно развлекал санаторное общество рассказами об обедах, которые давались у него на родине в кругу его знакомых, а также описаниями некоторых изысканных, неизвестных здесь блюд. При этом глаза его принимали ласковое выражение и сужались, а в голосе появлялись какие-то нёбные и носовые звуки, сопровождавшиеся легким причмокиванием. Что он не является принципиальным противником и других земных радостей, выяснилось в тот вечер, когда один из пациентов «Эйнфрида», писатель по профессии, стал в коридоре

свидетелем его не вполне дозволенных шуток с горничной, и это маленькое комичное происшествие вызвало у писателя донельзя брезгливую гримаску.

Что касается супруги господина Клетериана, то она была явно предана ему всей душой. Улыбаясь, следила она за его словами и движениями – не с высокомерной снисходительностью, с которой страждущие подчас относятся к здоровым, а с той участливой радостью, которую встречают у добродушных больных уверенные действия людей, чувствующих себя весьма неплохо на этом свете.

Господин Клетериан пробыл в «Эйнфриде» недолго. Он привез сюда свою супругу и через неделю покинул санаторий, удостоверившись, что она хорошо устроена и находится в надежных руках. Два дела одинаковой важности звали его на родину: его цветущее дитя и его процветающая фирма. Итак, обеспечив жене самый лучший уход, он вынужден был уехать.

Шпинель была фамилия писателя, который уже несколько недель жил в «Эйнфриде». Детлеф Шпинель звали его, и внешность у него была странная.

Представьте себе брюнета лет тридцати с небольшим, хорошо сложенного, с заметно седеющими у висков волосами, на круглом, белом, чуть одутловатом лице которого нет даже намек на бороду. Лица он не брил – это сразу бросалось в глаза, – мягкое, гладкое, мальчишеское, оно только кое-где было покрыто реденьким пушком. И выглядело это очень странно. Блестящие, светло-карие глаза господина Шпинеля выражали кротость, нос у него был короткий и, пожалуй, слишком мясистый. Пористая верхняя губа его выдавалась вперед, как у римлянина, у него были крупные зубы и громадные ноги. Один из господ, не умевших справляться со своими ногами, остряк и циник, называл его за глаза «гнилой сосунок», но это было скорее зло, чем метко. Одевался господин Шпинель хорошо и по моде – в длинный черный сюртук и пестрый жилет.

Он был нелюдим и ни с кем не общался. Лишь изредка находили на него приливы общительности и любвеобилия, избыток чувств, и случалось это, когда господин Шпинель впадал в эстетический восторг, восхищаясь каким-нибудь красивым зрелищем – сочетанием двух красок, вазой благородной формы или освещенными закатом горами. «Как красиво! – говорил он, склонив голову набок, растопылив руки и сморщив нос. – Боже, поглядите, как красиво!» В такие мгновения он готов был заключить в объятия самую чопорную особу, будь то мужчина или женщина.

На столе у него, на самом виду, лежала книга его собственного

сочинения. Это был не очень объемистый роман с в высшей степени странным рисунком на обложке, напечатанный на бумаге одного из тех сортов, которые употребляются для процеживания кофе, шрифтом, каждая буква которого походила на готический собор. Фройляйн фон Остерло как-то в свободную минуту прочитала роман и нашла его «рафинированным», а это слово встречалось в ее суждениях тогда, когда нужно было сказать «безумно скучно». Действие романа происходило в светских салонах, в роскошных будуарах, битком набитых изысканными вещами – гобеленами, старинной мебелью, дорогим фарфором, роскошными тканями и всякого рода драгоценнейшими произведениями искусства. В описание этих предметов автор вложил немало любви, и, читая их, сразу можно было представить себе господина Шпинеля в мгновения, когда он морщит нос и говорит: «Боже, смотрите, как красиво!» Удивительно было то, что никаких других книг, кроме этой одной, он не написал, а писал он явно со страстью. Большую часть дня он проводил в своей комнате за этим занятием и отсылал на почту на редкость много писем – почти ежедневно одно или два, – сам же, как это ни смешно и ни странно, получал их крайне редко.

За столом господин Шпинель сидел напротив жены господина Клетериана. К первому после их приезда обеду он явился с некоторым опозданием. Войдя в просторную столовую, помещавшуюся в первом этаже пристройки, он негромко сразу со всеми поздоровался и прошел к своему месту, после чего доктор Леандер без долгих церемоний представил его вновь прибывшим. Господин Шпинель поклонился и не без смущения принялся за еду, причем его белые, красиво вылепленные руки, торчавшие из очень узких рукавов, несколько аффектированно орудовали ножом и вилкой. Вскоре он почувствовал себя свободнее и стал потихоньку поглядывать то на господина Клетериана, то на его супругу. Господин Клетериан в продолжение обеда несколько раз обращался к нему с вопросами и замечаниями относительно условий жизни в «Эйнфриде» и местного климата, жена его мило вставляла словечко-другое, и господин Шпинель учтиво отвечал им. Голос у него был мягкий и довольно приятный, но говорил он с некоторым усилием и захлебываясь, словно зубы его мешали языку.

Когда после обеда все перешли в гостиную и доктор Леандер, обратившись к новым постояльцам, пожелал, чтобы обед пошел им на доброе здоровье, супруга господина Клетериана осведомилась о своем визави.

– Как зовут этого господина? – спросила она. – Шпинелли? Я не

разобрала его фамилию.

– Шпинель... не Шпинелли, сударыня. Нет, он не итальянец, и родом он всего-навсего из Львова, насколько мне известно...

– Что вы сказали? Он писатель? Или кто? – поинтересовался господин Клетериан; держа руки в карманах своих удобных английских брюк, он подставил ухо доктору и раскрыл рот, как делают, чтобы лучше слышать.

– Не знаю, право, – он пишет... – ответил доктор Леандер. – Он издал, кажется, книгу, какой-то роман, право, не знаю...

Это повторное «не знаю» давало понять, что доктор Леандер не очень-то дорожит писателем и снимает с себя всякую ответственность за него.

– О, ведь это же очень интересно! – воскликнула супруга господина Клетериана. До сих пор ей ни разу не приходилось видеть писателя.

– Да, – предупредительно ответил доктор Леандер, – он пользуется некоторой известностью...

Больше они о писателе не говорили.

Немного позднее, когда новые постояльцы ушли к себе и доктор Леандер тоже собирался покинуть гостиную, господин Шпинель задержал его и, в свою очередь, навел справки.

– Как фамилия этой четы? – спросил он. – Я, конечно, ничего не разобрал.

– Клетериан, – ответил доктор Леандер и пошел дальше.

– Как его фамилия? – переспросил господин Шпинель.

– Клетериан их фамилия, – сказал доктор Леандер и пошел своей дорогой. Он отнюдь не дорожил писателем.

Мы уж как будто дошли до возвращения господина Клетериана на родину? Да, он снова был на Балтийском побережье, с ним были его коммерческие дела, с ним был его сын, бесцеремонное, полное жизни маленькое существо, стоившее матери стольких страданий и легкого заболевания дыхательного горла. Что касается самой молодой женщины, то она осталась в «Эйнфриде», и советница Шпатц взяла на себя роль ее старшей подруги. Это, однако, не мешало супруге господина Клетериана находиться в добрых отношениях и с прочими пациентами, например с господином Шпинелем, который, ко всеобщему удивлению (ведь до сих пор он ни с одной живой душой не общался), сразу же стал с ней необычайно предупредителен и услужлив и с которым она не без удовольствия болтала в часы отдыха, предусмотренные строгим режимом дня.

Он приближался к ней с невероятной осторожностью и

почтительностью и говорил не иначе, как заботливо понизив голос, так что тугая на ухо советница Шпатц обычно не разбирала ни одного его слова. Ступая на носки своих больших ног, он подходил к креслу, в котором, с легкой улыбкой на лице, покоилась супруга господина Клетериана, останавливался в двух шагах от нее, причем одну ногу он отставлял назад, а туловищем подавался вперед, и говорил тихо, проникновенно, с некоторым усилием и слегка захлебываясь, готовый в любое мгновение удалиться, исчезнуть, лишь только малейший признак усталости или скуки промелькнет на ее лице. Но он не был ей в тягость. Она приглашала его посидеть с ней и с советницей, обращалась к нему с каким-нибудь вопросом и затем, улыбаясь, с любопытством слушала его, потому что иногда он говорил такие занимательные и странные вещи, каких ей никогда еще не доводилось слышать.

– Почему вы, собственно, находитесь в «Эйнфриде», господин Шпинель? – спросила она. – Какой курс лечения вы здесь проходите?

– Лечение?... Хожу на электризацию. Да нет, это сущие пустяки, не стоит о них и говорить. Я вам скажу, сударыня, почему я здесь нахожусь. Всею причиной стиль ампир.

– Вот как, – сказала супруга господина Клетериана, подперев рукой подбородок, и повернулась к господину Шпинелю с преувеличенно заинтересованным видом; так подыгрывают ребенку, когда он собирается что-нибудь рассказать.

– Да, сударыня, «Эйнфрид» – это чистый ампир. Говорят, когда-то здесь был замок, летняя резиденция. Это крыло – позднейшая пристройка, но главное здание сохранилось нетронутым. Иногда вдруг я чувствую, что никак не могу обойтись без ампира, временами он мне просто необходим, чтобы сохранить сносное самочувствие. Ведь это так понятно, что среди мягкой и чрезмерно удобной мебели чувствуешь себя иначе, чем среди этих прямых линий столов, кресел и драпировок... Эта ясность и твердость, эта холодная, суровая простота, сударыня, поддерживают во мне собранность и достоинство, они внутренне очищают меня, восстанавливают мои душевные силы, возвышают нравственно.

– Да, это любопытно, – сказала она. – Впрочем, я смогу это понять, если постараюсь.

Он отвечал, что не стоит стараться, и оба они рассмеялись. Советница Шпатц тоже рассмеялась и нашла, что все это любопытно, но она не сказала, что сможет это понять.

Гостиная в «Эйнфриде» была просторная и красивая. Высокая белая двустворчатая дверь обычно стояла распахнутой в бильярдную, где

развлекались господа с непокорными ногами и другие пациенты. С другой стороны застекленная дверь открывала вид на широкую террасу и сад. Сбоку от нее стояло пианино. Был здесь и обитый зеленым сукном ломберный стол, за которым генерал-диабетик и еще несколько мужчин играли в вист. Дамы читали или занимались рукоделем. Комната отапливалась железной печью, но уютнее всего было беседовать у изящного камина, где лежали поддельные угли, оклеенные полосками красноватой бумаги.

– Рано вы любите вставать, господин Шпинель, – сказала супруга господина Клетериана. – Мне случалось уже два или три раза видеть, как вы выходите из дому в половине восьмого утра.

– Я люблю рано вставать? Ах, вовсе нет, сударыня. Я, видите ли, рано встаю потому, что, собственно, люблю поспать.

– Ну, вам придется это пояснить мне, господин Шпинель.

Советница Шпатц тоже потребовала пояснения.

– Как вам сказать... если человек любит рано вставать, то ему, по моему, и незачем подниматься ранним утром. Совесть, сударыня... вот где собака зарыта! Я и мне подобные, мы всю жизнь только о том и печемся, только тем и озабочены, чтобы обмануть свою совесть, чтобы ухитриться доставить ей хоть маленькую радость. Бесполезные мы существа, я и мне подобные; кроме редких хороших часов, мы всегда уязвлены и пришиблены сознанием собственной бесполезности. Мы презираем полезное, мы знаем, что оно безобразно и низко, и отстаиваем эту истину так, как отстаивают лишь насущно необходимые истины. И тем не менее мы вконец истерзаны муками совести. Мало того, вся наша внутренняя жизнь, наше мировоззрение, наша манера работать... таковы, что они воздействуют на наш организм самым нездоровым, самым губительным и разрушительным образом, и это еще ухудшает положение. Тут-то и появляются на сцену всевозможные успокоительные средства, без которых мы бы просто не выдержали. Многие из нас, например, чувствуют потребность в упорядоченном, строго гигиеническом образе жизни. Ранний, немилосердно ранний подъем, холодная ванна, прогулка по снегу... Благодаря этому мы хоть немножко бываем довольны собой. А дай я себе волю, я бы, поверьте, полдня пролежал в постели. Если я рано встаю, то это, собственно, лицемерие.

– Нет, отчего же, господин Шпинель? Я нахожу, что это сила воли... Не правда ли, госпожа советница?

Госпожа советница согласилась, что это сила воли.

– Лицемерие или сила воли, сударыня! Кому какое слово больше

нравится. Я лично на все смотрю настолько грустно, что...

– Вот именно. Ну, конечно же, вы слишком много грустите.

– Да, сударыня, мне часто бывает грустно.

Дни стояли прекрасные. В ослепительной яркости морозного безветрия, в голубоватых тенях, ясные и чистые, белели земля, горы, дом и сад, и надо всем этим поднимался безоблачный свод нежно-голубого неба, в котором, казалось, пляшут мириады сверкающих пылинок и блестящих кристаллов. Супруга господина Клетериана чувствовала себя в эти дни сносно; жара у нее не было, она почти не кашляла и ела без особого отвращения. Целыми часами, как ей было предписано, сидела она на террасе в морозную солнечную погоду. Сидела среди снегов, закутанная в одеяла и меха, и с надеждой вдыхала чистый, ледяной воздух, полезный для ее дыхательного горла. Иногда она видела, как прохаживается по саду господин Шпинель, тоже тепло одетый, в меховых сапогах, придававших уже просто фантастические размеры его ногам. Он осторожно ступал по снегу, и в положении его рук была какая-то настороженность, какое-то застывшее изящество; подходя к террасе, он почтительно здоровался с госпожой Клетериан и поднимался на несколько ступенек, чтобы завязать разговор.

– Сегодня во время утренней прогулки я видел красивую женщину... Боже мой, как она была хороша! – говорил он, наклонив голову к плечу и растопырив руки.

– В самом деле, господин Шпинель? Опишите же мне ее!

– Нет, не могу. Если б я это сделал, я бы дал вам о ней неверное представление. Проходя мимо этой дамы, я едва успел окинуть ее взглядом, по-настоящему я ее не видел. Но смутной тени, мелькнувшей передо мной, было достаточно, чтобы разбудить мое воображение, и я унес с собою прекрасный образ... Боже, какой прекрасный!

Она засмеялась:

– Вы всегда так смотрите на красивых женщин, господин Шпинель?

– Да, сударыня; и это лучше, чем глазеть грубо и жизнежадно и уносить с собой воспоминание о несовершенной действительности.

– Жизнежадно... Вот так слово! Настоящее писательское слово, господин Шпинель! Но, знаете, оно мне запомнится. Я его немного понимаю, в нем есть что-то независимое и свободное, какое-то неуважение к жизни, хотя жизнь – это самая почтенная вещь на свете, это сама почтенность... И мне становится ясно, что, кроме осязаемых вещей, существует нечто более нежное...

– Я знаю только одно лицо, – сказал он вдруг необычайно радостным и

растроганным голосом, высоко подняв сжатые в кулаки руки и обнажив гнилые зубы в восторженной улыбке. – Я знаю только одно лицо, которое так благородно в жизни, что кощунственно было бы исправлять его воображением. Я бы глядел на него, я бы любовался им не отрываясь, не минутами, не часами, а всю жизнь, я бы весь растворился в нем и забыл все земное...

– Да, да, господин Шпинель. Но все же уши у фройляйн фон Остерло немного торчат...

Он умолк и низко опустил голову. Когда он снова выпрямился, глаза его со смущением и болью глядели на маленькую, странную жилку, бледно-голубое разветвление которой болезненно нарушало ясность почти прозрачного лба.

Чудак, поразительный чудак! Супруга господина Клетиериана иногда думала о нем, потому что у нее было много времени для раздумья. То ли перестала действовать перемена климата, то ли появилось какое-то новое вредное влияние, – но здоровье ее ухудшилось, состояние дыхательного горла оставляло желать лучшего, она чувствовала себя слабой, усталой, аппетит пропал, ее часто лихорадило; доктор Леандер самым решительным образом велел ей соблюдать полный покой и не волноваться. И вот она если не лежала, то сидела в обществе советницы Шпатц, молчала и, празднично положив рукоделье на колени, тешила себя разными мыслями.

Да, он заставлял ее задумываться, этот чудаковатый господин Шпинель, и странно – не столько о нем, сколько о себе самой; каким-то образом он вызвал в ней странное любопытство, неизвестный ей дотоле интерес к самой себе. Однажды, среди разговора, он сказал: «Загадочное все-таки существо женщина... как это ни старо, все равно останавливаешься перед ним и только диву даешься. Вот перед тобой чудесное создание, нимфа, цветок благоуханный, не существо, а мечта. И что же она делает? Идет и отдается ярмарочному силачу или мяснику. Потом является под руку с ним или даже склонив голову на его плечо и глядит на всех с лукавой улыбкой, словно говоря: «Пожалуйста, удивляйтесь, ломайте себе головы!» Вот мы их себе и ломаем.

К этим словам не раз возвращались мысли супруги господина Клетиериана.

В другой раз, к удивлению советницы Шпатц, между ними произошел следующий разговор:

– Позвольте вас спросить, сударыня (может быть, это нескромно), как вас зовут, как, собственно, ваша фамилия?

– Вы же знаете, что моя фамилия Клетериан, господин Шпинель!

– Гм... Это я знаю. Вернее – я это отрицаю. Я имею в виду вашу собственную, вашу девичью фамилию. Будьте справедливы, сударыня, и согласитесь, что тот, кто называет вас «госпожа Клетериан», заслуживает, чтобы его высекли.

Она так искренне рассмеялась, что голубая жилка до ужаса отчетливо выступила у нее над бровью, придав ее нежному и милому лицу напряженное, болезненное выражение.

– Смилуйтесь, господин Шпинель! Высечь! Да неужели «Клетериан» такая гадкая фамилия?

– Да, сударыня, я от всего сердца возненавидел эту фамилию, как только услышал ее. Она смешная, можно прийти в отчаяние от ее безобразия, и это просто варварство и пошлость – в угоду обычаю называть вас по фамилии мужа.

– Ну, а Экгоф? Разве Экгоф красивее? Фамилия моего отца Экгоф!

– А, вот видите! Экгоф – это уже совсем другое дело. Даже один большой актер носил фамилию Экгоф. С этой фамилией я помирюсь. Вы упомянули только об отце. Разве ваша матушка...

– Да, моя мать умерла, когда я была еще маленькой.

– Ах вот как. Расскажите же мне немного больше о себе, прошу вас. Но если это вас утомляет, не надо. Тогда – лучше молчите, а я буду опять рассказывать вам о Париже, как в тот раз. Но вы могли бы говорить совсем тихо. Право, если вы будете говорить шепотом, то от этого ваш рассказ станет только прекраснее... Вы родились в Бремене? – Этот вопрос он задал почти беззвучно, с благоговейным и значительным выражением, как будто Бремен – город, не имеющий себе равных, город неописуемых приключений и скрытых красот, родиться в котором – значит быть отмеченным таинственной благодатью.

– Да, представьте себе! – невольно сказала она. – Я из Бремена.

– Я был там однажды, – произнес он задумчиво.

– Боже мой, вы и там были? Вы, господин Шпинель, по-моему, видели все, от Туниса до Шпицбергена.

– Да, я был там однажды, – повторил он. – Всего несколько часов, вечером. Я помню старинную узкую улицу, над ее островерхими крышами косо и странно висела луна. Потом я был еще в погребке, где пахло вином и гнилью. Это такие волнующие воспоминания...

– В самом деле? Где же это могло быть? Да, я тоже родилась в таком вот сером доме с островерхой крышей, в старом купеческом доме с гулками полами и побеленной галереей.

– Ваш батюшка, стало быть, купец? – спросил он, помедлив.

– Да. Но прежде всего он артист.

– Ах вот оно что! Какому же искусству посвятил себя ваш батюшка?

– Он играет на скрипке... Но это пустые слова. Важно, как он играет, господин Шпинель! От его игры у меня временами навертывались на глаза жгучие слезы, каких я никогда в жизни не знала. Вы не поверите...

– Я верю! Ах, верю ли я... Скажите мне, сударыня, семья ваша, конечно, старинная? Должно быть, уже не одно поколение жило, работало и ушло в лучший мир в этом сером доме с островерхой крышей?

– Да... Почему, собственно, вы об этом спрашиваете?

– Потому что часто случается, что род, в котором живут практические, бюргерские, трезвые традиции, к концу своих дней вновь обретает себя в искусстве.

– Разве? Да, что касается моего отца, то он, конечно, больше артист, чем многие другие, которые именуют себя артистами и живут своей славой. А я только немного играю на рояле. Теперь они мне запретили играть, но тогда, дома, я еще играла. Отец и я, мы играли вдвоем... Да, я люблю вспоминать эти годы; особенно мне помнится сад, наш сад за домом, страшно запущенный, весь заросший. Кругом облупившиеся, замшелые стены; но именно от этого он был такой очаровательный. Посредине сада, в плотном кольце сабельника, бил фонтан. Летом я, бывало, целые часы проводила там с подругами. Мы сидели на складных стульчиках вокруг фонтана.

– Как красиво! – сказал господин Шпинель, вздернув плечи. – Вы сидели и пели?

– Нет, чаще всего мы вязали.

– Все равно... все равно...

– Да, мы рукодельничали и болтали, шесть моих подружек и я...

– Как красиво! Боже мой, подумать только, как красиво! – воскликнул господин Шпинель, и лицо его исказилось.

– Да что здесь такого красивого, господин Шпинель?

– О, то, что, кроме вас, было еще шестеро, что вы не входили в это число, а выделялись среди них, как королева... Вы были особо отмечены в кругу своих подруг. Маленькая золотая корона, полная значения, незримо сияла у вас в волосах...

– Что за глупости, какая еще корона...

– Нет, она сияла незримо. Но я бы увидел ее, я бы ясно увидел ее на ваших волосах, если бы никем не замеченный спрятался в зарослях в такой час...

– Один Бог ведает, что бы вы увидели. Но вас там не было, зато мой теперешний муж – вот кто однажды вышел с отцом из кустарника. Боюсь, что они подслушали кое-что из нашей болтовни...

– Там, значит, вы и познакомились с вашим супругом, сударыня?

– Да, там я с ним и познакомилась, – сказала она громко и весело, и когда она улыбнулась, нежно-голубая жилка, как-то странно напрягшись, выступила у нее над бровью. – Он приехал к моему отцу по делам. На следующий день его пригласили отобедать у нас, а еще через три дня он попросил моей руки.

– Вот как? Все шло с такой необычайной быстротой?

– Да... то есть с этого момента все пошло уже немного медленней. Отец, собственно, не собирался выдавать меня замуж, он выговорил себе довольно долгий срок на размышление. Ему хотелось, чтобы я осталась с ним, кроме того, у него были и другие соображения. Но...

– Но?..

– Но я этого хотела, – сказала она улыбаясь, и снова бледно-голубая жилка придавала ее милому лицу печальное и болезненное выражение.

– Ах, вы этого хотели.

– Да, и, как видите, я проявила достаточно твердую волю...

– Я вижу. Да.

– Так что отцу в конце концов пришлось уступить.

– И вы покинули его и его скрипку, покинули старый дом, заросший сад, фонтан и шестерых своих подруг и ушли с господином Клетерианом.

– И уехала... Ну и манера говорить у вас, господин Шпинель! Прямо библейская! Да, я все это покинула, потому что такова воля природы.

– Да, воля ее действительно такова.

– И к тому же дело шло о моем счастье.

– Разумеется. И оно пришло, это счастье...

– Оно пришло в тот миг, господин Шпинель, когда мне в первый раз принесли маленького Антона, нашего маленького Антона, и он закричал во всю силу своих маленьких, здоровых легких, милый наш здоровячок...

– Вы уже не первый раз говорите мне о здоровье вашего маленького Антона, сударыня. Он, должно быть, на редкость здоровый ребенок.

– Да. И он до смешного похож на моего мужа.

– А!.. Вот как, значит, все это было. И теперь вы уже не Экгоф, вы носите другую фамилию, у вас есть маленький, здоровый Антон, и ваше дыхательное горло не совсем в порядке.

– Да. А вы необыкновенно загадочный человек, господин Шпинель, смею вас уверить...

– Накажи меня Бог, если это не так! – сказала сидевшая поодаль советница Шпатц.

Супруга господина Клетериана не раз мысленно возвращалась к этому разговору. Несмотря на всю его незначительность, в нем таилось нечто дававшее пищу ее размышлениям о самой себе. И не в этом ли заключалось вредоносное влияние, которое сказывалось на ней? Слабость ее возрастала, у нее часто появлялся жар, тихое горение, таившее в себе что-то сладостное. Здесь были и задумчивость, и молитвенная покорность, и самодовольство, и немного обиды. Когда она не лежала в постели и господин Шпинель, с невероятной осторожностью ступая на носки своих огромных ног, подходил и замирал в двух шагах от нее, всем туловищем подавшись вперед; когда он говорил с ней почтительно-приглушенным голосом, словно поднимал ее высоко вверх и бережно, в робком благоговении усаживал на облако, куда не проникнут резкие звуки, где ничем не напомнит о себе земля, – она вспоминала, каким тоном произносил свою обычную фразу господин Клетериан: «Осторожно, Габриэла, take care, мой ангел, не открывай рот». Тон этот напоминал сильное и доброжелательное похлопывание по плечу. Но она сразу же гнала прочь это воспоминание, чтобы чувствовать приятную слабость и покоиться на облаке, которое предупредительно расстилал для нее господин Шпинель.

Однажды она без всякого повода вернулась к разговору относительно своего происхождения и юности.

– Значит, господин Шпинель, – сказала она, – вы бы уж непременно увидели корону?

И хотя говорили они об этом недели две назад, он тотчас же понял, о чем идет речь, и взволнованно стал уверять ее, что тогда, у фонтана, где она сидела среди шести своих подруг, он непременно увидел бы, как сияет, как сверкает на ее волосах незримая миру корона.

Несколько дней спустя один из пациентов вежливо осведомился у нее, как поживает сейчас маленький Антон. Она бросила быстрый взгляд на господина Шпинеля, который был при этом, и со скучающим видом ответила:

– Благодарю вас: как же ему поживать? У него и у моего мужа дела хороши.

В конце февраля, в морозный день, более ясный и более ослепительный, чем все предыдущие, «Эйнфрид» охватила веселая суэта. Больные, страдавшие пороком сердца, беседовали так оживленно, что на щеках у них выступил румянец, генерал-диабетик напевал, как мальчишка,

а господа, не справлявшиеся со своими ногами, были положительно вне себя. Что же случилось? Нечто весьма важное: решено было устроить катанье, поехать в горы – на нескольких санях, под щелканье бичей и звон колокольчиков. Доктор Леандер придумал это для развлечения своих пациентов. Конечно, «тяжелые» должны были остаться дома. Бедняги «тяжелые»! Выразительно поглядывая друг на друга, все остальные сговорились скрыть от них эту затею: ведь так приятно иногда проявить сострадание и показать свою чуткость. Но дома остался и кое-кто из тех, что отлично могли бы участвовать в увеселительной поездке. Что касается фройляйн фон Остерло, то на нее никто не был в претензии. Люди, обремененные столь многочисленными обязанностями, не могут позволить себе такой роскоши, как катанье на санках. Хозяйство настоятельно требовало ее присутствия; одним словом, она осталась в «Эйнфриде». Но что супруга господина Клетериана тоже изъявила желание остаться дома, это уж совсем никуда не годилось. Напрасно твердил ей доктор Леандер, что свежий воздух будет для нее благотворен, она уверяла, что у нее нет настроения кататься, что она страдает мигренью, что чувствует себя плохо, и в конце концов пришлось ей уступить. Для упомянутого уже ранее остряка и циника это явилось поводом заметить: «Вот посмотрите, теперь гнилой сосунок тоже не поедет».

И он оказался прав: господин Шпинель заявил, что хочет сегодня поработать; он очень любил обозначать свою сомнительную деятельность словом «работать». Впрочем, его отказ от поездки ровно никому не причинил огорчения, и так же легко все примирились с решением советницы Шпатц: она предпочла остаться в обществе своей подруги, так как от всякой езды ее укачивало.

Сразу же после обеда, который сегодня состоялся уже в двенадцать часов, к «Эйнфриду» подали сани, и группы пациентов, оживленных, тепло укутанных, взволнованных и любопытных, направились к ним через сад. Супруга господина Клетериана и советница Шпатц стояли у застекленной двери, выходящей на террасу, а господин Шпинель – у окна своей комнаты, и смотрели на отъезжающих. Им было видно, как среди шуток и смеха разыгрывались маленькие сражения за лучшие места, как фройляйн фон Остерло, с боа на шее, бегала от одной упряжки к другой и совала под сиденья корзины с провизией, как доктор Леандер, в надвинутой на лоб меховой шапке, еще раз окинул взглядом, сверкнув очками, всю процессию, а затем уже уселся сам и подал знак кучеру... Лошади тронули, кто-то из дам завизжал и повалился на спинку саней, зазвенели бубенчики, защелкали кнуты с короткими кнутовищами, длинные их бечевки поползли

по снегу за полозьями, а фройляйн фон Остерло все еще стояла у решетчатой калитки и махала носовым платком до тех пор, пока сани не скрылись за поворотом шоссе и не улегся веселый шум. Когда она пошла через сад обратно, чтобы немедленно приступить к своим обязанностям, обе дамы отошли от застекленной двери, и почти одновременно с ними покинул свой наблюдательный пост господин Шпинель.

В «Эйнфриде» наступила тишина. Экскурсантов нечего было и ждать раньше вечера. «Тяжелые» лежали по своим комнатам и мучились. Супруга господина Клетериана и ее старшая приятельница немного погуляли, а потом каждая ушла к себе. Господин Шпинель также находился у себя и «работал». Около четырех часов дамам принесли по пол-литра молока, а господин Шпинель получил свой обычный жидкий чай. Вскоре после этого супруга господина Клетериана постучала в стену, отделявшую ее комнату от комнаты советницы Шпатц, и сказала:

– Не спуститься ли нам в гостиную, госпожа советница? Здесь мне делать уже решительно нечего.

– Сию минуту, дорогая, – отвечала советница. – Я только обуюсь, с вашего позволения. Я, знаете ли, прилегла на минутку.

Как и следовало ожидать, гостиная была пуста. Дамы уселись у камина. Советница Шпатц занялась вышиванием цветов на холсте, супруга господина Клетериана тоже сделала несколько стежков, но затем уронила рукоделье на колени и, облокотившись на ручку кресла, унеслась мыслями далеко-далеко. Наконец она сделала какое-то замечание, которое даже не стоило того, чтобы ради него раскрывали рот; но так как советница Шпатц переспросила: «Что вы сказали?» – то ей, к стыду своему, пришлось повторить всю фразу. Советница Шпатц еще раз спросила: «Что?» Но тут из передней послышались шаги, и в гостиную вошел господин Шпинель.

– Я не помешаю? – спросил он мягким голосом, еще не переступив порога; как-то плавно и нерешительно подавшись туловищем вперед, он глядел только на супругу господина Клетериана.

– Да нет, отчего же? – отвечала молодая женщина. – Во-первых, назначение этой комнаты быть открытым портом, а потом – чем вы можете нам помешать? Я уверена, что уже наскучила советнице...

На это он ничего не ответил, только улыбнулся, показав свои гнилые зубы, и неловкой походкой, чувствуя на себе взгляды обеих дам, направился к застекленной двери; там он остановился и стал смотреть через стекло, довольно неучтиво повернувшись к дамам спиной. Затем он сделал полоборота в их сторону, продолжая, однако, глядеть в сад, и сказал:

– Солнце скрылось. Небо заволокло. Уже темнеет.

– И правда, на все легла тень, – отвечала супруга господина Клетериана. – Похоже на то, что наших экскурсантов застигнет снегопад. Вчера в это время день был еще в разгаре. А сейчас уже смеркается.

– Ах, – сказал он, – после всех этих ослепительно ярких недель темнота даже приятна для глаз. Я, право, даже благодарен этому солнцу, освещающему с назойливой ясностью и прекрасное и низкое, за то, что оно наконец-то немного померкло.

– Неужели вы не любите солнца, господин Шпинель?

– Я ведь не живописец... Без солнца становишься сосредоточеннее. Вот толстый слой серо-белых облаков. Может быть, он означает, что завтра будет оттепель. Между прочим, сударыня, я посоветовал бы вам не утомлять в потемках глаза рукодельем.

– Ах, не беспокойтесь, я и так ничего не делаю. Но чем же нам заняться?

Он опустился на табурет-вертушку возле пианино и оперся одной рукой о крышку инструмента.

– Музыка... – сказал он. – Послушать бы хоть немного музыки! Иногда английские дети поют здесь коротенькие nigger songs^[10] – и это все.

– А вчера под вечер фройляйн фон Остерло наспех сыграла «Монастырские колокола», – заметила супруга господина Клетериана.

– Но ведь вы же играете, сударыня, – просительно проговорил он и поднялся. – Вы ведь прежде каждый день музицировали с вашим батюшкой.

– Да, господин Шпинель, но это было давно! Во времена фонтана...

– Сыграйте сегодня! – попросил он. – Дайте мне один-единственный раз послушать музыку! Если бы вы знали, как я томлюсь.

– Наш домашний врач, да и доктор Леандер тоже решительно запретили мне играть, господин Шпинель.

– Но ведь их здесь нет, ни того ни другого! Мы свободны... Вы свободны, сударыня! Всего лишь несколько аккордов...

– Нет, господин Шпинель, это невозможно. Кто знает, каких чудес вы от меня ждете! А я, поверьте мне, совсем разучилась играть. Наизусть я почти ничего не помню.

– О, так сыграйте это «почти ничего». К тому же здесь есть и ноты, вот они лежат на пианино. Не эти, это ерунда. А вот, смотрите, Шопен...

– Шопен?

– Да, ноктюрны. Сейчас, я только зажгу свечи...

– Не думайте, что я буду играть, господин Шпинель! Мне нельзя. Вдруг это мне повредит?

Он умолк. Большеногий, седоволосый, безбородый, освещенный двумя свечами, горевшими на пианино, он стоял, опустив руки.

– Ну что ж, я больше не буду просить, – сказал он наконец. – Если вы боитесь причинить себе вред, сударыня, то пусть молчит, пусть будет мертва красота, которая могла бы зазвучать под вашими пальцами. Не всегда вы были так благоразумны; уж, во всяком случае, не тогда, когда нужно было, наоборот, отказаться от красоты. Покидая фонтан и снимая маленькую золотую корону, вы не очень-то пеклись о своем здоровье и проявили гораздо больше решительности и твердости... Послушайте, – сказал он после паузы, и голос его стал еще тише, – если вы сейчас здесь сядете и сыграете, как прежде, в те времена, когда рядом с вами стоял отец и звуки его скрипки вызывали у вас слезы... то может случиться, что она вновь тайком засияет у вас в волосах – маленькая золотая корона.

– Правда? – спросила она и улыбнулась. У нее вдруг пропал голос, и одну половину этого слова она произнесла хрипло, а другую беззвучно. Она кашлянула и сказала: – Правда, что это у вас ноктюрны Шопена?

– Конечно. Ноты раскрыты, и все готово.

– Ну, тогда я, благословясь, сыграю один из них, – сказала она. – Но только один, слышите? Впрочем, больше вам и самому не захочется.

С этими словами она поднялась, отложила рукоделье и подошла к пианино. Она села на табурет-вертушку, на котором лежало несколько томов нот, поправила подсвечники и стала перелистывать ноты. Господин Шпинель подвинул стул и уселся рядом с ней, как учитель музыки.

Она сыграла ноктюрн ми-бемоль-мажор, опус 9, номер 2. Хотя она действительно отвыкла играть, чувствовалось, что когда-то ее исполнение было подлинно артистическим. Инструмент был неважный, но уже с первых тактов она обнаружила в обращении с ним безошибочный вкус. В том, как она меняла окраску звука, сквозил подлинный темперамент, невероятная ритмическая подвижность ноктюрна доставляла ей явное удовольствие. Удар у нее был твердый и вместе с тем мягкий. Во всей своей прелести лилась из-под ее пальцев мелодия, и с изящной неторопливостью сопровождал мелодию аккомпанемент.

Она была одета так же, как в день приезда: в темный плотный жакет с выпуклыми бархатными узорами, придававший неземную хрупкость ее лицу и рукам. Во время игры выражение ее лица не менялось, но очертания губ, казалось, сделались еще яснее и сгустились тени в уголках глаз. Окончив игру, она сложила руки на коленях, продолжая глядеть на ноты. Господин Шпинель не проронил ни звука и не шелохнулся.

Она сыграла еще один ноктюрн, затем второй, третий. Потом она

поднялась – но только для того, чтобы поискать еще другие ноты на верхней крышке пианино. Господин Шпинель стал просматривать тома в черных переплетах, лежавшие на табурете-вертушке. Вдруг он издал какой-то нечленораздельный звук, и его большие белые руки стали судорожно листать одну из этих забытых книг.

– Не может быть!.. Неправда... – сказал он. – Однако же я не ошибся!.. Знаете, что это? Что здесь лежало? Что у меня в руках?..

– Что же? – спросила она.

Он молча указал на титульный лист. Он был бледен как полотно. Уронив ноты, он смотрел на нее, и губы у него дрожали.

– В самом деле? Как это попало сюда? Ну-ка, дайте, – сказала она просто, поставила ноты на пюпитр, и через мгновение – тишина длилась не дольше – начала играть первую страницу.

Он сидел рядом с ней, подавшись вперед, сжав руки коленями и опустив голову. Вызывающе медленно, томительно растягивая паузы, сыграла она первые фразы. Тихим, робким вопросом прозвенел мотив, полный страстной тоски, одинокий, блуждающий в ночи голос. Ожидание и тишина. Но вот уже слышен ответ: такой же робкий и одинокий голос, только еще отчетливее, еще нежнее. И снова молчанье. Потом чудесным, чуть приглушенным sforцандо, в котором были и взлет и блаженная истома страсти, полился напев любви, устремился вверх, в восторге взвился, замер в сладком сплетении и, освобожденный, поплыл вниз, а там мелодию подхватили виолончели и повели свою проникновенную песнь о тяжести и боли блаженства.

Не без успеха пыталась пианистка воспроизвести на этом жалком инструменте игру оркестра. Стремительно нараставшие скрипичные пассажи прозвучали с ослепительной точностью. Она играла в молитвенном благоговении, веря каждому образу и передавая каждую деталь так же подчеркнуто и так же смиренно, как священник поднимает дароносицу. Что здесь происходило? Две силы, два восхищенных существа стремились друг к другу; блаженствуя и страдая, они сплетались в безумном восторге, в неистовой жажде вечного и совершенного... Вступление вспыхнуло и угасло. Она остановилась на том месте, где раздвигается занавес, и молча смотрела на ноты.

Между тем скука, овладевшая советницей Шпатц, достигла той степени, когда она искажает человеческий облик, когда глаза вылезают из орбит и на лице появляется страшное, мертвенное выражение. К тому же эта музыка подействовала на ее желудочные нервы, она привела в состояние страха пораженный диспепсией организм, и теперь советница

опасалась спазм в желудке.

– Я должна пойти к себе, – сказала она расслабленным голосом. – Всего доброго, я скоро вернусь...

И ушла. Сумерки уже сгустились. Через стекло было видно, как тихо падает на террасу густой снег.

Свет от обеих свечей был неровный и слабый.

– Второе действие, – прошептал он; она перевернула несколько страниц и начала второе действие.

Звуки рога замерли вдалеке. Или, может быть, это был шелест листвы? Или журчанье ручья? Ночь уже разлила тишину над домом и рощей; никаким призывам, никаким мольбам теперь уже не заглушить велений страсти. Таинство свершилось. Светильник погас, в каком-то новом, неожиданно глухом тембре зазвучал мотив смерти, и страсть в лихорадочном нетерпении простерла по ветру свое белое покрывало навстречу возлюбленному, который, раскрыв объятия, шел к ней сквозь мрак.

О, не знающий меры, ненасытный восторг соединения в вечности, по ту сторону земного! Освободившись от мучительных заблуждений, уйдя от оков пространства и времени, ты и я, твое и мое слились для высшей радости. Коварному призраку дня удалось разлучить их, но его хвастливая ложь не обманула видящих в ночи, прозревших от глотка волшебного зелья. Кто увидел ночь смерти и тайную прелесть ее глазами любви, у того в безумии дня осталось одно желание, одна страсть – тоска по священной ночи, вечной, истинной, соединяющей...

О, приди же, спустись, ночь любви, принеси им желанное забвенье, раствори их в своем блаженстве, вырви их из мира лжи и разлуки! Смотри, последний светильник погас! Мысль и воображение погрузились в священный сумрак, освобождающий от мира, от мук безумья. И даже когда призрак померкнет, когда помутнеет от восторга мой взгляд – я буду знать, чего лишал меня лживый свет дня, что противопоставлял он моей страсти, обрекая ее на неизбывную муку, – даже тогда (о чудо свершенья!), даже тогда я – это мир. И вслед мрачным предостережениям Брангены взлетели голоса скрипок, и взлет их был выше всякого разума.

– Я не все понимаю, господин Шпинель; о многом я только догадываюсь. Что это, собственно, значит: «даже тогда я – это мир».

Он объяснил ей тихо и кратко.

– Да, верно... Как же вы не умеете играть то, что так хорошо понимаете?

Странно, он не выдержал этого безобидного вопроса. Он покраснел,

начал ломать руки, весь как-то осел вместе со своим стулом.

– Это редко совпадает, – запинаясь от муки, проговорил он наконец. – Нет, играть я не умею! Продолжайте же.

И они погрузились в хмельные напевы мистерии. Разве любовь умирает? Любовь Тристана? Любовь твоей и моей Изольды? О нет, она вечна, и смерть не достигает ее! Да и что может умереть, кроме того, что нам мешает, что вводит нас в обман и разделяет слившихся воедино? Сладостным союзом соединила их обоих любовь, смерть нарушила его, но разве может быть для одного из них иная смерть, чем жизнь, отделенная от жизни другого? Таинственный дуэт соединил их в той безымянной надежде, которую дарит смерть в любви, – надежде на нескончаемое, неразрывное объятие в волшебном царстве ночи! Сладостная ночь! Вечная ночь любви! Всеобъемлющая обитель блаженства! Разве может тот, кто в грезах своих увидел тебя, не ужаснуться пробуждению, возвращающему в пустыню дня? Прогони страх, милая смерть! Освободи тоскующих от горести пробуждения! О, неукротимая буря ритмов! О, хроматический порыв в восторге метафизического познания! Как познать, как вкусить блаженство этой ночи, не знающей мук расставанья? Кроткое томление без лжи и страха, величественное угасание без боли, блаженное растворение в бесконечности! Ты – Изольда, я – Тристан, нет больше Тристана – нет Изольды...

Вдруг случилось нечто страшное. Пианистка оборвала игру и, проведя рукой по глазам, стала вглядываться в темноту. Господин Шпинель резко повернулся на стуле. Сзади отворилась дверь, и темная фигура, опираясь на руку другой такой же темной фигуры, вошла из коридора в гостиную. Это была одна из постоялиц «Эйнфрида», тоже не пожелавшая участвовать в катанье и в этот вечерний час, как всегда, пустившаяся в свой бессознательный и печальный обход, больная, которая произвела на свет девятнадцать детей и больше уже не могла ни о чем думать, – пасторша Геленраух в сопровождении сиделки. Не поднимая глаз, осторожными, неверными шагами прошла она в глубину комнаты к противоположной стене и исчезла – немая, оцепенелая, беспокойная и безумная. В гостиной стояла тишина.

– Это пасторша Геленраух, – сказал он.

– Да, это бедная Геленраух, – сказала она. Затем она перелистала ноты и сыграла финал – смерть Изольды.

Как бледны, как резко очерчены были ее губы, какими глубокими стали тени в уголках глаз! На ее прозрачном лбу, над бровью, внушая тревогу, все яснее и яснее проступала трепещущая бледно-голубая жилка.

Под ее руками шло невероятное нарастание звуков, сменившееся внезапным, почти нечестивым пианиссимо, которое было как почва, ускользающая из-под ног, как огромное, всепоглощающее желание. Всеразрешающий восторг великого свершенья прозвучал, повторился; долго не смолкала буря безграничного удовлетворения, но и она стала стихать, и казалось только, что, замирая, она еще раз вплетает в свою гармонию мелодию страстной тоски; наконец она устала, затихла, отшумела, ушла. Воцарилась глубокая тишина.

Они оба прислушались; они склонили головы набок и слушали.

– Это бубенцы, – сказала она.

– Это сани, – сказал он. – Я ухожу.

Он встал и прошел через всю комнату. В глубине у двери он задержался, обернулся и постоял, переминаясь с ноги на ногу. А потом вышло так, что в пятнадцати или двадцати шагах от нее он молча упал на колени, на оба колена. Полы его длинного черного сюртука расстелились по полу. Руки он молитвенно сложил у самого рта, плечи его дрожали.

Она сидела спиной к пианино, опустив руки на колени, подавшись вперед, и смотрела на него. Неясная, печальная улыбка играла на ее лице, а глаза ее вглядывались в полумрак с таким напряжением, что, казалось, они вот-вот закроются.

Издалека все громче доносились звон колокольчиков, щелканье бичей и людские голоса.

Катанье на санях, о котором еще долго шли разговоры, состоялось двадцать шестого февраля. Двадцать седьмого февраля была оттепель, кругом все таяло, капало, лило, текло; в этот день супруга господина Клетериана чувствовала себя превосходно. Двадцать восьмого у нее сделалось кровохарканье... Крови вышло чуть-чуть, но все-таки это была кровь. Тогда же ею вдруг овладела слабость – небывалая слабость, – и она слегла.

Доктор Леандер осмотрел ее, сохраняя при этом непроницаемо-холодное лицо. Затем, согласно требованиям науки, прописал: кусочки льда, морфий, полный покой. Кстати сказать, из-за чрезмерной занятости он на следующий же день передал наблюдение над больной доктору Мюллеру, который и взял его на себя со всей кротостью, какой от него требовали долг и контракт. Скромная и бесславная деятельность этого ничем не примечательного, тихого, бледного человека была посвящена или почти здоровым, или безнадежно больным.

Прежде всего он нашел, что разлука супругов Клетериан слишком

затянулась и что господину Клетериану если только позволят дела его процветающей фирмы, следовало бы еще разок навестить «Эйнфрид». Надо ему написать или, скажем, послать коротенькую телеграмму... И конечно, он осчастливит молодую мать и придаст ей сил, привезя с собой маленького Антона, не говоря уж о том, что врачам будет просто интересно познакомиться с этим маленьким здоровячком.

И вот пожалуйста, господин Клетериан уже здесь. Он получил телеграмму доктора Мюллера и приехал с Балтийского побережья. Выйдя из экипажа, он тотчас же спросил кофе и сдобных булочек, вид у него при этом, надо сказать, был самый обескураженный.

– Сударь, – спросил он, – в чем дело? Почему меня вызвали к ней?

– Потому что весьма желательно, – отвечал доктор Мюллер, – чтобы вы теперь находились вблизи вашей супруги.

– Желательно... Желательно... А есть ли в этом необходимость? Я должен жить по средствам, времена теперь скверные, а железная дорога влетает в копеечку. Разве нельзя было обойтись без этой поездки? Я бы ничего не стал говорить, если бы у нее были, например, больные легкие; но ведь, слава Богу, это только дыхательное горло...

– Господин Клетериан, – мягко сказал доктор Мюллер, – во-первых, дыхательное горло – весьма важный орган... – Он неправильно употребил выражение «во-первых», ибо никакого «во-вторых» за ним не последовало.

Одновременно с господином Клетерианом в «Эйнфриде» появилась пышная особа в наряде из шотландки и чего-то золотого и красного. Она-то и носила на руках Антона Клетериана-младшего, этого маленького здоровячка. Да, он тоже был здесь, и все должны были согласиться, что здоровье у него отменное. Розовый, белый, в чистом, свежем костюмчике, толстенький и душистый, он сидел на голой красной руке своей ярко одетой няни, поглощал огромное количество молока и рубленого мяса, кричал и вообще давал волю своим инстинктам.

Прибытие молодого Клетериана писатель Шпинель наблюдал из окна своей комнаты. Когда ребенка несли из экипажа в дом, он посмотрел на него как-то странно – мутными глазами и в то же время пронзительно – и долго еще сидел неподвижно, все с тем же выражением лица.

С этих пор он всячески избегал встреч с Антоном Клетерианом-младшим.

Господин Шпинель сидел у себя в комнате и «работал».

Комната его была такая же, как все комнаты в «Эйнфриде», – старомодная, простая и изысканная. Массивный комод украшали

металлические львиные головы, высокое стенное зеркало состояло из множества маленьких квадратных пластинок в свинцовой оправе, синеватый, блестящий, не застланный ковром паркет, казалось, удлинял ножки мебели ясными, застывшими отражениями. У окна, которое романист затянул желтой гардиной, – наверно, для того, чтобы сосредоточиться, – стоял просторный письменный стол.

В желтоватом сумраке склонился он над доской секретера и писал – писал одно из тех многочисленных писем, которые каждую неделю отсылал на почту и на которые, как это ни смешно, по большей части не получал ответа. Перед ним лежал большой лист плотной бумаги. В левом верхнем углу листа, под замысловатым пейзажем, новомодными буквами было напечатано «Детлеф Шпинель». Он писал красивым, на редкость аккуратным почерком.

«Милостивый государь! – писал он. – Я пишу Вам эти строки, ибо не могу иначе, ибо то, что я должен Вам сказать, переполняет меня, мучает и приводит в дрожь, слова захлестывают меня таким стремительным потоком, что я бы задохнулся, если бы не излил их в этом письме».

Честно говоря, «стремительный поток» нимало не соответствовал действительности, и одному Богу известно, какие суетные побуждения заставили господина Шпинеля упомянуть о нем. Слова отнюдь не захлестывали его, напротив, писал он на редкость медленно для писателя-профессионала, и, взглянув на него, можно было подумать, что писатель – это человек, которому писать труднее, чем прочим смертным.

Он крутил двумя пальцами один из нелепых волосков, росших у него на щеках, крутил, наверно, не менее часа, уставившись в пустоту, причем за это время в письме его не прибавилось ни одной строчки, затем он написал несколько изящных слов, после чего снова застрял. Нужно, однако, признать, что в конечном счете письмо его оказалось написано довольно гладким и живым слогом, хотя содержание его и было несколько причудливо, сомнительно и даже мало понятно.

«Я испытываю, – так продолжалось письмо, – неодолимую потребность заставить Вас увидеть то, что вижу я сам, что вот уже несколько недель стоит передо мной неугасимым видением, увидеть моими глазами и в том освещении, в каком это вижу я. Я привык уступать силе, велящей мне с помощью незабываемых, словно огнем выжженных и неукоснительно точно расставленных слов делать мои переживания достоянием всего мира. Поэтому выслушайте меня!

Мне хочется только одного – рассказать о том, что было и что есть, рассказать без комментариев, обвинений и сетований, просто, своими

словами короткую и на редкость возмутительную историю. Это история Габриэлы Экгоф, той женщины, сударь, которую Вы называете своей женой... Так вот, знайте: Вы были ее мужем, но событием в Вашей жизни она станет только благодаря мне, только благодаря моим словам.

Помните ли Вы сад, сударь, старый, запущенный сад позади серого патрицианского дома? Зеленым мхом поросли трещины полуразрушенных стен, окружавших это царство запустения. Помните ли Вы фонтан в глубине сада? Над замшелым его бассейном склонились лиловые лилии, и с таинственным журчанием падала на разбитые камни светлая струя. Летний день был на исходе.

Семь девушек сидели кружком у фонтана, и в волосы седьмой, но первой и единственной, заходящее солнце, казалось, вплело знак неземного величия.

Трепетным сновидениям были подобны ее глаза; но юные губы ее улыбались...

Девушки пели. Узкие лица их были обращены к вершине струи, к усталому благородному изгибу, где начиналось ее падение, тихие, звонкие голоса парили вокруг пляшущей воды. Возможно, что девушки пели, охватив колени своими нежными руками...

Помните ли Вы эту картину, сударь? Видели ли Вы ее? Нет, Вы ее не видели. Не те у Вас были глаза, не те уши, чтобы воспринять ее чистую прелесть. Нет, Вы ее не видели! Вам следовало уйти, уйти в жизнь, в Вашу жизнь, и до конца дней своих, как неприкосновенную и великую святыню, хранить в душе то, что Вы увидели. А что сделали Вы?

Картина эта была концом, сударь; зачем же Вам понадобилось прийти и нарушить ее, продолжить в пошлости и безобразных страданиях? Это был трогательный и мирный апофеоз, окутанный вечерним светом упадка, гибели, угасания. Старая семья, слишком благородная и слишком усталая, для того чтобы жить и действовать, у конца своих дней, и последнее, в чем она выражает себя, – это звуки музыки, несколько тактов на скрипке, исполненных вещей тоски обреченности. Видели Вы глаза, на которые наворачивались слезы при этих звуках? Возможно, что души шести подруг принадлежали жизни; душа их сестры-повелительницы принадлежала красоте и смерти.

Вы видели ее, эту красоту смерти. Вы смотрели на нее, и смотрели вожделея. Ничего похожего на благоговение или страх не вызвала у Вас в душе трогательная ее святость. И Вы не пожелали довольствоваться созерцанием; нет, Вам надо было взять, получить, осквернить... Вы гурман, сударь, Вы плебей-гурман, Вы – мужлан со вкусом.

Прошу Вас иметь в виду, что я не имею ни малейшего желания оскорблять Вас. Мои слова – не брань, а формула, простая психологическая формула для обозначения несложной, не представляющей никакого литературного интереса личности, каковою являетесь Вы, и если я прибегаю к этим словам, то лишь желая уяснить Вам Ваши же собственные действия и Вашу сущность; такова уж моя неизбежная обязанность в этом мире – называть вещи своими именами, заставлять говорить, разъяснять неосознанное. Мир полон того, что я называю «неосознанным типом», и мне они не вмогуту, все эти неосознанные типы! Мне не вмогуту вся эта бесчувственная, слепая, бессмысленная жизнь, вся эта суета сует; меня раздражает этот мир наивности вокруг меня! Меня мучит неодолимое желание – в меру сил своих объяснить, выразить, осознать окружающее меня бытие, и мне безразлично, помогу я этим или помешаю, принесу ли радость и облегчение или причину боль.

Вы, сударь, как я уже сказал, плебей-гурман, Вы мужлан со вкусом, человек грубого телосложения, стоящий на низшей ступени развития. Богатство и сидячий образ жизни привели Вашу нервную систему в состояние такого неожиданного, противоестественного, варварского разложения, которое неминуемо влечет за собой потребность в сладострастной утонченности наслаждений. Весьма вероятно, что, когда Вы решили завладеть Габриэлой Экгоф, вы произвольно чмокнули, словно отведав превосходного супа или какого-нибудь редкого блюда...

По существу, Вы направляете ее мечтательную волю по неверному пути, Вы уводите ее из запущенного сада в жизнь, в уродливый мир, Вы даете ей свою заурядную фамилию, превращаете ее в жену, в хозяйку, делаете ее матерью. Вы унижаете усталую, робкую, цветущую в своем возвышенном самодовлении красоту смерти и заставляете ее служить пошлой обыденности и тому тупому, косному, презренному идолу, который называют природой. В Вашем сознании мужлана нет и тени представления о всей низости Ваших действий.

Итак, что же происходит? Та, глаза которой подобны трепетным сновидениям, приносит Вам сына; она отдает этому существу, призванному продолжать низменное бытие родителя, всю свою кровь, все, что в ней еще осталось от жизни, – и умирает. Она умирает, милостивый государь! И если конец ее свободен от пошлости, если в преддверии его она поднялась из глубины своего унижения, чтобы в гордом блаженстве принять смертельный поцелуй красоты, то об этом позаботился я. А у Вас была другая забота – Вы развлекались с горничными в темных коридорах.

Зато Ваш ребенок, сын Габриэлы Экгоф, процветает, живет,

торжествует. Возможно, что он пойдет по стопам отца и станет купцом, исправным налогоплательщиком, любителем хорошо покушать; может быть, он станет солдатом или чиновником, слепой и усердной опорой государства. Так или иначе, из него получится существо, чуждое музам, нормальное, беззаботное и уверенное, сильное и глупое.

Знайте, милостивый государь, что я ненавижу Вас и Вашего сына, как ненавижу самую жизнь, олицетворяемую Вами, пошлую, смешную и тем не менее торжествующую жизнь, вечную противоположность красоты, ее заклятого врага. Не смею сказать, что я Вас презираю. Я честен. Из нас двоих Вы – сильнейший. Единственное, что я могу противопоставить Вам в борьбе, – это достойное оружие мести слабосильного человека – слово и дух. Сегодня я воспользовался этим оружием. Ведь это письмо, – я честен и здесь, милостивый государь, – и есть акт мести; и если хоть одно слово в нем достаточно остро, достаточно блестяще и красиво, чтобы кольнуть Вас, чтобы заставить Вас почувствовать чужую силу, чтобы хоть на мгновение вывести Вас из Вашего толстокожего равновесия – то я торжествую.

Детлеф Шпинель».

Господин Шпинель запечатал конверт, наклеил марку, изящным почерком написал адрес и отправил письмо на почту.

С видом человека, решившегося на самые энергичные действия, господин Клетериан стучался в дверь господина Шпинеля; в руках он держал большой лист бумаги, исписанный аккуратным почерком. Почта сделала свое дело, письмо пошло положенным ему путем и, совершив странное путешествие из «Эйнфрида» в «Эйнфрид», попало «в собственные руки» адресата. Было четыре часа дня.

Когда господин Клетериан вошел в комнату, господин Шпинель сидел на диване и читал свой собственный роман с в высшей степени странным рисунком на обложке. Он поднялся и, как человек, застигнутый врасплох, вопросительно взглянул на посетителя, сильно при этом покраснев.

– Добрый день, – сказал господин Клетериан. – Извините, что я помешал вашим занятиям. Но позвольте спросить – не вы ли это писали? – Он поднял левую руку, державшую большой, исписанный аккуратным почерком лист бумаги и хлопнул по нему тыльной стороной правой ладони, отчего бумага громко зашуршала. Затем он засунул правую руку в карман своих широких, удобных брюк, склонил голову набок и раскрыл рот, как бы приготовившись слушать.

Как ни странно, но на лице господина Шпинеля появилась улыбка,

предупредительная, немного смущенная и как бы извиняющаяся. Он потер рукой голову, словно что-то припоминая, и сказал:

– Ах, верно... да... я позволил себе...

Дело было в том, что сегодня он дал себе волю и проспал до полудня. Теперь он страдал от угрызений совести, голова у него кружилась, он чувствовал себя взвинченным и не способным ни на какое сопротивление. К тому же веянье весеннего воздуха вызвало у него слабость и настроило его на пессимистический лад. Все это нужно принять во внимание, чтобы объяснить его весьма нелепое поведение в разыгравшейся сцене.

– Ага! Вот как! Хорошо! – сказал господин Клетериан, он прижал подбородок к груди, сдвинул брови, вытянул вперед руки, – словом, сделал множество приготовлений, чтобы после своего чисто формального вопроса немедленно перейти к сути дела. Из самодовольства он эти приготовления несколько затянул; то, что за ними последовало, не вполне отвечало обстоятельности мимической подготовки. Однако господин Шпинель заметно побледнел.

– Очень хорошо! – повторил господин Клетериан. – В таком случае, дорогой мой, позвольте ответить вам устно, поскольку, на мой взгляд, идиотство писать длиннейшие письма людям, с которыми можно в любой момент поговорить.

– Ну... уж и идиотство... – протянул господин Шпинель с извиняющейся, даже подобострастной улыбкой.

– Идиотство! – повторил господин Клетериан и стал энергично трясти головой, чтобы показать, сколь непоколебима его уверенность в своей правоте. – Я бы и словом не удостоил эту писанину, я бы – честно скажу – побрезговал завернуть в нее бутерброд, если б она кое-что не объяснила мне, не сделала понятным некоторое изменение... Впрочем, это вас не касается и к делу не относится. Я деловой человек, и у меня есть другие заботы, кроме ваших невыразимых видений...

– Я написал «неугасимое видение», – сказал господин Шпинель и выпрямился. Это был единственный момент их разговора, когда он проявил достоинство.

– «Неугасимое... невыразимое...» – ответил господин Клетериан и заглянул в рукопись. – У вас отвратительный почерк, уважаемый; я бы не взял вас к себе в контору. На первый взгляд кажется, что он четкий, а приглядишься – видны пропуски и неровности. Но это дело ваше, меня это не касается. Я пришел сказать вам, что, во-первых, вы шут гороховый, – впрочем, это, надеюсь, вы и сами понимаете. Но, кроме того, вы – большой трус, думаю, что и это мне незачем вам подробно доказывать. Жена мне

как-то писала, что, встречаясь с женщинами, вы не смотрите им в лицо, а только искоса поглядываете на них, вы хотите унести с собой красивый образ и боитесь действительности. К сожалению, она потом перестала рассказывать о вас в своих письмах, а то бы я узнал много всяких историй. Такой уж вы человек. Каждое третье слово у вас «красота», а в сущности, вы – трус, тихоня и завистник. Отсюда-то и ваше нахальное замечание насчет «темных коридоров»; вы думали меня им сразить, а оно меня только позабавило, позабавило – и все! Ясно теперь? Стали вам немного яснее «ваши действия и ваша сущность»? Жалкий вы человек! Хотя это и не является моей «непременной обязанностью», ха-ха-ха!

– У меня написано: «неизбежная обязанность», – поправил его господин Шпинель, но тут же перестал спорить. Беспомощный, несчастный, большой, седоволосый, он стоял, как школьник, получивший нагоняй.

– «Неизбежная... непременная...» Подлый вы трус, вот что я вам скажу. Каждый день вы видите меня за столом, вы здороваетесь со мной и улыбаетесь, вы передаете мне соус и улыбаетесь, вы желаете мне приятного аппетита и улыбаетесь. А в один прекрасный день на мою голову валится вот эта мазня с идиотскими обвинениями. Что и говорить, на бумаге вы храбрец! Ну, пусть бы этим дурацким письмом дело и кончилось. Так нет же, вы еще вели интриги против меня, вели их за моей спиной, теперь я это прекрасно понимаю... впрочем, не воображайте, что вы чего-то добились! Если вы тешите себя надеждой, что вскружили голову моей жене, то вы заблуждаетесь, любезный, слишком она для этого разумный человек! А если вы, чего доброго, думаете, что на этот раз она встретила меня как-то по-другому – меня и ребенка, – так это уж сущая ерунда! Если она и не поцеловала сына, то сделала это из осторожности, потому что недавно возникло предположение, что болезнь у нее не в дыхательном горле, а в легких, и тут уж неизвестно... Хотя вообще-то совсем еще не доказано, что у нее плохо с легкими, а вы уж заладили: «Она умирает, милостивый государь!» Осел вы, и больше ничего.

Тут господин Клетериан попытался перевести дыхание. Он так разгневался, что непрестанно пронзал воздух указательным пальцем правой руки, в то время как левая самым безжалостным образом комкала письмо. Лицо его, окаймленное светлыми английскими бакенбардами, побагровело, набухшие вены, словно грозные молнии, прорезали его насупленный лоб.

– Вы ненавидите меня, – продолжал он, – и вы бы меня презирали, если бы я не был сильнее вас. Да, я сильнее, черт возьми, у меня душа на

месте, а у вас она то и дело уходит в пятки, хитрый вы идиот, я бы отдубасил вас с вашим «духом и словом», если бы это не было запрещено. Но это еще не значит, что я вам так просто спущу ваши нападки: боюсь, что вам очень не поздоровится, если я покажу своему адвокату то место в письме, где говорится насчет «заурядной фамилии». Моя фамилия, сударь, вполне хороша, и хороша благодаря мне. А вот дадут ли вам под залог вашей фамилии хотя бы полушку в долг, это, сударь мой, более чем сомнительно. И откуда вы только взялись, бездельник! Надо бы издать закон против таких, как вы! Вы опасны для общества! Вы сводите людей с ума!.. Впрочем, не воображайте, что вам удалось своротить мне мозги, тоже еще заступник нашелся! Меня не собьют с толку такие типы, как вы. У меня душа на месте...

Господин Клетериан был в самом деле крайне взволнован. Он кричал и все время повторял, что душа у него на месте.

– ««Они пели»... Черта с два! Да не пели они вовсе! Они вязали. И еще они говорили, насколько я понял, о рецепте приготовления картофельных пончиков; и если я повторю ваши слова насчет «упадка» и «угасания» своему тестю, то он тоже возбудит против вас дело, можете быть уверены!.. «Видели ли вы эту картину, видели ли вы ее?» Конечно, я ее видел, но я не понимаю, почему мне следовало затаить дыхание и удрать. Я не поглядываю на женщин украдкой, я смотрю на них, и, если они мне нравятся, я их беру. У меня душа на мес...

В дверь постучали. Раздалось девять или десять быстрых ударов подряд, короткая нервная дробь, заставившая господина Клетериана умолкнуть, и чей-то захлебывающийся, непослушный в беде голос торопливо проговорил:

– Господин Клетериан, господин Клетериан, ах, нет ли здесь господина Клетериана?

– Не входите, – неприязненно сказал господин Клетериан. – В чем дело? У меня здесь разговор.

– Господин Клетериан, – отвечал неверный, прерывающийся голос. – Вам нужно пойти, врачи тоже там... о, какое это страшное горе...

Он бросился к двери и распахнул ее. В коридоре стояла советница Шпатц. Она держала платок у рта, и крупные продолговатые слезы попарно скатывались в этот платок.

– Господин Клетериан, – с трудом проговорила она, – это такое горе... Она потеряла столько крови, ужасно, ужасно... Она спокойно сидела в кровати и что-то тихонько напевала, и вдруг пошла кровь, Боже мой, столько крови...

– Она умерла?! – закричал господин Клетериан. Он схватил советницу за руку выше локтя и стал мотать ее с одного конца порога к другому. – Нет, не совсем, что? Не совсем, она еще сможет меня увидеть... Снова немного крови? Из легких, что? Я готов признать, что кровь, наверно, из легких... Габриэла! – внезапно сказал он, и глаза его наполнились слезами; его одолевало горячее, хорошее, человеческое и честное чувство. – Да, я иду! – добавил он и, широко шагая, потащил за собой советницу. Из глубины коридора еще доносились его затихающие слова: «Не совсем, что?.. Из легких, а?»

Господин Шпинель стоял все на том же месте, где стоял во время так внезапно прерванного визита господина Клетериана, и глядел в открытую дверь. Наконец он шагнул вперед и стал прислушиваться. Но все было тихо, он затворил дверь и вернулся на прежнее место.

С минуту он разглядывал себя в зеркале, затем подошел к письменному столу, вынул из ящика небольшую бутылку и налил себе стаканчик коньяку, – кто осудит его за это? Выпив, он лег на диван и закрыл глаза.

Окно стояло раскрытым. В саду «Эйнфрида» щебетали птицы, и эти слабые, нежные, дерзкие звуки были тонким и проникновенным выражением весны. Один раз господин Шпинель тихо проговорил: «Неизбежная обязанность». Потом он стал мотать головой, втягивая воздух через зубы, словно в приступе нервной боли.

Успокоиться, прийти в себя было невозможно. Нет, он не создан для таких грубых переживаний! Психологический процесс, анализ которого завел бы нас слишком далеко, заставил господина Шпинеля принять решение – подняться и пройтись по свежему воздуху. Он надел шляпу и вышел из комнаты.

Окунувшись в мягкий душистый воздух, он обернулся, и глаза его скользнули вверх по зданию – к одному из окон, к занавешенному окну, которое и приковало к себе на мгновение его серьезный, пристальный, сумрачный взгляд. Потом он заложил руки за спину и зашагал по дорожке. Шагал он в глубоком раздумье.

На клумбах лежали маты, деревья и кусты стояли еще голые; но снег уже сошел, и только влажные следы его виднелись кое-где на дорожках. Обширный сад со всеми гротами, аллеями и беседками был залит роскошным предвечерним светом; густые тени чередовались с сочным золотом, и темные ветви деревьев четко и тонко вырисовывались на светлом небе.

Был тот час, когда солнце приобретает очертанья, когда бесформенная

масса света превращается в спускающийся диск, спокойное, ровное пламя которого не ослепляет нас. Господин Шпинель не видел солнца: он шел так, что оно было скрыто от него, шел с опущенной головой и тихо напевал короткую музыкальную фразу, робкую, жалобную, улетающую вверх мелодию, мелодию страстной тоски... Вдруг он судорожно вздохнул, остановился и точно прирос к месту, брови его резко сомкнулись, а зрачки расширились, в них, казалось, застыло злобное отвращенье...

Дорога сделала поворот – теперь она шла навстречу заходящему солнцу. Огромное, подернутое двумя узкими светлыми полосками позолоченных по краям облаков, оно косо висело на небе, заставляя пламенеть вершины деревьев и разливая по саду красновато-желтое сиянье. И посреди этого золотистого великолепия, с громадным ореолом солнечного диска над головой, стояла пышная особа в наряде из шотландки и чего-то золотого и красного, стояла, упираясь правой рукой в могучее бедро, а левой потихоньку толкая изящную колясочку – к себе и от себя. В коляске сидел ребенок – Антон Клетериан-младший, упитанный сын Габриэлы Экгоф.

Он сидел, откинувшись на подушки, в белой пушистой курточке и в большой белой шляпе, великолепный, здоровый бутуз, и глаза его весело и уверенно встретили взгляд господина Шпинеля. Романист хотел собраться с силами, в конце концов он был мужчиной, у него бы хватило духа пройти мимо этого неожиданного, озаренного солнечным светом видения и продолжить свою прогулку. Но тут случилось нечто ужасное: Антон Клетериан стал смеяться, им овладела буйная радость, он визжал от необъяснимого восторга, так что жутко становилось на сердце.

Одному Богу известно, что привело его в такой восторг: черная ли фигура, которую он увидел перед собой, вызвала у него эту дикую веселость, или это был внезапный приступ какой-то животной радости. В одной руке он держал костяное кольцо, которое дают детям, когда у них режутся зубы, в другой – жестяную погремушку. Оба эти предмета он в восторге протягивал вверх к солнцу и так стучал ими друг о друга, словно хотел над кем-то поиздеваться. Глаза он зажмурил от удовольствия, а рот раскрыл так широко, что видно было розовое небо. Взвизгивая, он мотал головой из стороны в сторону.

Тут господин Шпинель повернулся и зашагал прочь. Преследуемый ликованием молодого Клетериана, он шел по дорожке, и в положении рук его была какая-то настороженность, какое-то застывшее изящество, а в ногах – та нарочитая медлительность, которая бывает у человека, когда он хочет скрыть, что внутренне пустился наутек.

Тонио Крёгер

Зимнее солнце, стоявшее над тесным старым городом, казалось за слоем облаков лишь молочно-белым, блеклым сиянием. В узеньких улочках меж домов с островерхими крышами было сыро и ветрено; время от времени с неба сыпалось нечто вроде мягкого града – не лед и не снег.

В школе кончились занятия. На мощный двор и через решетчатые ворота на улицу ватагами выбегали освобожденные узники, чтобы тотчас же разбрестись кто куда. Школьники постарше левой рукой степенно прижимали к плечу сумки с книгами, а правой – выгребали против ветра, спеша к обеду. Мелкота бежала веселой рысцой, так что снеговая каша брызгами разлеталась во все стороны, а школьные пожитки тарахтели в ранцах из тюленьей кожи. Впрочем, все мальчики, независимо от возраста, с почтением во взоре снимали фуражки перед вотановой шляпой и юпитеровой бородой размеренно шагавшего старшего учителя...

– Ну, скоро ты, Ганс? – спросил заждавшийся на шоссе Тонио Крёгер и, улыбаясь, двинулся навстречу другу, который выходил из ворот и, увлеченный разговором с товарищами, совсем уже было собрался уйти с ними...

– А что? – спросил тот, взглянув на Тонио. – Ах да! Ну, ладно, пройдемся немного.

Тонио не отвечал, глаза его стали грустными. Неужто же Ганс позабыл и только сейчас вспомнил, что они уговаривались сегодня часок-другой погулять вдвоем? А он-то весь день радовался этому уговору!

– Ну, прощайте, друзья! – сказал товарищам Ганс Гансен. – Мы с Крёгером еще немного пройдемся.

И они свернули налево, в то время как остальные пошли направо.

Ганс и Тонио могли позволить себе эту прогулку после занятий, так как дома у того и у другого обедали в четыре часа. Отцы их были крупными негоциантами, занимали выборные должности и пользовались немалым влиянием в городе. Гансены из рода в род владели обширными лесными складами внизу у реки, где мощные механические пилы с шипением и свистом обрабатывали древесные стволы. Тонио был сыном консула Крёгера, того самого, чье фирменное клеймо – широкое и черное – красовалось на больших мешках с зерном, которые ломовики целыми днями развозили по улицам, и чей поместительный старый дом, доставшийся ему от предков, слыл самым барственным во всем городе...

Друзьям то и дело приходилось снимать фуражки при встрече со знакомыми, среди которых попадались и такие, что первыми почтительно здоровались с четырнадцатилетними мальчуганами...

У обоих были переброшены через плечо сумки с книгами, оба были хорошо и тепло одеты: Ганс – в бушлат, с выпущенным наружу синим воротником матроски, Тонио – в серое пальто с кушаком. Ганс, по обыкновению, был в датской матросской шапочке с короткими лентами, из-под которой выбивалась прядь белокурых волос. Статный, широкоплечий, узкобедрый, с открытым и ясным взглядом серо-голубых глаз, он был очень хорош собою. Под круглой меховой шапкой Тонио виднелось смуглое, тонкое лицо южанина и глаза с тяжелыми веками; оттененные чуть заметной голубизной, они мечтательно и немного робко смотрели на мир... Рот и подбородок Тонио отличались необыкновенно мягкими очертаниями. Походка у него была небрежная и неровная, тогда как стройные ноги Ганса, обтянутые черными чулками, шагали упруго и четко.

Тонио не говорил ни слова. У него было тяжело на сердце. Нахмутив разлетные брови, вытянув губы, как бы для того, чтобы свистнуть, и склонив голову набок, он сурово смотрел вдаль. Этот наклон головы и хмурое выражение лица были характерны для него.

Внезапно Ганс взял Тонио под руку и слегка покосился на своего друга, он ведь отлично знал, что с ним творится. И хотя Тонио еще некоторое время хранил молчание, на душе у него сразу полегчало.

– Не думай, что я позабыл, Тонио, – сказал Ганс, глядя себе под ноги, – я просто считал, что сегодня у нас ничего не выйдет, очень уж холодно и ветрено. Но я-то холода не боюсь, и ты молодец, что, несмотря ни на что, дождался меня. Я решил, что ты ушел домой, и злился...

Каждая жилка в Тонио радостно затрепетала от этих слов.

– Давай пойдем по бульварам, – растроганно отвечал он. – По Мельничному и Голштинскому, таким образом я провожу тебя до дому... Не беда, что обратно мне придется идти одному, – в следующий раз ты меня проводишь.

Он, собственно, не очень-то верил Гансу, прекрасно понимая, что тот и вполовину не придает такого значения этой прогулке. Но видел, что Ганс раскаивается в своей забывчивости, ищет примирения, и отнюдь не хотел от этого примирения уклоняться...

Дело в том, что Тонио любил Ганса Гансена и уже немало из-за него выстрадал. А тот, кто сильнее любит, всегда внакладе и должен страдать, – душа четырнадцатилетнего мальчика уже вынесла из жизни этот простой и жестокий урок; по самой своей натуре он очень дорожил такими

житейскими наблюдениями, внутренне как бы брал их на заметку, даже радовался им, хотя отнюдь ими не руководствовался и никаких практических выводов для себя из них не делал. Так уж он был устроен, что эта наука казалась ему куда важнее, куда интереснее знаний, которые ему навязывали в школе. Во время уроков, в классе под готическими сводами, он главным образом размышлял над этими истинами, стараясь как можно полнее продумать и прочувствовать их. При этом он ощущал почти такую же радость, как в часы, когда расхаживал со скрипкой по комнате (Тонио играл на скрипке), извлекая из нее самые нежные звуки, которые сливались с плеском фонтана, в саду, под старым орешником, посылавшего высоко в воздух свои резвые струи.

Фонтан в саду под старым орешником, скрипка и морские дали, дали Балтийского моря, чьи летние грезы ему удавалось подслушать во время каникул, – все это было тем, что он любил, чем старался окружать себя, среди чего протекала его внутренняя жизнь. Все эти слова и образы произвольно складывались в стихи, да и вправду нередко звучали в стихах, которые случалось слагать Тонио Крёгеру.

Тетрадь со стихами собственного сочинения! Слух об этой тетради, распространившийся по его, Тонио, оплошности, изрядно повредил ему во мнении одноклассников и учителей. Правда, сыну консула Крёгера казалось, что глупо и подло порицать человека за писание стихов, и он презирал за это своих товарищей и учителей, впрочем и без того внушавших ему отвращение дурными манерами и мелкими слабостями, которые он подмечал в них с удивительной проницательностью. С другой стороны, он и сам, считая стихотворство чем-то неуместным, даже неподобающим, признавал правоту тех, что его осуждали. И все-таки продолжал стихотворствовать...

Поскольку дома он попусту растрачивал время, а в школе был мешкотен, рассеян и на дурном счету, то и отметки приносил самые дурные, что очень огорчало и сердило его отца, высокого, изящно одетого господина, с умными голубыми глазами и неизменным полевым цветком в петлице. Зато матери Тонио, его черноволосой красавице матери, носившей имя Консуэло и нисколько не похожей на всех остальных дам в городе, – отец когда-то привез ее из далеких краев, расположенных в самом низу карты, – его отметки были совершенно безразличны.

Тонио любил свою смуглую пылкую мать, так чудесно игравшую на рояле и на мандолине, и радовался ее безразличию к тому, что все у него не так, как у людей. Но в то же время он чувствовал, что гнев отца достойнее и почтеннее; хотя тот на все лады и распекал сына, Тонио в глубине души

соглашался с ним, а веселую беспечность матери находил немного непутевой. Временами он думал примерно так: «Ну пусть уж я такой, как есть, нерадивый, упрямый, пусть я размышляю о вещах, которые нисколько не интересуют других, пусть не хочу и не могу измениться. Но конечно, за это меня нужно бранить и наказывать, а не отделяться игрой на рояле и поцелуями. Мы же не цыгане в таборе, а добропорядочные люди: консул Крёгер, семейство Крёгеров...» Нередко он даже спрашивал себя: «Почему я какой-то отщепенец, не такой, как все, почему учителя ко мне придираются, а сам я сторонюсь товарищей? Ведь это хорошие, благонравные ученики, – то, что называется «золотая середина». Учителя не кажутся им смешными, они не пишут стихов и думают о том, о чем положено думать и что можно высказывать вслух. Какими порядочными, со всем согласными они ощущают себя, и как это, наверно, им приятно... Кто же я такой и что со мной будет дальше?»

Эта склонность Тонио рассматривать себя и свое отношение к жизни со стороны играла большую роль в его любви к Гансу Гансену. Он любил его прежде всего за красоту; но еще и за то, что Ганс решительно во всем был его противоположностью. Ганс Гансен прекрасно учился, был отличным спортсменом, ездил верхом, занимался гимнастикой, плавал, как рыба, и пользовался всеобщей любовью.

Учителя, можно сказать, души в нем не чаяли, звали его по имени, всячески поощряли, товарищи заискивали перед ним, мужчины и дамы, встречаясь с ним на улице, гладили белокурые пряди, выбивающиеся из-под его датской матросской шапочки, и говорили:

– Здравствуй, Ганс Гансен, что за славные у тебя кудри! Ну, как? Все еще первый ученик? Молодчина! Кланяйся маме и папе, мой мальчик!

Таков был Ганс Гансен, и Тонио Крёгер, смотря на него, всякий раз ощущал завистливое томление. Оно гнездилось где-то повыше груди и жгло его сердце. «Ну у кого еще могут быть такие голубые глаза; кто, кроме тебя, живет в таком счастливом единении со всем миром? – думал Тонио. – Ты всегда находишь себе благопристойные, респектабельные занятия. Покончив с приготовлением уроков, ты отправляешься в манеж или выпиливаешь из дерева какие-нибудь вещички; даже во время каникул у моря ты по горло занят греблей, катаньем под парусом или плаваньем, тогда как я праздно валяюсь на песке, всматриваясь в таинственные изменения, что пробегают по лику моря. Поэтому так ясны твои глаза. Быть таким, как ты...»

Впрочем, он не делал попыток стать таким, как Ганс Гансен, а может быть, и не хотел этого всерьез. Но, оставаясь самим собою, он мучительно

желал, чтобы Ганс любил его, и на свой лад домогался его любви: всей душой, медлительно, самозабвенно, в печали и томлении – томлении, что гложет и жжет больше, чем буйная страсть, которую можно было бы предположить в нем, судя по его южному облику.

И он домогался не напрасно. Ганс видел, что Тонио кое в чем его превосходит, например, в известной изощренности речи, позволявшей ему высказывать необычные мысли, и к тому же Ганс хорошо понимал, что столкнулся здесь с чувством, необычайно сильным и нежным, и умел быть благодарным; он доставлял Тонио немалую радость своим дружелюбием, но также и муки: ревность, разочарование, горечь от безнадежных попыток установить наконец духовную общность. Примечательно, что Тонио, завидовавший душевному складу Ганса Гансена, все же постоянно пытался приобщить его к своим интересам, что ему удавалось разве что на мгновение, а скорей и вовсе не удавалось...

– Я прочитал одну изумительную, потрясающую вещь... – говорил он.

Они шли и на ходу лакомились из кулечка леденцами, купленными за десять пфеннигов у бакалейщика Иверсена на Мельничной улице.

– Ты должен прочесть ее, Ганс, это «Дон-Карлос» Шиллера... я тебе дам его, если хочешь...

– Да нет уж, Тонио, куда мне! – отвечал Ганс Гансен. – Лучше я останусь при своих книгах о лошадях. Иллюстрации там, доложу я тебе, первый сорт. Придешь, я тебе покажу. Это моментальные снимки, на них видишь лошадей, идущих рысью, галопом, берущих препятствия – в таких положениях, которые обычно и не успеваешь заметить из-за быстроты...

– Неужто во всех положениях? – учтиво откликнулся Тонио. – Здорово! Что же касается «Дон-Карлоса», так это даже словами не скажешь. Там есть такие места, вот увидишь, что ты прямо взрываешься, как от удара кнутом.

– Кнутом? – переспрашивал Ганс Гансен. – Как так?

– Ну, например, место, где король плачет, оттого что маркиз обманул его... А он обманул его ради принца, понимаешь, которому принес себя в жертву. И вот из кабинета в приемную просачивается весть, что король плакал. «Плакал? Король плакал?» Придворные в полном замешательстве, а тебя прямо в дрожь бросает, потому что это страшно непреклонный, грозный король. Но это так понятно, отчего он плакал, и я лично жалею его куда больше, чем принца и маркиза, вместе взятых. Он ведь так одинок всегда. Никто его не любит. И вот ему показалось, что он наконец нашел человека, а этот человек предал его...

Ганс Гансен сбоку заглянул в лицо Тонио, и что-то в этом лице,

видимо, расположило его в пользу затронутой темы, ибо он опять просунул руку под руку Тонио и спросил:

– А каким же образом он его предал, Тонио?

Тонио оживился.

– Дело в том, – начал он, – что все письма в Брабант и во Фландрию...

– А вон идет Эрвин Иммерталь, – сказал Ганс.

Тонио умолк. «Чтоб ему провалиться, этому Иммерталю! – подумал он. – Надо же было, чтоб именно он попался навстречу! Наверное, увяжется за нами и всю дорогу будет говорить о манеже...»

Эрвин Иммерталь тоже брал уроки верховой езды. Он был сыном директора банка и жил за городскими воротами. Кривоногий, с раскосыми глазами и уже без ранца, он шел им навстречу по аллее.

– Здорово, Иммерталь! – крикнул Ганс. – Мы с Крёгером решили прогуляться.

– Мне надо кое-что купить в городе... Но я вас немного провожу... Что это у вас? Леденцы? Спасибо, возьму две штучки. Завтра у нас урок, Ганс. – Он имел в виду урок верховой езды.

– Отлично! – сказал Ганс. – Теперь мне купят кожаные гетры, в последний раз я получил пятерку за езду...

– Ты ведь не ходишь в манеж, Крёгер? – поинтересовался Иммерталь, и глаза у него стали как две блестящие щелочки...

– Нет, – как-то робко отвечал Тонио.

– А ты, Крёгер, попроси отца, чтобы он разрешил тебе присоединиться к нам, – сказал Ганс Гансен.

– Что ж, можно, – согласился Тонио торопливо и в то же время равнодушно. На мгновение у него сдавило горло оттого, что Ганс назвал его по фамилии; Ганс это, видимо, почувствовал, так как незамедлительно пояснил:

– Я назвал тебя «Крёгер», потому что имя у тебя какое-то ненормальное; ты уж прости, но я его терпеть не могу. Тонио... Да это вообще не имя. Но ты тут, конечно, ни при чем.

– Тебя, наверно, потому так называли, что это звучит по-иностранному и очень необыкновенно, – с деланным сочувствием заметил Иммерталь.

У Тонио задрожали губы. Но он взял себя в руки и сказал:

– Да, имя дурацкое; и я бы, конечно, предпочел называться Генрихом или Вильгельмом. Меня называли так в честь маминого брата Антонио. Моя мать ведь не здешняя...

Он замолчал, предоставив своим спутникам рассуждать о лошадях и шорных изделиях. Ганс взял под руку Иммерталя и говорил с таким

оживлением и интересом, какого в нем никогда бы не пробудил «Дон-Карлос»... У Тонио временами дрожал подбородок и щекотало в носу от желания заплакать; он удержался от слез только усилием воли.

Гансу не нравится его имя – что тут поделаешь? Его зовут Гансом, Иммерталя – Эрвином, это общепринятые имена, ими никого не удивишь. А «Тонио» звучит по-иностранному и очень уж экзотично. Да, хочет он того или нет, а все с ним получается как-то необыкновенно, поэтому он одинок и не похож на всех остальных людей, добропорядочных и обыкновенных, хоть он и не цыган из табора, а сын консула Крёгера, из рода Крёгеров... Но почему же Ганс называл его «Тонио», покуда они были одни, а как только к ним присоединился третий, стал стыдиться своего друга? Временами они близки с Гансом, – это несомненно. «Каким же образом он его предал, Тонио?» – спросил Ганс и взял его под руку. Но не успел объявиться этот Иммерталь, как он вздохнул с облегчением и оставил его, да еще ни за что ни про что попрекнул иностранным именем. Как больно все это видеть и понимать!.. Ганс Гансен совсем неплохо к нему относится с глазу на глаз, он это знает. Но едва появится третий – и он уже его стыдится, жертвует им для другого. И он опять одинок. Тонио подумал о короле Филиппе. Король плакал.

– Что ж это я делаю! – воскликнул Эрвин Иммерталь. – Мне ведь давно пора в город! До свиданья, друзья, спасибо за леденцы. – С этими словами он вскочил на скамейку, с которой они поравнялись, пробежал по ней на своих кривых ногах и рысцой припустился по дороге.

– Иммерталь мне нравится, – веско проговорил Ганс. У него была самоуверенная манера всеобщего баловня объявлять о своих антипатиях и симпатиях, точно он милостиво жаловал ими окружающих...

Потом он опять заговорил о верховой езде, – раз напав на эту тему, он не мог остановиться. До гансеновского дома было уже близко; дорога по бульварам отнимала не много времени. Они придерживали шапки и наклоняли головы, защищая лица от сырого холодного ветра, стонавшего в голых трескучих сучьях деревьев. Ганс Гансен говорил без умолку, а Тонио лишь изредка и довольно принужденно восклицал «ах» или «да», и то, что Ганс в увлечении снова взял его под руку, уже его не радовало: ведь то была только мнимая, ничего не значащая близость.

Они спустились к вокзалу, посмотрели на поезд, с неуклюжей торопливостью громыхавший мимо них, от нечего делать пересчитали вагоны и помахали человеку в шубе, восседавшему на задней площадке последнего. На Линденплаце, перед домом Гансена, они остановились; Ганс наглядно и притом весьма обстоятельно доказал, как интересно

кататься на калитке, под отчаянный визг петель. Затем они стали прощаться:

– Ну, мне пора! До свиданья, Тонио. В следующий раз я непременно пойду тебя провожать, будь уверен!

– До свиданья, Ганс, – отвечал Тонио. – Я с удовольствием прогулялся. – Они пожали друг другу руки, мокрые и вымазанные ржавчиной от упражнений с калиткой. Но когда Ганс посмотрел в глаза Тонио, на его красивом лице изобразилось нечто вроде раскаяния.

– На днях непременно прочту «Дон-Карлоса», – быстро проговорил он. – Должно быть, замечательная штука эта история с королем в кабинете! – Затем он сунул под мышку сумку с книгами и побежал через палисадник. Но прежде чем войти в дом, еще раз обернулся и кивнул головой.

Тонио Крёгер, счастливый и просветленный, отправился восвояси. Ветер дул ему в спину, но не только поэтому ему было теперь легко идти. Ганс прочтает «Дон-Карлоса», и у них будет что-то такое, во что уж не сунется ни Иммерталь, ни кто-либо еще! Как хорошо они понимают друг друга! Чего доброго, со временем он и Ганса приохотит писать стихи. Нет, нет, это уж лишнее! Ганс не должен быть похожим на него, пусть остается самим собой, жизнерадостным и сильным, каким все любят его, и больше всех он, Тонио. А то, что Ганс прочтет «Дон-Карлоса», ему не помешает!

Тонио прошел под старинными приземистыми городскими воротами, миновал гавань и стал круто подниматься по ветреной и мокрой улице к родительскому дому. Сердце его в эти минуты жило: оно было переполнено тоской, грустной завистью, легким презрением и невинным блаженством.

Белокурая Инге, Ингеборг Хольм, дочь доктора Хольма, жившего на Рыночной площади, посреди которой высился островерхий и затейливый готический колодец, была та, кого Тонио Крёгер полюбил в шестнадцать лет.

Как это случилось? Он сотни раз видел ее и раньше. Но однажды вечером, в необычном освещении, он увидел, как она, разговаривая с подругой, задорно засмеялась, склонила голову набок, каким-то своим, особым жестом поднесла к затылку руку, не очень узкую, не слишком изящную и совсем еще детскую руку, и при этом белый кисейный рукав, соскользнув, открыл ее локоть, услышал, как она со свойственной только ей интонацией проговорила какое-то слово, обыкновенное, незначащее слово, но в голосе ее послышались теплые нотки – и его сердце в восхищении забило куда более сильно, чем некогда, когда он еще несмышленым

мальчишкой глядел на Ганса Гансена.

В тот вечер он унес с собой ее образ: толстые белокурые косы, миндалевидные, смеющиеся синие глаза, чуть заметная россыпь веснушек на переносице. Он долго не спал, все ему слышались теплые нотки в ее голосе; он пытался воспроизвести интонацию, с какой она проговорила то незначащее слово, и вздрогнул. Опыт подсказал ему, что это любовь. И хотя он знал, что любовь принесет с собой много мук, горестей и унижений, что она нарушит мир в его сердце, наводнит его мелодиями и он лишится покоя, который нужен для всякого дела, для того чтобы в тиши создать нечто целое, он все же радостно принял ее, предался ей всем существом, стал ее пестовать всеми силами души, ибо знал: любить – это богатство и жизнь, а он больше стремился быть богатым и жить, чем созидать в тиши.

Итак, Тонио Крёгер влюбился в резвую Инге Хольм; случилось это в гостинной консульши Хустедэ, откуда в тот вечер была вынесена вся мебель, так как у Хустедэ происходил урок танцев; на этих уроках отпрыски лучших семейств города обучались танцам и хорошим манерам. Они устраивались поочередно то в одном, то в другом родительском доме. Для этой цели из Гамбурга раз в неделю приезжал учитель танцев Кнаак.

Франсуа Кнаак звали его. И что это был за человек!

– J'ai l'honneur de me vous représenter, – представлялся он, – mon nom est Кнаак...^[11] – Это произносится не во время поклона, а когда ты уже выпрямишься, – негромко, но явственно. Конечно, не каждый день случается отрекомендовывать себя по-французски, но тот, кто умеет делать это искусно и безупречно, на родном языке и подавно справится с такой задачей. Как замечательно облегал черный шелковистый сюртук жирные бока господина Кнаака! Брюки мягкими складками ниспадали на лакированные туфли, отделанные широкими атласными бантами, а его карие глаза взирали на мир, утомленные счастливым сознанием собственных неоспоримых совершенств...

Господин Кнаак прямо-таки подавлял преизбытком уверенности и благоприличия. Он направлялся к хозяйке, – ни у кого больше не было такой походки: упругой, гибкой, плавной, победоносной, – склонялся перед ней и ждал, пока ему протянут руку. Затем тихо благодарил, отступал, словно на пружинах, поворачивался на левой ноге, оттянув книзу носок правой, щелкал каблуками и удалялся, подрагивая бедрами.

Уходя из гостинной, полагалось с поклонами пятиться к двери; подавая стул, не хватать его за ножку, не волочить за собою, но нести, взявшись за спинку, и бесшумно опустить его на пол. И уж конечно, никак нельзя было стоять сложив руки на животе и высунув кончик языка; а если кто-нибудь

все же позволял себе это, господин Кнаак умел так зло воспроизвести его позу, что у бедняги навек сохранялось к ней отвращение.

Таковы были уроки изящных манер. А уж в танцах господин Кнаак положительно не знал себе равных. В гостиной, откуда выносили всю мебель, горела газовая люстра и свечи на камине. Пол посыпался тальком, и безмолвные ученики стояли полукругом. В соседней комнате за раздвинутыми портьерами располагались на плюшевых креслах мамы и тетки и в лорнеты наблюдали за тем, как господин Кнаак, изогнувшись и двумя пальцами придерживая полы сюртука, упруго скачет, показывая ученикам отдельные фигуры мазурки. Если же ему хотелось окончательно сразить публику, он внезапно, без всякой видимой причины, отрывался от пола, с непостижимой быстротой кружил ногою в воздухе, дробно бил ею о другую ногу и с приглушенным, но тем не менее сокрушительным стуком возвращался на бrenную землю...

«Ну и обезьяна», – думал Тонио Крёгер. Однако он отлично видел, что Инге Хольм, резвая Инге, с самозабвенной улыбкой следит за движениями господина Кнаака; и уже одно это вынуждало его платить известную дань восхищения столь дивно управляемой плоти. Но до чего же спокойный и невозмутимый взор у господина Кнаака! Его глаза не проникают в глубь вещей – там слишком много сложного и печального; они знают только одно, что они карие и красивые! Поэтому-то он и держится так горделиво. Конечно, надо быть глупцом, чтобы выступать столь осанисто, но зато таких людей любят, а значит, они достойны любви. Тонио прекрасно понимал, почему Инге, прелестная белокурая Инге, не сводит глаз с господина Кнаака. Неужели ни одна девушка никогда не будет так смотреть на него, Тонио?

Нет, почему же, случалось и это. Вот, например, Магдалена Вермерен, дочь адвоката Вермерена, с нежным ртом и серьезным задумчивым взглядом больших темных блестящих глаз. Во время танцев она нередко падала; но когда приходил черед дамам выбирать кавалеров, она неизменно выбирала его. Магдалена знала, что он пишет стихи, раза два даже просила показать их и часто, понутив голову, издали смотрела на него. Но что ему до этого? Ведь он любит Инге Хольм, веселую белокурую Инге, которая наверняка презирает его за кропание стихов...

Он смотрел на нее, смотрел на ее миндалевидные голубые глаза, полные счастья и задора, и завистливая тоска и горечь сознания, что он отвергнут, навеки чужд ей, теснила и жгла его грудь...

– Первая пара *en avant*^[12]! – воскликнул господин Кнаак. И нет слов описать, как великолепно этот человек говорил в нос. Однажды, когда

разучивали кадрили, Тонио Крёгер, к величайшему своему испугу, оказался в одном каре с Инге Хольм. Он, сколько возможно, избегал ее и тем не менее всякий раз оказывался рядом с ней; он запрещал своим глазам смотреть на нее, и тем не менее его взор всякий раз к ней обращался... Вот она об руку с рыжеволосым Матиссенем скользящими шагами подбежала, откинула косу за плечи и, запыхавшись, остановилась перед ним; тапер, господин Хейнцельман, ударил своими костлявыми пальцами по клавишам, господин Кнаак начал дирижировать кадрилью.

Инге мелькала перед ним справа и слева, то плавно выступая, то стремительно кружась; временами до него доносилось благоухание, исходившее от ее волос, а может быть – от легкой белой ткани платья, и взор его все мрачнел и мрачнел. «Я люблю тебя, чудная, прелестная Инге», – мысленно говорил он, вкладывая в эти слова всю свою боль, ибо веселая, увлеченная танцем, она, казалось, вовсе его не замечала. Прекрасное стихотворение Шторма пришло ему на ум: «Хочу заснуть, а ты иди плясать». Его мучила эта унижительная нелепость: человек любит, а его принуждают танцевать...

– Первая пара *en avant*! – воскликнул господин Кнаак; сейчас должна была начаться новая фигура. – *Compliment! Moulinet des dames! Tour de main!*^[13] – Невозможно описать, с каким изяществом проглатывал он немое «е» в словечке «*de*».

– Вторая пара *en avant*! – Это уже относилось к Тонио Крёгеру и его даме. – *Compliment!* – И Тонио Крёгер поклонился. – *Moulinet des dames!* – И Тонио Крёгер, опустив голову, нахмутив брови, кладет свою руку на руки четырех дам, на руку Инге Хольм... и начинает танцевать «*moulinet*».

Вокруг слышится хихиканье, смех: господин Кнаак принимает балетную позу, изображающую стилизованный ужас.

– Боже! – восклицает он. – Остановитесь! Остановитесь! Крёгер затесался к дамам! *En arrière*^[14], фройляйн Крёгер, назад, *fi donc*^[15]! Все поняли, кроме вас. Живо! Прочь, прочь назад! – Он вытащил желтый платок и, размахивая им, погнал Тонио Крёгера на место.

Все покатывались со смеху, юноши, девочки, дамы за портьерой, – господин Кнаак сумел обыграть это маленькое происшествие так, что зрители веселились, как в театре. Только господин Хейнцельман с сухой и деловитой миной дожидался, когда сможет снова приступить к своим обязанностям; на него эффектные выходы господина Кнаака уже не действовали.

Кадриль продолжалась. Затем был объявлен перерыв. Горничная

внесла поднос, на котором звенели стаканчики с винным желе, в ее кильватере шла кухарка с целым грузом кексов. Но Тонио Крёгер потихоньку ускользнул в коридор и стал, заложив руки за спину, перед окном со спущенными жалюзи, не сообразив, что сквозь жалюзи ничего нельзя увидеть, а потому смешно стоять и притворяться, будто смотришь на улицу.

Но он стоял и смотрел... в себя, в свою душу, изнывавшую от горести и тоски. Зачем, зачем он здесь? Зачем он не сидит у окна в своей комнате за чтением «Иммензее» Шторма, время от времени вглядываясь в сумеречный сад, где тяжело потрескивает старый орешник? Там его место. Пусть другие танцуют весело и ловко!.. Нет, нет, его место все-таки здесь, здесь он поблизости от Инге – несущественно, что он одиноко стоит в коридоре, пытаюсь сквозь шум, звон и смех в зале различить ее голос, звенящий теплом и радостью жизни. Какие у тебя миндалевидные голубые, смеющиеся глаза, белокурая Инге! Но такой красивой и радостной, как ты, можно быть, только не читая «Иммензее» и не пытаюсь создать нечто подобное; как это печально!..

Почему она не идет! Почему не замечает, что он скрылся, не чувствует, что с ним происходит, почему не разыщет его потихоньку – хотя бы из одного лишь сострадания, не положит руку ему на плечо, не скажет: «Иди к нам, развеселись, я люблю тебя». Он прислушивался, не раздадутся ли шаги за его спиной, с неразумно бьющимся сердцем ждал ее прихода. Но она и не подумала прийти. В жизни так не бывает...

Неужели и она смеялась над ним, как все остальные? Да, конечно, смеялась, сколько бы он ни старался это опровергнуть – ради себя самого и ради нее тоже. А ведь он впутался в «moulinet des dames» только потому, что был всецело поглощен ею. Но не важно! Когда-нибудь они перестанут смеяться! Ведь принял же недавно один журнал его стихотворение; правда, оно так и не увидело света, но только потому, что журнал неожиданно прогорел и закрылся.

Настанет день, когда он сделается знаменитым, когда будет печататься все, что он пишет, и тогда посмотрим, не произведет ли это впечатление на Инге Хольм... Нет, не произведет! В том-то и беда. На Магдалену Вермерен, которая вечно падает, на нее – бесспорно, но не на Инге Хольм, не на голубоглазую веселую Инге. Так, значит, все тщетно?..

Сердце Тонио Крёгера болезненно сжалось при этой мысли. Больно почувствовать, как бродят в тебе чудодейственные силы задора и печали, и при этом знать, что те, к кому ты стремишься всей душой, замкнулись от тебя в веселой своей неприступности. И хотя он отчужденно и одиноко

стоял перед опущенными жалюзи и в горести своей притворялся, будто через них можно что-то видеть, он все же был счастлив. Сердце его в это время жило. Теплом и печалью билось оно для тебя, Ингеборг Хольм! Душа Тонио Крёгера в блаженном самоотречении принимала в себя твою белокурую, светлую, насмешливую и заурядную маленькую особу.

Не раз стоял он, разгоряченный, в каком-нибудь укромном уголке, куда едва-едва доносилась музыка, аромат цветов и звон бокалов, силясь в отдаленном шуме праздника уловить твой звонкий голос, страдал из-за тебя и все же был счастлив. Не раз мучился он тем, что с Магдаленой Вермерен, которая вечно падала, ему было о чем говорить, и она его понимала, отвечала серьезностью на серьезность и смеялась, если он был весел, тогда как белокурая Инге, даже сидя рядом с ним, оставалась далекой и чуждой, ибо язык, на котором он говорил с ней, не был ее языком. И все же он был счастлив. Ведь счастье, уверял он себя, не в том, чтобы быть любимым; это дает удовлетворение, смешанное с брезгливым чувством, разве что суетным душам. Быть счастливым – значит любить, ловить мимолетные, быть может, обманчивые мгновения близости к предмету своей любви. Он записал в памяти эту мысль, вник в нее, прочувствовал ее до конца.

«Верность! – думал Тонио Крёгер. – Я буду верен тебе, буду любить тебя, Ингеборг, куда я жив!»

Намерения у него были благие. Но какой-то боязливый и печальный голос нашептывал ему, что ведь позабыл же он Ганса Гансена, хотя и видел его ежедневно. А самое гадкое и постыдное заключалось в том, что этот тихий и лукавый голос говорил правду: пришло время, когда Тонио Крёгер уже не был готов в любую минуту безропотно умереть за веселую Инге, ибо он чувствовал в себе потребность и силу совершить в этой жизни, – на свой лад, конечно, – немало значительного.

Он кружил вокруг алтаря, на котором пылало пламя его любви, преклонял перед ним колена, бережно поддерживал и питал это пламя, ибо хотел быть верным. Но прошло еще немного времени, и священный огонь, без вспышек и треска, не приметно угас.

А Тонио Крёгер продолжал стоять перед остывшим жертвенником, изумленный и разочарованный тем, что верности на земле не бывает. Затем он пожал плечами и пошел своей дорогой.

Он шел дорогой, которой ему суждено было идти, шел несколько развинченными и неровными шагами и, потихоньку насвистывая, склонив голову набок, вглядывался в даль, а если ему и случалось сбиваться с пути, то лишь потому, что для многих вообще не существует пути прямого и

верного. Когда его спрашивали, кем он в конце концов намерен стать, он отвечал то так, то этак, ибо любил говорить (и даже записал эту мысль), что в нем заложены возможности для тысяч разных форм бытия, впрочем, в глубине души сознавая, что это не так...

Нити, которыми он был привязан к родному, тесному городу, ослабли еще до того, как он его покинул. Старинный род Крёгеров, мало-помалу вырождавшийся, пришел в полный упадок, и люди не без основания видели подтверждение этому в образе жизни и повадках Тонио. Умерла его бабка по отцу, старшая в роде, а вскоре за ней последовал и отец, высокий, изящно одетый, задумчивый господин с полевым цветком в петлице. Большой крёгеровский дом, заодно со своей долгой и почтенной историей, был объявлен к продаже, фирма перестала существовать. А мать Тонио, его пылкая красавица мать, так чудесно игравшая на рояле и на мандолине, которой все на свете было безразлично, по истечении годичного траура снова вышла замуж, на сей раз за виртуоза-музыканта с итальянской фамилией, и последовала за ним в голубые дали. Тонио Крёгер считал, что это, пожалуй, взбалмошный поступок; но разве он был вправе запрещать ей? Ведь он писал стихи и даже не умел ответить на вопрос, кем же он все-таки станет в жизни...

Он покинул родной город с его кривыми улочками, где над островерхими крышами свистал сырой ветер, покинул фонтан и старый орешник в саду, покинул друзей детства, море, которое так любил, и у него даже не защемило сердце. Ибо он сделался умным и взрослым, понял, что происходит с ним, и стал насмешливо относиться к тяжеловесному, низменному существованию, так долго окружавшему его.

Он всецело предался силе, казавшейся ему самой возвышенной на земле, силе, к служению которой он считал себя призванным и которая сулила ему величие и почести, силе духа и слова, с улыбкой, господствующей над темной и немой жизнью. С юношеской страстью служил он ей, и в награду она дала ему то, что могла дать, беспощадно взыскав с него все, что привыкла брать взамен.

Она обострила его глаза, позволила ему познать великие слова, которые распирают грудь человека, она открыла ему души людей и его собственную душу, сделала его ясновидцем и раскрыла перед ним сущность мира, то сокровенное, что таится за словами и поступками. И он увидел только смешное и убогое, убогое и смешное.

И тогда вместе с мукой и высокомерием познания пришло одиночество, ибо в кругу простодушных и веселых, но темных разумом его не терпели; клеймо на его челе вселяло в них тревогу. Зато все более

жгучим становилось для него наслаждение словом и формой; он любил говорить (эту мысль он тоже успел записать), что проникновение в душу человека неминуемо ввергло бы нас в ипохондрию, если бы радость выражения не сохраняла нам бодрость духа...

Он жил в больших городах, чаще на юге, так как полагал, что под южным солнцем пышнее взойдет его искусство. А может быть, это кровь матери влекла его в те края... И так как его безлюбое сердце было мертво, то он искал плотских утех, спускался в низины чувственности и нестерпимо мучился жгучей своей виной. Впрочем, здесь, быть может, сказало наследие отца, этого высокого, задумчивого, тщательно одетого человека с полевым цветком в петлице, оно заставляло его так страдать в низинах страсти и временами пробуждало в нем неясное, тоскливое воспоминание об утехах души, некогда столь доступных ему, а теперь от него ускользнувших.

Его охватило отвращение и ненависть к чувственности. Он томился по чистоте, по пристойной мирной жизни, а между тем вдыхал воздух искусства – теплый, сладостный, напоенный ароматами воздух непроходящей весны, в котором все движется, бродит и прорастает в тайном блаженстве созидания. Так вот и получилось, что он, безудержно кидаясь из одной крайности в другую – от ледяных вершин духа к всепожирающему пламени низких страстей, все же вел изнурительную жизнь, жизнь распутную, неумеренную и беспорядочную, которая ему самому внушала отвращение. «Какой ложный путь! – думал он временами. – Как могло случиться, что я пустился во все эти нелепые приключения? Я ведь не цыган из табора, а сын...»

Но в той же мере, в какой слабело его здоровье, изощрялось его писательское мастерство; оно становилось все более изысканным, привередливым, отшлифованным, тонким, нетерпимым к банальному и до крайности чувствительным в вопросах такта и вкуса. На первое его выступление в печати одобрительно и радостно отозвались те, кого искусство затрагивало за живое, ибо это было отлично сработанное произведение, полное юмора и проникновения в человеческие страдания. И в скором времени его имя, которое так брезгливо выговаривали учителя, то самое, которым он подписывал свои первые стихи, обращенные к орешнику, к фонтану, к морю, – имя, в звуке которого сочетались Юг и Север, бюргерское имя, чуть тронутое налетом экзотики, стало синонимом высокого подвига труда, ибо к болезненной остроте впечатлений он сумел прибавить редкостное долготерпение и честлюбивое усердие. Это усердие, боровшееся с прихотливой изощренностью вкуса, помогало Тонио

Крёгеру, пусть в нестерпимых муках, создавать прекрасные произведения.

Он работал не так, как работают люди, для того чтобы жить, – нет, ничего, кроме работы, для него не существовало, ведь как человек он ни во что себя не ставил и значение свое усматривал лишь в творчестве; в жизни же бродил серый и невзрачный, точно актер, только что смывший грим, – ничтожество вне театральных подмостков. Тонио Крёгер работал молча, замкнуто, неприметно для чужого глаза, полный презрения к малым сим, для которых талант не более как изящное украшение, кто независимо от того, богаты они или бедны, либо ходят растрепанными и оборванными, либо щеголяют немыслимыми галстуками и думают только, как бы посчастливее, поприятнее, «поартистичнее» устроить свою жизнь, не подозревая, что хорошие произведения создаются лишь в борьбе с чрезвычайными трудностями, что тот, кто живет, не работает и что, собственно, надо умереть, чтобы творить великое искусство.

– Я не помешаю? – спросил Тонио Крёгер с порога мастерской. Держа шляпу в руке, он стоял, почтительно склонившись, хотя Лизавета Ивановна была его другом и у него от нее не было никаких тайн.

– Помилуйте, Тонио Крёгер, зачем эти церемонии! – отвечала она с характерной для нее отрывистой интонацией. – Кому не известно, что вы получили хорошее воспитание и умеете вести себя в обществе! – С этими словами она переложила кисть в левую руку, в которой держала палитру, протянула ему правую и, покачав головой, со смехом взглянула ему прямо в глаза.

– Да, но вы работаете, – отвечал он. – Позвольте мне посмотреть. О, вы изрядно продвинулись! – И он стал попеременно рассматривать эскизы в красках, прислоненные к спинкам стульев по обе стороны мольберта, и большой расчерченный квадратными клетками холст, где на фоне путаного, схематического наброска углем уже возникали первые красочные пятна.

Это происходило в Мюнхене, на Шеллингштрассе. Мастерская помещалась в верхнем этаже здания, стоявшего в глубине двора. За широким окном, глядевшим на северо-запад, царила синева небес, птичий щебет, солнце; юное сладостное дыхание весны, лившееся сквозь открытое окно, мешалось с запахом фиксатива и масляных красок, наполнявшим обширную мастерскую. Золотистый вечерний свет, не встречая преград, заливал нагие просторы мастерской, без стеснения освещал выщербленный пол, загроможденный кистями, тюбиками с краской и всевозможными бутылочками некрашенный стол, этюды без рам на неоклеенных стенах, обветшавшую шелковую ширму неподалеку от дверей, за которой виднелся

изящно меблированный уголок – спальня и одновременно гостиная, начатую картину на мольберте и смотревших на нее художницу и писателя.

На вид ей, как и ее другу, было лет тридцать с небольшим. В темно-синем, перепачканном красками рабочем халате она сидела на низеньком стульчике, подперев кулачком подбородок. Ее каштановые, стянутые в тугий пучок и чуть тронутые сединой волосы мягкими волнами ложились на виски, обрамляя смуглое бесконечно привлекательное лицо славянского типа, со вздернутым носом, широкими скулами и маленькими черными сияющими глазами. Напряженно и недоверчиво щурясь, она со скрытым раздражением вглядывалась в свою работу.

Тонио стоял подле нее; правой рукой он уперся в бок, а левой – быстро теребил свой каштановый ус. Его разлетные брови хмуро и нервно двигались; по обыкновению, он тихо что-то насвистывал. Одет он был чрезвычайно тщательно и солидно в превосходно сшитый костюм спокойного серого цвета. Его изборожденный трудом и мыслью лоб, на который так просто и аккуратно ложились расчесанные на пробор волосы, нервно подергивался, а типично южные черты лица, со временем обострившиеся, казались высеченными резцом, но его рот был так нежно очерчен и так мягко был вылеплен подбородок... Точно очнувшись, он провел рукой по лбу, по глазам и отвернулся.

– Не надо было мне приходиться, – сказал он.

– Почему ж это, Тонио Крёгер?

– Я только что встал от работы, Лизавета, и в голове у меня как на этом вот холсте: бледный контур, весь исчерканный поправками набросок и два-три красочных пятна. Прихожу сюда, опять то же самое. Все конфликты и противоречия, замучившие меня дома, я вижу и здесь, – добавил он и потянул носом воздух. – Странная это штука! Если ты одержим какой-то мыслью, то она подстерегает тебя на каждом шагу, даже в воздухе ты чувствуешь ее запах. Фиксатив и аромат весны. Искусство, – так ведь? А что второе? Только не говорите «природа», Лизавета; «природа» – не исчерпывающее понятие. Нет, надо было мне идти гулять, хотя еще вопрос, лучше ли бы я себя почувствовал. Пять минут назад уже около вашего дома я встретил коллегу, новеллиста Адальберта. «Черт бы побрал эту весну, – заявил он своим обычным агрессивным тоном. – Всегда она была и будет самым гнусным временем года! Ну, скажите, Крёгер, приходит ли вам на ум хоть одна разумная мысль, можно ли спокойно обдумать хоть одну деталь и учесть ее воздействие, когда у вас непристойнейшим образом зудит что-то в крови и вас одолевает уйма всяких посторонних впечатлений, которые при ближайшем рассмотрении оказываются ни на что не пригодной

пошлятиной? Я лично сейчас отправляюсь в кафе. Это, знаете ли, нейтральная зона, которую не затрагивает смена времен года, отрешенная и, так сказать, возвышенная сфера искусства, где тебя осеняют лишь значительные мысли...» И он отправился в кафе; мне, наверно, следовало пойти вместе с ним.

Лизавета слушала и забавлялась.

– Очень хорошо, Тонио Крёгер. «Непристойнейший зуд» – это очень хорошо. И по-своему он прав, работа весной не слишком спорится. Ну, а сейчас вы увидите, как я все-таки закончу одну деталь и «учту ее воздействие», как сказал бы Адальберт. А потом мы перейдем в «гостиную» пить чай, и вы сможете выговориться; я ведь вижу, что вам сегодня необходимо расстрелять свой заряд. А пока устраивайтесь где-нибудь, хоть на том вон ящике, если вы, конечно, не боитесь за свои патрицианские одежды...

– Ах, оставьте в покое мои одежды, Лизавета Ивановна! Не разгуливать же мне в драной бархатной блузе или в красном шелковом жилете? Человек, занимающийся искусством, в душе и без того бродяга. Значит, надо, черт возьми, хорошо одеваться и хоть внешне выглядеть добропорядочным... Да и заряда у меня никакого нет, – добавил он, глядя, как она смешивает краски на палитре. – Я ведь уже сказал, что только эта дилемма, это непримиримое противоречие сводят меня с ума и мешают мне работать... О чем мы, собственно, говорили? Да, о новеллисте Адальберте и о том, какой он гордый и решительный человек. Объявил, что «весна – гнуснейшее время года», и отправился в кафе. Ну что ж! Надо знать, чего хочешь. Так ведь? По правде говоря, весна и мне действует на нервы, и меня сбивает с толку чарующая тривиальность воспоминаний и ощущений, которые она вызывает к жизни; только я не решаюсь презирать и ругать ее за это, и потому не решаюсь, что мне стыдно перед ее чистой непосредственностью, ее победной юностью. И я не пойму, завидовать мне Адальберту или смотреть на него свысока за то, что он ничего этого не знает...

Что правда, то правда, весной работа не ладится. А почему? Потому, что обострены все чувства. Ведь лишь простак полагает, что творец-художник вправе чувствовать. Настоящий и честный художник только посмеется над столь наивным заблуждением дилетанта – не без грусти, быть может, но посмеется. То, что мы высказываем, отнюдь не главное, а безразличный сам по себе материал, и, лишь возвысившись над ним, бесстрастный художник возводит все это в степень искусства. Если то, что вы хотите сказать, затрагивает вас за живое, заставляет слишком горячо

биться ваше сердце, вам обеспечен полный провал. Вы впадете в патетику, в сентиментальность, и из ваших рук выйдет нечто тяжеловесно-неуклюжее, нестройное, безыронически-пресное, банально-унылое; читателя это оставит равнодушным, в авторе же вызовет только разочарование и горечь... Так! И ничего тут не поделаешь, Лизавета! Чувство, теплое, сердечное чувство, всегда банально и бестолково. Артистичны только раздражения и холодные экстазы испорченной нервной системы художника, надо обладать какой-то нечеловеческой, античеловеческой природой, чтобы занять удаленную и безучастную к человеку позицию и суметь, или хотя бы только пожелать, выразить человеческое, обыграть его, действительно, со вкусом его воплотить. Владенье стилем, формой и средствами выражения – уже само по себе предпосылка такого рассудочного, изысканного отношения к человеческому, а ведь это, по сути, означает оскудение, обеднение человека. Здоровые, сильные чувства – это аксиома – безвкусны. Сделавшись чувствующим человеком, художник перестает существовать. Адальберт это понял, а потому и отправился в кафе, в «возвышенную сферу», – да, да, это так!

– Ну и Бог с ним, батюшка, – сказала Лизавета, моя руки в жестяной лоханке, – вас ведь никто не просит следовать за ним.

– Нет, Лизавета, я не пойду за ним, но только потому, что весна порой еще заставляет меня стыдиться моего писательства. Мне, видите ли, случается получать письма, написанные незнакомым почерком, хвалу и благодарность читателей, восторженные отзывы взволнованных людей. Читая эти письма, я поневоле бываю растроган простыми чувствами, которые пробудило мое искусство; меня охватывает даже нечто вроде сострадания к наивному воодушевлению, которым дышат эти строки, и я краснею при мысли о том, как был бы огорошен такой человек, заглянув за кулисы; как была бы уязвлена его наивная вера, пойми он, что честные, здоровые и добропорядочные люди вообще не пишут, не играют, не сочиняют музыки... Впрочем, эта растроганность не мешает мне своекорыстно использовать его восхищение, стимулирующее и поощряющее мой талант, да еще строить при этом серьезную мину, точно обезьяна, разыгрывающая из себя сановитого господина... Ах, не спорьте со мной, Лизавета! Уверяю вас, порой я ощущаю смертельную усталость – постоянно утверждать человеческое, не имея в нем своей доли... Да и вообще, мужчина ли художник? Об этом надо спросить женщину. По-моему, мы в какой-то мере разделяем судьбу препарированных папских певцов... Поем невыразимо трогательно и прекрасно, а сами...

– Постыдились бы, Тонио Крёгер. Идите-ка лучше пить чай. Чайник

уже закипает, и вот вам папиросы. Итак, вы остановились на мужском сопрано. Можете продолжать с этого места. Но все-таки постыдитесь. Если бы я не знала, с какой гордой страстностью вы отдаетесь своему призванию...

– Не говорите мне о «призвании», Лизавета Ивановна! Литература не призвание, а проклятие, – запомните это. Когда ты начинаешь чувствовать его на себе? Рано, очень рано. В пору, когда еще нетрудно жить в согласии с Богом и человеком, ты уже видишь на себе клеймо, ощущаешь свою загадочную несхожесть с другими, обычными, положительными людьми; пропасть, зияющая между тобой и окружающими, пропасть неверия, иронии, протеста, познания, бесчувствия становится все глубже и глубже; ты одинок – и ни в какое согласие с людьми прийти уже не можешь. Страшная участь! Конечно, если твое сердце осталось еще достаточно живым и любвеобильным, чтобы понимать, как это страшно!.. Самолюбие непомерно разрастается, потому что ты один среди тысяч носишь это клеймо на челе и знаешь, что все его видят. Я знал одного высокоодаренного актера, которого, как только он сходил с подмостков, одолевала болезненная застенчивость и робость. Так действовало на гипертрофированное «я» этого большого художника и опустошенного человека отсутствие роли, сценической задачи... Настоящего художника – не такого, для которого искусство только профессия, а художника, отмеченного и проклятого своим даром, избранника и жертву, – вы всегда различите в толпе. Чувство отчужденности и неприкаянности, сознание, что он узан и вызывает любопытство, царственность и в то же время смущение написаны на его лице. Нечто похожее, вероятно, читается на лице властелина, когда он проходит в толпе народа, одетый в партикулярное платье. Нет, Лизавета, тут не спасет никакая одежда. Наряжайтесь во что угодно, ведите себя как атташе или гвардейский лейтенант в отпуску – вам достаточно поднять глаза, сказать единственное слово, и всякий поймет, что вы не человек, а нечто чужеродное, стороннее, иное...

Да и что, собственно, такое художник? Ни на один другой вопрос невежественное человечество не отвечает со столь унылым однообразием. «Это особый дар», – смиренно говорят добрые люди, испытывавшие на себе воздействие художника, а так как радостное и возвышающее воздействие, по их простодушному представлению, непременно должно иметь своим источником нечто столь же радостное и возвышенное, то никому и в голову не приходит, сколь сомнителен и проблематичен этот «особый дар».

Всем известно, что художники легко уязвимы, а уязвимость обычно

несвойственна людям с чистой совестью и достаточно обоснованным чувством собственного достоинства... Поймите, Лизавета, что в глубине души – с переносом в область духовного – я питаю к типу художника не меньше подозрений, чем любой из моих почтенных предков там, на севере, в нашем тесном старом городке питал бы к фокуснику или странствующему актеру, случись такому забрести к нему в дом. Слушайте дальше. Я знаю одного банкира, седовласого дельца, одаренного талантом новеллиста. К этому своему дару он прибегает в часы досуга, и, должен вам сказать, некоторые его новеллы превосходны. И вот вопреки – я сознательно говорю «вопреки» – этой возвышенной склонности его репутация отнюдь не безупречна; более того, он довольно долго просидел в тюрьме и по достаточно веским причинам. Только отбывая наказание, этот человек осознал свой дар, и тюремные впечатления стали главным мотивом его творчества. Отсюда недалеко и до смелого вывода; чтобы стать писателем, надо обжиться в каком-нибудь исправительном заведении. Но разве тут же не возникает подозрение, что «тюремные треволнения» не столь изначально связаны с его творчеством, как те, что привели его в тюрьму. Банкир, пишущий новеллы, – это редкость, но добропорядочный, безупречный, солидный банкир, пишущий новеллы, – этого просто не бывает...

Вот вы смеетесь, а я ведь не шучу. Нет на свете более мучительной проблемы, чем проблема художественного творчества и его воздействия на человека. Возьмите, к примеру, удивительное творение наиболее типичного и потому наиболее действенного художника, возьмите такое болезненное, в корне двусмысленное произведение, как «Тристан и Изольда», и проследите воздействие этой вещи на молодого, здорового, нормально чувствующего человека. Вы увидите приподнятое состояние духа, прилив сил, искренний восторг, даже побуждение к собственному «художественному» творчеству... Милейший дилетант! У нас, художников, все обстоит совсем по-иному; так, как и не снилось ему с его «горячим сердцем» и «подлинным энтузиазмом». Я видел художников, окруженных восторженным поклонением женщин и юношей, а чего только я не знал о них... Во всем, что касается искусства, его возникновения, а также сопутствующих ему явлений и условий, приходится постоянно делать новые и удивительные открытия...

– И эти открытия вы делаете в других, Тонио Крёгер, простите меня, или не только в других?

Он молчал, нахмутив свои разлетные брови, и тихонько что-то насвистывал.

– Дайте сюда чашку, Тонио. У вас слабый чай. Вот папиросы, курите, пожалуйста. Вы сами отлично знаете, что не обязательно смотреть на вещи так, как смотрите вы...

– Ответ Горацио, милая Лизавета: «Это значило бы рассматривать вещи слишком пристально, не правда ли?»

– Нет, я хочу сказать, что можно смотреть на них и по-другому, Тонио Крёгер. Я только глупая женщина, пишущая картины, и если у меня находится что возразить вам, если мне иногда удастся защитить от вас ваше собственное призвание, то, конечно, не потому, что я высказываю какие-то новые мысли, – нет, я лишь напоминаю вам то, что вы и сами отлично знаете... По-вашему, выходит, что целительное, освящающее воздействие литературы, преодоление страстей посредством познания и слова, литература как путь ко всепониманию, ко всепрощению и любви, что спасительная власть языка, дух писателя как высшее проявление человеческого духа вообще, литератор как совершенный человек, как святой – только фикция, что так смотреть на вещи – значит смотреть на них недостаточно пристально?

– Вы вправе так говорить, Лизавета Ивановна, применительно к творениям ваших писателей, ибо достойная преклонения русская литература и есть та святая литература, о какой вы сейчас говорили. Но и вовсе не упустил из виду ваших возможных возражений, напротив, они часть того, о чем я сегодня так неотвязно думаю... Посмотрите на меня. Вид у меня не слишком веселый, правда? Староватый, усталый, осунувшийся. Но так – возвращаясь к вопросу о «познании» – и должен выглядеть человек, от природы склонный верить в добро, мягкосердечный, благожелательный и немного сентиментальный, но которого вконец извели и измотали психологические прозрения. Преодолевать мировую скорбь, наблюдать, примечать, оправдывать даже самое странное – и сохранять бодрость духа, утешаясь сознанием своего морального превосходства над нелепой затеей, именуемой бытием... да, конечно! Но ведь иногда, несмотря на радость выражения, человеку все же становится не в состоянии. Все понять – значит все простить? Не уверен. Существует еще то, что я называю «познавательной брезгливостью», Лизавета: состояние, при котором человеку достаточно прозреть предмет, чтобы ощутить смертельное отвращение к нему (а отнюдь не примиренность). Это случай с датчанином Гамлетом, литератором до мозга костей. Он-то понимал, что значит быть призванным к познанию, не будучи для него рожденным. Провидеть сквозь слезный туман чувства, познавать, примечать, наблюдать – с усмешкой откладывая впрок плоды наблюдения даже в минуты, когда

твои руки сплетаются с другими руками, губы ищут других губ, когда чувства помрачают твой взгляд, – это чудовищно, Лизавета, это подло, возмутительно... Но что толку возмущаться?

Другая, не менее привлекательная сторона всего этого – пресыщенность, равнодушие, безразличие, устало-ироническое отношение к любой истине; ведь не секрет, что именно в кругу умных, бывалых людей всегда царит молчаливая безнадежность. Все, что бы ни открылось вам, здесь объявляется уже устаревшим. Попробуйте высказать какую-нибудь истину, обладание которой доставляет вам свежую, юношескую радость, и в ответ вы услышите только пренебрежительное пофыркивание... Ах, Лизавета, как устаешь от литературы!

Ваш скептицизм, вашу угрюмую сдержанность люди часто принимают за ограниченность, тогда как на самом деле вы только горды и малодушны. Это о «познании». Что же касается «слова», то тут, возможно, все сводится не столько к преображению, сколько к замораживанию чувства, к хранению его на льду, и, правда, ведь есть что-то нестерпимо холодное и возмутительно дерзкое в крутой и поверхностной расправе с чувством посредством литературного языка. Если сердце у вас переполнено, если вы целиком во власти какого-нибудь сладостного или высокого волнения, – чего проще? – сходите к литератору, и в кратчайший срок все будет в порядке. Он проанализирует ваш случай, найдет для него соответствующую формулу, назовет по имени, изложит его, сделает красноречивым, раз навсегда с ним расправится, устроит так, что вы станете к нему равнодушным, и даже благодарности не спросит. А вы пойдете домой остуженный, облегченный, успокоенный, дивясь, что, собственно, во всем этом могло каких-нибудь несколько часов назад повергнуть вас в столь сладостное волнение. И вы намерены всерьез заступаться за этого холодного, суетного шарлатана? Что выговорено, гласит его символ веры, с тем покончено. Если выговорен весь мир, значит, он исчерпан, преображен, его более не существует... Отлично! Но я-то не нигилист...

– Вы не... – начала Лизавета; она только что поднесла ко рту ложечку чая, да так и замерла в этом положении.

– Конечно, нет... Да очнитесь же, Лизавета! Повторяю, я не нигилист там, где дело идет о живом чувстве. Литератор в глубине души не понимает, что жизнь может продолжаться, что ей не стыдно идти своим чередом и после того, как она «выговорена», «исчерпана». Несмотря на свое преображение (через литературу), она знай себе грешит по-старому, ибо с точки зрения духа всякое действие – грех...

Сейчас я доберусь до цели, Лизавета. Слушайте дальше. Я люблю жизнь, – это признание. Примите, сберегите его, – никому до вас я этого не говорил. Про меня немало судачили, даже в газетах печатали, что я то ли ненавижу жизнь, то ли боюсь и презираю ее, то ли с отвращением от нее отворачиваюсь. Я с удовольствием это выслушивал, мне это льстило, но правдивее от этого такие домыслы не становились. Я люблю жизнь... Вы усмехаетесь, Лизавета, и я знаю почему. Но, заклинаю вас, не считайте того, что я сейчас скажу, за литературу! Не напоминайте мне о Цезаре Борджиа или о какой-нибудь хмельной философии, поднимающей его на щит! Что он мне, этот Цезарь Борджиа, я о нем и думать не хочу и никогда не пойму, как можно возводить в идеал нечто исключительное, демоническое. Нет, нам, необычным людям, жизнь представляется не необычайностью, не призраком кровавого величия и дикой красоты, а известной противоположностью искусству и духу; нормальное, добропорядочное, милое – жизнь во всей ее соблазнительной банальности – вот царство, по которому мы тоскуем. Поверьте, дорогая, тот не художник, кто только и мечтает, только и жаждет рафинированного, эксцентрического, демонического, кто не знает тоски по наивному, простодушному, живому, по малой толике дружбы, преданности, доверчивости, по человеческому счастью, – тайной и жгучей тоски, Лизавета, по блаженству обыденности!

Друг! Верьте, я был бы горд и счастлив, найдись у меня друг среди людей. Но до сих пор друзья у меня были лишь среди демонов, кобольдов, завязтых колдунов и призраков, глухих к голосу жизни, – иными словами, среди литераторов.

Мне случается стоять на эстраде под взглядами сидящих в зале людей, которые пришли послушать меня. И вот, понимаете, я ловлю себя на том, что исподтишка разглядываю аудиторию, так как меня гвоздит вопрос, кто же это пришел сюда, чье это одобрение и чья благодарность устремляются ко мне, с кем пребываю я сегодня в идеальном единении благодаря моему искусству... И я не нахожу того, кого ищу, Лизавета. Я нахожу лишь знакомую мне паству, замкнутую общину, нечто вроде собрания первых христиан: людей с неловким телом и нежной душой, людей, которые, так сказать, вечно падают, – вы понимаете меня, Лизавета? – и для которых поэзия – это возможность хоть немного да насолить жизни, – словом, нахожу только страдальцев, бедняков, тоскующих. А тех, других, голубоглазых, которые не знают нужды в духовном, не нахожу никогда...

Ну а если бы все обстояло иначе? Радоваться этому было бы по меньшей мере непоследовательно.

Нелепо любить жизнь и вместе с тем исхищряться в попытках перетянуть ее на свою сторону, привить ей вкус к меланхолическим тонкостям нездорового литературного аристократизма.

Царство искусства на земле расширяется, а царство здоровья и простодушия становится все меньше. Надо было бы тщательно оберегать то, что еще осталось от него, а не стараться обольщать поэзией людей, которым всего интереснее книги о лошадях, иллюстрированные моментальными фотографиями.

Ну можно ли себе представить что-нибудь более жалкое, чем жизнь, пробующая свои силы в искусстве? Мы, люди искусства, никого не презираем больше, чем дилетанта, живого человека, который верит, что при случае он, помимо всего прочего, может стать еще и художником. Мне самому не раз приходилось испытывать это чувство.

Я нахожусь в гостях в добропорядочном доме: все едят, пьют, болтают, все дружелюбно настроены, и я счастлив и благодарен, что мне удалось, как равному среди равных, раствориться в толпе этих обыкновенных правильных людей. И вдруг (я не раз бывал тому свидетелем) поднимается с места какой-нибудь офицер, лейтенант, красивый малый с отличной выправкой, которого я никогда не заподозрил бы в поступке, пятнающем честь мундира, и самым недвусмысленным образом просит разрешить ему прочитать стихи собственного изготовления. Ему разрешают, не без смущенной улыбки. Он вытаскивает из кармана заветный листок бумаги и читает свое творенье, славящее музыку и любовь, – одним словом, нечто столь же глубоко прочувствованное, сколь и бесполезное. Ну, скажите на милость! Лейтенант! Властелин мира! Ей-богу же, это ему не к лицу! Дальше все идет, как и следовало ожидать: вытянутые физиономии, молчанье, знаки учтвого одобрения и полнейшее уныние среди слушателей. И вот первое душевное движение, в котором я отдаю себе отчет: я – совиновник замешательства, вызванного опрометчивым молодым человеком. И действительно, на меня, именно на меня, чье ремесло он испоганил, обращены насмешливые, холодные взгляды. И второе: человек, которого я только что искренне уважал, начинает падать в моих глазах, падать все ниже и ниже... Меня охватывает благожелательное сострадание. Вместе с несколькими другими снисходительными свидетелями его позора я подхожу к нему и говорю: «Примите мои поздравления, господин лейтенант! У вас премилое дарованье! Право же, это было прелестно!» Еще мгновение – и я, кажется, похлопаю его по плечу. Но разве сострадание – то чувство, которое должен вызывать юный лейтенант?.. Впрочем, сам виноват. Пускай теперь стоит как в воду опущенный и кается в том, что

полагал, будто с лаврового деревца искусства можно сорвать хоть единый листок, не заплатив за него жизнью. Нет, уж я предпочитаю другого своего коллегу – банкира-уголовника. А кстати, Лизавета, вам не кажется, что я сегодня одержим гамлетовской словоохотливостью?

– Вы кончили, Тонио Крёгер?

– Нет, но больше я ничего не скажу.

– Да и хватит с вас. Угодно вам выслушать мой ответ?

– А у вас есть что ответить?

– Пожалуй. Я внимательно слушала вас, Тонио, от начала до конца, и мой ответ будет относиться ко всему, что вы сегодня сказали, и, кстати, явится разрешением проблемы, которая вас так беспокоит. А разрешение это состоит в том, что вы, вот такой, какой вы сидите здесь передо мною, обыкновеннейший бюргер.

– Неужто? – удивился он и весь как-то сник...

– Вас это, видимо, больно задело, да и не могло не задеть. А потому я слегка смягчу свой приговор, на это я имею право. Вы бюргер на ложном пути, Тонио Крёгер! Заблудший бюргер...

Молчание. Он решительно поднялся, взял шляпу и трость.

– Спасибо, Лизавета Ивановна. Теперь я могу спокойно отправиться домой. Вы меня доконали.

Ближе к осени Тонио Крёгер сказал Лизавете Ивановне:

– Я решил уехать, Лизавета: мне нужно проветриться, пожить в чужих краях.

– Вы что ж, батюшка, опять в Италию собрались?

– Ах, оставьте меня с вашей Италией, Лизавета! Она мне до того опостылела... Прошли времена, когда я воображал, что жить без нее не могу. Страна искусства – так ведь? Бархатная голубизна небес, вино, горячее кровь, и сладостная чувственность... Все это не по мне. Даже думать об Италии не хочу. Вся эта *belezza*^[16] действует мне на нервы. Вдобавок я не переношу волооких живчиков-южан. У этих римлян нет совести в глазах... Я хочу немножко пожить в Дании.

– В Дании?

– Да. И думаю, что это будет для меня не бесполезно... Я почему-то ни разу туда не добирался, хотя всю юность прожил у самой датской границы; тем не менее я всегда знал и любил эту страну. Такие северные симпатии у меня, наверное, от отца, потому что моя мать, конечно, любила *belezza* в той мере, в какой она вообще могла что-нибудь любить. Вспомните, Лизавета, хотя бы, какие там, на севере, пишут книги – глубокие, чистые, полные юмора. Я от них без ума. А скандинавский стол? Эти ни с чем не

сравнимые кушанья, которые переносятся только в насквозь просоленном воздухе (впрочем, я не уверен, что способен теперь перенести их), я их немного знаю еще по юношеским воспоминаниям, потому что в наших краях едят точно так же. Или возьмите имена и фамилии тамошних жителей – у меня на родине они тоже частенько встречаются. Ингеборг, например, – ведь это как звук арфы, чистейшая поэзия! А море! У них там Балтийское море!.. Короче говоря, я еду туда, Лизавета. Хочу опять видеть Балтийское море, слышать эти имена, читать эти книги на месте их возникновения; и еще хочу постоять на террасе Кронборга, где дух отца явился Гамлету и обрек на страдания и смерть злополучного благородного юношу...

– Разрешите спросить, Тонио, как вы поедете? Какой вы себе наметили маршрут?

– Обычный, – отвечал он, пожимая плечами, но при этом покраснел. – Я думаю проехать через... мою исходную точку, Лизавета; после тринадцати лет это, пожалуй, будет забавно.

Она улыбнулась:

– Вот то, что я хотела услышать, Тонио Крёгер. Поезжайте с Богом. Не забудьте только написать мне, идет? Я надеюсь получить письмо, полное впечатлений от вашей поездки... в Данию.

И Тонио Крёгер уехал на север. Путешествовал он с комфортом (ибо нередко говорил, что люди, которым внутренне приходится намного трудней, чем другим, имеют право на известные внешние удобства), нигде не останавливаясь, покуда в сером воздухе не обрисовались перед ним башни тесного города, из которого он некогда пустился в странствие.

Там он ненадолго остановился. Странные это были дни.

Уже вечерело, когда поезд подошел к узкому дебаркадеру прокопченного, до странности знакомого вокзала; под грязной стеклянной крышей скапливались клубы дыма и длинными лохмотьями колыхались из стороны в сторону, как в ту пору, когда Тонио Крёгер с одной лишь насмешкой в сердце уезжал отсюда. Он получил свой багаж, велел свезти его в гостиницу и вышел из здания вокзала.

А вот и вереница местных пароконных извозчиков: черные, несоразмерно высокие пролетки с широким сиденьем. Он не воспользовался их услугами, только посмотрел на них, как смотрел на все: на узкие фронтоны и остроконечные башни, казалось, приветливо кивавшие ему из-за соседних крыш, на белокурых, неповоротливых людей, говорящих протяжно, но быстро, и нервный смех, чем-то напоминавший

всхлипыванье, овладел им. Он медленно пошел пешком, – сырой ветер непрерывно и тяжело дул ему в лицо, – через мост, вдоль перил которого стояли мифологические статуи, и дальше вдоль гавани.

Бог ты мой, до чего же все здесь криво и тесно! Неужто эти узкие улочки всегда так круто поднимались в гору? Трубы и мачты судов тихонько покачивались в ветреной мгле над унылой рекою. Пойти вверх по той вон улице, где стоит дом, о котором он думает? Нет, завтра. Ему так хочется спать: голова его отяжелела от долгой езды, смутные мысли медленно шевелятся в ней.

В течение этих тринадцати лет, когда у него бывал не в порядке желудок, ему случалось видеть во сне, что он опять в родном городе, в старом гулком доме, на крутой улице, отец его жив и строго выговаривает ему за беспечный образ жизни, а он, Тонио, считает это в порядке вещей. Окружавшая его теперь действительность ничем не отличалась от той одуряющей, липкой паутины снов, когда спрашиваешь себя, что это – обман или явь, поневоле решаешь: конечно, явь – и... просыпаешься. Он шел как лунатик, по малолюдным улицам, наклоняя голову, чтобы защитить лицо от сквозного ветра, прямо к лучшей гостинице, где намеревался переночевать. Кривоногий человек с длинным шестом, на конце которого теплился огонек, враскачку, по-матросски, шагал перед ним, зажигая газовые фонари.

Что творилось в душе Тонио Крёгера? Что там тлело под пеплом усталости, болезненно и сумрачно, не смея разгореться пламенем? Тише, тише, не надо слов! Слов не надо! Он бы хотел еще долго идти на ветру по сумрачным, соннознакомым улицам. Но все здесь так тесно, так скученно. До любой цели – рукой подать.

В верхнем городе фонари были дуговые; они как раз вспыхнули. А вот и подъезд гостиницы с двумя черными львами, которых он в детстве боялся. Львы все еще смотрят друг на друга с таким видом, словно собираются чихнуть, – только ростом они что-то стали поменьше. Тонио Крёгер прошел между ними.

Он пришел пешком и потому был принят без особого почета. Портье и весьма элегантный господин в черном костюме, то и дело мизинцем заталкивавший в рукава манжеты, обязанностью которого было встречать новых постояльцев, смерил его с головы до пят испытующим взглядом, явно стремясь установить его общественное положение и определить место, занимаемое им на иерархической лестнице, чтобы соответственно воздать гостю большую или меньшую дань уважения. Не придя, видимо, к достаточно успокоительным выводам, он заговорил с ним умеренно

вежливо. Кельнер, тихий мужчина с узкими белокурыми баками, в залоснившемся от долгой носки фраке и с бантами на мягких туфлях, повел его на второй этаж, в опрятный номер со старомодной мебелью, где из окна открывался живописный средневековый вид на дворы, фронтоны и причудливое здание церкви напротив гостиницы. Тонио Крёгер постоял у окна, затем, скрестив руки, сел на широкий диван, нахмурил брови и стал тихонько что-то насвистывать.

В номер внесли лампу и багаж. Тихий кельнер положил на стол регистрационный бланк гостиницы, и Тонио Крёгер, склонив голову набок, нацарапал на нем какие-то каракули; на худой конец они могли сойти за «имя, род занятий и откуда приехал». Покончив с этим, он заказал легкий ужин и, забившись в угол дивана, опять уставился в пустоту. Когда подали ужин, он еще долго не прикасался к нему; наконец поковырял вилкой какое-то блюдо и с добрый час проходил взад и вперед по комнате, временами останавливаясь и закрывая глаза. Затем медленно разделся и лег в постель. Спал он долго, и ему снились путаные, удивительно тоскливые сны.

Проснувшись, он увидел залитую дневным светом комнату, торопливо припомнил, где находится, и вскочил, чтобы открыть шторы. Синий небосвод, чуть-чуть поблекший – лето уже клонилось к осени, – был испещрен тоненькими, прозрачными, разлохмаченными ветром клочками облаков, но солнце ярко светило над его родным городом.

Он заботливее, чем когда-либо, занялся своим туалетом, тщательно умылся, выбрился, придал себе такой свежий и опрятный вид, словно собирался отправиться с визитом в благоприличный дом, где необходимо произвести во всех отношениях безукоризненное впечатление; одеваясь, он прислушивался к боязливому биению своего сердца.

До чего же светло! Лучше бы улицы, как вчера, были окутаны мглой; теперь ему придется в ярком солнечном свете проходить под взглядами местных жителей. Может ли быть, что он натолкнется на знакомых, которые остановят его, начнут расспрашивать о том, как и где он провел эти тринадцать лет? Нет, слава Богу, никто его здесь больше не помнит, а если и помнит, то не узнает, ведь, право же, он немало изменился за эти годы. Он внимательно поглядел на себя в зеркало и вдруг успокоился: под этой маской никто его не узнает, у него не по возрасту изможденное, преждевременно состарившееся лицо... Он позавтракал у себя в номере, спустился вниз, провожаемый критическими взглядами портье и элегантного господина в черном, прошел между двух львов и удалился.

Куда он шел? Вряд ли он сам это знал. Все было, как вчера. Едва он

вновь очутился среди этой удивительно величавой, спокон веку знакомой тесноты фронтонов, башенок, аркад и колодцев, едва почувствовал напор ветра, сильного ветра, несшего ему навстречу нежный и пряный запах полузабытых снов, как все его чувства обволокло пеленой, туманной дымкой... Мускулы его лица ослабли, умиротворенным взором смотрел он на людей и предметы. Может быть, на том вон углу он все-таки проснется.

Куда он шел? Ему казалось, что направление, им избранное, находится в какой-то связи с печальными и покаянными сновидениями этой ночи. Через аркады ратуши он шел на Рыночную площадь, где мясники окровавленными руками отвешивали свой товар, туда, где стоял высокий колодец в готическом стиле. На площади он остановился перед одним из домов, невзрачным и похожим на все соседние, но только с высоким резным фронтоном, и углубился в созерцание. Он прочитал имя на дверной дощечке, поглядел сначала на одно окно, перевел взгляд на другое, третье... Затем неторопливо повернулся и пошел.

Куда он шел? К родному дому. Но он сделал крюк и прогулялся за городские ворота, времени у него было достаточно. Он шел по Мельничному и Голштинскому бульварам, руками придерживая шляпу от ветра, который шелестел и трещал в сучьях деревьев. Неподалеку от вокзальной площади он спустился вниз, поглядел на поезд, прогремывавший мимо с неуклюжей торопливостью, от нечего делать пересчитал вагоны и посмотрел на человека, сидевшего на площадке последнего. Но на Линденплаце он остановился перед нарядной виллой, загляделся на сад, потом долго всматривался в окна и в конце концов даже стал раскачивать взад и вперед калитку, так что петли ее завизжали. Затем он некоторое время смотрел на свою руку, похолодевшую, со следами свежей ржавчины, и двинулся дальше; он прошел через старые приземистые ворота, прогулялся вдоль гавани и по крутой ветреной улице стал подниматься к родительскому дому.

Дом этот стоял, зажатый соседними, более высокими домами, серый и угрюмый, как триста лет назад; Тонио Крёгер прочитал полустершееся благочестивое реченье над входом, вздохнул и вошел в сени.

Сердце его боязливо стучало, он как будто ждал, что вот сейчас из дверей конторы выйдет отец, в рабочем костюме, с пером за ухом, и начнет распекать его за безалаберную жизнь, а он, Тонио, сочтет это в порядке вещей. Но он прошел, и никто его не остановил. Дверь тамбура была не заперта, а только притворена, он невольно отметил это как непорядок, хотя чувствовал себя, точно в приятном сне, когда препятствия рушатся сами собой и ты, ведомый на редкость счастливой звездой, невозбранно

устремляешься вперед... В обширных сенях, выстланных большими четырехугольными каменными плитами, гулко отдавались его шаги. Напротив кухни, откуда не доносилось ни единого звука, на довольно большой высоте, как и встарь, тянулись какие-то странные, нескладные, но тщательно покрашенные галерейки – помещения для прислуги, попасть туда можно было только из сеней по крутой наружной лестнице. Но больших шкафов и резного ларя, что тогда стояли здесь, больше не было... Сын прежнего хозяина стал подниматься по широкой лестнице, опираясь рукой о белые полированные перила; он то отнимал руку, то, поднявшись на несколько ступенек, снова опускал ее, словно пытаясь восстановить былую короткость с этими старыми, надежными перилами... На площадке, перед входом в антресоли, он остановился. К дверям была прибита белая дощечка, и на ней черными буквами стояло: «Народная библиотека».

«Народная библиотека»? Тонио Крёгеру подумалось, что это не место ни для литературы, ни для народа. Он постучался...

– Войдите, – ответили из-за двери; он поспешил воспользоваться разрешением и вошел, напряженно и мрачно вглядываясь в произошедшие здесь неподобающие перемены.

В глубь антресолей шли три комнаты, двери, соединявшие их, были открыты настежь. Книги в одинаковых переплетах стояли на полках почти во всю вышину стен. В каждой комнате за каким-то сооружением, напоминающим прилавок, сидел худосочный мужчина и что-то писал. Двое из них едва повернули головы в сторону Тонио Крёгера, третий же вскочил, оперся руками о стол, вытянул шею, сложил губы трубочкой, поднял брови, поморгал глазами и уставился на посетителя.

– Прошу прощения, – сказал Тонио Крёгер, не сводя глаз со всех этих книг. – Я приезжий и осматриваю город. Так это, значит, здешняя народная библиотека? Не разрешите ли мне ознакомиться с подбором книг?

– Милости просим, – отвечал чиновник и еще быстрее заморгал глазами, – это каждому дозволено. Пожалуйста... может быть, вам угодно воспользоваться каталогом?

– Благодарю вас, – отвечал Тонио Крёгер. – Я и так разберусь. – И медленно пошел вдоль стен, притворяясь, будто изучает названия на корешках. В конце концов он все же вынул одну книгу, раскрыл ее и встал с нею у окна.

В этой комнате была малая столовая. По утрам они всегда завтракали здесь, а не наверху, в большой столовой, где с голубых шпалер, казалось, выступали белые статуи богов... А следующая служила спальней. Мать его отца, жизнелюбивая светская дама, умерла в ней, после того как, несмотря

на свой преклонный возраст, долго и упорно боролась со смертью. Позднее и его отец испустил там свой последний вздох, высокий, элегантный, немного меланхолический и задумчивый господин с полевым цветком в петлице... Тонио сидел в ногах его смертного одра, с покрасневшими глазами, честно отдавшись молчаливому сильному чувству любви и горести. Мать, его красивая, пылкая мать, стояла на коленях, исходя горячими слезами; вскоре она уехала в голубые дали с музыкантом-южанином... А та последняя, третья и самая маленькая комната, тоже битком набитая книгами, которые охранял худосочный мужчина, в течение долгих лет была его комнатой. В нее он возвращался из школы после такой же вот прогулки, как сегодня; у той стены стоял стол, в ящик которого он складывал свои первые простодушные, беспомощные вирши. Старый орешник... Колючая грусть пронизала его. Он бросил взгляд в окно. В саду было пустынно, но старый орешник стоял на своем месте, тяжело поскрипывая и шелестя на ветру. И Тонио Крёгер опустил глаза на книгу, которую держал в руках, – выдающееся и хорошо ему известное поэтическое произведение. Он смотрел на черные строчки и абзацы, некоторое время следил за искусным течением рассказа, за тем, как он, все более насыщаясь страстью, поднимался до кульминационной точки и потом эффектно шел на спад...

– Да, это хорошо сделано, – сказал он, поставил книгу на место и оборотился. Он увидел, что библиотекарь все еще стоит, моргает и смотрит на него со смешанным выражением услужливости и задумчивого недоверия. – Превосходный подбор, – заметил Тонио Крёгер. – Общее представление у меня уже составилось. Весьма вам обязан. Всего наилучшего. – И он направился к двери. Это был странный уход, и он ясно чувствовал, что обеспокоенный библиотекарь еще долго простоят, удивленно моргая глазами.

Дальше идти ему не хотелось. Он побывал дома. Наверху, в больших комнатах за колонной залой, жили чужие люди; он это понял, потому что лестница здесь была перегорожена стеклянной дверью, которой раньше не было; на двери висела дощечка с каким-то именем. Он повернул назад, спустился вниз, прошел по гулким сеням и покинул родительский дом.

Погруженный в свои мысли, он забился в уголок какого-то ресторана, съел тяжелый жирный обед и вернулся в гостиницу.

– Я покончил с делами, – объявил он изящному господину в черном, – и сегодня вечером уезжаю. – Он велел подать счет, заказал экипаж, чтобы ехать в гавань, где стоял пароход, отправлявшийся в Копенгаген, поднялся к себе в номер и сел за стол. Он долго сидел без движения, подперев рукой

щеку, и невидящим взглядом смотрел перед собой. Немного позднее он расплатился по счету и упаковал вещи. Точно в назначенное время ему доложили, что экипаж подан, и Тонио Крёгер, уже совсем готовый к отъезду, спустился вниз.

В вестибюле у лестницы его дожидался изящный господин в черном.

– Прошу прощения, – сказал господин и мизинцем затолкнул манжету в рукав. – Извините, сударь, но мы вынуждены отнять у вас еще минутку времени. Господин Зеехазе, хозяин гостиницы, покорнейше просит вас на два слова. Пустая формальность. Он дожидается нас вон в той комнате... Не будете ли вы так добры пройти со мною... Господин Зеехазе, хозяин гостиницы, там совершенно один.

И, жестами приглашая Тонио Крёгера следовать за ним, он повел его в глубь вестибюля. Там и вправду стоял господин Зеехазе. Тонио Крёгер с детства помнил его. Это был жирный кривоногий человек. Его аккуратно подстриженные бакенбарды успели поседеть, хотя он по-прежнему носил очень открытый смокинг и зеленую бархатную ермолку. Но он был там не один. Возле него у конторки стоял полицейский в шлеме, его рука в перчатке покоилась на густо исписанном клочке бумаги, а на честном солдатском лице явно выражалось удивление; он ждал, что при виде его Тонио Крёгер тут же провалится сквозь землю.

– Вы прибыли из Мюнхена? – осведомился наконец полицейский густым и добродушным басом.

Тонио Крёгер этого не отрицал.

– И едете в Копенгаген?

– Да, я еду на датский приморский курорт.

– Курорт?.. А ну предъявите-ка ваши документы, – сказал полицейский; последнее слово он выговорил, казалось, с особенным удовлетворением.

– Документы... – Документов у Тонио не было. Он вытащил из кармана бумажник и заглянул в него: кроме нескольких кредитных билетов, там лежала еще только корректура рассказа, которую он собирался просмотреть, приехав на место. Тонио Крёгер не любил иметь дело с чиновниками и так и не удосужился выправить себе паспорт. – Весьма сожалею, – сказал он, – но никаких бумаг у меня при себе нет.

– Ах вот оно что! – заметил полицейский. – Так-таки никаких? Ваша фамилия?

Тонио Крёгер назвал себя.

– И это правда?! – Полицейский приосанился и внезапно раздул ноздри во всю ширь.

– Чистая правда, – отвечал Тонио Крёгер.

– Кто же вы есть?

Тонио Крёгер проглотил слюну и твердым голосом назвал свою профессию. Господин Зеехазе поднял голову и с любопытством посмотрел ему в лицо.

– Гм! – буркнул полицейский. – И вы утверждаете, что вы не некий тип, по имени... – сказав «тип», он по складам прочитал написанное на исчерканной бумажке мудреное романское имя, как бы составленное из разноязычных звуков и немедленно выскользнувшее из памяти Тонио, – ... который, – продолжал он, – будучи сыном неизвестных родителей и не имея постоянного местожительства, преследуется мюнхенской полицией за ряд мошеннических проделок и прочих противозаконных действий и, по имеющимся у нас сведениям, намерен бежать в Данию.

– Я не только утверждаю это, а так оно и есть, – сказал Тонио Крёгер и нервно передернул плечами. Это произвело некоторое впечатление.

– Как вы сказали? Ага, ну понятно, – сказал полицейский. – Но как же это вы так, без документов?

Тут умиротворяюще вмешался господин Зеехазе.

– Все это только формальность и ничего больше, – сказал он. – Примите во внимание, сударь, что он выполняет свой долг. Если бы вы могли предъявить хоть что-нибудь, удостоверяющее вашу личность... любой документ...

Все молчали. Не положить ли конец этой истории, назвав себя? Не открыть ли наконец господину Зеехазе, что он, Тонио, не авантюрист без определенного местожительства, не цыган из табора, но сын консула Крёгера, отпрыск именитого рода Крёгеров? Нет, этого ему не хотелось. С другой стороны, эти люди, стоящие на страже законопорядка, не так уж не правы. В какой-то степени он одобрял их... Тонио Крёгер пожал плечами и не проговорил ни слова.

– Что это у вас там в бумажнике? – заинтересовался полицейский.

– В бумажнике? Ничего. Это корректура, – отвечал Тонио Крёгер.

– Корректура? А ну давайте ее сюда.

И Тонио Крёгер вручил ему свой труд. Полицейский положил листы на конторку и стал читать. Господин Зеехазе разделил с ним это удовольствие. Тонио Крёгер посмотрел, какое место они читают. Место было как раз удачное, чрезвычайно тонкий ход и великолепно отработанный эффект. Он остался доволен собой.

– Вот смотрите, – сказал он, – тут стоит мое имя. Я написал эту вещь, а теперь она будет опубликована, понятно?

– Этого достаточно, – решил господин Зеехазе, собрал листы, сложил их и отдал автору. – Хватит с вас, Петерсен, – внушительно повторил он, таинственно прищурившись, и покачал головой, как бы кивая отъезжающему. – Нельзя дольше задерживать этого господина. Экипаж ждет. Покорнейше прошу извинить нас за беспокойство. Петерсен только выполнял свой долг, хотя я сразу же сказал, что он пустился по ложному следу.

«Врешь, голубчик», – подумал Тонио Крёгер.

Полицейский был, видимо, не совсем удовлетворен таким решением, он еще пробурчал что-то о «неком типе» и «предъявлении документов». Но господин Зеехазе, продолжая рассыпаться в извинениях, уже вел своего постояльца мимо львов к экипажу, чтобы с почтительным видом собственноручно захлопнуть дверцу такового. И до смешного высокая извозчичья пролетка с широким сиденьем, подскакивая и звеня, загромыкала по наклонным улицам вниз к гавани...

Так странно закончилось пребывание Тонио Крёгера в родном городе.

Настала ночь, и в серебряном влажном сиянии поднялась луна, когда пароход, на котором плыл Тонио Крёгер, вышел в открытое море. Он стоял у бугшприта, зябко кутаясь в пальто от все крепчавшего ветра, и смотрел в темноту, где мельтешились грузные, гладкотелые валы, которые то тупо терлись друг о друга, то с грохотом сталкивались, неожиданно кидались враспынную и вдруг вспыхивали пеной...

Успокоенное и радостно-тихое настроение овладело им. Он был все же несколько озадачен тем, что в родном городе его собирались арестовать как авантюриста, хотя, с другой стороны, и считал это в порядке вещей. Но потом, уже стоя на палубе, он снова начал, как в детстве, когда бывал с отцом в гавани, следить за погрузкой клади в бездонную утробу парохода, сопровождавшейся громкими возгласами на каком-то смешанном датско-нижненемецком наречии; он видел, как в трюм вслед за тюками и ящиками спустили железные клетки с белым медведем и королевским тигром, видимо переправляемыми из Гамбурга в один из датских зверинцев, и это развлекло его. Покуда пароход скользил меж плоских берегов вниз по реке, он успел начисто забыть допрос полицейского Петерсена, и в душе его с прежней силой ожило все, что было до этого: сладостные, печальные и покаянные сновидения, прогулка, которую он совершил, старый орешник. А теперь, когда перед ним открылось море, он смотрел на далекий берег; на этой вот песчаной полосе ему дано было, еще ребенком, подслушать летние грезы моря; вот яркий свет маяка и огни кургауза, где он жил когда-то с

отцом и матерью...

Балтийское море! Он подставлял голову соленому ветру, тому, что налетает безудержно-вольно, наполняет гулом уши, кружит голову и обволакивает человека таким дурманом, такой ленивой истомой, что в памяти гаснет все зло, все муки и блуждания, мечты и усилия. Ему казалось, что в свисте ветра, в рокоте, плеске, кипенье пены слышится шелест и потрескивание старого орешника, скрип какой-то садовой калитки... Ночь становилась все темней и темней.

– Звезды-то, Господи! Вы только посмотрите, что за звезды! – внезапно, как из бочки, проговорил чей-то тягучий голос. Тонио Крёгер узнал его. Этот голос принадлежал рыжему, простовато одетому человеку с красными веками, имевшему такой промокший и озябший вид, словно его только что вытащили из воды. За ужином в кают-компании он был соседом Тонио Крёгера и робкими, нерешительными движениями накладывал себе на тарелку умопомрачительные порции омлета с омарами. Сейчас он стоял рядом с ним, облокотясь на фальшборт, и смотрел на небо, защемив подбородок большим и указательным пальцами. Он, без сомнения, пребывал в том необыкновенном и торжественно-созерцательном настроении, когда рушатся перегородки между людьми, сердце открывается первому встречному и с губ слетают слова, которые в другое время стыдливо замерли бы на них...

– Вы только посмотрите, сударь, что за звезды! Все небо усыпали и знай себе сверкают, ей-богу! Вот как посмотришь да подумаешь, что многие из них раз в сто больше нашей Земли, так на душе, ей-богу, такое творится... Мы, люди, придумали телеграф и телефон и еще кучу всяких современных новинок, – что правда, то правда. А как посмотришь на звезды, сразу понимаешь, что, в сущности, мы только черви, жалкие черви, и ничего больше. Согласны вы со мной, сударь? Да, да, черви, – ответил он сам себе, смиренно и сокрушенно глядя на небосвод.

«Да, уж у этого литература не засела занозой в сердце», – подумал Тонио Крёгер. Ему вдруг вспомнилась недавно прочитанная статья знаменитого французского писателя о космологическом и психологическом мировоззрении – поистине изысканная болтовня.

Он что-то сказал молодому человеку в ответ на его прочувствованное замечание, и они разговорились, стоя у фальшборта и вглядываясь в тревожно освещенный, подвижный сумрак. Попутчик Тонио Крёгера оказался молодым коммерсантом из Гамбурга; он решил воспользоваться отпуском для этой увеселительной поездки...

– Мне подумалось, хорошо бы разок прокатиться на пароходе в

Копенгаген, и вот я уж стою здесь и не налюбуюсь на эту благодать. Омлет только, конечно, не следовало есть, потому что ночь будет бурная, это сам капитан сказал, а с такой тяжестью в желудке нам круто придется...

Тонио Крёгер, втайне умиляясь, выслушивал весь этот благодушный вздор.

– Да, – заметил он, – здесь, на севере, пища вообще слишком тяжелая. От нее становишься грустным и неповоротливым.

– Грустным? – переспросил молодой человек и в недоумении уставился на него. – Вы, верно, не из здешних краев, сударь? – внезапно осведомился он.

– Да, я приехал издалека, – отвечал Тонио Крёгер и сделал неопределенное движение рукой, словно отмахиваясь от чего-то.

– А впрочем, вы правы! – воскликнул молодой человек. – Ей-богу, правы, говоря про грусть! Я сам почти всегда грущу, особенно в такие вот вечера, когда звезды высыпают на небо. – И он опять защемил подбородок большим и указательным пальцами.

«Не иначе как он пишет стихи, – подумал Тонио Крёгер, – глубоко прочувствованные, купеческие стихи...»

Надвигалась ночь, и ветер так усилился, что разговаривать стало уже невозможно. Они решили немного соснуть и пожелали друг другу спокойной ночи.

Тонио Крёгер вытянулся на узкой койке, ему не спалось. Жестокий ветер и терпкий запах моря странно взбудоражили его, заставили тревожное сердце биться в боязливом ожидании каких-то радостей. Вдобавок качка, особенно ощутимая, когда пароход соскальзывал с отвесной водяной горы и винт судорожно, вхолостую работал в воздухе, вызвала у него мучительную тошноту. Он снова оделся и пошел наверх, на палубу.

Тучи стремглав проносились мимо месяца. Море плясало. Волны уже не катились друг за дружкой, круглые и равномерные; в бледном мерцающем свете луны море, насколько хватало глаз, было разодрано, исхлестано, изрыто; оно, как пламя, выбрасывало гигантские языки, которые лизали борт парохода; вдруг вздымало над зияющими пенными пропастями фантастические зубчатые тени; казалось, его руки, увлекшись безумной игрой, швыряют высоко в воздух кипящее месиво. Пароходу приходилось трудно: шлепая, переваливаясь, пыхтя, пробирался он сквозь этот ералаш, и из его утробы порой доносились рыканье тигра и рев белого медведя, жестоко страдавших от качки. Человек в клеенчатом плаще с капюшоном и фонарем, прицепленным к поясу, широко расставляя ноги и

все-таки с трудом удерживая равновесие, шагал взад и вперед по палубе. Немного поодаль, низко перегнувшись через борт, стоял молодой человек из Гамбурга; ему было плохо.

– Боже мой, – сказал он глухим прерывающимся голосом, заметив Тонио Крёгера, – что ж это за восстание стихий, сударь! – но тут же вынужден был прервать свою речь и торопливо отвернуться к борту.

Тонио Крёгер, вцепившись в натянутый канат, смотрел на этот неистовый разгул. В его душе поднималось ликование, достаточно мощное, как ему казалось, чтобы пересилить и ветер и бурю. Песнь к морю, окрыленная любовью, звучала в нем:

Друг давней юности, прибой,
Я снова встретился с тобой!

На этом стихотворение иссякло. Оно не было закончено, не обрело формы, не сложилось в нечто целое. Сердце Тонио Крёгера ожило...

Он долго стоял так; затем растянулся на скамье возле рубки и стал смотреть на небо и... мерцающие звезды. Он даже вздремнул ненадолго. И когда холодная пена брызгала ему в лицо, он в полусне принимал это за ласку.

Круто вздымающиеся меловые утесы, призрачные в лунном свете, возникли откуда-то и быстро приближались: остров Мэн. И опять нашла дремота, прерываемая каскадами колючих соленых брызг, от которых деревенела кожа... Когда он совсем проснулся, был уже день, прохладный серый день, и зеленое море уgomонилось. За завтраком он снова встретил молодого коммерсанта, и тот весь зарделся, стыдясь, должно быть, тех поэтических и вздорных разговоров, которые вел ночью; всей пятерней задрал он кверху свои рыжеватые усики, громко, по-солдатски, пожелал доброго утра своему вчерашнему собеседнику, но в дальнейшем пугливо его избегал.

И Тонио Крёгер прибыл в Данию. Он остановился в Копенгагене, раздавал чаевые всем, кто хоть сколько-нибудь на это претендовал, три дня пробродил по городу, не выпуская из рук путеводителя, – словом, вел себя в точности как зажиточный иностранец, желающий приумножить свои знания чужих краев. Он осмотрел новую Королевскую площадь с «конем», стоящим посередине, задирая голову, почтительно взирал на колонны Фрауенкирхе, долго стоял перед изящными и благородными скульптурами Торвальдсена, влезал на «круглую башню», осматривал замки и провел два

беспечных вечера в Тиволи. Но за всем этим видел другое.

На домах с высокими сквозными фронтонами – некоторые из них были как две капли воды похожи на дома его родного города – он читал имена, знакомые ему с давних пор; казалось, они обозначают что-то нежное, дорогое сердцу и в то же время таят в себе какой-то упрек, жалобу, тоску по минувшим дням. И куда бы он ни шел, медленно, задумчиво, втягивая в себя влажный морской воздух, повсюду он видел глаза, такие же голубые, волосы, такие же белокурые, лица такого же склада и с такими же чертами, как те, что виделись ему в странных, горестных и покаянных снах в ту ночь, в родном городе. Случалось, что на улице средь бела дня чей-то взгляд, громкое слово или смех трогали его до глубины души...

Долго он в этом жизнерадостном городе не выдержал. Его прогнали оттуда какое-то беспокойство, сладостное и глупое, воспоминания или, скорей, ожидание и также охота спокойно полежать где-нибудь на взморье, а не разыгрывать из себя любознательного туриста. И вот он снова очутился на пароходе и в пасмурный день (море было совсем черное) поплыл вдоль берега Зеландии, в Хельсингер. Там он пересел в экипаж, проехал еще три четверти часа по прибрежному шоссе и остановился наконец у цели своего путешествия. Это была маленькая приморская гостиница, вся белая, с зелеными ставнями, расположенная в центре селенья, застроенного одноэтажными домишками; ее крытая дранкой башня глядела на Зунд и на шведский берег. Здесь он сошел, занял светлый номер, заранее для него приготовленный, переложил вещи из чемодана в комод и шкаф и на время обосновался в этих краях.

* * *

Стоял уже сентябрь, и в Аальсгаарде приезжих было немного. За табльдотом в большой столовой, с окнами на застекленную веранду и деревянными балками под потолком, председательствовала хозяйка, старая дева, седоволосая, с белесыми глазами и нежно-розовым цветом лица; она неумолчно болтала щебечущим голосом и все старалась, чтобы ее красные руки поизящнее выглядели на скатерти. Один из постояльцев, пожилой господин с короткой шеей, седой шкиперской бородкой и сизым лицом, рыботорговец из столицы, умел говорить по-немецки. Он был явно склонен к апоплексии и казался закупоренным: дышал тяжело, прерывисто и время от времени подносил украшенный перстнем указательный палец к носу, чтобы, зажав одну ноздрю, с шумом втянуть другой хоть немного воздуха.

Впрочем, это не мешало ему изрядно выпивать, и бутылка с водкой неизменно высилась перед его прибором за завтраком, обедом и ужином.

Кроме него, здесь жили еще только три американских юнца то ли с гувернером, то ли с домашним учителем, который молча поправлял очки и с утра до вечера играл с ними в футбол. У юнцов были рыжие волосы, причесанные на прямой пробор, и длинные неподвижные лица. «Please, give me the wurst-things there»^[17], – говорил один. «That's not wurst, that's schinken»^[18], – отвечал другой. Этим ограничивалось участие молодых американцев и их учителя в застольной беседе; все остальное время они сидели молча и пили только кипяток.

Тонио Крёгер и не желал себе лучших сотрапезников. Он наслаждался покоем, прислушивался к гортанным звукам датской речи, к глухим и звонким гласным в словах, которыми обменивались рыботорговец и хозяйка, время от времени отпускал какое-нибудь замечание о показаниях барометра и тут же вставал, проходил через террасу и опять спускался вниз, к морю, где уже провел все утро.

Временами здесь бывало тихо и тепло, как летом. Море покоилось ленивое, недвижимое, все в синих, темно-зеленых и рыжих полосах, по которым пробегали серебристые сверкающие блики; в такие дни водоросли на солнце становились сухими, как сено, а медузы испарялись и таяли. Воздух слегка отдавал гнилостью и смолой рыбацьей лодки, к которой прислонялся Тонио Крёгер, сидевший на песке так, чтобы видеть не шведский берег, а открытый горизонт; но надо всем веяло легким, чистым и свежим дыханьем моря.

А потом наступали серые штормовые дни. Валы склоняли головы, как быки, изготовившиеся к нападению, в ярости устремлялись на берег, заливали чуть ли не всю песчаную полосу и, откатываясь, оставляли на ней влажные блестящие водоросли, ракушки и щепки. Между длинными грядами водяных холмов, под серым небом простирались светло-зеленые пенные долины, но там, где сквозь тучи пробивалось солнце, на воду ложился бархатисто-белый глянец.

Тонио Крёгер стоял на ветру под брызгами, погруженный в извечный тяжкий, одуряющий рокот, который он так любил. Стоило ему повернуться и пойти прочь, как вокруг внезапно становилось тепло и тихо.

Но он знал, что за спиной у него море; море звало его, манило, радушно его приветствовало. И он улыбался.

Бродил он и среди лугов, по одиноким тропинкам, и буковый лес, уходящий в холмистые дали, принимал его под свою сень. Он садился на

мшистую землю, спиной прислоняясь к дереву, но всегда так, чтобы меж стволов виднелась полоска моря. Временами ветер доносил до него шум прибоя, похожий на стук сваливаемых в кучу досок или на карканье ворон над деревьями, хриплое, сердитое, тоскливое... Он держал на коленях книгу, в которой не прочитал и строчки. Упиваясь забвением, он свободно парил над временем и пространством. И лишь изредка какая-то боль пронизывала его сердце – короткое, колющее чувство тоски или раскаяния; в ленивой своей истоме он и не пытался дознаться, откуда оно пришло и что означает.

Так проходили дни. Сколько их прошло, он не мог бы сказать и не пытался установить. Но затем случилось нечто из ряда вон выходящее, – случилось среди бела дня, в присутствии других людей, и Тонио Крёгер даже не очень удивился.

Восхитительно праздничным было уже самое начало этого дня. Тонио Крёгер проснулся ранним утром от чувства какого-то неуловимого, неопределенного страха – так что сон как рукой сняло, и... вдруг ему привиделось волшебное царство света. Его комната, оклеенная обоями нежных, мягких тонов и обставленная легкой светлой мебелью, с застекленной дверью на балкон, через которую виднелся Зунд, с белой газовой занавесью, разделяющей ее на гостиную и спальню, всегда выглядела нарядной и приветливой. Но сейчас она предстала его еще заспанным глазам в неземной лучезарности, вся пронизанная несказанно обворожительным, благоуханным розовым сиянием, золотившим стены и мебель и отбрасывавшим на газовую занавесь нежно-алые блики. Тонио Крёгер долго не мог взять в толк, что произошло. Но когда он подошел к балконной двери и приоткрыл ее, то увидел, что восходит солнце.

Несколько дней погода стояла пасмурная и дождливая; но теперь ясное сияющее небо казалось голубым шелком, туго натянутым над морем и сушей, и солнечный диск, окруженный и полуприкрытый облачками, которые светились багрянцем и золотом, торжественно подымался над переливчатой зыбью моря, трепещущей и пламенеющей в утренних лучах... Так начался день, и Тонио Крёгер в счастливом смятении быстро оделся, позавтракал раньше всех внизу на веранде, выплыл из деревянной купаленки в Зунд и затем еще с добрый час гулял по взморью. Вернувшись, он увидел перед гостиницей несколько громоздких экипажей, похожих на омнибусы, и, уже придя в столовую, обнаружил, что в соседней гостиной, где стоял рояль, а также на веранде и площадке перед ней расселось за круглыми столиками множество людей, судя по одежде, мелких бюргеров, которые оживленно переговаривались и пили пиво, закусывая

бутербродами. Тут были целые семьи – старики, молодежь и даже несколько ребятишек.

За вторым завтраком (стол ломился под тяжестью холодных закусок, копченостей, солений и печенья) Тонио Крёгер наконец поинтересовался, что здесь, собственно, происходит.

– Гости, – отвечал рыботорговец. – Экскурсанты из Хельсингера, которым хочется здесь поплясать. Поистине Божье наказание! Сегодня нам не удастся выпасться! Будет бал – танцы, танцы и музыка, и боюсь, что допоздна. Это семейная экскурсия, пикник в складчину по подписке или что-то в этом роде, и уж они сумеют использовать хорошую погоду. Они прибыли на лодках и в экипажах и сейчас завтракают. Затем они поедут любоваться природой, но к вечеру обязательно вернутся и будут танцевать. Черт бы их драл, я уверен, что мы глаз не сомкнем!

– Ничего, это как-никак приятное разнообразие, – сказал Тонио Крёгер.

Некоторое время они оба молчали. Хозяйка барабанила по столу красными пальцами, рыботорговец шумно втягивал воздух через правую ноздрю, американцы пили кипяток, причем их длинные лица принимали постное выражение.

Тут это и случилось: через столовую прошли Ганс Гансен и Ингеборг Хольм.

Тонио Крёгер, приятно утомленный купаньем и быстрой ходьбой, усевшись поудобнее, ел копченую лососину с поджаренным хлебом; лицо его было обращено к веранде и к морю. И вдруг дверь отворилась, и рука в руку, неторопливо вошли эти оба. Ингеборг, белокурая Инге, была одета в светлое легкое платье в цветочках, точно на уроке танцев господина Кнаака; оно доходило ей только до щиколоток, ворот «сердечком» был отделан белым тюлем, не закрывавшим ее мягкой, гибкой шеи. На руке у нее на двух связанных лентах висела шляпа. Инге выглядела разве что несколько взрослее, и длинная ее коса была теперь уложена вокруг головы. Зато Ганс Гансен не изменился нисколько. На нем по-прежнему был бушлат с золотыми пуговицами и выпущенным из-под него матросским воротником; матросскую шапочку с короткими лентами он держал в опущенной руке и беззаботно помахивал ею. Ингеборг отвела в сторону свои миндалевидные глаза, видимо стесняясь устремленных на нее взглядов. Зато Ганс Гансен, целому свету наперекор, вызываяще и немного презрительно оглядел всех сидевших за столом; он даже отпустил руку Ингеборг и стал еще энергичнее размахивать бескозыркой: смотрите, мол, вот я каков! Так прошли эти двое перед глазами Тонио Крёгера на фоне

нежно голубеющего моря, прошли по всей столовой и скрылись за противоположной дверью в комнате, где стоял рояль.

Это было утром, в половине двенадцатого, и постояльцы гостиницы еще сидели за завтраком, когда вся компания на веранде поднялась и, уже не заглядывая в столовую, вышла через боковую дверь. Слышно было, как они рассаживались со смехом и шутками, и экипажи, шурша по гравию шоссе, трогали и отъезжали один за другим...

– Значит, они еще вернутся? – спросил Тонио Крёгер.

– Еще бы, – отвечал рыботорговец. – На наше несчастье! Они ведь заказали музыку, а моя комната как раз над залом.

– Что ж, это приятное разнообразие, – повторил Тонио Крёгер. С этими словами он поднялся и ушел.

Он провел день, как проводил все другие, – в лесу, у моря, сидел, держа книгу на коленях, и щурился на солнце. В голове у него шевелилась одна только мысль: они вернутся, в зале состоится вечеринка с танцами, как и предрекал рыботорговец; Тонио Крёгер радовался этому, и радость его была такой робкой и сладостной, какой он не испытывал уже давно, в течение всех этих мертвых лет. По неожиданной ассоциации ему на мгновение вспомнился давнишний знакомый, новеллист Адальберт. Он-то знал, чего хочет, и отправился в кафе, чтобы не дышать весенним воздухом. Вспомнив это, Тонио Крёгер пожал плечами...

Обед в тот день подавался раньше обычного, так же, впрочем, как и ужин, происходивший в гостиной; в большой столовой шли приготовления к балу: праздник так праздник! Когда уже стемнело и Тонио Крёгер сидел у себя в номере, на шоссе и в доме все снова наполнилось шумом. Экскурсанты вернулись; мало того: из Хельсингера на велосипедах и в экипажах прибыли новые гости; где-то внизу уже настраивали скрипку, слышались и гнусавые звуки кларнета... Словом, все предвещало веселье.

Вот уже маленький оркестр заиграл марш: навех приглушенно донесли отчетливые такты. Бал открывался полонезом. Тонио Крёгер, прислушиваясь, посидел еще несколько минут. Но когда марш сменился звуками вальса, он встал и, бесшумно ступая, вышел из комнаты.

Из коридора можно было по черной лестнице спуститься к запасному выходу, а оттуда, не заходя в дом, прямо пройти на веранду. Этот путь он и избрал и пошел по нему тихо, крадучись, словно по запретной тропе, ощупью пробираясь во мраке, неодолимо влекомый этой глупой, блаженно баюкающей музыкой, теперь уже явственно доносившейся до него.

На веранде было темно и пусто, но дверь в зал, где уже ярко горели обе большие керосиновые лампы с блестящими рефлекторами, стояла

настежь. Тонио Крёгер бесшумно прокрался на веранду, и от воровского наслаждения – стоять здесь в потемках, незамеченным, и следить за танцующими – у него по спине пробежали мурашки. Глаза его торопливо и жадно выискивали в толпе тех двоих...

Веселье было в полном разгаре, хотя бал начался всего каких-нибудь полчаса назад; впрочем, все танцоры уже явились сюда, возбужденные и радостные от совместно проведенного веселого, беззаботного дня. В гостиной, которую Тонио Крёгер видел, когда решался несколько податься вперед, за карточными столами, куря и потягивая вино, разместились пожилые мужчины; другие сидели по углам возле своих жен или вдоль стен на плюшевых стульях и смотрели на танцующих; они упирались руками в растопыренные колени и, раздувая щеки, удовлетворенно пыхтели. Мамаши, сложив руки под грудью и склонив набок головы в маленьких шляпках на макушке, наблюдали за весельем молодежи. На эстраде, сооруженной у одной из стен, изо всех сил наяривали музыканты. В числе инструментов была даже труба; она трубила осторожно, словно боясь собственного голоса, но все равно то и дело заглушала остальные инструменты... Одни пары, покачиваясь и кружась, скользили в танце, другие рука об руку прогуливались вдоль зала. Одеты все были не по-бальному, а так, как одеваются для воскресной загородной прогулки: кавалеры в не слишком ладно скроенных костюмах, видимо, заботливо сберегавшихся в будние дни, молодые девушки в воздушных светлых платьицах с пучками полевых цветов у ворота. В зале попадались и детишки, продолжавшие плясать, даже когда умолкала музыка.

Распорядителем бала и дирижером был долговязый чиновник почтового или какого-то другого ведомства, в визитке с разлетающимися фалдами, с моноклем в глазу и подпаленными волосами – провинциальный лев, живое воплощение комического героя из датского романа. Юркий, обливающийся потом, весь ушедший в свое занятие, он, суетливо виляя задом, поспевал во все концы, мягко ступал на носки и выписывал ногами, обутыми в остроносые штиблеты, какие-то мудреные вензеля; размахивая руками в воздухе, он отдавал распоряжения, что-то кричал оркестру и хлопал в ладоши; вокруг него все время реяли концы огромного банта, прикрепленного на плече, – знак его особых бальных полномочий, на который он нет-нет да и устремлял нежные взгляды.

Да, и они были здесь, те двое, что прошли сегодня перед Тонио Крёгером в сиянии солнечных лучей; он снова видел их и содрогнулся от радости, заметив обоих сразу. Ганс Гансен стоял у двери, совсем близко от него. Широко расставив ноги и слегка нагнувшись вперед, он спокойно

уплетал громадный кусок песочного торта, держа руку горстью у подбородка, чтобы не просыпать крошек. А там, у стены, сидела Ингеборг Хольм, белокурая Инге. Почтовый чиновник как раз подлетел к ней, чтобы изысканным поклоном, заложив одну руку за спину, а другой грациозно касаясь груди, пригласить ее на танец. Но она в ответ только покачала головой и объяснила, что очень запыхалась и должна немного передохнуть, после чего кавалер уселся рядом с нею.

Тонио Крёгер смотрел на тех, кого он так страдальчески любил когда-то, на Ганса и Ингеборг. Он любил их обоих не в силу каких-то свойств, им одним присущих, или их схожей манеры одеваться, – его пленяло в них тождество расы, типа, принадлежность к одной и той же породе людей – светлых, голубоглазых, белокурых, породе, вызывающей представление о чистоте, неомраченном благодушии, веселости, простом и горделивом целомудрии... Он видел их, видел, как Ганс, широкоплечий, узкобедрый, еще более здоровый и стройный, чем в ту далекую пору, стоял там в своем матросском костюме, видел, как Ингеборг, лукаво смеясь, по-особенному подняла и закинула за голову руку, не слишком узкую, не слишком изящную руку девочки-подростка, и при этом движении рукав соскользнул с ее локтя. И вдруг тоска по родине с такой силой сдавила его грудь, что он непроизвольно еще глубже попятился в темноту, чтобы никто не заметил нервного подергиванья его лица...

«Разве я забыл вас? – спрашивал он себя. – Нет, я никогда вас не забывал! Ни тебя, Ганс, ни тебя, белокурая Инге!

Ведь это для вас я работал, и, когда мой труд вознаграждался рукоплесканиями, я потихоньку оглядывался, нет ли среди рукоплещущих вас обоих...

Прочитал ли ты «Дон-Карлоса», Ганс Гансен, как ты мне обещал у калитки? Нет, не читай его! Я этого больше с тебя не спрашиваю. Что тебе до короля, который плачет от одиночества? Не надо, чтобы твои ясные глаза туманились, подергивались сонной одурью от упорного чтения стихов и от меланхолии... Быть таким, как ты! Начать все сначала, вырасти похожим на тебя, честным, веселым и простодушным, надежным, добропорядочным, в ладу с Богом и людьми; быть любимым такими же чистыми сердцем счастливыми, взять в жены тебя, Ингеборг Хольм, и иметь сына, такого, как ты, Ганс Гансен, жить свободным от проклятья познания и творческих мук, любить и радоваться блаженной заурядности... Начать сначала. Но стоит ли? Это ни к чему не приведет. Все будет, как было. Ведь иные сбиваются с пути только потому, что для них верного пути не существует».

Музыка смолкла; в перерыве разносили закуски. Почтовый чиновник бегал по залу, самолично обнося дам селедочным паштетом; перед Ингеборг он даже опустился на одно колено, и она зарделась от удовольствия.

Между тем в зале заметили соглядтая за дверью; красные разгоряченные лица оборачивались к нему с недоуменным, даже сердитым выражением; но он упорно не двигался с места. Ингеборг и Ганс тоже почти одновременно скользнули по нему глазами до того равнодушными, что это граничило уже с презрением. И вдруг он почувствовал устремленный на него откуда-то пристальный взгляд. Он обернулся, и глаза его тотчас же встретились с теми, чей взгляд он почувствовал на себе. Неподалеку от него стояла девушка с бледным узким и тонким лицом, на которое он уже раньше обратил внимание. Она мало танцевала, – кавалеры не очень-то увивались вокруг нее, – и со строго сжатыми губами одиноко сидела у стены. И сейчас она тоже была одна, одетая в светлое, воздушное платье, как другие девушки. Но сквозь прозрачную ткань просвечивали острые, слабые плечи, а худая шея уходила в них так глубоко, что бедная девушка казалась немного горбатой. Руки в ажурных митенках она держала у плоской груди и, склонив голову, исподлобья глядела на Тонио Крёгера черными влажными глазами. Он отвернулся...

Здесь, совсем близко от него, сидели Ганс и Ингеборг. Они ели и пили среди других краснощеких сотрапезников, болтали, веселились, громко поддразнивали друг друга и смеялись до упаду. Может быть, подойти к ним поближе? Обратиться к нему или к ней с шутливыми словами, первыми, какие придут в голову; и тогда они должны будут ему ответить хотя бы улыбкой? Эта улыбка осчастливила бы его, он мечтал о ней и, удовлетворенный, вернулся бы к себе в комнату, в сознании, что какая-то общность все же установилась между ними. Он придумывал, что бы им сказать, но сказать у него не достало мужества. Да и не стоило: они, как всегда, не поняли бы его, холодно выслушали бы его слова. Ибо их язык не был его языком.

Вот, кажется, опять начинаются танцы. Чиновник развивал неустанную деятельность. Он носился по залу, требовал, чтобы кавалеры приглашали дам, с помощью кельнера убирал с дороги стулья, отдавал приказания оркестрантам, подталкивал за плечи увальней, не знавших, куда себя девать. Что тут такое готовится? Пары выстраиваются по четыре, образуя каре... Страшное воспоминание заставило побагроветь Тонио Крёгера. Сейчас начнется кадрили.

Заиграла музыка, и пары с поклонами стали сходитья и расходиться.

Чиновник дирижировал кадрилию и – Боже милостивый! – отдавал распоряжения по-французски, грассируя с неподражаемой изысканностью. Ингеборг Хольм танцевала почти рядом с Тонио Крёгером, в том каре, которое было ближе к двери. Она мелькала перед ним справа и слева, то плавно выступая, то стремительно кружась; благоуханье, исходившее от ее волос, а может быть, от легкой ткани ее платья, временами долетало до него, и он закрывал глаза, охваченный издавна знакомым чувством, – чувством, аромат и терпкую прелесть которого он ощущал в воздухе все последние дни и которое теперь вновь наполнило его сладостным томлением. Что это? Тоска? Нежность? Зависть и презрение к самому себе! *Moulinet des dames*! Ты смеялась, белокурая Инге, смеялась надо мной, когда я танцевал *moulinet* и так ужасно осрамился? А теперь, когда я стал чем-то вроде знаменитости, ты бы тоже смеялась надо мной? Да, конечно, и ты была бы трижды права! Даже если бы я один создал Девятую симфонию, «Мир как воля и представление» и «Страшный суд» – ты все равно была бы вправе смеяться... Он взглянул на нее, и в его памяти ожила стихотворная строчка, давно не вспоминавшаяся и тем не менее такая знакомая и волнующая: «Хочу заснуть, а ты иди плясать...»

Как ему понятно по-северному меланхолическое простодушно-неповоротливое чувство, отраженное в этих словах. Спать... Стремиться просто и полно жить чувством, чувством, сладостно и лениво покоем в самом себе, которому не обязательно претворяться в действие, в танец, и тем не менее танцевать, ловко и уверенно танцевать среди ножей трудный, опасный танец искусства, вечно памятуя об унижительном противоречии между этим танцем и любовью.

Внезапно все вокруг бешено засуеилось. Каре распались, танцующие затопали, потом стремительно заскользили по залу: кадрили кончалась галопом. Пары под неистово быструю музыку проносились мимо Тонио Крёгера, торопясь, обгоняя друг друга, тяжело дыша и смеясь. Вот совсем рядом кружится, мчится пара, подгоняемая общей спешкой. У девушки бледное, тонкое лицо и худые, слишком высокие плечи. И вдруг совсем уже рядом с ним – заминка, неловкое движение. Девушка падает... Падает со всего размаху – это кажется опасным паденьем! – и увлекает за собой кавалера. Он, видимо, так расшибся, что даже позабыл о своей даме; едва приподнявшись, он трет с гримасой боли свое колено, а девушка, оглушенная паденьем, все еще лежит на полу. Тут Тонио Крёгер выступил из темноты, взял ее за руки и бережно поднял. Напуганная, смущенная, несчастная, она подняла на него глаза, и ее нежное лицо внезапно залилось краской.

– Tak! O, mange Tak!^[19] – проговорила она, снизу вверх глядя на него темными влажными глазами.

– Вам больше не следует танцевать, фройляйн, – мягко заметил он. Еще раз оглянувшись на тех, на Ганса и Ингеборг, и ушел из зала. Пройдя через веранду, он поднялся к себе в комнату.

Он был опьянен праздником, в котором не принимал участия, утомлен ревностью. Как раньше, все в точности как раньше! С пылающим лицом стоял он в темном углу, страдая из-за вас, белокурые, жизнелюбивые счастливицы, и потом одинокий ушел к себе. Кому-нибудь следовало бы теперь прийти! Ингеборг следовало бы прийти, заметить, что он ушел, тайком прокрасться за ним и, положив руку ему на плечо, сказать: «Пойдем к нам! Развеселись! Я люблю тебя!..» Но она не пришла. Ничего такого не случилось. Все было, как тогда, и, как тогда, он был счастлив. Ибо сердце его жило. А что же было все то время, когда он становился тем, чем был теперь? Оцепенение, пустота, лед и – дух! И еще – искусство!

Он разделся, лег, потушил свет и стал шептать в подушку два имени, несколько целомудренных северных слогов, которые для него означали его любовь, его страдания, счастье, а также жизнь, простое горячее чувство и родину. Он оглядывался назад, на годы, прожитые с того дня по нынешний. Вспоминал о мрачных авантюрах чувства, нервов, мысли, видел самого себя, снедаемого иронией и духом, изнуренного и обессиленного познанием, изнемогшего от жара и озноба творчества, необузданно, вопреки укорам совести, бросающегося из одной крайности в другую, мечущегося между святостью и огнем чувственности, удрученного холодной экзальтацией, опустошенного, измученного, больного, заблудшего, и плакал от раскаяния и тоски по родине.

Вокруг было темно и тихо. И только снизу, приглушенная, убаюкивающая, доносилась до него сладостная и пошлая мелодия жизни.

Тонио Крёгер продолжал жить на севере и, выполняя свое обещание, писал Лизавете Ивановне, испытанному другу:

«Милая Лизавета, обительница далекой Аркадии, куда скоро ворочусь и я! Вот наконец некое подобие письма, оно, вероятно, разочарует Вас, ибо будет содержать одни лишь общие рассуждения. Не то чтоб у меня не было о чем рассказать; кое-что мне все-таки довелось пережить, – на свой лад, конечно. Дома, в моем родном городе, меня чуть было не арестовали... Но об этом я расскажу Вам устно. У меня теперь бывают дни, когда я предпочитаю философствовать на общие темы, а не рассказывать истории.

Помните ли Вы еще, Лизавета, что однажды назвали меня бургером, заблудшим бургером? Так Вы назвали меня в час, когда я имел оплошность вслед за другими признаниями заговорить с Вами о моей любви к тому, что я называю жизнью. И вот я спрашиваю себя: сознавали ли Вы тогда, как близки Вы к истине, как тесно связаны друг с другом моя бургерская сущность и моя любовь к «жизни»? Нынешнее мое путешествие вновь заставило меня об этом задуматься...

Мой отец, Лизавета, был человеком северного темперамента: склонным к созерцательности и грусти, основательным и пуритански корректным; моя мать, в жилах которой текла смешанная экзотическая кровь, была хороша собой, чувственна, наивна; беспечность в ней сочеталась со страстностью и импульсивной распущенностью. Такое соединение кровей, несомненно, таило в себе немалые возможности и... немалую опасность. В результате получился бургер, оплошно забредший в искусство, цыган, тоскующий по хорошему воспитанию, художник с нечистой совестью. Ведь это бургерская совесть заставляет меня в занятиях искусством, во всем из ряда вон выходящем и гениальном видеть нечто двусмысленное, глубоко подозрительное, вызывающее опаску. Отсюда и моя нежность, граничащая с влюбленностью, ко всему примитивному, простодушному, утешительно-нормальному, заурядному и благопристойному.

Я стою между двух миров, ни в одном не чувствуя себя дома, и потому мне приходится круто. Вы, художники, называете меня обывателем, а обыватели хотят меня арестовать... Я же толком и сам не знаю, что больше меня огорчает. Бургеры глупы; но вам, поклонники красоты, обвиняющим меня во флегме и в отсутствии возвышенной тоски, неплохо было бы понять, что существует творчество столь глубокое, столь предначертанное и роковое, что нет для него ничего сладостнее и желаннее, чем блаженная обыденность.

Я восхищаюсь холодными гордецами, что шествуют по тропе великой, демонической красоты, презирая человека, но не завидую им. Ведь если что может сделать из литератора поэта, то как раз моя бургерская, обывательская любовь к человеческому, живому, обыденному. Все тепло, вся доброта, весь юмор идут от нее, и временами мне кажется, что это и есть та любовь, о которой в Писании сказано, что человек может говорить языком человеческим и ангельским, но без любви голос его все равно останется гудящей медью и кимвалом бряцающим.

Сделанное мною – ничто, самая малость, все равно что ничто. Я добьюсь большего, Лизавета, – обещаю Вам. Сейчас, когда я пишу, ко мне в

комнату доносится рокот моря, и я закрываю глаза. Я вглядываюсь в неродившийся, еще призрачный мир, который требует, чтобы его отлили в форму, упорядочили, вижу толчею теней, отбрасываемых человеческими фигурами, эти тени машут мне – воплоти и освободи нас! Среди них есть трагические, есть смешные, есть и такие, в которых представлено то и другое, – к ним я привержен всей душой. Но самая глубокая, тайная моя любовь отдана белокуром и голубоглазым, живым, счастливым, дарящим радость, обыкновенным. Не хулите эту любовь, Лизавета: она благодатна и плодотворна. В ней страстное ожидание, горькая зависть, малая толика презрения и вся полнота целомудренного блаженства».

Смерть в Венеции

Глава первая

Густав Ашенбах, или Густав фон Ашенбах, как официально значилось в его бумагах со дня его пятидесятилетия, как-то по весне одна тысяча девятьсот..., – словом, того самого года, который на протяжении многих месяцев устрашал наш континент воинственной гримасой, – после полдничного чая в одиночестве вышел из своей квартиры на Принцрегентштрассе, что в Мюнхене, в намерении предпринять основательный моцион. Все еще взбудораженный тяжелой, даже опасной натугой многочасовых утренних трудов, именно сейчас требующих невероятного тщания, сугубой бережности и предельной точности употребления творческой воли, писатель, не в силах унять в себе звучание внутреннего голоса, – того «*motus animi continuus*»^[20], который, если верить Цицерону, и составляет суть красноречия, – так и не смог предаться послеобеденной дреме, насущно необходимой организму при столь нещадном расходе энергии. Вот почему сразу после чая его потянуло на прогулку, в надежде, что свежий воздух и движение, восстановив убыток сил, помогут плодотворно начатый день завершить столь же плодотворным вечером.

Дело было в начале мая, и после дождливых, промозглых недель удушливым миражом лета вдруг накатил жара. В Английском саду, едва подернувшемся первой зеленью, стояло августовское пекло, и в той его части, что ближе к городу, было полно гуляющих, в экипажах и пешком. Возле «Аумайстера», куда привели его все более тихие аллеи, а потом и укромные дорожки, Ашенбах обвел глазами оживленную публику, полетнему расположившуюся за столиками перед рестораном, у подъезда которого скучали в пролетках извозчики, после чего, достаточно утомившись, – солнце уже клонилось к закату, а над пригородным Фёрингом сгущались грозовые тучи, – направился обратно, но не через парк, а в сторону предместья, к Северному кладбищу, где и ожидал теперь трамвая, дабы тот доставил его напрямик в город.

Станным образом ни на остановке, ни поблизости от нее не оказалось в этот час ни души. Ни на Унгерерштрассе, по брусчатке которой, сиротливо поблескивая, убегали к Швабингу трамвайные рельсы, ни на Фёрингском шоссе не видно было ни подвод, ни брички, и за оградами гранитных мастерских, где выставленные на продажу кресты, могильные плиты и надгробья образовывали нечто вроде второго, незаселенного

погоста, царила мертвая тишина, да и византийская часовня-покойницкая, каменя в полусвете уходящего дня, хранила непреклонное безмолвие. На фасаде ее, украшенном греческими крестами и аляповато-яркими сакральными изображениями, сверкали золотыми буквами симметрично расположенные письма, – многомудрые напутственные речения о загробной жизни, вроде: «Внидут в обитель господа» или «Да воссияет вам свет вечный», так что одинокий пассажир коротал минуты ожидания, развлекая и упражняя ум изучением глубокомысленных сентенций и погружая внутреннее око в просвечивающий сквозь них мистический смысл, покуда задумчивость его не была прервана появлением в портике часовни, на самой середине лестницы, чуть повыше двух охраняющих ступени апокалиптических зверей, некоего незнакомца, чей не вполне обычный вид разом придал его мыслям совершенно иной оборот.

Вынырнул ли он из бронзовых дверей или проскользнул с улицы, успев незаметно взбежать по лестнице, так и осталось загадкой. Ашенбах, не особенно, впрочем, утруждаясь этим вопросом, склонялся скорее к первому предположению. Среднего роста, худощавый, безбородый, с вызывающе вздернутой пуговичкой носа, малый был явно из породы рыжих, с характерной для этой масти молочно-белой, веснушчатой кожей. Наружность, пожалуй, отнюдь не баварская, – по крайней мере, курортная, с широченными полями, шляпа из светлой рогожки, к тому же зачем-то нахлобученная чуть не до бровей, безусловно выдавала в нем вояжера, пришельца из дальних краев. Правда, за плечами горбился очень даже принятый в здешних местах рюкзак, да и грубошерстный, желтовато-бурый сюртук тоже вроде как у заправского баварца, и серая дождевая накидка через левую руку переброшена, а в правой вдобавок добротная, с железным наконечником, трость-альпеншток, на рукоять которой путник, под наклоном уткнув трость в ступени и кренделем скрестив ноги, опирался бедром. Задрав голову и обнажив над воротом спортивной блузы тощую шею с остро выпирающим кадыком, он пристально что-то высматривал вдали своими белесыми, в оторочке рыжих ресниц, глазами, из-под которых, в неожиданно ладном соответствии с вопиюще курносом носом, резкими бороздами сбегали две твердые волевые складки. В осанке его – такому впечатлению способствовало, вероятно, во всех смыслах возвышенное расположение наверху лестницы, – в самой манере похозяйски обозревать окрестности ощущалось нечто властное и вместе с тем дерзкое, необузданно-дикое даже, виной чему было то ли закатное солнце, заставившее чужака ощериться в жутковатой гримасе, то ли некий природный физиогномический изъян, до самых десен распыливший губы,

меж которых хищной белизной сверкнул оскал крепких, крупных зубов.

Вполне возможно, что Ашенбах, пребывая в любознательной задумчивости, разглядывал незнакомца без должной деликатности, ибо вдруг обнаружил, что тот тоже на него смотрит, причем столь воинственно, взглядом столь твердым и не оставляющим сомнений в намерении любой ценой принудить непрошенного соглядатая отвернуться, что он, внутренне отпрянув, тут же отвел глаза и неспешно двинулся вдоль забора, про себя решив не обращать больше на неприятного субъекта никакого внимания. И минуту спустя уже забыл о нем. Но то ли на него повлиял походный облик незнакомца, то ли подействовали какие-то еще физические или душевные флюиды, только Ашенбах в самой глубине существа своего ощутил вдруг некий порыв, странное и смутное томление, по-юношески нетерпеливую жажду к перемене мест – чувство столь живое, столь новое, столь давно не испытываемое и столь накрепко забытое, что он, заложив руки за спину и уставившись себе под ноги, пораженно замер на месте, силясь понять, в чем тут суть и смысл и что же это с ним такое творится.

Да, то была охота к перемене мест, только и всего, – но она воистину накатила, как приступ недуга, обдав жаром страсти, необоримой до потери рассудка. Перед ним будто наяву, видением всех чудес и ужасов необъятной нашей планеты, какие жадно спешила вообразить его фантазия, предстала завораживающая картина бескрайних тропических болот под набухшим от испарений небом, нескончаемый ковер влажной, болезненно пышной растительности, непроходимые трясины пугливо избегаемых человеком, затянутых ряской гибельных топей, прорезанных пузырящимися протоками черной жижи и пены. Меж ними кустисто бугрились островки, заполоненные гигантскими, в руку толщиной, сплетениями стеблей и листьев, заросшие пухлой, пышущей невыносимыми цветами и соцветиями зеленью, из которой вздымались исполинские папоротники, выстреливали ввысь волосатые пальмы, корячились, образуя непролазные дебри, хватая ветвями воздух, раскидывая уродливые корни по воде и суше, причудливые, страшные деревья... В зеленовато-тенистых хлябях лоханями плавали молочно-белые лилии; диковинные птицы с невиданными клювами, нахохлившись, каменели в жиже, хищно уставившись куда-то вбок и не обращая внимания на беспрестанный шорох, шелест и перестук камыша, встающего стеной, словно бряцающее доспехами войско – в звуках этих, казалось, слышится сиплое, смрадное дыхание всего этого дикого, первобытно-утробного мира, пребывающего в беспрестанной круговерти зачатий и умираний, рождений и кончин, а в чащобе узловатых стволов бамбука взгляду на миг двумя

фосфоресцирующими огоньками померещилась пара неподвижно-свирипых тигриных глаз, – и сердце обмерло и бешено заколотилось от ужаса, но и от смутной истомы. Тут, однако, видение сгнуло – Ашенбах только головой покачал и степенно продолжил прогулку вдоль заборов и оград.

Сам он давно, – по крайней мере, с тех пор, как стали позволять средства, – научился ценить выгоды перемещения по свету, полагая, впрочем, путешествие просто чем-то вроде гигиенического мероприятия, к которому необходимо прибегать от поры до поры, пусть даже вопреки желанию и наклонностям. Слишком он был поглощен миссией, возложенной на него собственным «Я» и тем, что можно назвать душой европейца, слишком обременен обязательствами творчества, слишком оберегал себя от малейших отвлечений, чтобы оценить и полюбить радости пестрой и шумной мирской суеты, а посему вполне довольствовался досягаемостью земных пространств в пределах привычного для современников кругозора, даже в помыслах ни разу не испытал искушения покинуть пределы Европы. И тем более не испытывал его теперь, когда жизнь начала клониться к закату, а от художнической боязни не успеть, от неотступной тревоги, что часовой завод иссякнет прежде, чем исполнено будет предназначение, прежде, чем он отдаст себя всего, – когда от этого страха невозможно стало отмахнуться; теперь он почти полностью ограничил свое внешнее бытие красотами города, ставшего ему родным, и дачной жизнью в простецком, без затей, доме, который он построил в горах, проводя там все летние, привычно дождливые месяцы.

Так что и этот порыв, столь же внезапный, сколь и запоздалый, вскоре был усмирен разумом, подавлен выработанным с молодых ногтей навыком держать себя в узде. Ведь он намеревался до переезда за город довести до определенного места творение, которым одним только сейчас и жил, вот почему шалая греза о заморских путешествиях, которые на месяцы оторвут его от работы, тотчас показалась блажью. И тем не менее он слишком хорошо знал, откуда вдруг эта напасть. То была, признался он себе, тяга к бегству, тоска по новизне и далям, жажда сбросить с себя постылое бремя, забыться, наконец, – позыв прочь от письменного стола, от ненавистной лямки неуклонного, холодного и страстного служения. Он, правда, служение это любил, он успел почти полюбить даже изматывающую, изо дня в день возобновляемую борьбу своей гордой, в многолетних трудах закаленной воли с предательской усталостью, о которой никто не должен знать и которая никоим образом не смеет сказаться на его произведении издержками творческой немощи. Однако не стоит, пожалуй, перегибать

палку и в самом зародыше душить в себе желание, проснувшееся столь живо. Думы его опять вернулись к работе, к злополучному месту, от которого сегодня, как и вчера, пришлось отступить – оно не давалось ни в какую, ни лаской, ни таской. Мысленно он снова повертел его так и этак, надеясь прорвать затор силой или обойти хитростью, но только содрогнулся от отвращения и в который раз спасовал. И то была вовсе не какая-то несусветная трудность, нет – на самом-то деле под личиной чрезмерной взыскательности его по рукам и ногам связывали путы неохоты. Да, верно, он с юных лет полагал, что неудовлетворенность составляет суть и сокровенную природу таланта, ради нее он обуздывал и остужал в себе бурление чувств, ибо знал за собой склонность к скороспелой приблизительности и кажущейся, половинчатой завершенности. Так неужто укрощенный выдрессированный энтузиазм теперь мстит за себя, наотрез отказываясь впредь вдохновлять и окрылять его искусство, лишая его главных радостей творчества – наслаждения созиданием формы, полнотой и точностью самовыражения? Не то чтобы он стал писать плохо – хотя бы в том состояло преимущество его возраста, что в уж мастерстве-то своем он ни единой секунды мог не сомневаться. Но его лично, покуда вся нация воздавала ему почести, мастерство это ничуть не радовало, ибо искусству его, так ему мнилось, недостает легкости, той пламенной игры духа, которая, будучи порождением радости, и оказывается – куда весомей всякого там содержания – поистине бесценным достоинством, поскольку именно радостью и услаждает людей. Его страшило предстоящее загородное лето, унылое одиночество в стенах небольшого дома, где, кроме кухарки, стряпающей еду, и слуги, который ему эту еду подает, никого рядом не будет, страшил привычный вид горных вершин и отвесных скалистых обрывов, которые обступят его тошнвые и вялые сочинительские потуги. А коли так, значит, необходимо развеяться, нужна встряска внезапной перемены, запретная радость украденных у работы дней, глоток чужеземного воздуха, прилив свежей крови, – только это способно сделать его лето сносным и плодотворным. Что ж, тогда в дорогу – решение принято, и он был доволен. Не слишком далеко, вовсе не обязательно к тиграм. Ночь в спальном вагоне, а потом сиеста, недельки три, может, месяц, на каком-нибудь всемирно известном курорте под благодатным южным небом...

Вот о чем он думал под дребезг подкатывающего с Унгерерштрассе электрического трамвая, а поднимаясь на подножку, решил посвятить вечер изучению карт и железнодорожного расписания. Уже на площадке он вдруг вспомнил чужака в нелепой шляпе, товарища по ожиданию, компаньона

праздных, хоть и не бесплодных его раздумий, и попытался отыскать того глазами. Однако ни на прежнем месте, ни на остановке, ни в трамвайном вагоне незнакомца не обнаружилось, и куда тот запропастился, так и осталось неясным.

Глава вторая

Творец грандиозной, монументально-воздушной эпопеи из жизни Фридриха Великого; кропотливый мастер, с долголетним тщанием ткавший всеохватное романное полотно по имени «Майя», объединившее под сенью основной идеи многолюдство всевозможных человеческих судеб; создатель необычайно сильного рассказа под названием «Ничтожество», указавшего целому поколению благодарного юношества путь к обретению нравственной стойкости через искусства всепроникающего познания; наконец (и этим, пожалуй, исчерпывается краткий перечень главных произведений поры его творческой зрелости), автор страстного трактата «Искусство и дух», который за ясность мысли и строгость в построении антитез многие уважаемые ценители без колебаний ставили вровень с шиллеровскими размышлениями о наивной и сентиментальной поэзии, – Густав Ашенбах, стало быть, родился в Л., окружном городе провинции Силезия, в семье видного советника юстиции, чьи предки, офицеры, судьи, чиновники, верой и правдой служа королю, жизнь вели добропорядочную, суровую и скудную. Наклонности к творческим занятиям проявились в их рядах лишь однажды в ипостаси некоего проповедника. Куда более живую, чувственную кровь привнесла в семью мать писателя, дочь капельмейстера из Богемии. От нее же прокрались в его облик черты иной расы. Сочетание трезвой добросовестности с темными, пламенными порывами, благоприятное для художественных натур вообще, благоприятствовало появлению и данной художественной натуры в частности.

Поскольку все существо его устремлено было к славе, Ашенбах благодаря ясности голоса и неповторимому тембру повествовательных интонаций достаточно рано, хотя и не скороспело, заявил о себе широкой общественности. Еще почти гимназист, он уже составил себе имя в литературе. А десятью годами позже уверенно представлял и управлял своей славой, не выходя из-за письменного стола, одной ответной фразой письма (неприменно краткой, ибо внимания и доверия знаменитости ищут многие) умея выказать и доброту, и значительность. Годам к сорока, утомленный повседневной повинностью сочинительства, он каждый вечер разбирал корреспонденцию с почтовыми марками едва ли не со всех концов света.

Талант его, в равной мере чураясь как банальности, так и эксцентрики, был будто создан для того, чтобы завоевывать и доверие широкой публики,

и поощрительное внимание взыскательных ценителей. Таким образом, смолоду и со всех сторон поощряемый на достижения, причем достижения неимоверные, он, ощущая на плечах гнет столь суровых обязательств, радостей беспечной юности не познал вовсе. Когда, на тридцать пятом году жизни, в Вене, он вдруг заболел, один тонкий наблюдатель заметил по этому поводу в свете:

– Видите ли, Ашенбах всегда жил только вот этак, – тут он стиснул левую руку в кулак, – и никогда вот так, – и он разжал пальцы, расслабленно уронив руку на подлокотник кресла.

Что верно, то верно; главное же – в том и была отвага его подвижничества, что Ашенбах, по складу натуры вовсе не здоровяк, к постоянному изнурительному служению был призван, но отнюдь не предназначен.

Настояниями докторов мальчика освободили от посещения школы, препоручив его радетельной опеке домашних учителей. Он рос один, без товарищей, но все равно довольно рано сподобился понять, что в поколении сверстников редкость отнюдь не талант, редкость тут здоровая конституция, позволяющая таланту проявиться в полную силу, ведь в этом поколении принято все лучшее отдавать смолоду, а до умудренной зрелости доживает мало кто. У него же любимым словом было слово «выстоять», он и в своем романе о Фридрихе видел не что иное, как апофеоз этого императива, ставшего для него символом высшей, деятельной добродетели. Он и вправду истово жаждал дожить до старости, давно уже положив для себя, что истинно великим, всеобъемлющим и достойным заслуженного почитания можно назвать только такое искусство, какому судьбой даровано сохранить плодотворную самобытность на всех стадиях человеческого возраста.

Поскольку же миссия, возложенная на него талантом, водружена была на хрупкие плечи, а нести ее хотелось долго, ему насущно требовались закалка и выдержка – доблести, которые, по счастью, он унаследовал по отцовской линии. И в сорок лет, и в пятьдесят, то есть в годах, когда другие еще транжируют и благодушествуют, беспечно отодвигая исполнение заветных замыслов на потом, он, что ни день, поднимался спозаранку, подставлял грудь и спину струям холодной воды и, затеплив в изголовье рукописи пару высоких свечей в серебряных подсвечниках, когда два, а когда и все три часа исправно и страстно приносил в жертву музам накопленные во сне силы. И нет ничего предосудительного, – наоборот, это знаменовало победу его морального духа, – в том, что читатели полагали красочный ковер «Майи» или масштабное эпическое многолюдье, на фоне

которого разворачивалась героическая жизнь Фридриха, монолитным выплеском творческой мощи, созданным, что называется, на одном дыхании, тогда как на самом деле величие этих книг воздвигалось кропотливой поденщиной, урывками мелких и скудных наитий, и лишь потому являло совершенство в каждой безупречно отделанной детали, что их творец годами с упорством и твердостью, с какими в старину предки его покоряли и осваивали родную Силезию, трудился над одним и тем же произведением, отдавая этой работе самые плодотворные, достойнейшие часы жизни своей.

Всякое значительное творение духа, дабы незамедлительно возыметь широкое и сильное воздействие, должно обнаруживать сокровенное сродство, более того – едва ли не совпадение личной судьбы своего создателя с судьбами современников. Людям не ведомо, по какой причине то или иное произведение искусства они венчают славой. Тронутые чувством сопричастности, они, далеко не знатоки, готовы усмотреть в новоявленном шедевре сотни достоинств, хотя истинная причина их одобрения эфемерна, это просто симпатия. Как-то, в одном из не слишком приметных своих пассажей, Ашенбах высказался в том смысле, что почти все великие творения человечества созданы вопреки – вопреки горю и мучениям, бедности, одиночеству, телесной немочи, порокам, страстям и еще тысячам иных препон и препятствий. Это не просто замечание вскользь – это был его личный, выстраданный опыт, едва ли не девиз всей его жизни и славы, ключ к пониманию его искусства; стоит ли удивляться, что нравственная стойкость, явленная даже во внешнем облике – одна из наиболее характерных черт многих его персонажей?

Этот новый, излюбленный писателем, то и дело в разных ипостасях явленный тип героя достаточно рано был подмечен одним проницательным прозектором от литературы, усмотревшим в нем «концепцию не по годам зрелой юношеской мужественности», которая, «стиснув зубы от горделивого стыда, хранит стойкость, презрев копья и мечи, вонзающиеся в ее тело». Сказано красиво, остроумно и почти точно, если не считать чрезмерного акцента на пассивности. Ведь стойкость в жизненных невзгодах, благородная красота даже в страстотерпии – это не только умение сносить муки, это акт действенный, торжество утверждения своей правоты, а образ святого Себастьяна – один из прекраснейших символов если не искусства вообще, то уж искусства, о котором у нас речь, безусловно. Заглянув в сей художественный мир, читатель всенепременно встретит и лик благородного самообладания, что до последнего вздоха скрывает от чужих глаз подтачивающий его недуг и стигматы

биологического распада; и подвиг долгой жертвенной кончины, умеющей претворить мертвенную желтизну и отталкивающую ущербность телесной оболочки, жар сжигающего ее внутреннего тлена в очистительное пламя, черпая силы из глубинных магм духа, бросая к подножию своего креста целые народы, погрязшие в чванливом невежестве; и живой пример неукоснительного служения долгу, безупречной и притягательной учтивости даже при исполнении скучных и пустых формальностей; и поучительную картину непутовой, рискованной жизни прирожденного афериста со всем хитроумием его уловок и насадой его опустошенной души; созерцая все эти и многие схожие судьбы, впору усомниться – да существует ли на свете какой-то иной героизм, кроме героизма слабости? Однако какой иной героизм более соответствует духу эпохи, чем этот? Да, Густав Ашенбах был певцом тех, кто, уже изрядно потрепанный жизнью, трудясь до изнеможения, изнуряясь под непосильной ношей, все равно не гнул спины, кто, пусть и ростом не вышел, и задатками обделен, способен неимоверным, судорожным усилием воли хотя бы на время сообщить себе ореол величия. Имя им легион, и они-то и есть истинные герои нашего века. И все они, узнавая в его книгах себя, ободренные, окрыленные, воспетые им, не оставались в долгу и благодарно славили его имя.

Он был юн и в разладе со своим временем, не находя проку в его советах; он попадал впросак, совершал промахи, выставлял себя на посмеище, допуская бестактности и безрассудства в словах и поступках. Однако все это – не роняя собственного достоинства, качества, к утверждению которого, как он уверял, от природы яростно устремлен всякий большой талант, мало того, можно сказать, что все развитие такого таланта есть восхождение к достоинству, осознанное и непреклонное, отмечающее все препоны иронии и сомнений.

Жизнеподобная, идейно-беспристрастная манера воплощения потрафляет массовым вкусам, тогда как молодежь с ее безоглядностью волнуется прежде всего сложностью поднятых автором вопросов; Ашенбах именно такой сложности искал, а по части безоглядности заткнул бы за пояс любого юнца. Он упивался залежами духа, браконьерствовал в куцах познания, не брезгуя даже посевными всходами, он развенчивал тайны, подвергал сомнению талант, предавал самую суть художества, – и покуда живописность его прозы увлекала, возвышала, услаждала фантазию легковверных поклонников, он, молодой кумир двадцатилетних, завораживал их цинизмом суждений о сомнительной природе искусства и даже его миссии.

Однако ничто, кажется, не притупляет энергичный и возвышенный ум

быстрее и неумолимей, чем терпкая сладость познания; а уж меланхоличная всеядность даже самого пытливого юношеского ума, несомненно, всего лишь мелкомыслие в сравнении с убежденной решимостью умудренного мастера, на вершинах зрелости осознавшего необходимость отринуть знание, с гордо вскинутым челом смотреть поверх знания, ежели знание это хоть на йоту способно парализовать волю, подорвать дело, подточить чувство и опошлить страсть. Знаменитый рассказ «Ничтожество» вряд ли возможно толковать иначе, как выплеск отвращения к разнузданному психологизму эпохи, олицетворенному в фигуре истеричного подонка, который, в поисках выгоды потакая прихотям своей порочной натуры, подталкивает жену в объятия зеленого юнца, будучи уверен, что глубина переживаний оправдывает все эти непотребства. Чеканная сила слова, с какой заклеимлена здесь низость человеческая, знаменовала категорическое отречение от моральной двусмысленности, от любых заигрываний с бездной, решительный отказ от прекраснотушного сострадания под избитым девизом «все понять – значит все простить» – и, похоже, именно здесь начинало вызревать, да что там, свершаться «чудо возрожденной непосредственности», о котором чуть ниже сам автор вполне внятно, даже как бы с нажимом, упоминает в одном из диалогов. Но вот ведь странность! Не стало ли творческим следствием этого «возрождения», этой новообретенной строгости и достоинства проявившаяся примерно в то же время в искусстве Ашенбаха едва ли не чрезмерная обостренность чувства прекрасного, устремленность к той благородной чистоте, безыскусности и гармоничности воплощения, какие сообщали отныне его произведения столь отчетливую, почти нарочитую печать мастеровитости и классичности? Однако моральная решимость творить поверх растлевающих глубин познания – разве не чревата и она, в свою очередь, некоторым упрощением, даже опрощением мира и души, не оборачивается ли невольным усугублением тяги ко злу, к запретному, к нравственно невозможному? Ибо разве не двулика по природе своей всякая форма? Разве не являет она нравственное и безнравственное одновременно, – нравственное как итог и выражение воспитания и усердия, безнравственное, а вернее, вненравственное – как свойство природы, поскольку именно от природы форма унаследовала моральную индифферентность, больше того, преобладающую устремленность подчинить все моральное своему необузданному самовластью?

Как говорится, от судьбы не уйдешь! Ибо всякое развитие – это судьба. А как еще может протекать развитие, от самых истоков сопровождаемое столь массовым и пристальным вниманием общественности, – не в пример

тому, что вершится вдали от сияния славы и тягот ее обязательств? Лишь вертопрахи, вечные дилетанты склонны посмеиваться над скучным, как им мнится, вызревaniem большого таланта, когда тот, вылупившись из кокона юношеских беспутств, возрастает к достоинству духа, приняв обет одиночества, – обет, следование которому исполнено непредвиденных мук и жестоких, без надежды на подмогу, борений, хотя и приносит почет, славу, власть над умами. Сколько своенравной игры, азартного упорства, тщеславного упоения таит в себе формовка собственного таланта! Со временем нечто официозно-наставительное стало проникать в манеру Ашенбаха, стиль его в пору зрелости уже чурался дерзких вычурностей, изощренно-тонких оттенков новизны, все более тяготея к нормативной непреложности канона, даже к какой-то горделивости формы, а то и к непреклонности формулы, и точно так же, если верить преданиям, как когда-то Людовик XIV, он на склоне лет старался изгнать из своей речи всякое пошлое, обыденное слово. Тогда-то ведомство образования и включило избранные места из его произведений в официально утвержденные школьные хрестоматии. В глубине души ему это было лестно, да и когда один из немецких государей, только что взошедши на трон, в связи с пятидесятилетием пожаловал творцу «Фридриха» личное дворянство^[21], он не отклонил титул.

Промаявшись несколько лет в неопределенности, пробуя обосноваться то тут, то там, он довольно скоро и уже надолго остановил свой выбор на Мюнхене, где и проживал, окруженный уважением и даже почетом, какие иной раз все же выпадают на долю титанов духа. Еще в молодости он вступил в брак с девушкой из профессорской семьи, но недолгое супружеское счастье оборвала безвременная кончина жены. От нее осталась дочь, теперь сама уже замужняя. А сына бог не дал.

Густав фон Ашенбах роста был чуть ниже среднего, чернявый, смуглый, без бороды и усов. Сложения скорее щуплого, отчего тяжелей и крупней казалась голова. Строго зачесанные назад волосы, поредев на макушке, тем пышнее и изысканней декорировали виски проблесками седины, обрамляя высокий, морщинистый, будто шрамами испещренный лоб. Дужка очков – особую элегантность придавали им не оправленные ободком линзы – золотой перемычкой прорезая переносицу, подчеркивала ладную посадку крупного, с благородной горбинкой, носа. Губы, на первый взгляд дряблые, иногда вдруг решительно сжимались; щеки впалые, в складках, а линию подбородка удачно оттеняла поперечная ложбинка. Казалось, его мудрое, едва ли не страдальческое, почти всегда чуть склоненное набок чело отяготили удары судьбы, однако ваятелем

физиогномических примет, какими обычно запечатлеваются в облике человека житейские горести, в данном случае выступило искусство. Под этим лбом рождены были искрометные реплики Вольтера и короля, беседующих о войне; этот усталый и глубокий взгляд из-под оптических стекол видывал кровавую преисподнюю лазаретов семилетней войны. Искусство – это возвышенная степень жизни, и в личной судьбе художника тоже. Своего творца оно осчастлиливает сильнее, но и расходует стремительней. Беспощадным резцом оно выбивает на лице, в уме и душе своего служителя следы всех испытанных тем воображаемых приключений, нанося – даже при тишайшем, монашеском образе жизни – такой ущерб его нервам, вконец измотанным капризами фантазии, приступами раздражения и прихотями любопытства, какой, пожалуй, не в силах причинить самый необузданный разгул страстей.

Глава третья

Множество самых разных дел светского и литературного свойства еще недели две после знаменательной прогулки продержали новоявленного охотника до путешествий в Мюнхене. Наконец, отдав распоряжение подготовить через месяц загородный дом к своему приезду, он в один из вечеров второй половины мая ночным поездом отбыл в Триест, где остановился лишь на сутки, дабы наутро следующего дня водрузиться на пароход, отплывающий в Пулу.

Душа томила по неизведанности и приволью, но в пределах скорой досягаемости, и он остановил свой выбор на Адриатике, на островке у берегов Истрии, о котором с недавних пор шла слава отличного места; это оказался лоскут суши, изрезанный по краям – там, где вообще открывался берег – скалистыми бухтами, с диковатым народом в живописном тряпье, изъяснявшемся на гортанной тарабарщине. Однако дождь и духота вкупе с постояльцами гостиницы, мещанской австрийской публикой, вежливо сплоченной в нежелании знаться с чужаками, а еще невозможность вволю и без помех любоваться морем – счастье, какое дарует лишь приветливо распахнутый пляж, – только раздражали его, совсем не этого он ждал, не к тому стремился; некая тяга внутри, по-прежнему неведомо куда, не давала покоя, снова и снова побуждая изучать корабельное расписание, досадливо озираясь по сторонам, пока вдруг, столь же неожиданно, сколь и сама собой, перед мысленным взором не всплыла четкая цель. Коли уж охота за одну ночь перенестись в несравненный, сказочный мир, куда надо направиться? Да это же ясней ясного! А тут – что он тут позабыл? Обмишурился! Туда, только туда хотелось ему ехать! Он немедленно отказался от гостиницы. И вот после полутора недель незадавшегося отдыха на злополучном острове юркая моторка туманным утром мчит путешественника и его багаж обратно в военный порт, где он сходит на берег, но лишь затем, чтобы, пройдя по дощатому настилу причала, подняться на мокрую палубу корабля, который, дымя трубой, готовился к отплытию в Венецию.

То была выдавшая виды посуда италийского рода-племени, допотопной клепки, черная, закопченная, мрачная. Во чреве ее, похожем на пещеру, куда Ашенбаха с глумливо-услужливой ухмылкой чуть ли не силком препроводил обтрепанный горбун-матрос, при тусклом подземельном освещении, в лихо заломленном картузе, мусоля чинарик в углу рта, сидел за столом некий хлюст с козлиной бородкой, судя по

физиономии и гаерским ухваткам, с какими он записывал фамилии пассажиров и выдавал билеты, ни дать ни взять хозяин бродячего цирка.

– В Венецию, в Венецию! – подтвердил он в ответ на недоверчивый вопрос Ашенбаха, живо потянувшись к накренной чернильнице и тыкая пером в хлюпающую на ее дне кашицу. – В Венецию, первым классом! Милости прошу, господин хороший! – И наскрябав, словно вороньей лапой, размашистые каракули на бумажном листке, припорошил эту писанину лиловатым песком из коробочки, выждал, пока чернила просохнут, смахнул песок в глиняную плошку, после чего, сложив листок желтыми, костлявыми пальцами, снова принялся что-то черкать. – Прекрасный выбор, отличный маршрут! – зачастил он, не переставая строчить. – Ах, Венеция! Диво что за город! А уж для культурного человека – соблазн, неодолимой силы соблазн, одна история чего стоит, да и по нынешним временам очень даже лакомое место! – И в льстивой суетливости жестов, и в нарочитой гладкости скороговорки этой было что-то шулерское, гипнотизерское даже, словно он опасается, не передумает ли, часом, пассажир, не поколеблется ли в своем намерении отправиться в Венецию. Деньги он принял мгновенно, сдачу на замызганное сукно стола выбросил с ловкостью крупье. – Хорошенько вам поразвлечься, сударь! – заключил он с театральным поклоном. – За честь почту вас доставить, в лучшем виде и по назначению... Господа! – воскликнул он тут же, театрально вскидывая руки, словно к нему еще целая очередь, хотя, кроме Ашенбаха, никто больше и не думал брать билеты. Ашенбах вернулся на палубу.

Положив руку на поручни, он изучал зевак на причале, от нечего делать вздумавших поглазеть на отплытие, разглядывал и попутчиков на борту. Эта публика ехала вторым классом, на нижней передней палубе, примостившись – что мужчины, что женщины – на своих же чемоданах и узлах. На верхней палубе собралась группка молодежи, судя по виду, приказчики из Пулы, радостно возбужденные предстоящей поездкой. Шуму от них было изрядно – они и галдели, и хохотали, всю махали руками, окликали и, перегнувшись через борт, задиристо подначивали знакомцев на набережной, видимо, тоже приказчиков, которые, с портфелями под мышкой, спешили в конторы и лавки и в ответ на поддразнивания шуточно грозили счастливым тросточками. Один из экскурсантов, в светло-желтом летнем костюме несусветно модного покроя, с красным галстуком и в заливхватски заломленной шляпе, усердствовал больше других, выделяясь и развязностью манер, и пронзительным каркающим голосом. Лишь присмотревшись пристальней, Ашенбах с ужасом понял, что это вовсе не

юноша. Да конечно же, это старик! Морщины вокруг глаз и рта не оставляли места для сомнений. Легкий румянец на щеках – на самом деле румяна, каштановые локоны под полями шляпы с кокетливой пестрой лентой – просто парик, шея жилистая, дряблая, пошлые усики и борода-эспаньолка нафабрены, вдобавок и зубы, как будто без изъяна, лишь слегка желтоватые, зубы, которые он старательно скалит, то и дело заливаясь смехом, – дешевая подделка дантиста, а кисти рук с перстнями-печатками на обоих указательных пальцах торчат из рукавов иссохшими клешнями дряхлого старца. Обмирая от омерзения и все равно не в силах отвести глаз, Ашенбах смотрел на горластого, изумляясь непринужденности его общения с молодыми приятелями. Неужто те не замечают, не сознают, что рядом с ними старик, которому не гоже рядиться расфуфыренным юнцом, зазорно корчить из себя их сверстника? Однако те, похоже, привычно терпели его присутствие в своих рядах, общаясь со старикашкой как с ровней, безо всякой неприязни снося от него тычки в бок и прочие панибратские выходки. Да что же это такое? Ашенбах прикрыл рукою лоб и смежил веки – в глазах ощущался легкий жар, должно быть, от недосыпа. Ему казалось, будто все на свете чуть стронулось со своих мест и вокруг, как в дурном сне, начинается какая-то тягучая свистопляска, которую, быть может, еще можно остановить, если ненадолго спрятать лицо в ладони, а потом, убрав руки, снова осмотреться. Однако именно в эту секунду он ощутил, будто его куда-то уносит, и он, в безотчетном испуге раскрыв глаза, понял, что это всего лишь отплытие: тяжелая, смурная машина корабля нехотя отваливала от тесаных глыб причала. По дюймам, подавая то вперед, то назад, вздымая буруны мазутной, пузыристой, радужно-переливчатой воды, пароход после долгих и неуклюжих маневров наконец-то развернулся носом к открытому морю. Ашенбах перешел на правый борт, где горбун уже раскинул для него шезлонг, а стюард в засаленном фраке немедленно подскочил с вопросом, что господину будет угодно.

Сырой ветер задувал под серым, набрякшим небом; гавань и острова остались позади, да и все побережье стремглав уходило из вида, скрываясь за смутной линией горизонта. Хлопья сажи, разбухшие от влаги, падали на свежeweымытый, не просыхающий настил палубы. Не прошло и часа, как над ним растянули парусиновый тент – зарядил дождь.

Закутавшись в пальто, с книгой на коленях, путешественник не замечал, как пролетают в дороге часы. Дождь прекратился, холстину над головой убрали. Горизонт распахнулся во все стороны. Под необъятным куполом неба простирался неимоверный плат пустынного моря – на фоне столь бескрайних, ничем не нарушаемых далее нас покидает и чувство

времени, погружая разум в сумерки безмерности. Станные, призрачные силуэты, – престарелый франт, козлобородый шкипер из тьмы корабельного чрева, – зыбко жестикулируя, роняя невнятные слова, проплывали перед меркнувшим взором путешественника, покуда тот окончательно не заснул.

Ближе к полудню его повели вниз, в тесный пенал столовой, похожий на коридор, – по обе стороны сюда выходили двери спальных кают, – усадили во главе длинного стола, за другим торцом которого приказчики, включая мерзкого старца, уже с десяти утра бражничали с развеселым капитаном, и подали причитающийся обед. Еда была убогая, и он быстро с ней покончил. Его тянуло на воздух, хотелось видеть небо – вдруг над Венецией оно все-таки соизволит просветлеть?

Иного он и помыслить не мог – этот город всегда принимал его в полном блеске. Но что небо, что море отливали угрюмым свинцом, временами окутывая все вокруг промозглой моросью, и он постепенно смирился с мыслью, что, прибыв по воде, увидит совсем другую Венецию, нежели ту, какая обычно встречала его со стороны суши. Застыв у фок-мачты, он вперял взор вдаль, ожидая увидеть землю. На ум пришли элегические строки поэта-мечтателя, который когда-то вот так же узрел встающие из вод купола и колокольни города своих грез, он повторял их про себя, внимая эху благоговения, счастья и печали, воплотившемуся в строгих, певучих строфах, и, растроганный откликом душевного порыва, столь искренне запечатленного в слове, он невольно прислушивался к голосу собственного, взыскательного и усталого сердца – не подарит ли город и ему, досужему страннику, восторг и смятение поздней авантюры чувств?

Но тут как раз по правому борту потянулась плоская каемка берега, пустынную гладь моря оживили рыбацкие баркасы, выплыл пляжный остров, корабль, замедляя ход, вполз в горловину порта, по имени острова названного, и, наконец, замер в лагуне в виду пестрых и разномастных береговых строений – надо было дожидаться катера санитарной службы.

Ждать пришлось целый час. Дурацкое чувство: ты вроде бы уже на месте, но все еще не прибыл, торопиться бессмысленно, а все равно нетерпение разбирает. Приказчики в порыве патриотического восторга, повод к чему дали, видимо, сигналы военного рожка, далеко разносившиеся по воде со стороны общественных садов, поднялись на палубу и, разгоряченные выпитым игристым, принялись кричать «ура» марширующим на берегу итальянским стрелкам-берсальерам. На кого, однако, совсем уж противно было смотреть, так это на щеголеватого

старца, которому дорого обошелся компанейский кутеж с юношеством. В отличие от молодых спутников, он напился до безобразия. Таращась в одну точку, теребя сигарету в трясущихся пальцах, он едва держался на ногах, пошатываясь взад-вперед и с трудом сохраняя равновесие. Готовый рухнуть при первом же шаге, не в силах сдвинуться с места, он, однако, все еще хорохорился – норовил цапнуть за пуговицу всякого, кто имел неосторожность к нему приблизиться, подмигивал, хихикал, что-то лопотал, шаловливо грозя морщинистым пальцем с поблескивающим на нем перстнем, и с мерзкой, сальной ухмылкой облизывал кончиком языка бесцветные губы. Мрачно нахмутив брови, Ашенбах наблюдал за этими ужимками, чувствуя, как им опять овладевает странное оцепенение, будто все вокруг едва заметно, но неумолимо норовит соскользнуть в нелепицу, грозя обернуться то ли издевкой, то ли подвохом, – впрочем, по счастью, очередная перемена во внешнем мире его отвлекла: под ногами, сотрясая палубу, вдруг снова загрохотала корабельная машина, и пароход, столь некстати остановленный почти у самой цели, возобновил движение – теперь уже по каналу Сан-Марко.

И вот он видит ее снова, самую удивительную на свете пристань, вереницу диковинных зданий, чьей причудливой статью республика горделиво встречала изумленные взоры подплывающих мореходов: ажурное великолепие дворца, мост Вздохов, увенчанные львами колонны, святого на берегу, крыло сказочного храма, выломившееся из линии застройки, внезапно-сквозной проем въезда на площадь, гигантские часы, – созерцая все это, он подумал, что въезжать в Венецию со стороны суши, с вокзала – все равно что проникать во дворец с черного хода, на деле же только так, по воде, из бескрайних далей открытого моря, следует входить в этот город, самый невероятный из всех городов на земле.

Машину застопорили, к кораблю устремились гондолы, уже перебросили сходни, на борт поднялись таможенники, нехотя готовясь справлять свою службу – можно начинать высадку. Ашенбах попросил позвать гондолу – доставить его с багажом до пристани, откуда между городом и Лидо курсируют пассажирские катера, именуемые здесь вапоретто, – ведь он намеревался жить у моря. Пожелание его услышано, его уже с энтузиазмом исполняют, кричат что-то с борта вниз, где на диалекте яростно переругиваются между собой гондольеры. Но сойти он не может – дорогу перегородил его собственный тяжеленный кофр, который волоком стаскивают по шаткой лестнице. Из-за этого он вынужден молча сносить приставания все того же юнца-старикашки, который спяну вздумал на прощание что-то пожелать иностранному гостю.

– Хорошенько вам поразвлекся, – еле выговаривает тот, не переставая расшаркиваться. – Как говорится, не поминайте лихом. Au revoir, excusez, bon jour^[22], ваше превосходительство! – Слюнявый рот распялен, глаза почти закрыты, все так же омерзительно он облизывает уголки губ, и нафабренная бородка подрагивает под трясучей нижней губой. – А еще, – бормочет он, прикладывая два пальца к губам в воздушном поцелуе, – сердечный привет дорогуше, голубе нашей... – Тут у него изо рта едва не выскакивает вставная челюсть, которую он, однако, исхитряется прихватить белесой десной. Воспользовавшись моментом, Ашенбах успевает прошмыгнуть мимо. Цепляясь за канатные поручни, он кое-как спускается по шаткому трапу, а вслед ему все еще слышится шепелявое, сальное воркование:

– Голу-у-у-бе нашей, нежному нашему розанчику...

Кто не ощутил мимолетного трепета, тоскливого, щемящего страха, впервые или после долгой отвычки ступая в челн венецианской гондолы? Удивительное плавучее средство, в неизменном виде дошедшее до нас из легендарных времен, чернотой окраски готовое поспорить в вечном мире даже с гробом, оно одним видом своим наводит на мысли об авантюрах, беззакониях и злодействах, творимых под плеск волн в ночной тиши, и даже пуще того – о катафалке, о скорбном величии последнего пути. А случилось ли кому замечать, что сиденье на стремительной этой ладье, завораживающее взгляд гробовой чернотой подлокотников и матовым трауром обивки – самое мягкое, самое убаюкивающее сиденье на свете? Все это тотчас вспомнилось Ашенбаху, едва он опустился на господское место в ногах у гондольера, поглядывая на свой багаж, дельно уложенный в носу лодки. Гребцы между тем все еще что-то делили, сопровождая злобную, непонятную перебранку грозными жестами. Однако совершенно особая тишь замершего на воде города, казалось, уже поглощает, размыкает, обволакивает бесплотностью их голоса. Здесь, в гавани, было тепло. Разомлев под пряным дыханием сирокко, вверив себя ласковым объятиям плюша, путешественник смежил веки, наслаждаясь столь же непривычной, сколь и сладостной негой. «Ехать недолго, – пронеслось в голове, – а нет бы так всю жизнь!» Легкое, мерное покачивание уносило его прочь от суеты и людского гомона.

До чего же тихо и все тише становилось кругом! Не слышно ничего, кроме плеска весла, гулко-хлюпанья волн о борта лодки, высоко, черно и горделиво вздымавшей над водой свой диковинный, хищный клюв, увенчанный грозным подобием алебарды, – и какого-то еще звука, да, голоса, невнятного, сиплым шепотом, бормотания гондольера, что-то

сварливо цедившего про себя, прерывисто, сквозь зубы, в такт сильным гребкам могучих рук. Ашенбах вскинул глаза и слегка опешил: вокруг простиралась пустынная гладь лагуны, и нос гондолы был недвусмысленно устремлен в открытое море. Похоже, не стоило так расслабляться, надо следить за исполнением своих пожеланий.

– Меня, стало быть, к пристани, – бросил он небрежно, полуобернувшись назад.

Бормотание за спиной смолкло. Но ответа он не услышал.

– Меня, стало быть, к пристани, – повторил он громче, теперь уже обернувшись полностью и снизу вверх глянув в лицо гондольеру, который, возвышаясь на корме, угрюмо чернел на фоне блеклого неба. Это оказался мрачного, даже свирепого вида малый в синей матросской робе, перехваченной желтым кушаком, и в обвислой, потрепанной, местами уже расплывшейся соломенной шляпе, лихо заломленной набекрень. Чертами лица, белокурой мастью кудрявящихся усов, наконец, вздернутой и куцей посадкой носа он несколько не походил на итальянца. Телосложения скорее щуплого и, казалось бы, для такого ремесла не слишком подходящего, он, однако, со своей работой управлялся споро, налегая на весло всем телом, ладно и мощно. Временами, от особо напряженного усилия, губы его приоткрывались, обнажая полоску крепких белых зубов. Насупив рыжеватые брови и глядя куда-то поверх головы пассажира, он ответил твердо и даже грубовато:

– Вам же в Лидо надо.

Ашенбах возразил:

– Разумеется. Но гондолу я нанимал только до Сан-Марко. А там я пересяду на вапоретто.

– На вапоретто, сударь, вас не посадят.

– Это почему еще?

– На вапоретто с багажом нельзя.

И то правда – Ашенбах вспомнил. Он озадаченно умолк. Однако неучтивость и даже спесь, столь не принятые в здешних краях в обхождении с иностранцем, тоже спускать не гоже. Он сказал:

– Это уж моя забота. Я, может, на хранение багаж хочу сдать. Так что поворачивайте.

Ни слова в ответ. Только ритмичные гребки весла и плеск волн по бортам. Потом возобновилось бормотание: гондольер опять забубнил свое, что-то цедя сквозь зубы.

Что прикажете делать? Один посреди залива, только с глазу на глаз с этим насупленным, неуступчивым, диковатым малым, путешественник не

видел способа настоять на своем. А ведь как сладко, как покойно ему плылось, покуда он не начал возмущаться. И не он ли мечтал, чтобы поездка длилась подольше, хоть всю жизнь? Самое благоразумное, наверно, а, главное, самое приятственное – дать всему идти своим чередом. Флюиды лени, казалось, источает даже это сиденье, такое укромно-низкое, с такой бархатистой черной обивкой, с такими удобными подлокотниками, столь ласково укачивающее под уверенные гребки самоуправца-гондольера у него за спиной. Опасливая, но и волнующая мысль, уж не попался ли он в лапы преступника, промелькнула лишь на миг, не в силах побудить волю к сопротивлению. Куда правдоподобнее была досадливая догадка, что дело сведется к обыкновенному вымогательству. То ли уязвленное самолюбие, то ли просто желание сохранить лицо – но все это смутно, как бы сквозь воспоминание, – тем не менее заставили его встрепетаться еще раз. Он спросил:

– И сколько вы берете за перевоз?

По-прежнему глядя куда-то поверх него, гондольер процедил:

– Да уж заплатите.

Ну уж на такое ясно было, как отвечать. С нарочитой холодностью Ашенбах отчеканил:

– Ничего я не заплачу, ни гроша, коли вы отвезете меня не туда, куда мне надо.

– Вам в Лидо надо.

– Да, но только не с вами.

– Я хорошо вас везу.

А ведь верно, подумал Ашенбах, и снова обмяк. Что правда, то правда, ты хорошо меня везешь. Даже если ты на наличность мою позарился и вот сию секунду, сзади, ударом весла в царство Аида меня спровадишь, ты все равно довезешь меня лучше некуда.

Но ничего подобного не произошло. Напротив, вскоре у них даже объявилось нечто вроде свиты музыкального сопровождения, компания мужчин и женщин, которые, распевая под мандолину и гитару, то и дело назойливо прижимаясь борт о борт к их гондоле, оглашали тишину над водой алчущим мзды сладкозвучием чужеземных куплетов. Ашенбах бросил мелочь в протянутую шляпу. Музыкальные пираты мгновенно смолкли и тут же сгнули. И снова стал слышен шепот гондольера, все тот же сиплый, прерывистый, от гребка до гребка, разговор с самим собой.

Так они и доплыли, под конец славно покачавшись на волнах от встречного, отчалившего в город парохода. Двое муниципальных чиновников, заложив руки за спину и не спуская глаз с лагуны,

расхаживали взад-вперед по берегу. Ашенбах, опираясь на услужливую руку старика-лодочника, – из тех, что на каждой венецианской пристани баграми подтягивают лодки к причалу, – сошел на мостки и, не располагая мелочью, направился в ближайшую гостиницу, дабы разменять купюру, а уж потом, на свое усмотрение, расплатиться с перевозчиком. Ему любезно меняют деньги, он возвращается на пристань, обнаруживает свою поклажу, уже погруженную в тачку, – но ни гондолы, ни гондольера.

– Смылся, – объясняет старичок с багром. – Нехороший он человек, сударь, без концессии. Из гондольеров он один такой, кто без концессии. Ну, те, другие, сюда и телефонировали. А он углядел, что его поджидают. Вот и смылся.

Ашенбах передернул плечами.

– Зато барин даром прокатился, – заключил старик, протягивая шляпу. Ашенбах бросил туда пару монет. Распорядившись отвезти свои вещи в гранд-отель «Пляжный», он и сам последовал за тачкой вдоль по аллее, что, утопая в белой кипени майского цветения, сквозь строй таверн, лавок и пансионеров перерезала остров поперек, ведя к линии пляжей.

В гостиничные чертоги он вошел с тылу, через садовую террасу, и, не мешкая, минуя парадный зал и вестибюль, проследовал прямо в контору. Поскольку о приезде своем он успел известить заранее, встретили его с подобающей почтительностью. Управляющий, тихий, низенький, вкрадчиво вежливый человечек с черными усиками и в сюртуке на французский манер, поднявшись с ним на лифте на третий этаж, проводил его в номер – приятную, гостеприимно украшенную, благоухающую цветами комнату с мебелью вишневого дерева и высокими окнами с видом на море. К одному из них, едва коротышка удалился, а швейцар принялся вносить и расставлять по местам его вещи, Ашенбах и подошел, устремив взор на почти безлюдный в эти предвечерние часы пляж и тускло-бессолнечное море, уже затеявшее вечную увертюру прилива, посылая к берегу невысокие, тягучие, равномерно выплескиваемые на песок волны.

Впечатления одинокого созерцателя туманней, отрешеннее, но и западают в душу сильнее, чем от пребывания на людях, в живом общении, – раздумья такого одиночки глубже, причудливей и почти всегда тронуты налетом грусти. Образы и мысли, от которых в ином случае легко отвлечься взглядом, смешком, разговорцем, в одинокой задумчивости, усугубленные молчанием, занимают нас сверх меры, обретая неизгладимость значительного события, приключения души и чувства. Одиночество возвращает все самобытное, отважно и пугающе прекрасное, – оно питает собой поэзию. Но оно же лелеет и все превратное,

несообразное, вздорное, даже запретное. Вот и сейчас нелепости недавней дороги – мерзкий дряхлый щеголь с его сальными приветами какой-то «голубе», гондольер, этот угрюмый пария, так и не получивший с него за провоз, – все еще тревожили душу путешественника. Не озадачивая загадками ум, даже не предлагая особой пищи для размышлений, они смущали по самой сути своей дурманом и невнятицей бреда, и именно это не давало покоя. Он, впрочем, не забывал меж тем тешить взгляд бескрайностью моря и радоваться мысли, что Венеция так близко отсюда, так доступна. Наконец отвернулся от окна, освежил водой лицо, отдал несколько распоряжений горничной касательно своих пожеланий и удобств, после чего вверил себя попечению обслуживающего лифт швейцара в зеленой ливрее, который и свез его вниз.

Выпив чаю на террасе с видом на море, он спустился по лестнице главного входа и по променаду набережной прогулялся на приличное расстояние в сторону отеля «Эксельсиор». Когда вернулся, вроде бы уже настало время переодеться к ужину. Своим туалетом он занимался по обыкновению тщательно и неспешно, поскольку давно привык за канительным этим делом думать о работе, однако в парадный зал спустился все же чуть раньше срока, застав там, впрочем, уже многих постояльцев, которые, хоть и с деланным безучастием, вежливо сторонясь друг друга, тем не менее сообщая дожидались трапезы. Прихватив со стола газету, он опустился в одно из кожаных кресел и стал наблюдать за окружающей публикой, явно, и несомненно в лучшую сторону, отличавшейся от его соседей по предыдущей гостинице.

Здесь раскрывались иные, куда более широкие и дружелюбно-терпимые горизонты. Смешивались приглушенные звуки великих языков. Трафарет вечернего костюма и платья, эта униформа цивилизации, подравнивал ранжиром благопристойности самые разные проявления человеческой породы. Можно было узреть и костлявую физиономию американца, и многолюдное русское семейство, и английских дам, и немецких ребятишек под присмотром французских гувернанток. Преобладало, похоже, славянское большинство. Где-то совсем рядом говорили по-польски.

Это была стайка подростков, еще почти детей, под надзором то ли воспитательницы, то ли компаньонки собравшаяся вокруг изящного столика: три девчушки, лет от пятнадцати до семнадцати, и длинноволосый мальчик, на вид лет четырнадцати. Ашенбах с изумлением отметил про себя, что мальчик невероятно красив. Лицо его, – бледное, мечтательно замкнутое, в обрамлении золотисто-медвяных локонов, с безупречно

прямой линией носа и нежно очерченным ртом, отмеченное какой-то ангельской серьезностью, напоминало древнегреческие статуи времен расцвета, но при всей чистоте и завершенности форм сохраняло столько непередаваемо своеобразного очарования, что Ашенбах вынужден был признать: ни в природе, ни в изобразительном искусстве ему не встречалось прежде такой счастливо сотворенной красоты. Что еще бросалось в глаза, так это, судя по всему, разительный контраст в подходах к воспитанию сестриц и младшего брата, явленный в их одежде и манере держаться. Платья всех трех девочек, из которых старшая выглядела уже вполне взрослой барышней, были строги и чопорны до безобразия. Бесформенные, мышинового цвета, скроенные будто назло на манер монастырской хламиды, правда, хоть не до пят, платья эти, радуя глаз разве что белым отложным воротничком, скрывали и даже уродовали всякую прелесть девичьей фигуры. Туго стянутые на голове, будто проклеенные волосы сообщали девичьим лицам монашескую отрешенность и пустоту, как бы вовсе лишая их выражения. Здесь, конечно же, чувствовалась суровая воля матери, которая, однако, и не подумала ту же педагогическую строгость употребить на воспитание сына. Судя по всему, жизнь его, напротив, была окутана потворством и нежностью. Никто не посмел прикоснуться ножницами к его дивным локонам; точь-в-точь как у античного «Мальчика, вынимающего занозу», эти локоны ниспадали на лоб, ласково укрывали уши и еще любовнее курчавились на затылке. Английская матроска, пышные рукава которой сужались книзу и туго обхватывали запястья еще детских, но уже несомненно изящных, точеных рук, всеми своими выпушками, шнуровками и петлицами придавала облику мальчика аристократическую избалованность и утонченность. Он сидел в полупрофиль к Ашенбаху, облокотившись на ручку плетеного кресла и подпирая кулачком щеку, чуть выставив вперед ногу в черной лаковой туфле, в позе непринужденной учтивости, в которой не чувствовалось и намека на заученную, запуганную скованность его сестриц. Может, он болен? Ведь тяжелое золото волос только сильнее оттеняет матовую, цвета слоновой кости, бледность лица. Или он просто любимое дитя, избалованное прихотями и предпочтениями материнского сердца? Ашенбах скорее склонялся к этому допущению. Ведь едва ли не всякой художественной натуре присущи неодолимая и предательская готовность во имя красоты признавать правоту любой несправедливости, с почтительным любованием созерцая изыски аристократической избранности.

По зале уже ходил официант, объявляя по-английски, что кушать

подано. Застекленные двери распахнулись, гости стали неспешно просачиваться в ресторан. От лифтов, из вестибюля туда же подтягивались немногие опоздавшие. Внутри уже разносили блюда, однако юная польская стайка все еще оставалась возле своего столика, и Ашенбах, уютно утопая в глубоком кресле, к тому же имея перед глазами такую красоту, тоже никуда не торопился.

Наконец гувернантка, низенькая, краснощекая, но с претензией на светские манеры толстушка, подала знак подниматься. Церемонно вскинув брови, она отодвинула свой стул и почтительно поклонилась вошедшей в залу высокой даме в серо-белом одеянии и роскошных жемчугах. И ее спокойная, исполненная сдержанного достоинства осанка, и строгая прическа слегка припудренных волос, и покрой платья – все дышало изысканной простотой, какую диктуют вкусы, когда знатность неотделима от благочестия. Пожалуй, она могла бы быть супругой важного германского сановника. О немислимой, сказочной роскоши во всем ее облике говорили только поистине бесценные украшения, состоявшие из пары тяжелых серег и массивной, тройного плетения, очень длинной нити крупных, с черешню величиной, матово мерцающих жемчужин.

При появлении ее дети мгновенно встали. Пока они по очереди склонялись к руке матери в почтительном поцелуе, та со сдержанной улыбкой на ухоженном, но слегка утомленном и чуть остроносом лице, глядя поверх их голов, по-французски что-то бросила гувернантке. После чего направилась к застекленным дверям. Дети поспешили за ней, девочки в порядке старшинства, за ними гувернантка, и только потом мальчик. Непонятно почему, уже на пороге, он вдруг обернулся, и поскольку в зале никого больше не оставалось, его удивительные, дымчато-серые глаза встретились со взглядом Ашенбаха, который, все еще с газетой на коленях, неотрывно смотрел вслед удаляющемуся семейству.

Хотя, в сущности, ничего необычного он ведь не увидел. Дети не пошли в столовую прежде матушки, дождались ее, почтительно с ней поздоровались, да и в дверях ресторана соблюли всего лишь обычные правила этикета. Однако проделано все это было с такой четкостью выучки, с таким осознанным чувством долга и собственного достоинства, что увиденное Ашенбаха почему-то растрогало. Помедлив еще немного, наконец-то и он направился в зал, где его немедленно повели к столику, весьма далекому, как он с мимолетным сожалением успел отметить, от столика польского семейства.

Утомленный, но все еще странно расчувствовавшийся, он на протяжении всей, довольно длительной, вечерней трапезы занимал себя

раздумьями об абстрактных, даже трансцендентных материях, в частности, о таинственной сопряженности закономерного с индивидуальным, потребной для возникновения человеческой красоты, перейдя затем к проблемам формы и искусства вообще, покуда не заметил, что все эти помыслы и догадки больше напоминают счастливые и смутные откровения, нашептываемые нам во сне, а при пробуждении они оборачиваются всего лишь банальностями, зряшными и пустыми. После ужина он никуда не спешил: посидел, покурил, прошелся по благоуханному вечернему парку, а уж потом, еще довольно рано, отправился спать, на всю ночь забывшись долгим, крепким, глубоким сном, полным тем не менее странных, неожиданно живых и переменчивых сновидений.

Наутро погода не улучшилась. Ветер задувал с берега. Под блеклым, пасмурным небом в мертвой неподвижности пласталось море – словно вдруг съжившись, оно прозаически приблизило линию горизонта, успев вместе с тем настолько отползти от берега, что песчаные отмели обнажились нескончаемыми рядами. Едва Ашенбах распахнул окно, ему почудился шедший от лагуны запах гнили.

Настроение сразу испортилось. Мелькнула мысль об отъезде. Ведь однажды, много лет назад, после двух дивных весенних недель нагрелась такая же погода и сразу настолько повредила его самочувствию, что пришлось покинуть Венецию срочно, буквально спасаться бегством. Неужели и сейчас дадут о себе знать тогдашний легкий жар, вялость, колотье в висках и давящая тяжесть над глазами? Еще раз менять место отдыха слишком обременительно, но если ветер не переменится, оставаться здесь незачем. На всякий случай он даже не стал до конца распаковывать вещи. В девять утра он уже завтракал в буфете – специально отведенной для этого комнате между рестораном и парадной залой.

Здесь царила та особая, торжественная тишина, по которой распознается истинный ранг солидного отеля. Бесшумно скользили меж столиками официанты. Тихий стук чайной ложечки о чашку, полупшепотом оброненное слово – вот и все, что изредка доносилось до слуха. В углу наискосок от двери, через два столика от себя, Ашенбах заметил польских девочек с гувернанткой. Еще с красноватыми после сна веками, с гладкими, туго затянутыми пепельными волосами, в свежих, хрустящих, синих платицах с белоснежными отложными воротничками и манжетами, они сидели, прямые, как струночки, и чинно передавали друг другу вазочку с вареньем. Мальчика с ними не было.

Ашенбах улыбнулся. «Ах ты, сибарит, маленький феак!^[23] – подумал он. – Похоже, тебе, не в пример сестрицам, дозволено спать сколько

удовно». И, вдруг развеселившись, процитировал про себя: «Ванны горячие, смену одежды и мягкое ложе»^[24].

Он не спеша позавтракал, принял из рук портье, вошедшего в зал, пряча под локтем форменную фуражку, корреспонденцию, пересланную из предыдущего отеля, и, закулив сигарету, вскрыл несколько писем. Благодаря коей задержке он и не пропустил явление сони, которого дожидались за польским столиком.

Тот возник в застекленных дверях неслышно и в полной тишине пересек залу, направляясь к сестрам. Походка его – и чуть летящим устремлением вперед всего тела, и легконогим движением колен, и невесомой постановкой ступней, обутых во что-то белое, – исполнена была непостижимой грациозности, необычайной легкости, нежности даже, однако вместе с тем и робкой горделивости, причем очарование ее оттенялось ребяческой застенчивостью, с какой он дважды, искоса оглядывая присутствующих, вскинул и опустил глаза. Улыбнувшись и проронив какое-то слово на своем певучем наречии, он занял место за столом, и теперь, когда представилась возможность созерцать его точеный профиль, Ашенбаха сызнава поразила и даже испугала поистине богоподобная красота этого отпрыска рода человеческого. Сегодня на нем была легкая блуза в сине-белую полоску с красным шелковым бантом под белым стоячим воротничком. Воротничок этот, и вообще-то не особо элегантный, не слишком подходил к остальному костюму, однако над ним, бутоном несравненной красоты и свежести, расцветало юное чело, – чело самого Эроса в желтоватом свечении паросского мрамора, с тонким и строгим прочерком бровей, в контрастном обрамлении тяжелых и мягких локонов, ласковыми кольцами обвивающих виски и уши.

«Хорош, как хорош!» – думал Ашенбах с тем наигранно-холодным одобрением знатока, в какие признанные мэтры норовят спрятать восторг, охвативший их перед лицом шедевра. А еще в голове пронеслось: «Воистину, если бы не море и не пляж, так бы и остался здесь любоваться тобою!» Но он все-таки встал, прошел, сопровождаемый услужливым вниманием персонала, через парадную залу, спустился с просторной террасы и по деревянным мосткам направился на огороженный пляж, предназначенный для гостиничных постояльцев. Там он милостиво позволил смотрителю пляжа – босому старику в холщовых штанах, матросской блузе и соломенной шляпе – отвести себя к заранее оплаченной пляжной кабине, на дощатую площадку перед которой распорядился вынести стол и кресло, а сам расположился в шезлонге, подтянув его поближе к морю, на полосу золотисто-желтого, словно воск, песка.

Вид пляжа, этого оазиса культуры, беспечно блаженствующей чуть ли не в пасти у присмирившей стихии, развлекал и радовал его, как никогда прежде. Серую плоскость моря уже оживили шлепающие по мелководью детишки, пловцы, пестрые фигуры купающихся, что, закинув руки за голову, загорали на песчаных отмелях. Другие катались в маленьких красно-синих плоскодонках, радостно вереща, когда суденышко начинало крениться, а то и вовсе опрокидывалось. Перед шеренгой пляжных кабин, установленных вдоль берега на деревянных подмостках, взор будоражили контрасты оживленной пляжной суеты, болтовни, визитов – и распростертой неподвижности, ухоженной утренней элегантности и даже кокетливой наготы, норовящей попользоваться свободой курортных нравов. У кромки берега, по твердой полосе влажного песка, бродили одиночки в белых и цветастых пляжных нарядах. Справа возвышался выстроенный детишками грандиозный песчаный замок, украшенный флажками самых разных стран. Опускаясь на колени, раскладывали свой товар продавцы раковин, пирожных, фруктов. Левее, перед одним из домиков, что стояли уже поперек к морю, замыкая собой пространство гостиничного пляжа, разбило стан русское семейство: бородатые, зубастые мужчины, рыхлые, медлительные женщины, прибалтийская барышня, усевшаяся перед мольбертом, время от времени испуская вопли отчаяния в тщетных попытках запечатлеть море, двое страшненьких, хотя и жизнерадостных детишек, старуха-нянька с платком на голове и раболепной угодливостью в каждом жесте. Эти наслаждались отдыхом от души, громогласно окликали своих расшалившихся чад, с помощью двух-трех ломаных итальянских слов перешучивались с чудаковатым стариком, у которого покупали сладости, то и дело целовали друг друга в щеки, не обращая ни малейшего внимания на то, как подобное поведение воспринимается окружающими.

«Так что же, мне остаться? – раздумывал Ашенбах. – Разве где-то будет лучше?» – Сплетя руки на животе, он дал глазам потеряться в морском просторе, в этих бескрайних, тонущих в туманной дымке далях. Море он любил всем существом своим, глубоко, истово и по многим сокровенным причинам: первым делом, из потребности в покое, столь необходимом в его тяжелой работе художника, когда, устав от прихотливого многообразия жизненных явлений, тот жаждет прильнуть к груди чего-то невероятного и простого; а еще из затаенной и запретной, прямо-таки противопоказанной его творческой задаче, а потому особо сладостной тяги к безраздельному, безмерному, вечному – к некоему изначальному ничто. Утешить душу совершенством – мечта и тоска всякого, кто посвятил себя созиданию; но разве ничто – не одна из форм совершенства? Но тут, едва

он столь увлеченно углубился мысленным взором в созерцание пустоты, слева от него горизонтальную линию береговой кромки перерезала человеческая фигура, и когда он, отозванный с рубежей умопостигаемого, сфокусировал на ней взгляд, фигура оказалась все тем же красивым мальчиком: тот шел по песку к воде. Он шел босиком, стройные ноги обнажены до колен, шел медленно, но столь легко и горделиво, словно ходить без обуви для него самое привычное дело, – шагал и на ходу оглядывался на шеренгу пляжных кабинок. Однако, стоило ему завидеть русское семейство, которое с прежним упоением предавалось своим радостям, как облачко презрения и гнева набежало на мальчишечье лицо. Чело его нахмурилось, губы дрогнули, скривились, молния горечи метнулась от них, как бы разрезая щеку надвое, а брови насупились столь сурово, что глаза, мигом запав куда-то вглубь и потемнев до черноты, безмолвно заговорили языком ненависти. Он потупился, потом еще раз грозно оглянулся, а уж после, презрительно и нетерпеливо поведя плечом, как бы отбросил от себя врагов, оставляя их за спиной.

Порыв нежности и испуга с примесью уважения и стыда заставил Ашенбаха отвести глаза, будто он ничего не заметил; ибо деликатному человеку, оказавшемуся случайным соглядатаем чужих страстей, претит воспользоваться увиденным даже для собственных размышлений. Хотя на самом деле увиденное его потрясло и развеселило, иными словами – ошастливило. Мальчишеский фанатизм, обращенный на безобиднейшую пляжную пастораль, неожиданно вдвинул абсолютную, безличную божественность в житейскую сферу, поставив творение природы, предназначенное, казалось бы, лишь для услады глаз, в совсем иные взаимосвязи; он как бы внес в облик, и без того замечательный благодаря редкостной красоте, дополнительный штрих историко-политического оттенка, позволяя относиться к подростку не по годам всерьез.

Все еще отвернувшись, Ашенбах, однако, расслышал звонкий, хотя и чуть слабоватый голосок мальчика, которым тот еще издали оповещал товарищей, увлеченных очередной перестройкой песочного замка, о своем приближении. Ему тут же отозвались, несколько раз наперебой выкрикнув его имя, а может, ласковое прозвище, и Ашенбах поймал себя на том, что с любопытством прислушивается, но толком так и не может ничего разобрать, кроме двух певучих слогов, вроде бы «Аджио» или, даже чаще, «Аджиу», с призывно-тягучим «у» на конце. Сам звук порадовал его мелодичностью, показался вполне под стать предмету, Ашенбах даже повторил его про себя, после чего удовлетворенно обратился к своим бумагам и письмам.

Раскрыв на коленях аккуратный дорожный бювар и вооружившись вечным пером, он принялся разбирать корреспонденцию. Впрочем, примерно четверть часа спустя ему стало жаль тратить миги высшего из всех ведомых ему наслаждений на умственные отвлечения и скучную писанину. Отложив перо и бумагу, он снова обратил взоры к морю, но немного погодя, заслышав азартную переключку мальчишеских голосов, поглощенных затеями песчаного зодчества, лишь слегка отклонил направо голову, удобно покоящуюся на спинке шезлонга, дабы удостовериться, как там поживает и чем занят несравненный Аджио.

Он обнаружил его с первого взгляда – красный бант виден издалека. Вместе с другими ребятами он, возводя мост через замковый ров, прилаживал старую доску, решительно отдавая команды и властно кивая головой. Вместе с ним этим важным делом заняты были примерно десять мальчишек и девчонок, кто-то его же возраста, кто-то помладше, все они бодро лопотали по-польски, по-французски и даже на каких-то балканских наречиях. Но его имя в этом гомоне звучало чаще других. Он явно был здесь любим, пользовался уважением и даже обожанием. Один из ребят, тоже поляк, которого все окликали странным именем «Яшу» или вроде того, коренастый, черноволосый и напомаженный, в полотняной подпоясанной куртке, судя по всему, был его самым близким товарищем и вассалом. Покончив на сегодня со строительными работами, эти двое пошли вдоль пляжа в обнимку, причем тот, кого кликали «Яшу», запросто поцеловал красавца.

Ашенбах едва удержался, чтобы не погрозить пальцем. «А тебе, Критобул, – припомнил он с усмешкой, – советую на год уехать: может, за это время, хоть и с трудом, ты выздоровеешь»^[25]. После чего полакомился клубникой, купив крупных, спелых ягод у торговца-разносчика. Сделалось очень тепло, хотя солнце тщетно силилось пробиться сквозь марево, заставшее небо. Мыслями овладела лень, зато чувства всею полнотой вбирали в себя невероятное, гипнотическое зрелище морской глади. Посвятить досуг размышлениям и гаданьям, какое же имя может скрываться за таинственным «Аджио» – зрелому мужу это казалось сейчас вполне уместным занятием. Воскресив кое-какие польские воспоминания, он пришел к выводу, что скорей всего это «Таджио» или «Тадзио», сокращение от имени «Тадуеш», а «Таджиу» или «Тадзиу» – звательная форма.

Тадзио купался. Ашенбах, на время упустив его из вида, теперь углядел знакомую голову и взмах руки, загребавшей воду, далеко в море – должно быть, там тоже было неглубоко. Однако на берегу, кажется, уже

всполошились, женские голоса от кабинок окликали дерзкого пловца, снова и снова выкрикивали его имя, мягкой тягучестью слогов и волнующим «у» на конце заполонившее весь пляж подобно первобытному зову, сладостно манящему, но и дикому: «Тадзиу! Тадзиу!» Юноша услышал, он послушался и уже бежал, чуть запрокинув голову и вспенивая ногами буруны тяжелой, непокорной воды, и вид этого чела в оправе мокрых, тяжелых локонов, этой фигуры, что во всей красе строгой и нетронутой будущей мужественности, словно нежное божество, порождением стихий выходит то ли из глубин неба, то ли из пен морских, – вид этот взывал к мифическим откровениям, звучал поэтической вестью из правремен, от начала начал возникновения формы и рождения богов. Смежив веки, Ашенбах внимал этой песне где-то в глубинах существа своего и снова подумал, что здесь хорошо и что он здесь останется.

Потом Тадзио отдыхал после купания, лежа на песке, завернувшись в белую простыню, обнажив правое плечо и руку, на которой покоилась его голова; и даже когда Ашенбах на него не смотрел, рассеянно прочитывая вместо этого несколько страниц из своей книги, он почти ни на миг не забывал, что тот лежит неподалеку и что достаточно лишь немного повернуть голову вправо, чтобы узреть предмет своего восхищения. Ему чуть ли не грезилось, будто он посажен здесь охранять покой юноши, пусть и занятый собственными делами, но в неусыпном бдении о благородном отпрыске рода человеческого, что дремлет совсем рядом, одесную от него. И отеческая нежность, трогательная приязнь этого самопожертвования на алтаре красоты ради того, кто красотой одарен, преисполняла его сердце.

После полудня он с пляжа ушел, вернулся в отель, на лифте был доставлен на этаж и проследовал к себе в номер. Там он довольно много времени провел перед зеркалом, разглядывая свои седины, свои заостренные и усталые черты. Попутно он размышлял о своей славе, о том, что многие узнают его на улице и провожают почтительными взглядами, а все благодаря искусству отточенных, счастливо найденных слов, постарался вызвать в памяти все, какие только на ум пришли, внешние приметы признания своего таланта, припомнив даже именное дворянство. К обеду спустился в ресторан и откушал, теперь уже за своим столиком. Когда, покончив с трапезой, он заходил в лифт, туда же, в эту зыбкую подъемную клеть, забежала стайка подростков, тоже из ресторана, и Тадзио среди них. Он стоял почти вплотную к Ашенбаху, впервые настолько рядом, что можно было смотреть на него не как на картину в музее, а разглядеть вблизи, во всех мельчайших человеческих чертах и подробностях. Кто-то с ним заговорил, мальчик ответил с непередаваемо

милой улыбкой и, все еще продолжая отвечать и не оборачиваясь к двери, вышел на втором этаже, скромно потупив взор. «Красота порождает стыдливость», – подумал Ашенбах и тут же углубился в размышление, почему, собственно. Он, однако же, успел заметить, что зубы у Тадзио совсем не так хороши: неровные, блеклые, без здорового блеска, а наоборот, с налетом той худосочной прозрачности, какая бывает при малокровии. «Слишком уж нежный, – подумалось Ашенбаху, – нежный и болезненный. До старости вряд ли доживет». В чувство удовлетворения, а, может, успокоения, сопутствовавшее этой мысли, он предпочел не вникать.

Проведя у себя в комнате часа два, ближе к вечеру он через тухло подванивающую лагуну отплыл на вапоретто в Венецию. Сошел на Сан-Марко, угостился на площади чаем, после чего, в соответствии со всегдашним своим распорядком, решил прогуляться по улицам. Вот только прогулка эта придала его настроениям и видам на будущее совершенно непредсказуемый оборот.

Смрадная духота повисла в узких улочках, воздух был настолько плотный, что все запахи – чад пережаренного масла, облачка духов и бог весть еще какая дрянь, – струясь из комнат, лавок, харчевен, стлались над мостовой, не рассеиваясь. Табачный дым реял пеленой и не желал расходиться. Людская толчея в тесноте переулков не радовала взгляд – она раздражала, становилась невыносимой. Чем дальше продвигался Ашенбах вглубь города, тем мучительней донимала его дурнота, которую приносит с моря удушливое дыхание сирокко, порождая в теле слабость и возбуждение. Его прошиб липкий пот. В глазах все плыло, грудь сперло, его знобило, кровь стучала в висках. Спасаясь от толкучки торговых улиц, он по мостам уходил в проулки бедноты, но там ему докучали нищие, а мерзкие испарения от каналов не давали продохнуть. На какой-то тихой площади, в совсем уж глухом, заброшенном и, как это бывает в самом сердце Венеции, будто заколдованном месте он присел на край фонтана, отер пот со лба и понял, что надо уезжать.

Во второй раз, теперь-то уж окончательно, он убедился: этот город в такую погоду ему крайне противопоказан. Спорить с очевидностью бессмысленно, надеяться на перемену ветра более чем сомнительно. Надо немедленно что-то решать. Сразу же отправляться домой не резон. Ни его зимняя, ни летняя квартиры не приготовлены к его приезду. Но ведь море и пляж можно найти не только здесь, и не обязательно с душком лагуны и этих вредоносных испарений в придачу. На ум пришел небольшой, уютный приморский курорт неподалеку от Триеста, который ему всячески нахваливали. Почему бы не махнуть туда? Причем незамедлительно, дабы

перемена мест еще успела себя оправдать. Посчитав, что решение принято, он поднялся. На ближайшей стоянке он взял гондолу и мрачным лабиринтом каналов, под сенью грациозных мраморных балконов, под надзором каменных львов, огибая осклизлые углы зданий, мимо скорбных дворцовых фасадов, понурившихся под броскими коммерческими вывесками, что отражались в зыбких, замусоренных водах, поплыл к Сан-Марко. Путь туда оказался ох как нелегок, гондольер, состоявший, видимо, в сговоре с кружевными и стеклодувными мастерскими, то и дело предлагал ему сойти, посмотреть товар, что-нибудь приобрести, так что едва колдовство безмолвного перемещения по вечерней Венеции начинало источать на него свои чары, как торгашеский дух этой же величественно тонущей королевы городов разрушал волшебство, заявляя о себе досадным вмешательством барыша и корысти.

По возвращении в гостиницу он первым делом, еще до ужина, заявил служащему в конторе, что непредвиденные обстоятельства вынуждают его завтра же утром уехать. Ему выразили учтливое сожаление и выписали счет. Отужинав, он скоротал теплый вечер в кресле-качалке на террасе за чтением журналов. А перед отходом ко сну полностью упаковал свои вещи.

Спал он не лучшим образом, давало о себе знать смутное предотъездное беспокойство. Утром, распахнув окно, он узрел все то же затянутое облаками небо, но воздух вроде бы показался уже посвежей, – словом, он начал сожалеть о принятом решении. Не слишком ли, не напрасно ли поторопился, не сказался ли тут приступ недомогания, кратковременный и, быть может, совсем не показательный, мимолетный? Может, мнилось ему теперь, не стоило так сразу падать духом, не лучше ли было повременить, притерпеться к венецианскому воздуху, а то и дожждаться улучшения погоды, и вместо того, чтобы пороть горячку, провести до обеда время на пляже, как вчера. Но поздно. Теперь вот надобно уезжать, понукая в себе свои вчерашние желания. Он оделся и в восемь спустился на лифте к завтраку.

В буфетной зале, когда он туда вошел, постояльцев еще не было. Редкие одиночки начали подтягиваться, когда он уже сидел за столиком в ожидании заказанного. Тут-то, с чайной чашкой у рта, он и завидел польских барышень в сопровождении их наставницы; строгие, поутреннему свежие, с красноватыми после сна веками, они прошествовали к своему столику в углу у окна. Но к нему, сняв фуражку, уже спешил портье, извещая, что пора ехать. У входа ждет автомобиль, дабы отвезти его и других отъезжающих к отелю «Эксельсиор», откуда на моторной лодке, кратчайшим путем, по собственному каналу компании, господ доставят к

вокзалу. Время не ждет. Ашенбах, со своей стороны, полагал, что может и подождать. До отхода его поезда больше часа. Кляня про себя гостиничные порядки – завели моду вытуривать постояльцев раньше времени – он сердито буркнул, что желает спокойно закончить завтрак. Портье в растерянности удалился, но через пять минут приблизился снова. Авто больше ждать не может. В таком случае пусть уезжает без него, только кофр его заберет, раздраженно бросил Ашенбах. А он к нужному сроку куда надо доедет сам, на пассажирском катере, и вообще просит заботы о его дальнейших перемещениях предоставить ему самому. Человек только безмолвно поклонился. Довольный, что так уверенно его отшил, Ашенбах без спешки покончил с трапезой, после чего еще спросил у официанта утренние газеты. Когда он встал из-за стола, время и впрямь уже поджимало. И так совпало, что как раз в этот миг в застекленные двери вошел Тадзио.

Он направился к столику сестер, когда Ашенбах двинулся к двери, и пути их скрестились, и юноша скромно потупил глаза перед строгим седовласым господином, чтобы тотчас же, с привычной грацией, снова вскинуть на незнакомца кроткий и открытый взор, – и пройти мимо. «Прощай, Тадзио! – успел подумать Ашенбах. – Все-таки я увидел тебя». И, поймав себя на том, что губы его, против обыкновения, почти беззвучно шепчут эти слова, добавил: «Благослови тебя бог!» – Дальше начался отъезд, он раздавал чаевые, попрощался с почтительно проводившим его до самых дверей тихим коротышкой-управляющим, вышел из отеля пешком, как и прибыл сюда, и по той же утопающей в белой цветущей кипени аллее в сопровождении швейцара, несшего за ним саквояж, проследовал к паровой пристани. Он поднялся на борт, занял свое место – тут-то и началось хождение по мукам, скорбный путь сквозь бездны горечи и сожалений.

Это был уже хорошо знакомый маршрут: через лагуну, мимо Сан-Марко, вверх по Большому каналу. Устроившись на скамье в самом носу, Ашенбах сидел, облокотившись на бортовой поручень и прикрыв ладонью глаза от света. Уже проплыли мимо общественные сады, снова открылась в своем царственном изяществе Пьяцетта – и тут же осталась позади, по обеим сторонам потянулся величественный парад дворцов, а на повороте грациозно и тяжело изогнулась мраморная арка моста Риальто. Отъезжающий смотрел на все это прощальным взором, и сердце его разрывалось. Даже самый воздух города, тронутый легким тленом болот и морской тины, – этот воздух он вбирал теперь в себя с жадной болью и бережной нежностью. Да как мог он не знать, не заметить, не подумать,

насколько всем существом своим ко всему здесь привязан? То, что сегодня утром было лишь тенью сожаления, намеком на сомнение, теперь обернулось острой скорбью, нешуточным, подлинным страданием, тяготой души, настолько горькой, что на глаза то и дело набегали слезы, а он только изумлялся своей кручине и тому, что не сподобился ее предвидеть. А более всего тяжкой, порою просто невыносимой становилась мысль, что Венецию он, похоже, никогда больше не увидит, что это прощание – навсегда. Второй раз подтвердившееся подозрение, что он от этого города заболевает, необходимость второй раз очертя голову бежать отсюда, – все это заставляло надежду на новый приезд отринуть как заведомо запретную блажь, ибо пребывание здесь – не для него, и, значит, снова наведываться сюда совершенно бессмысленно. Да, именно так он чувствовал: ежели он сейчас уедет, гордыня обиды и стыда не позволит ему снова увидеть любимый город, где организм его дважды так прискорбно оплошал; и самый этот разлад между порывом души и запросами тела вдруг показался знаком старения, столь весомым и важным, а физическая немощь столь позорной, столь требующей немедленного, любой ценой, опровержения, что он теперь наотрез отказывался уразуметь, почему вчера с такой скоропалительной легкостью, без сколько-нибудь серьезной борьбы, признал свою капитуляцию и примирился с нею.

Пароходик меж тем приближается к вокзалу, а боль и растерянность перерастают в смятение. Уезжать – немыслимо, возвращаться – тем паче. Истерзанный, в состоянии полного разброда, Ашенбах входит под вокзальные своды. Времени совсем в обрез, если он хочет успеть на поезд, нельзя терять ни минуты. А он и хочет, и не хочет. Но время торопит, подгоняет, он спешит купить билет, попутно озираясь в вокзальной сутолоке в поисках рассыльного из отеля. Тот объявляется и докладывает, что его кофр уже сдан в багаж. Уже сдан? Так точно, в целости и сохранности. В Комо. В Комо? В ходе спешного разбирательства – гневные вопросы, смущенные ответы – выясняется, что еще в отеле «Эксельсиор» его кофр службой доставки вместе с багажом других отъезжающих был отправлен совершенно не туда, куда следует.

Ашенбаху стоило немалых трудов сохранить на лице подобающее случаю выражение недовольства. Необузданная радость, невероятное веселое буйство сотрясали изнутри все его существо. Рассыльный кинулся со всех ног выручать заблудший кофр, но уже вскоре, как и следовало ожидать, вернулся ни с чем. На что Ашенбах заявил, что без багажа уезжать не желает, а намерен вместо этого ехать обратно в тот же самый гранд-отель «Пляжный», где и будет дожидаться возвращения пропажи.

Можно ли надеяться, что хотя бы гостиничный катер еще не ушел? Человек подтвердил: катер, конечно же, еще у причала. Затем, после горячей итальянской перепалки вынудив кассира вернуть деньги за билет, он принялся клятвенно заверять Ашенбаха, что компанией, невзирая на любые издержки, будут предприняты и уже предпринимаются все меры, дабы как можно скорее, срочно, незамедлительно вызволить его багаж, – и вот он, казус: всего двадцать минут назад прибыв на вокзал, путешественник снова плывет по Большому каналу, но уже обратно, в сторону Лидо.

Странное, будто во сне, неправдоподобное, курьезное приключение: по прихоти судьбы, словно повернувшей жизнь вспять, лицезреть милые сердцу места, с которыми меньше часа назад ты в глубоком горе прощался навсегда! Вспенивая острым носом волну, юрко лавируя между гондолами и судами, маленький шустрый катер мчался к цели, неся на борту пассажира, прячущего под маской досады мальчишеский азарт, радость и страх удравшего проказника. Смешок восторга все еще всколыхивал его грудь при мысли об удивительной этой неудаче, способной, как он сам себе признавался, осчастливить любого счастливец. Разумеется, предстояло давать объяснения, терпеливо лицезреть изумленные мины, – зато, сказал он себе, теперь все опять хорошо, несчастье удалось предотвратить, тяжелую ошибку исправить, и все, что, как ему казалось, ушло в прошлое безвозвратно, снова раскрывало ему объятия на какой угодно срок... Почудилось ли ему от быстрой езды или и вправду, вдобавок ко всем удачам, еще и ветер наконец-то задул с моря?

Волны бились о бетонные берега узкого канала, прорезавшего остров напрямик к отелю «Эксельсиор». На причале одинокого пассажира уже ожидал автомобиль-омнибус, покотивший вернувшегося гостя по фешенебельной набережной вдоль вскурчавленного барашками моря к его гостинице. Второй управляющий, коротышка-усач в длиннополом сюртуке, почтительно встречал его на парадной лестнице.

Тихим, вкрадчивым говорком он выразил сожаление по поводу досадного происшествия, столь неприятного для их заведения, однако горячо одобрил намерение Ашенбаха дожидаться багажа здесь. Правда, комната его уже занята, но приготовлена другая, ничуть не хуже.

– Pas de chance, monsieur^[26], – с улыбкой посочувствовал швейцарец-лифтер, вознося постояльца на его этаж.

И вот недавний беглец уже осматривается в комнате, расположением и обстановкой почти полностью схожей с предыдущей.

Усталый, издерганный злоключениями этого удивительного утра, расставив и разложив по комнате содержимое саквояжа, он без сил

опустился в кресло у открытого окна. Море окрасилось в нежные, бледно-зеленые тона, воздух, показалось ему, стал прозрачней и чище, пляж с его лодчонками и кабинками смотрелся веселей, хотя небо все еще хмурилось. Ашенбах взирал на все это, сложа руки на коленях, довольный, что снова здесь, однако укоризненно покачивая головой при мысли о давешнем душевном разброде и о полном своем неведении относительно собственных желаний. Он просидел так, приходя в себя, витая в бездумных грезах, примерно час. Около полудня он увидел Тадзио: в полосатом полотняном костюме, с красным бантом на груди, он по дощатому настилу пляжа шел от моря к гостинице. С высоты своего этажа Ашенбах узнал его тотчас же, пожалуй, даже прежде, чем различил взглядом, и уже подумал что-то вроде: «Ба, Тадзио, и ты здесь, дружище!» Но в тот же миг он почувствовал, как нарочито бесшабашное приветствие, сникнув, растерянно умолкает перед правдой его сердца, он ощутил в себе восторг крови, радость и боль души своей, и вот тогда, наконец, понял: это из-за Тадзио ему так тяжело далось расставание.

Он сидел, не шевелясь, незримый со своей высоты ничьим посторонним взором, и всматривался в самого себя. Черты его были оживлены, брови подрагивали, странная, сосредоточенная улыбка пытливого ожидания играла на устах. Потом он вскинул голову, и вдруг руки его, безвольно свисавшие с подлокотников кресла, плавно взмыли ввысь, простирая отверстые ладони то ли в предчувствии полета, то ли в чаемом объятии. То был жест долгожданной готовности и умиротворенного гостеприимства.

Глава четвертая

Теперь, что ни день, окрыленный бог, нагишом и пунцовея ланитами, гнал огненосную квадригу по небесным чертогам, и золотистые кудри его реяли на ветру, подгонявшем колесницу с востока. Белесый шелковистый глянец устилал дали лениво перекатывающегося моря. Жаром дышал раскаленный песок. Сквозь серебристое марево под синевой эфира выделялись ржавого цвета парусиновые тенты, нарезая перед пляжными кабинками лоскуты тени, где постоялец и проводил дополуденные часы. Дивными были и вечера, когда растения в парке благоухали бальзамами, созвездия над головой вершили небесный хоровод, а кроткий рокот моря, укрытого ночной мглой, ласкал слух и убаюкивал душу. Каждый такой вечер становился радостной порукой нового солнечного дня с его привычной чередой лениво упорядоченного курортного отдыха, украшенного бесчисленными, щедро разбросанными возможностями, какие дарует счастливый случай.

Гость, задержанный столь услужливой неудачей, вовсе не склонен был теперь усматривать в возвращении своего имущества повод для нового отъезда. Двое суток ему, правда, пришлось терпеть некоторые неудобства, даже в ресторан приходя в дорожном костюме. Зато потом, когда заблудший кофр наконец-то был водворен в комнату хозяина, тот вывернул его до дна, заполнив шкаф и ящики комода своим добром в твердой решимости никуда пока что не уезжать, проводя пляжные часы в шелковом костюме, а к ужину появляться, как положено, в вечернем наряде.

Благостная размеренность подобной жизни уже вовлекла его в свою колею, прелесть курортного досуга пленила всецело. Да и в самом деле – какой еще отдых способен дарить негу комфортабельного пляжа на берегу южного моря в сочетании с привычной, всегда доступной близостью одного из волшебнейших городов на свете! Наслаждение Ашенбах вообще-то не жаловал. Возможность когда и где хочешь веселиться и праздновать, бездельничать, устроить себе денек передышки очень скоро оборачивалась – причем так повелось с юных лет – приступом недовольства, порывом назад, к высокому упорству святого и повседневного служения. И лишь этот уголок земли обладал над ним чарующей властью, расслаблял его волю, осчастливливал его. Порою – по утрам, под тенистым пологом пляжной кабинки, где он услаждал мечтательный взор аквамарином южного моря, да и теплой ночью, когда, долго пробыв на площади Сан-

Марко, он, возлежа на подушках гондолы, под бездонно-звездным небом возвращался в Лидо, а где-то за спиной оставались пестрые огни и сладкозвучные напевы серенад, – в такие минуты ему не раз вспоминался дом в горах, ристалище его летних сочинительских борений, где волглые облака лениво проползали садом, жуткие грозы вечерами повергали округу в беспросветный мрак, а черные вóроны, которых он подкармливал, качались на тяжелых лапах вековых елей. И тогда казалось, что его и впрямь забросило на край земли, в райские кущи, где людям даровано счастье беззаботной жизни, где не бывает снега, где зима – не беспрестанные бури и нескончаемые ливни, а только живительный океанский бриз, где дни, всецело отданные лишь солнцу и празднествам, текут в блаженной истоме отдохновения, не ведая ни трудов, ни борений.

Тадзио он видел помногу, едва ли не постоянно; ограниченность пространства, вольготный распорядок курортной жизни способствовали тому, что в течение дня, хоть и с небольшими перерывами, дивный отрок то и дело оказывался поблизости. Ашенбах видел, встречал его повсюду: в залах гостиницы, во время освежающих поездок через лагуну в город и обратно, да и в самом городе, посреди великолепия площади, а то и в хитросплетениях улочек и каналов, если желанию потакал случай. Но дольше всего и с отрадной регулярностью щедрую возможность созерцать, благоговейно изучать прекрасного любимца дарило утро на пляже. Эта привязанность счастья ко времени и месту, ежедневная непереносимость удачи была настолько мила его сердцу, так полнила душу жизнерадостностью и довольством, что делала эту благодатную череду любезно и беззаботно посылаемых судьбою солнечных дней поистине бесценным даром.

Поднимался он рано, хотя обычно за ним такое водилось только в горячке работы, и на пляж приходил одним из первых, когда солнце еще не припекало, а море, отливая серебром, нежилось в утренней дреме. С подчеркнутым человеколюбием он здоровался со сторожем у входа на пляж и, как со старым знакомцем, с босым седобородым смотрителем, – тот загодя приготавливал для него место, натягивал парусину, выносил из кабинки мебель, – и усаживался в кресло. Последующие три, четыре часа, когда солнце, поднимаясь все выше, палило все беспощадней, море все гуще наливалось синевой и когда он мог смотреть на Тадзио, – это было его время.

Он наблюдал, как тот приближается слева, вдоль кромки воды, или как выныривает из-за кабинок, а иногда, обмирая от радости и испуга, обнаруживал, что пропустил приход любимца, что тот уже здесь, в своем

бело-голубом костюме, в котором он теперь появлялся на пляже неизменно, и спешил наверстать упущенное, следя за привычными перемещениями мальчика из солнца в тень и обратно, за милым, осмысленно-никчемным, лениво-переменчивым ходом его пляжной жизни, где игра чередовалась с бездельем, шлепаньем по воде, рытьем в песке, беготней, загоранием, плаванием, под присмотром и под оклики женщин, что заполошным фальцетом на весь пляж горланили его имя, а он в ответ с нарочитой поспешностью мчался к ним поведать о новых приключениях, показать очередную находку – ракушку, морского конька, медузу, боком удирающего маленького краба. Ни слова не понимая из его увлеченного лопотания, видимо, о самых обычных вещах, Ашенбах наслаждался самым этим загадочным благозвучием. Чуждость слов в этих устах превращала речь в музыку, ласковое солнце щедро заливало мальчика своим сиянием, а море услужливо расстило неоглядную синь, спеша сообщить милому облику достойный фон и глубину перспективы.

Вскоре истовый наблюдатель знал каждую линию, каждый поворот этого дивного, столь раскованного в движениях тела, всякий раз сызнавая радуясь все более знакомой красоте, не зная предела своему восхищению и прихотливой, нежной игре собственных чувств. Мальчика звали поздороваться с подошедшим к кабинкам гостем, и он подбегал, иной раз еще мокрый после купания, встряхивал локонами, протягивая руку, и, опершись на одну ногу, а другой едва касаясь земли, на миг замирал в этой очаровательной позе озорного нетерпения, любезной застенчивости и благородной, грациозной учтивости. Или он возлежал на песке, по грудь закутанный в купальное полотенце, опершись изящной, точеной рукой оземь, поддерживая кулачком гордую, точеную голову; тот, кого кликали «Яшу», сидел рядом на корточках, готовый исполнить любую его прихоть, и не было зрелища обворожительней, чем видеть улыбку этих глаз и губ, с которой избранник вскидывал глаза на своего добровольного слугу. Или он стоял у края воды, один, в стороне от своих, совсем рядом с Ашенбахом, прямой, как тростинка, заложив руки за голову, слегка покачиваясь на высоких ногах и мечтательно глядя вдаль, а мелкие волны, набегая, омывали его ступни. Его медвяные волосы завитками локонов льнули к вискам и затылку, солнце высвечивало всю фигуру – нежный пушок на плечах и спине, трогательный, четко различимый перебор ребер, строгие очертания груди и всего торса, вылепленного без излишеств и изъянов, девственно мраморную чистоту подмышек, светлые выемки подколенных впадин с переплетением голубоватых прожилок, при виде которых казалось, будто весь он соткан из иного, высшего, полупрозрачного

вещества. Какая безупречность породы, какая точность замысла выражена в этом легко и гордо распрямленном, столь совершенном юношеском теле! Но разве строгая и чистая воля, возжелавшая породить из бесформенной тьмы и вознести на свет божественное творение, не ведома, не близка кровно и ему, художнику? Разве не чудодействует она и в нем, когда он, исполненный вдумчивой страсти, из косных мраморных копей языка вызволяет стройную форму, которую прозрел мысленным взором и явил миру образом и зеркалом красоты духа человеческого?

Образ и зеркало! Взгляд его вбирал в себя благородный облик там, у кромки аквамарины, и в упоении восторга ему чудилось, будто он постигает саму красоту, форму как явление сущего в духе божественного замысла, единого и чистого совершенства, во всем изяществе, во всей прелести своей представшего для поклонения одушевленным слепком образа и подобия человеческого. Воистину, это было наваждение, и стареющий художник безоглядно, с жадностью предавался его чарам. Переживания будоражили душу, колебля самые основы его существа, его опыта и знаний, воскрешая помыслы, смутно памятные лишь с юности, а с той поры не опалявшие воображение пламенем не измышленной, собственной страсти. У кого же это сказано, что солнце переключает наше внимание с интеллектуального на чувственное? Оно, мол, настолько оглушает и околдовывает разум и память, что душа, отрешившись от отрады самоуглубления, преисполняется изумленного восторга, замороженная одним-единственным предметом, на который упали лучи светила; да, в таком случае она способна подняться до более высокого созерцания лишь с помощью этого, озаренного тела. Воистину, Амур действует подобно математикам: дабы обучить непонятливых детишек чистым формам, им показывают наглядные фигуры; так же и лукавый бог, желая зримо предъявить нам совершенство духа, пользуясь рычагом нашей памяти, прибегает к прелестям и краскам человеческой юности, уснащая их сиянием красоты, при виде коей пламя боли и надежды разгорается в нас.

Так мыслил он, опьяненный своим же энтузиазмом, так виделось ему происходящее. И из рокота волн морских, из солнечных бликов соткалась вдруг дивная картина. Древний платан под стенами Афин – та священная сень, напоенная благоуханием цветущих вишен, что украшена изваяниями и благоговейными дарами в честь нимф и Ахелоя. Чистый, звонкий родник, перемывая ровненькую, светлую гальку, сбегает к подножию раскидистой кроны; поют смычки цикад. А на лужайке – лишь слегка покатою, в самый раз, чтобы удобно возлежать, приподняв голову, – укрывшись в теньке от дневного пекла, отдыхают двое: почти старик – и юноша, почти урод – и

красавец, мудрец – и учтивец. Переменяя серьезные мысли любезностями и прибаутками, Сократ толковал Федру о любовной тоске и добродетели. Он поведал ему о горячей волне испуга, захлестывающей всякого чувствующего при виде подобия вечной красоты; о вожделениях нечестивца, который не умеет помыслить красоту, даже узрев образ ее, ибо не способен к благоговению; о священном трепете, охватывающем благородного человека, когда, ликом божества, является ему совершенное тело, – как он вздрагивает, как теряет самообладание, едва смеет глаза поднять, как почитает того, кто одарен красотой, как хочет поклоняться ему и почти готов приносить жертвы, словно священному изваянию, если бы не страх прослыть безумцем. Ибо красота, мой Федр, только она одна достойна любви и вместе с тем доступна взору: она, запомни, есть единственная форма духовного, которую мы в силах воспринять чувственно и нашими чувствами вынести. Иначе что случилось бы с нами, являйся нам все божественное, – разум, добродетель, истина, – в чувственном образе? Разве не погибали бы мы, сгорая от любви, как когда-то Семела пред ликом Зевса? Таким образом, красота – это путь наших чувств к духу, только путь, всего лишь средство, милейший мой Федр... И вот тут-то он, изощренный волокита, и ввернул самое затаенное, припасенное заранее: а именно, что в любящем больше божественного, нежели в любимом, ибо в любящем, в отличие от любимого, живет бог, – коварную мысль, тончайшую уловку, на какую когда-либо посягал ум человеческий, ибо в ней разгадка всех любовных искательств, всех томлений тайного сладострастия и сердечной тоски...

Счастье писателя – это мысль целостного чувства, то есть чувство, оформившееся в мысль. Именно такая мысль, ясная и трепетная, такое чувство, живое и точное, владели в те дни умом и сердцем одинокого мечтателя, и сводились они вот к чему: когда дух благоговееет перед красотой, природа содрогается от блаженства. Ему вдруг захотелось писать. Хотя считается, что Эрос любит праздность, для нее лишь и создан. Но на пике кризиса все возбуждение жертвы оказалось направлено на творчество. Повод стал почти безразличен. Любой повод, любая ассоциация, имеющие касательство к этой обжигающей проблеме культуры и вкуса, едва затронув сферы духа, настигали теперь беглеца и властно требовали суждения. Ибо предмет был ему теперь знаком, был им переживаем, а желание высветить переживание силой слова стало необоримо. Дошло до того, что ему хотелось работать только в присутствии Тадзио, беря за образец самую статью отрока, приноравливая слог к линиям тела, казавшимся ему божественными, перенося его красоту в сферы духовного, подобно орлу,

вознесшему троянского пастушка в вышние струи эфира. Никогда прежде радость точно найденного слова не была столь сладостна ему, никогда не ощущал он с такой явностью присутствия Эроса в своем слове, как в те опасные, те драгоценные часы, когда, устроившись в тени парусинового тента за неказистым столиком, созерцая облик Тадзио, услаждая слух музыкой его голоса, он создавал, творил по образу и подобию прекрасного идола свое маленькое сочинение, – те полторы страницы изысканнейшей прозы, что полнозвучием, благородством, звенящим напряжением чувств вскорости должны были вызвать восхищение многих. И хорошо, конечно, что мир оценит лишь само сочинение, ничего не узнав о его истоках, об условиях и обстоятельствах, в каких оно возникло: ибо знание источников, из которых черпал вдохновение творец шедевра, нередко способно смутить, а то и отпугнуть почитателей, непоправимо разрушив художественное воздействие. О, эти удивительные часы! О, эти дивные творческие муки! Столь странная, столь животворная связь духа с телом другого! Когда Ашенбах, припрятав свои листки, уходил с пляжа, он чувствовал себя опустошенным, вымотанным до крайности, и казалось, совесть мучит его, как после беспутного загула.

На следующее утро, выходя из отеля, Ашенбах, еще в дверях, заметил Тадзио: тот направлялся к морю – причем один – и уже подходил к воротам пляжа. Желание, наитие – воспользовавшись случаем, легко и непринужденно свести, наконец, знакомство с тем, кто, сам того не ведая, подарил ему столько вдохновенных треволнений, заговорить с ним, радоваться его ответу, его взгляду, – простейшая эта мысль вспыхнула сама собой и уже не отпускала. Прекрасный отрок никуда не спешил, догнать его ничего не стоило, и Ашенбах ускорил шаги. Он нагоняет любимца на мостках за кабинками, хочет ласково потрепать по затылку, положить руку на плечо, что-то сказать, приветливая фраза на французском уже готова сорваться с губ, – и чувствует вдруг (возможно, от быстрой ходьбы), как гулко, молотом, колотится сердце, понимает, что задыхается, нормально говорить не сможет, только выпалить что-то или пропыхтеть, – в надежде успокоиться и отдышаться он медлит, но тут же пугается, что слишком долго идет за мальчиком почти вплотную, вдруг тот заметит, недоуменно обернется, он отваживается на новую попытку, догоняет, – но, так ни на что и не решившись, понуря голову, проходит мимо.

«Слишком поздно! – подумалось ему в тот миг. – Слишком поздно!» Но полноте, вправду ли? Этот шаг, который он упустил сделать, – а что, если упущение как раз к добру и принесет радостную легкость целительного отрезвления? Но в том-то и беда, что он, стареющий

влюбленный, трезвости уже не жаждал, слишком дорого было ему опьянение. Кто разгадает суть и смысл художества? Кто постигнет глубочайшее сплетение инстинктов, таинственный сплав целеустремленной выдержки и необузданности, на котором зиждется искусство? Ведь не желать целительного отрезвления – это и есть необузданность. Ашенбах, впрочем, не расположен был к самокритике; чувство вкуса, духовный опыт прожитых лет, самоуважение, зрелость, простота поздней поры – все это уже бессильно было склонить его к анализу побудительных мотивов, к выяснению, почему, собственно, – из малодушия, из вялости или по велению совести не исполнил он своего намерения? Он был растерян, и только, опасался, не увидел ли кто, пусть хоть пляжный смотритель, его нелепых побежек и его конфуза, – боялся выглядеть смешным. В остальном же и сам скорее потешался над своей робостью. «Осрамился, – думал он, – осрамился, как жалкий петух, трусливо опускающий крылья в разгар драки. Не иначе, это козни все того же бога: сломив нашу гордость, он понуждает нас постыдно тушеваться при виде того, кто любезен сердцу...» Продолжая играть с этой мыслью, он предавался мечтам и был слишком самонадеян, чтобы страшиться чувства.

Он давно не считал дней, не следил за сроком, который сам положил себе на отдых, – он и думать забыл о возвращении. Денег он себе выписал достаточно. Беспокоила его только тревога об отъезде польского семейства, но на сей счет он тайком навел справки, как бы невзначай осведомившись у парикмахера, который охотно сообщил: польские господа остановились здесь незадолго до его прибытия. Солнце посмуглило загаром его лицо и руки, солоноватое дыхание моря пробуждало в нем жизнь чувств, и точно так же, как прежде он всякий прирост энергии, приносимый сном, пищей, прогулкой, по обыкновению немедленно и деловито расходовал на творчество, так он теперь каждодневное подкрепление сил, даруемое солнцем, отдыхом, морским воздухом, со щедрым безрассудством расточал на упоение и восторг своего сердца.

Сон его теперь был недолог; пленительное однообразие дней перемежалось короткими ночами, полными счастливой тревоги. Правда, к себе он уходил довольно рано, ибо в девять вечера, когда Тадзио исчезал из поля зрения, день для него кончался. Но в предрассветных сумерках он пробуждался от дрожи сладостного испуга – это, вспомнив о заветном приключении, томительно замирало сердце, и тот, кому уже не лежалось и не спалось, поднимался с постели и, наспех укрывшись от утренней прохлады, садился у раскрытого окна дожидаться восхода. Вековое это чудо наполняло его овеванную сном душу священным трепетом. Небо,

земная твердь, морская гладь еще покоились в призрачной сизовой дымке; еще плыла в бестелесности заходящая, меркнущая звезда. Однако слабым веянием из недостижимых чертогов уже колыхнулась весть, что богиня Эос, пробудившись подле супруга, восстала ото сна, и первые мазки нежного багрянца, обнаруживая чувственную природу мироздания, уже окрасили дальние пределы неба и моря. Она грядет, уже грядет, эта охотница до юношей, похитившая Клейта, Кефала и на зависть всем олимпийцам насладившаяся любовью прекрасного Ориона. Там, за горизонтом, уже занялось розовое струение, и несказанно прекрасный первоцвет зари трепетным отсветом омывает младенческие облака, что, подобно амурчикам, парят в голубовато-розовом мареве, а вот уже и пурпур упадает на упругие волны моря, и те несут, несут его к берегу, и в тот же миг вспыхнули, метнулись из-за окоема ввысь золотистые копыта, рдение полыхнуло заревом, бесшумно, с божественной мощью перемешивая в горниле небес жар и всполохи пламени, и летящим галопом уже понеслись над земным полукружьем священные кони божественного брата. Осиянный этим великолепием, одинокий созерцатель сидел у окна и даже глаза закрыл, подставляя смеженные веки поцелуям первых лучей. Давно забытые чувства, первые, драгоценные томления сердца, угасшие под спудом повседневного служения, а теперь вернувшиеся в столь дивно преображенном порыве, – он снова, с растерянной, блаженной улыбкой их познавал. Он грезил, витая в чаяньях, губы его непроизвольно, робко, слагали заветное имя, и все с той же улыбкой, лицом к свету, уронив руки на колени, он снова блаженно задремал в своем кресле.

Но и день, занявшись столь праздничным пламенем, прошел в странном, преображенном, мифическом настроении. Из каких пределов повеяло дуновением, которое столь настоящим, нежным нашептыванием свыше ласкало виски? Белые перышки облаков стайками плыли по небу, подобно овечкам под присмотром пастырей-олимпийцев. Откуда-то выхватился порывистый ветер, и кони Посейдона, вскидываясь на дыбы, понеслись вскачь, а может, то быки синекудрого с ревом грозно сшибались рогами. Хотя за дальним пляжем, в толчее рифов, волны взметывались и резвились, словно козочки. Мир, осененный живительным дыханием Пана, брал в полон очарованного созерцателя, и сладостные сказки грезилась его сердцу. Не раз, когда за Венецией упало солнце, сиживал он на скамье в парке, наблюдая за Тадзио, который, в белом костюме с цветным поясом, на утрамбованном гравии с упоением играл в мяч, и Ашенбаху казалось, будто он видит самого Гиацинта, коему пришлось принять смерть, ибо его не поделили два бога, влюбившихся в

юношу. Да, он всю душой прочувствовал лютую зависть Зефира к сопернику, который позабыл оракула, лук и кифару, лишь бы вечно играть с прекрасным отроком; он словно наяву видел тот роковой полет диска, пущенного ревнивой рукой в беспечную и прекрасную голову, на себе, бледнея, ощущал, как поникает надломившееся тело, а на цветке, взросшем из сладостной крови, была начертана его собственная, неизбывная жалоба.

Нет ничего более странного и неловкого, чем отношения людей, знающих друг друга только в лицо: встречаясь, видясь ежедневно, порой ежечасно, они, волею этикета или собственной прихоти, вынуждены, не раскланиваясь, блюсти на лице мину безразличия, даже чуждости. Хотя на самом деле их давно связывает ниточка взаимного беспокойства, азарт любопытства, едва ли не зуд естественной, но не удовлетворенной, подавляемой потребности познакомиться, узнать друг друга, и, как следствие, даже нечто вроде потаенного уважения. Ведь человек любит и почитает другого, покуда не способен судить о нем разумом, так что любовная тоска проистекает всего лишь от нехватки знаний.

Какие-то взаимоотношения, некие нити знакомства между Ашенбахом и юным Тадзио просто обязаны были завязаться, и старший с ликующим трепетом стал замечать, что его участливый интерес, его внимание не остаются вовсе без ответа. Что, к примеру, заставляет любимца, появляясь утром на пляже, никогда больше не проходить по мосткам, что тянутся с тыльной стороны кабинок, а направляться к своему семейству только по песку, мимо пристанища Ашенбаха, причем иногда, без всякого к тому повода, почти вплотную, едва не задевая его стол или кресло? Или это магия сильного чувства столь притягательно действует на нежный, несмышленный предмет своей страсти? Ашенбах каждый день поджидал появления Тадзио, однако нередко делал вид, будто ужасно занят и не замечает прихода любимца. Иногда же, напротив, он внезапно вскидывал глаза, и взгляды их встречались. В этот миг взор каждого был исполнен глубокой серьезности. Впрочем, умудренное, строгое лицо старшего ничем не выказывало внутреннего волнения, зато в глазах Тадзио светилось тихое любопытство, некий задумчивый вопрос, он на мгновение замедлял шаги, недоуменно опускал голову, а потом, снова подняв свои дивные очи, проходил мимо Ашенбаха, но казалось, всей осанкой дает понять, что только соблюдение приличий не позволяет ему оглянуться.

Впрочем, как-то вечером все обернулось иначе. К ужину в ресторане не только сам Тадзио, но и его польские сестры вместе с гувернанткой так и не появились, – Ашенбах с обеспокоенностью это отметил. После ужина, тревожась, досадуя и недоумевая, куда бы они могли запропасться, он в

вечернем костюме и соломенной шляпе прохаживался взад-вперед перед гостиничной террасой, как вдруг, еще издали, под дугами уличных фонарей, завидел сперва чопорных монашек-сестриц во главе с воспитательницей, а позади, шагах в четырех, и Тадзио. Похоже, они шли от причала, – должно быть, ужинали в городе. На воде, видимо, им стало прохладно, на Тадзио был темно-синий матросский бушлат с золотыми пуговицами, а на голове изящная бескозырка. Южное солнце и морской воздух не огрубили загаром его кожу, она, как и вначале, сохранила свой неповторимый, лишь едва желтоватый оттенок светящейся мраморной белизны; правда, сегодня он выглядел бледнее обычного – то ли от вечернего холода, то ли от мертвенного лунного сияния уличных ламп. Гордый разлет бровей прорисовывался резче, глубже и темней мерцали глаза. Он был прекрасен воистину несказанно, и Ашенбаху, уже в который раз, стало больно оттого, что слово способно лишь воспеть чувственную красоту, но не передать ее.

К милой сердцу, но столь внезапной встрече он готов не был и не успел нацепить на себя обычную мину спокойного достоинства. Взгляд его, весь вечер тщетно искавший и вдруг узревший любимца, видимо, озарился откровенным восторгом, – и в этот миг Тадзио улыбнулся, улыбнулся именно ему, как старому знакомцу, своей говорящей, лучистой, открытой и задумчивой улыбкой, сперва высветившей все лицо и лишь затем нежно раздвинувшей губы. То была улыбка Нарцисса, склоненного над зеркалом вод, отрешенная, заколдованная, вглубь себя обращенная улыбка, с какой он простирает руки к своему отражению, – улыбка, лишь слегка тронутая горечью тщеты созерцания, невозможности поцеловать манящие уста своей мерцающей тени, – чуть кокетливая, слегка любопытная, исполненная тихой муки улыбка, и зачарованная, и чарующая.

Награжденный такой улыбкой спешно уносил ее с собой, как драгоценный, хотя и зловещий дар. Он был настолько потрясен случившимся, что, скрываясь от света террасы и фонарей сада, торопя шаги, бежал во тьму, в самый дальний, глухой конец парка. Станные, негодующие и ласковые увещевания срывались с его губ: «Ты не смеешь так улыбаться! Слышишь, никому, никогда не смей так улыбаться!» Он упал на скамью, не помня себя, всю грудью вдыхая ароматы ночного цветения. И, откинувшись назад, безвольно уронив руки, обмирая от слабости и восторга, не в силах унять знобкую, волнами набегающую дрожь, он шептал извечную формулу томления и тоски, – столь неуместную здесь, нелепую, непристойную, смешную, но все равно, даже здесь, неприкосновенно целомудренную и святую: «Я люблю тебя!»

Глава пятая

На четвертой неделе пребывания в Лидо Густав фон Ашенбах отметил для себя некие тревожные перемены в окружающем внешнем мире. Во-первых, показалось ему, число постояльцев, хотя курортный сезон на подъеме, скорее убывает, чем увеличивается, в особенности же звучание немецкой речи иссякает и почти вовсе заглохло: вскоре и за столом, и на пляже слух его улавливал лишь чужестранные звуки. А в разговоре с парикмахером, к которому он теперь зачастил, его весьма озадачило одно вскользь оброненное тем словцо. Говоря о немецком семействе, которое, пробыв совсем недолго, поспешило уехать, тот привычно льстивым говорком как бы невзначай добавил:

– Но вы-то, сударь, остаетесь, вы беды не испугались...

Ашенбах вскинул глаза.

– Беды? – переспросил он.

Говорун тут же прикусил язык и углубился в работу, пропустив вопрос клиента мимо ушей, а когда тот переспросил, ответил, мол, он ничего такого не имел в виду, и, прикрывая смущение привычной скороговоркой, принялся болтать о пустяках.

Это было около полудня. Несколько позже при полном безветрии и под палящим зноем Ашенбах, повинаясь все той же мании, той же тяготе сердца, отправился в Венецию – ведь он видел, как все младшее поколение польского семейства во главе с наставницей двинулось к пристани. Однако на Сан-Марко он своего кумира не обнаружил. Зато, угощаясь чаем за круглым железным столиком на тенистой стороне площади, он уловил в воздухе странный запах, тут же, впрочем, смутно припомнив, что в последние дни, не отдавая себе в том отчета, ощущал его не раз, – пахло чем-то медицинским, напоминая о болезнях, ранениях и опасной, бедственной чистоте. Чем дольше он принюхивался, тем яснее опознавал запах, пока, покончив с чаепитием, не удалился с площади в сторону, противоположную собору. В тесноте улочек запах только усилился. На перекрестках по углам домов висели объявления магистрата, с отеческой заботливостью предупреждавшие жителей об опасности желудочно-кишечных заболеваний, весьма вероятных в столь жаркую погоду, особенно при употреблении в пищу устриц и иных моллюсков, а также воды из каналов. Напускное благодушие этих увещаний было очевидно. Народ молча собирался под ними на мостах и площадях, и наш

путешественник чужаком стоял тут же, принохиваясь и размышляя.

У одного торговца – тот, как в раме, нарисовался в дверях своей лавки посреди коралловых бус и побрякушек с фальшивыми аметистами, – Ашенбах все же решил осведомиться насчет жутковатого запаха. Тяжелым взглядом смерив иностранца с головы до пят, лавочник с неожиданной бодростью в словах и жестах затараторил:

– Всего лишь упреждающие меры, сударь! Распоряжение полиции, и очень правильное! Сирокко душит, для здоровья это не очень... Словом, вы понимаете, – простая предосторожность, возможно, даже излишняя...

Поблагодарив, Ашенбах двинулся дальше. И на пароходике, что вез его обратно в Лидо, он тоже учуял запах дезинфекции.

Вернувшись в отель, он в вестибюле сразу же направился к журнальному столику и принялся просматривать газеты. В зарубежных изданиях не нашел ничего. В местных порицались ложные слухи, приводились их официальные опровержения и даже какая-то невнятная статистическая цифирь, сопровождаемая, впрочем, сомнениями в ее достоверности. Распространением слухов объясняли, в частности, отток немецкой и австрийской курортной публики. Выходило, что представители других наций о слухах ведать не ведают, дурных предчувствий не испытывают и опасений не питают. «Надо молчать! – подумал Ашенбах с волнением, бросая газеты на столик. – Помалкивать!» И в тот же миг сердце исполнилось странной удовлетворенности оттого, что большой внешний мир тоже вот-вот угодит в некое злоключение. Ведь страсти, как и преступлению, претит привычно-благостное течение буден, всякая неполадка в устоях, любые предвестья смятений и катастроф милы и желанны ей, ибо в потрясениях мира чуется и чается она возможность поживы. Вот и Ашенбах испытывал тихий азарт, вспоминая о пугливо прикрываемых властями стигматах беды в грязных переулках Венеции, – порочная тайна города странно сопрягалась с его собственной, самой заветной, и получалось, что он заинтересован в сохранности обеих. Ибо ничто так не тревожило душу влюбленного, как мысль о возможном отъезде Тадзио, и он не без ужаса признавался себе, что не представляет, как дальше жить, если случится такое.

В стремлении искать встреч, созерцать прекрасный облик он уже не соглашался полагаться на случай и привычный распорядок дня – он следовал за любимцем повсюду, он его выслеживал. По воскресеньям, к примеру, поляки на пляже не появлялись, и он, догадавшись, что они ездят к мессе, помчался на Сан-Марко и, нырнув из пекла площади в мерцающий золотом сумрак собора, и вправду узрел там ненаглядного отрока,

смирненно склоненного над молитвенником. Он отстоял всю службу почти у самых дверей, на щербатом мозаичном полу, среди коленопреклоненных, тихо вторящих литании богомольцев, и сусальное роскошество византийского храма тяжело давило ему на плечи. Вдалеке в громоздком златотканом облачении расхаживал, кадил и пел священник, курился ладан, сизой дымкой окутывая немощные огоньки алтарных свечей, и к сладковатому благовонию жертвенного окуривания примешивался иной, почти неприметный запах заболевающего города. Но даже сквозь чад и мерцающие блики Ашенбах увидел, как прекрасный юноша там, впереди, повернул голову, поискал его глазами – и заметил.

Когда служба закончилась и толпа через распахнутые врата порталов повалила на заполоненную голубями, залитую солнцем площадь, зачарованный влюбленный скрылся в преддверье храма, – он спрятался, затаился в засаде. Он видел, как покидает собор польское семейство, подсмотрел, как чинно прощаются сестрицы с матерью, которая, покинув их, направляется в сторону Пьяцетты; убедившись, что любимец вместе с сестрами и гувернанткой двинулись направо, к воротам часовой башни, откуда начинаются торговые ряды Мерсерии, он дал им уйти вперед и только затем последовал за ними, украдкой, тайком сопровождая их в прогулке по Венеции. Ему приходилось останавливаться, когда замедляли шаг они, скрываться в подворотнях и харчевнях, чтобы пропустить их, когда они вдруг поворачивали; потеряв их из виду, он в панике бросался на поиски, мечась по мостам и грязным закоулкам, и обмирал от страха и стыда, внезапно заведя их идущими навстречу в узком проходе, где разминуться, казалось, уже невозможно. И все же ошибкой было бы думать, будто он страдал. Ибо его одурманенные голова и сердце, его шаги подчинялись велениям демона, чья излюбленная забава – растоптать разум и достоинство человека.

Какое-то время спустя гувернантка, должно быть, подозвала гондолу, и Ашенбах, наблюдавший за тем, как они садятся, – он прятался сперва за углом, потом за фонтаном, – едва выждав, когда они отплывут, тоже кинулся к причалу. Впопыхах, сдавленным шепотом, посулив гондольеру щедрые чаевые, он приказал следовать за лодкой, которая только что скрылась за поворотом, но незаметно, на расстоянии, и опомнился, только когда гребец, в тон ему, с хваткой угодливостью сообщника, заверил, что все будет исполнено, немедленно и в лучшем виде.

И вот, покаясь и покачиваясь на черном плюше, влекомый страстью, он скользит по волнистому следу за другим черным клювоносый челном. Временами лодка впереди исчезает – тогда его охватывает тоскливая

тревога. Однако его кормчий, видно, весьма искушенный в подобных поручениях, всякий раз умеет ловким маневром, сократив путь то боковым, то поперечным каналом, вернуть возделенную цель его беспокойному оку. Безветренный воздух напоен запахами, тяжелое солнце пробивается сквозь марево, озаряя сланцево-серое небо. Густая вода лениво хлюпает по дереву и камню. На оклики гондольера – не то приветствие, не то предупреждение, – в тиши водных лабиринтов подобием призрачного эха изредка доносится издали ответный оклик. С крохотных, непривычно высоких садовых террас по замшелым стенам свисают тяжелые гроздья соцветий, то белые, то пурпурные, источая терпкий аромат миндаля. Из мглистой дымки тут и там вдруг выплывает черный проем окна в ажурной обвязке мавританского орнамента. Ступени церкви сбегают к воде, на их мраморе пристроился нищий, с жалобным причитанием протягивая шляпу, он выкатывает глазные белки, прикидываясь слепцом; старьевщик из своей конуры в надежде хоть кого-то облапошить жестами зазывает проезжающих взглянуть на свои бесценные древности. Да, это Венеция, льстивая и коварная красотка, то ли сказка, то ли капкан для чужеземца, город, в чьем тленном воздухе некогда буйно расцветали искусства, город, чей облик дарил столь вкрадчивые, столь убаюкивающие мелодии своим музыкантам. И нашему искателю приключений казалось сейчас, что глаза и уши его не могут вдоволь насытиться пышностью этих картин, сладкозвучием этих мелодий, и хотя он помнил, что город болен, но из жажды наживы скрывает это, – он с тем пущим азартом следил за скользящей впереди гондолой.

Вконец потеряв голову, он ни о чем больше не желал знать и думать, кроме предмета распаленной страсти своей, жаждал следовать за ним неотступно, а не видя его, грезить о нем и, на манер всех любящих, дарить нежные слова его милой, незримой тени. Одиночество, чужбина и дурманное счастье позднего и глубокого чувства подбивали его без страха и зазрения совести решаться на самые дерзкие эскапады, как, к примеру, в один из вечеров, когда он, поздно возвратившись из Венеции, во втором этаже гостиничного коридора остановился у двери любимца и, не помня себя, прильнул лбом к косяку и долго так стоял, не в силах, да и не желая сдвинуться с места, несмотря на опасность быть застигнутым в столь постыдном, недвусмысленно безумном положении.

Впрочем, случались и минутные отрезвления, когда он хоть немного одумывался. «Какими судьбами! – проносилось тогда в его ошеломленном мозгу. – Какими судьбами!» Как всякий человек, которому природные дарования внушают некий дворянский интерес к собственной родословной,

он за все свои достижения и успехи привык мысленно благодарить предков, советоваться с ними, испрашивая их одобрения, признания, хотя бы согласия. Вот и сейчас, запутавшись в столь недопустимом увлечении, угодив в этакое экивокальное любострастие, он размышлял о предках, об их благопристойной выдержке, о неколебимой мужественности их, – с горестной улыбкой размышлял. Что сказали бы они? Впрочем, что они вообще сказали бы о всей его жизненной стезе, столь далеко, чуть ли не до опасных кордонов вырождения, отклонившейся от столбовых семейных путей, об этой жизни на галерах искусства, о которой сам он когда-то, совершенно в духе своих добропорядочных отцов, беспощадно высказался в язвительных юношеских заметках, и которая тем не менее в сути своей так походит на их отданные долженствованию жизни! Он ведь тоже служит, тоже изнуряет себя суровыми испытаниями выучки и долга; он тоже солдат, воин, подобно некоторым из них, ведь искусство – та же битва, война на износ, не на жизнь, а на смерть, и нынче в этой войне долго не проживешь. Преодоление себя, беспрестанное «вопреки всему», жизнь, полная терпкого упорства, выдержки, но и воздержания, – именно такую жизнь сделал он символом сублимированного, некичливого, подобающего нашему времени героизма, – да, ее вполне можно назвать мужественной, даже отважной, и, мнилось ему, что Эрос, овладевший им всецело, именно такой жизни более всего подобает и споспешествует. Разве не был он в особом почете у храбрейших народов, и разве не поведано в преданиях, что именно среди храбрецов расцветал он в их городах? Сколько героев, великих воинов древности, добровольно принимали на себя его иго, отнюдь не считая его унижением, немилостью прогневленных богов, и деяния, которые в иных случаях презренно сочли бы проявлениями трусости, – как-то падение ниц, мольбы, раболепие, – для влюбленного не были позором, напротив, служили к его чести и достаивались похвалы.

Вот какие доводы блуждали в буйной голове его, вот на что пытался он опереться в попытках сохранить достоинство. Но вместе с тем неотступно, с маниакальным и опасливым упорством, он продолжал наблюдать за разрастанием смертоносной порчи в Венеции, за зловещим внешним миром, которое где-то в темных безднах крови непостижимым образом сливалось с его собственным, питая его страсть смутными, нечестивыми грезами. В надежде почерпнуть свежие и достоверные сведения о продвижении или, быть может, отступлении бедствия, он жадно накидывался в кофейнях города на местные газеты, поскольку в его гостинице они со столика давно исчезли. Относительно числа заболеваний и смертных случаев цифры колебались, – то двадцать, то сорок, а то и

больше сотни, – однако самый факт эпидемии хотя и не опровергался категорически, но как бы принижался в масштабах ссылками на отдельные, эпизодические случаи заражения инфекцией, якобы завезенной извне. Все это перемежалось предостережениями граждан и негодующими протестами против нечистоплотной игры местных властей. Словом, ясности никакой.

Одиноким наш путешественник, полагая себя приобщенным к секретам, доступ к которым ему, иностранцу, явно возбранен, и питая соблазн извлечь из этого знания хоть какие-то выгоды, находил теперь особое удовольствие в том, чтобы ошарашивать людей, безусловно осведомленных, но обязанных молчать, каверзными вопросами, понуждая тех к прямой лжи. Именно так он однажды за завтраком привлек к ответу управляющего, того самого тихоню-коротышку во французском сюртуке, когда тот, прохаживаясь между столиками и учтиво здороваясь с постояльцами, задержался и подле Ашенбаха в намерении перекинуться парой ни к чему не обязывающих любезностей. С какой, собственно, стати, с нарочитой небрежностью, как бы между прочим проронил гость, с чего это вдруг по всей Венеции начали проводить дезинфекцию?

– Это по распоряжению полиции, – залебезил плут. – Исключительно в целях охраны здоровья населения и в связи с неблагоприятной, чрезвычайно жаркой и душной погодой, обязательные и весьма своевременные санитарные меры.

– Что ж, весьма похвальное усердие, – бросил Ашенбах, после чего, обменявшись с гостем еще несколькими метеорологическими наблюдениями, коротышка откланялся.

Случилось так, что вечером того же дня, после ужина, квартет уличных певцов и музыкантов, нагрянув из города, устроил концерт в саду перед их отелом. Двое мужчин и две женщины стояли под железной мачтой выгнувшего шею фонаря, вскинув вверх, в сторону гостиничной террасы, высвеченные белесым светом лица, а курортная публика, попивая кофе и прохладительные напитки, благосклонно наблюдала за простецким народным представлением. Гостиничные служащие, – лифтеры, официанты, конторские – робко поглядывали из дверей вестибюля. Русское семейство, желая насладиться зрелищем со всеми удобствами, потребовало вынести для себя в сад плетеные кресла, в коих удовлетворенно и расселось. За спинами господ в закрученном тюрбаном платке стояла раболепная старуха-прислуга.

Мандолина, гитара, гармонь и певучая, заливи́стая скрипка не знали устали в руках у нищих виртуозов. Инструментальные пьески сменялись

вокальными номерами, когда, к примеру, та из певиц, что помоложе, неожиданно сильным и резким контральто на пару с медоточивым, фальцетным тенором исполнила томный и страстный любовный дуэт. Однако подлинным талантом и душой всей труппы выказал себя второй музыкант, гитарист, обладатель не сильного, но удивительного голоса – в своем роде комический баритон, – наделенный к тому же незаурядными, на грани клоунады, актерскими способностями. Потешно выставив перед собой гитару, чуть великоватую для его тщедушной фигуры, он то и дело выходил поближе к публике, благодарно отвечавшей на его скоморошества одобрительным смехом. В особенности русские, из своего партера, в восторге от столь яркого южного темперамента, щедро награждали его аплодисментами и одобрительными выкриками, поощряя на все более дерзкие, задорные, даже неистовые выходы.

Ашенбах расположился у балюстрады, время от времени освежая губы шербетом из гранатового сока с содовой, что лучистым рубином мерцал перед ним в бокале. Зазывные аккорды пошлых, томительных мелодий он вбирал в себя всеми фибрами души, ибо страсть лишает человека вкуса, заставляя без разбора упиваться эффектами, над которыми он, будучи в трезвом уме, только усмехнулся бы или с брезгливостью отринул. От созерцания шутовских ужимок и прыжков там, внизу, на лице его застыла странная, мучительная улыбка. Он сидел весьма непринужденно, хотя внутри все дрожало от напряжения: ведь совсем рядом, шагах в шести, прислонившись к каменным перилам, стоял Тадзио.

Да, он стоял там в своем белом костюме, в котором иногда появлялся к ужину, стоял с неотразимой прирожденной грацией, скрестив ноги, левая рука на балюстраде, правая на поясе, и то ли с тенью улыбки, то ли просто с вежливым любопытством смотрел вниз, на уличных музыкантов. Иногда он выпрямлялся, расправляя грудь и попутно изящным движением рук слегка одергивая полы белой подпоясанной куртки. Но изредка – и тогда наш стареющий влюбленный, хоть и содрогаясь от ужаса, хоть и почти лишаясь рассудка, внутренне ликовал, – юноша то робко, почти боязливо, то вдруг неожиданно решительно и быстро, словно желая застать кого-то врасплох, оборачивался через левое плечо в сторону своего обожателя. Взгляды их не встречались – постыдная боязнь заставляла Ашенбаха в панике прятать глаза. К тому же где-то позади, в глубине террасы, сидели женщины, опекавшие Тадзио, и дошло уже до того, что наш влюбленный стал побаиваться, не бросается ли в глаза, не выглядит ли подозрительным его поведение. Да, не в первый раз, внутренне обмирая от ужаса и стыда, он примечал и на пляже, и в гостиничном вестибюле, и на площади Сан-

Марко, как эти женщины, завидев его, подзывают Тадзио к себе, стараются держаться от него подальше, – он осознавал всю оскорбительность подобного отношения, до глубины души уязвлявшего его гордость, однако ощутить негодование или хотя бы обиду ему не позволяла совесть.

Гитарист меж тем начал сольный номер, затянув длинную, безумно популярную по всей Италии песню, которую, едва дело доходило до припева, дружным порывом всех голосов и инструментов подхватывали остальные музыканты, а сам он весьма умело сопровождал выразительной актерской игрой. Сложения скорее щуплого, с костистым, изможденным лицом, выйдя чуть вперед, сдвинув на затылок потрепанную фетровую шляпу, из-под полей которой упрямо выбивался рыжий чуб, он стоял на утрамбованном щебне садовой дорожки в уверенной, даже нахальной позе знающего свое дело артиста, и под перебор гитарных струн то напевом, то речитативом бросал вверх, на террасу, забористые куплеты, а на лбу его, то ли от напряжения голоса, то ли от творческого азарта, прорезая борозды морщин, вздувались жилы. Обличьем совсем не венецианец, он походил скорее на скоморохов-неаполитанцев – не то сутенер, не то комедиант, жестокий и дерзкий, опасный и уморительный. И песенка его – в сущности, пустяковая безделка – благодаря смачной мимике, энергичным жестам, шутовской манере то многозначительно подмигивать, то похотливо облизывать губы, обретала двусмысленную, с налетом похабщины, подоплеку. Из ворота спортивной блузы, накинутой поверх обычной одежды, торчала тощая шея с огромным, резко выступающим, неприятно подвижным кадыком. Безбородое, бледное и потому как будто голое, курносое лицо, в чертах которого почти не угадывался возраст, казалось, сплошь изборождено кривлянием и пороком, а блудливую ухмылку подвижного рта только сильнее оттеняли две суровые, грозные складки, с угрюмой властностью и даже каким-то буйством залегшие между рыжих бровей. Более всего, однако, внимание нашего одинокого наблюдателя привлекла вот такая странность: подозрительный субъект, казалось, обладает таинственной способностью и всему происходящему придавать налет опасной двусмысленности. К примеру, когда дело доходило до припева, певец с дурашливыми ужимками волчком пускался по кругу, приплясывая и на ходу пожимая зрителям руки, а поскольку пробежка происходила поблизости от Ашенбаха, в нос всякий раз явственно шибал запах карболки, волною поднимавшийся к террасе от одежды, волос и, похоже, от всего тела гитариста.

Закончив куплеты, он пошел собирать денежки. Начал с русских, которые, сразу видно, платили щедро, потом поднялся на террасу. Сколь

нахально он держался при исполнении песни, столь же униженно лебезил здесь, наверху. Шел между столиками крадучись, юля, отбивая поклоны, подобострастно скаля крепкие зубы в угодливой улыбке, хотя две складки меж рыжих бровей по-прежнему грозно хмурили лоб. Все с безразличным любопытством поглядывали на это существо, столь вульгарным способом вынужденное добывать хлеб свой насущный, и кончиками пальцев бросали монетки в замызганную шляпу, опасаясь ненароком к ней прикоснуться. Ибо неожиданно близкий контакт, разрыв подобающей дистанции между комедиантом и «приличной публикой», сколько бы удовольствия тот ей ни доставил, всегда производит эффект неловкости. Фигляр это чувствовал и преувеличенной униженностью как бы извинялся. Наконец, он приблизился к Ашенбаху, неся с собой и запах, которого никто вокруг, похоже, не замечал.

– Скажи-ка, – бросил Ашенбах негромко, нарочито безразличным тоном, – всю Венецию дезинфицируют. С чего вдруг?

– Так ведь полиция же! – хрипло ответил скоморох. – Предписание, господин хороший. В такую жару, да еще сирокко. Сирокко давит, продохнуть не дает. Для здоровья нехорошо. – Он говорил, как бы удивляясь, что приходится объяснять столь очевидные вещи, и даже ладонью показал, как давит сирокко.

– Значит, никакой беды в городе нет? – сквозь зубы, совсем тихо спросил Ашенбах.

Гуттаперчевая физиономия шута передернулась в гримасе комического изумления:

– Беды? Какой еще беды? Это сирокко, что ли, беда? Или, скорее уж, наша полиция беда? Шутки шутить изволите, сударь! Беда! Еще чего! Упреждающие меры, как вы не понимаете! Распоряжение полиции, ввиду скверной погоды. – Он все неистовей махал руками.

– Ладно, – по-прежнему коротко и тихо процедил Ашенбах, роняя в протянутую шляпу неподобающе крупную монету. И взглядом приказал фигляру убираться. Униженно кланяясь и скалясь в ухмылке, тот повиновался; однако на подходе к лестнице на него напали двое официантов и, чуть ли не взяв за грудки, шепотом учинили бедняге перекрестный допрос. Тот пожимал плечами, клялся и божился, что ничего недозволенного не сказал, и было видно, что не врет. Наконец его отпустили, он вернулся в сад и, наспех посоветовавшись с товарищами все под тем же гнутым фонарем, объявил, что выступит с заключительным номером.

Ашенбах, одинокий скиталец, сколько ни пытался припомнить,

никогда не слышал этой песенки – шаловливой, дерзкой, на непонятном диалекте, где вместо припева звучал только смех, дружно, во все горло подхватываемый всеми оркестрантами. В конце каждого куплета и слова, и музыка умолкали, оставался только странный, вроде бы ритмичный, но – в первую очередь благодаря незаурядным талантам солиста – донельзя натурально имитируемый смех. Восстановив между собой и господами прежнюю, подобающую дистанцию, гаер вновь обрел былое нахальство и теперь бесцеремонно запуская вверх, в сторону террасы, шутихи притворного, якобы разбирающего его смеха, да что там – издевательского хохота. Уже на подступах к заключительной рифме его, казалось, начинает необоримо одолевает щекотка. Голос его срывался, он всхлипывал, прикрывая рот рукой, плечи его предательски содрогались, и в нужный миг, словно лопнув, он с истошным воем разражался приступом неудержимого, необузданного гогота, настолько естественного и заразительного, что коварная бесовщинка веселья немедля перекидывалась на публику и вскоре уже вся терраса дурашливо и дружно, без видимых причин и смысла, хватаясь за бока, покатывалась со смеху. И этот зримый успех, похоже, только удваивал разнузданность исполнителя. Колени его подгибались, он хлопал себя по ляжкам, его корчило, он силился и не мог остановиться, и уже не смех, а то ли стон, то ли крик исторгался из него, он тыкал пальцем в сторону публики, словно ничего потешнее, чем хохочущие господа там, наверху, на свете нет, и под конец уже все присутствующие, в саду и на террасе, включая маячивших у дверей лифтеров и портье, швейцаров и официантов, – все смеялись до упаду.

Ашенбах уже не сидел, вальяжно откинувшись в кресле, он весь подался вперед, то ли порываясь удрать, то ли изготавившись защищаться. Громкий хохот вокруг, бьющий в ноздри больничный запах, близость прекрасного любимца – все неразрывно сплелось в мучительное и сладостное смятение ума и чувств, туманное и неотвязное. Он рискнул даже – благо все увлечены и отвлечены другим – взглянуть на Тадзио, и сразу увидел, что тот тоже на него смотрит, причем отвечает таким же глубоким, серьезным, понимающим взглядом, словно уловив его настроение и не желая обращать внимание на всеобщее веселье, раз Ашенбаха оно не затронуло. И эта открытая, доверчивая, детская готовность к единому до того его потрясла, что седовласый обожатель лишь с трудом удержался, чтобы не спрятать лицо в ладонях. И тут же мелькнула мысль, что Тадзио, должно быть, неспроста время от времени распрямляется и вздыхает, будто ему мало воздуха, будто что-то теснит ему грудь. «Он болезненный мальчик и вряд ли доживет до старости», – подсказало что-то внутри с

трезвой рассудительностью, какая странным образом сопутствует подчас дурману страсти, и щемящая тревога вперемешку с корыстным удовлетворением захлестнула сердце.

А музыканты уже закончили представление и уходили. Их провожали рукоплесканиями, и по такому случаю шельмец-главарь не преминул скрасить прощание парочкой трюков. Он потешно расшаркивался, целовал ручки, вызывая взрывы смеха, что только вдохновляло его на новые фортели. Наконец, когда товарищи уже вышли из сада, он, попятившись, с нарочитой неловкостью налетел на фонарный столб и, корчась от притворной боли, заковылял к своим. И только за воротами, мигом сбросив с себя личину недотепы, выпрямился, даже взвился всем телом, и, нагло показав на прощание зрителям язык, сгинул во тьме. Рассеялась мало-помалу публика, давно уже и Тадзио не стоял у балюстрады, и только Ашенбах долго еще, к молчаливому недовольству официантов, одиноко сидел за своим столиком перед недопитым гранатовым шербетом. Надвигалась ночь, исчезало время. В родительском доме, много лет назад, вспомнилось ему, были песочные часы, – он вдруг будто наяву снова увидел маленький прибор, столь хрупкий и важный в своем назначении. Мелкие ржаво-красные песчинки шустро утекали сквозь узкую горловину, и когда наверху песка оставалось совсем чуть-чуть, в нем вдруг подобием крохотного водоворота образовывалась коварная, затягивающая воронка.

На следующий же день после обеда неисправимый упрямец предпринял новый шаг, дабы из своего внутреннего мира бросить вызов миру внешнему – на сей раз, как выяснилось, с предельным успехом. На площади Сан-Марко он зашел в расположенное там английское бюро путешествий и после того, как разменял в кассе деньги, изобразив на лице наивную мину туповатого иностранца, обратился к обслужившему его клерку со своим сакраментально-бестактным вопросом. Это был аккуратный британец, в добротном шерстяном костюме, еще молодой, с безупречным пробором посередке, близко посаженными глазами и той образцовой добропорядочностью манер, какая, тотчас бросаясь в глаза, столь странно и чужеродно смотрится на безалаберном, плутоватом юге.

– Не о чем беспокоиться, сэр, – начал тот. – Рядовое мероприятие, не обращайтесь внимания. Здесь это часто делается, для защиты от вредоносного воздействия сирокко.

Но, вскинув свои чистые голубые глаза, он встретил усталый, чуть презрительный взгляд клиента, с горьковатой усмешкой устремленный на его губы.

– Такова, – продолжил он тоном ниже и с явным смущением в

голосе, – официальная версия, которой всем здесь настоятельно рекомендовано придерживаться. Но вам я скажу: за этим еще кое-что кроется. – И тогда, на своем прямом и практичном наречии, он поведал правду.

Вот уже много лет индийская холера обнаруживала опасную склонность к распространению за привычные пределы своего обитания. Зародившись в теплой, болотистой дельте Ганга, набрав силу в смрадном дыхании буйных, непроходимых, опасно избегаемых людьми первозданных джунглей, где в бамбуковых чащобах затаился грозный тигр, эта зараза долго и с необычайной лютостью свирепствовала по всему Индостану, на востоке перекинувшись в Китай, на западе – в Афганистан и Персию, и, просачиваясь по караванным путям, донесла свои убийственные флюиды до Астрахани и даже до Москвы. Но пока Европа тряслась от страха, что оттуда смертоносный призрак доберется до нее по суше, он, завезенный сирийскими купцами по воде, почти одновременно объявился сразу в нескольких портах Средиземноморья, ощерив свой оскал в Тулоне и Малаге, уже несколько раз показав зубы в Неаполе и Палермо, а во всей Каларбрии и Апулии, похоже, поселился надолго. Север полуострова до поры до времени зараза щадила. Однако в середине мая этого года в один и тот же день в Венеции смертоносные ее вибрионы были обнаружены в иссохших, почерневших трупах портового грузчика и зеленщицы. О двух этих случаях решено было умолчать. Однако неделю спустя их стало уже двадцать, тридцать, причем в разных концах города. Приезжий австриец, надумавший несколько дней в Венеции поразвлечься, вернувшись домой в свой провинциальный городишко, вскоре скончался при столь явных и характерных симптомах, что первые слухи о бедствии в городе каналов и гондол просочились в немецкие газеты. Венецианские власти в ответ поспешили заявить, что охрана здоровья в городе поставлена как никогда хорошо и предприняли срочные санитарные меры. Однако инфекция, судя по всему, уже проникла в продукты питания, в овощи, мясо, в молоко, ибо мор, сколько его ни пытались скрывать и отрицать, сеял и пожинал смерть в тесноте переулков, а преждевременно нагрянувшая летняя жара, подогревая воду в каналах, злокозненно ему пособничала. Казалось, что зараза только все больше входит в раж, что живучесть и плодовитость ее возбудителей только усиливается. Случаи выздоровления отмечались редко, из сотни заболевших умирали восемьдесят, причем в ужасных муках, ибо болезнь свирепствовала с неимоверной лютостью, проявляясь зачастую в самой опасной, так называемой «сухой» форме, когда организм не имеет сил освободиться от выделений, отравленных

проникшими в кровь инфекционными ядами. В течение нескольких часов больной, кровь которого густеет, как смола, буквально иссыхал на глазах, испуская дух в судорогах и хриплых столах. Если везло – а такое иногда случалось, – то недуг после легкого недомогания сразу переходил в глубокий обморок, от которого больному чаще всего уже не суждено было очнуться. В начале июня карантинные «чумные» бараки Гражданского госпиталя, куда втихаря свозили заболевших, оказались переполнены, вскоре стало не хватать места в обоих сиротских приютах, и уж совсем жуткое в своей траурной оживленности движение установилось между набережной Фондаменте Нуово и кладбищенским островом Сан-Микеле. Однако всеобщая боязнь убытков, опасения за судьбу только что открытой выставки картин в общественных садах, а тем паче угроза неимоверного ущерба, который при разрастании слухов и вследствие возникновения паники понесут гостиницы, коммерция и вся необозримая туристическая отрасль, взяли в городе верх над честностью и уважением к общепринятым международным нормам, что побудило местные власти и дальше упорствовать в политике замалчивания и отрицания очевидных фактов. Главный врач города, заслуженный и уважаемый человек, в негодование ушел в отставку, на смену ему нашли и по-тихому назначили другого, более покладистого. И хотя люди все знали, продажность в верхах вкупе с общей растерянностью, в какую повергли город размах и свирепость лютующего бедствия, повлекли за собой упадок нравов и в низших слоях, поощряя разгул темных, асоциальных инстинктов, имевший следствием рост неводержанности, преступности и разнузданного бесстыдства. Против обыкновения вечерами в городе появилось много пьяных; поговаривали, что ночью по улицам стало небезопасно ходить, множились случаи разбойных нападений и даже убийств, причем уже два раза было установлено, что людей, якобы павших жертвами мора, на самом деле с помощью яда спровадили на тот свет их близкие; особо пышным, поистине махровым цветом расцвело продажное распутство – с такой навязчивостью, в столь откровенном виде оно здесь прежде не практиковалось, только на юге италийского полуострова и в странах Востока.

Вот о чем, в общем и в частности, поведал Ашенбаху англичанин.

– Так что вам, сударь, – заключил он, – стоит уехать, и чем скорее, тем лучше. Не сегодня-завтра город вообще закроют на карантин.

– Благодарю вас, – ответил Ашенбах и вышел из конторы.

Площадь пласталась перед ним в бессолнечном удушье. Беспечные, благостные иностранцы сидели за столиками перед кафе или торчали перед собором, радостно позволяя голубям садиться себе на плечи, на голову и с

удовольствием наблюдая, как птицы, налетая скопом, бия крыльями и отпихивая друг дружку, склевывают с ладоней кукурузные зерна. В лихорадочном возбуждении, ликуя, что наконец-то дознался правды, но не в силах подавить гадкий привкус во рту и неимоверный ужас в сердце, одинокий странник беспокойно расхаживал по каменным плитам площади. Он обдумывал благородный очистительный поступок. Сегодня же вечером, после ужина, можно подойти к даме в жемчугах и сказать ей слова, которые он сейчас и подбирал: «Позвольте, мадам, хоть и не имея чести знакомства с вами, дать вам совет, даже остеречь вас, сколь бы нелепым и безрассудным ни покажется вам мое предложение. Уезжайте, немедленно уезжайте, вместе с Тадзио и дочерьми! В Венеции эпидемия!» После чего и сам он, на прощание возложив руку на чело прекрасного отрока, ставшего орудием коварного божества, сможет, наконец, вырваться из трясины, отвернуться и бежать. Но в глубине души он чувствовал, сколь бесконечно далек от такого благородства, насколько претит этот шаг его желаниям. Да, шаг этот вернул бы его назад, к самому себе; однако для того, кто вне себя, нет ничего страшнее подобного возвращения. Ему вспомнилась белая часовня со сверкающей в закатных лучах позолотой надписей, в мерцающий мистический смысл которых он углублялся духовным оком, вспомнилась и диковинного вида странник, чей облик пробудил в стареющей душе юношеский порыв к чужеземным далям; и сама мысль о возвращении, о трезвом благоразумии, о тягостной лямке и муках мастерства показалась до того тошной, что гримаса физического отвращения невольно передернула лицо. «Надо молчать!» – сорвалось с губ страстным шепотом. И снова: «Буду молчать!» Сознание совинности своей, своего преступного соучастия пьянило, как опьяняет усталый мозг даже легкая выпивка. Воображению рисовались картины безлюдного, опустошенного бедствием города, наперекор рассудку распаляя в душе сладостные, неимоверные упования. Что ему скудное счастье мимолетной ласки, пригрезившейся секунду назад, рядом с такими-то чаяниями? Что ему искусство, что ему вся добродетель в сравнении с блаженствами хаоса? Он промолчит. Он останется.

Той же ночью ему привиделся жуткий сон – если только можно считать сном поразительно явное, почти осязаемое духовно-телесное переживание, хоть и свершившееся, когда он крепко спал, однако происходившее как бы вне времени и пространства; пространством сна была скорее сама его душа, а события как бы врывались в нее извне, всюю необоримой мощью опрокидывая сопротивление – глубокое, отчаянное сопротивление – его разума, которое они сминали шутя, сминали и

обращали в ничто само его бытие, все культурное и человеческое в его жизни.

Вначале был страх, страх и похоть, и ожидание предстоящего, полное ужаса и любопытства. Вокруг царила ночь, и все чувства были начеку, ибо откуда-то издали нарастал, приближаясь, слитно-дробный рокот, то ли утробный хрип, то ли шорохи, глухие раскаты, потом пронзительные вскрики, завывания, иссякающие протяжным, надрывным, нескончаемым «у-у-у», и все это вперемешку, жутко и сладостно сливалось с глубоким, воркующим, бесстыдно-настойчивым пением флейты, которое блудливо и страстно проникало в самую глубь его существа. Но он ведал слово, темное, однако дающее имя всему этому наваждению: «Чуждый бог». Уже повеяло гарью, дохнуло огненным жаром, и он узрел гористую местность, схожую с той, что крутыми склонами обступает его летний дом. И в зыбких всполохах света с лесистого гребня, прорываясь между стволов, замшелых валунов и утесов, колышась и дробясь, вниз сходила лавина – люди, звери, толпы, неистовые орды катились по склону вниз, заполняя округу телами, огнями, сутолокой и кружением диких, шальных хороводов. Женщины, путаясь и спотыкаясь в звериных шкурах, спущенных до пояса, вопя и стеная от экстаза, кто потрясая бубном над исступленно запрокинутой головой, кто размахивая обнаженным кинжалом или рассыпающим искры факелом, с извивающимися змеями в руках, похотливо обхватив и тиская собственные груди, мужчины с рогами на головах, с мехами на чреслах, сами волосатые почти как звери, набычив лбы, по-медвежьи приплясывая, били в литавры и тимпаны, а тут же, рядом, белея наготой безволосой кожи, мальчики верхом на козлах, уцепившись за рога, подгоняя животных суковатыми, увитыми зеленью дубинками, сопровождали восторженным гиканьем прыжки и взбрыкивания перепуганной скотины. Всеобщий вой сливался в неистовый, несмолкаемый клич, где глухую невнятность начальных звуков звериной мощью перекрывало протяжное, исступленное «у-у-у» на конце, полное неслыханного, лютого блаженства, – он взмывал ввысь и несясь вдаль, как трубный олений рев порою гона, и возвращался долгим, многоголосым эхом ликования и разгула, еще сильнее разжигая буйство разнузданных телодвижений. И над всем этим царили, все пронизывали низкие, томительные рулады флейты. Разве бесстыдной настырностью своей не зазывали они и его, пока еще невольного соучастника, к празднеству и забытию наивысшей жертвы? Да, велико его отвращение, велик его страх, несомненна его воля до последнего отстаивать себя перед чуждой силой, перед этим врагом самообладания и достоинства человеческого. Однако зверский вой, подхватываемый горным

эхом, нарастал, полня все и вся необоримым безумием. Усугубляя дурман, в нос ударяли запахи – вонь козлов, потная испарина разгоряченных тел, затхлость, как от загнившей воды, а главное – хорошо знакомый, вездесущий и всепроникающий душок лазарета, бинтов, повального мора. Сердце колотилось в такт литаврам, голова шла кругом, от лютой ярости темнело в глазах, неистовым биением крови внутри вскипало вожделение, душа рвалась влиться в пьянящие пляски бога. Откуда ни возмись надо всем взмыл и восстал срамной символ, огромный, деревянный, бесстыдный – и общий вопль усилился. Бесновались уже с пеной у рта, распаляя друг дружку конвульсиями тел, хватками рук, стонами, хихиканьем, хохотом, до крови лущуя друг друга дубинками и жадно эту кровь слизывая. Но теперь уже в них, с ними бесновался и подпавший чарам чуждого бога сновидец. Да, они были им, в нем, когда набрасывались на животных, приканчивали и разрывали в клочья, жадно впиваясь зубами в дымящееся мясо, и когда на изрытых податливых мхах началось свальное соитие всех со всеми – в жертву богу. И душа его отведала блуда и познала гибельное забытье.

От кошмара он пробудился едва живой, разбитый, – безропотным рабом своего демона. Его уже не страшили косые взгляды окружающих, ему не было дела до чьих-то подозрений. К тому же они спасались бегством, уезжали – большинство кабинок на пляже опустели, в ресторане зияли бреши незанятых столиков, в городе почти не видно было иностранцев. Надо полагать, правда все-таки просачивалась в народ, и, невзирая на ожесточенное сопротивление всех заинтересованных в ее сокрытии, панику было уже не остановить. Однако дама в жемчугах вместе с семейством по-прежнему оставалась здесь – либо слухи до нее еще не дошли, либо она была слишком горда и бесстрашна, чтобы их пугаться; и Тадзио оставался, а его одержимому обожателю иной раз грезилось, как лютоющий мор и повальное бегство очистят весь остров от помех докучливой житейской суеты, оставив его один на один с прекрасным отроком, – да, когда по утрам на пляже он не сводил с предмета страсти свой тяжелый, забывший о приличиях взор, когда на склоне дня гнусно выслеживал его в переулках, где, все еще инкогнито, хозяйничала чумная погибель, самое немыслимое казалось ему вполне сбыточным, а нравственный закон – очень даже зыблемым.

Как влюбленный юнец, он жаждал нравиться и обмирал от горя и ужаса при мысли, что желание это, может стать, несбыточно. К своему костюму он подбирал молодящие аксессуары, он полюбил драгоценные камни, то и дело опрыскивался духами, по несколько раз на дню долго и

тщательно занимался своим туалетом, а к столу выходил напомаженным, неестественно оживленным, с ищущим блеском в глазах. Перед лицом пленительной и пленившей его юности ему опротивело собственное стареющее тело, глядя на свои седины, на заострившиеся черты, он готов был умереть от уныния и стыда. Хотелось освежить, обновить себя, и он все чаще навещался к гостиничному парикмахеру.

Закутанный в пудермантель, откинувшись в кресле, Ашенбах под заботливыми руками говоруна страдальчески созерцал свое отражение в зеркале.

– Совсем седой, – буркнул он, скривившись.

– Есть малость, – отозвался тот. – А все от невнимания к себе, от безразличия к собственной внешности, что для выдающегося человека вообще-то вполне понятно, но отнюдь не похвально, тем паче что как раз таким людям уж совсем не пристало иметь предубеждения, противопоставляя натуральное искусственному. Если бы строгость, с какой иные господа порицают достижения современной косметики, они распространили на собственные зубы, их вид, полагаю, мало кому пришелся бы по вкусу. В конце концов, нам столько лет, на сколько мы себя чувствуем душой и сердцем, и седые волосы иной раз обманывают куда больше, чем обманывала бы небольшая поправочка внешнего вида, не упустим мы возможность вовремя ее сделать. В вашем случае, сударь, вполне уместно претендовать на естественный цвет волос. Вы позволите вам его вернуть?

– Это как? – опешил Ашенбах.

Вместо ответа сладкоречивый цирюльник промыл ему волосы в двух водах – сперва в чистой, потом в темной, и те стали черными, как в молодые годы. Раскаленными щипцами он слегка уложил их мягкими волнами и, отступив на шаг, придирчиво оглядел дело рук своих.

– Осталось только, – изрек он, – немного освежить лицо.

И как творец, не зная удержу в стремлении к совершенству, он, все более входя в раж, принялся подправлять и улучшать то одно, то другое. Ашенбах, с удобствами раскинувшись в кресле, не имея воли и охоты перечить, а пожалуй, даже приятно взволнованный происходящим, наблюдал, как там, в зеркале, ровнее и строже делается разлет бровей, удлиняется разрез глаз, как благодаря легкой подводке век в зрачках блеснула искра, с изумлением следил, как в подглазьях, где давно отталкивала взгляд бурая сетка стариковских морщин, тронутая кремом кожа расцветает нежным кармином, как его губы, еще минуту назад белесобескровные, наливаются пурпуром, как борозды, пролегшие по щекам,

вокруг рта, лучами расходящиеся от глазниц, разглаживаются после волшебных бальзамических втираний, – не в силах унять сердцебиение, он видел перед собой цветущего юношу. Наконец, косметический чудодей удовлетворился достигнутым, по обыкновению своего ремесла подобострастно поблагодарив клиента, которого столь рьяно обслуживал.

– Казалось бы, пустяк, – с деланной скромностью заметил он, подправляя последние, совсем уж мелкие штрихи во внешности Ашенбаха, – зато теперь, сударь, смело можете влюбляться.

Ашенбах уходил ошеломленный, не чуя под собой ног то ли от счастья, то ли от страха. На груди у него алел галстук, а на тулье, над широкими полями соломенной шляпы, кокетливо пестрела разноцветная лента.

С моря задувал теплый штормовой ветер, изредка бросая с неба охапки мороси, но в воздухе по-прежнему стояла влажная духота и подванивало гнилью. В ушах посвистывало, завывало и хлюпало, слой грима неприятно холодил кожу, и сквозь этот озноб моложавому мечтателю казалось, будто это ветровые духи затевают над водой нечестивые игрища, а морские стервятники на лету рвут на куски и жадно, вперемешку со своим же пометом, склевывают последнюю трапезу висельника. От удушья аппетита не было вовсе, да и невозможно было отделаться от мысли, что всякая еда заражена инфекцией.

Как-то после обеда, следуя за ненаглядным любимцем, Ашенбах все дальше углублялся в хитросплетения улочек и переулков зачумленного города. Заплутав в лабиринте набережных, каналов, мостов, небольших площадей, – все они казались на одно лицо, – не надеясь и на подсказку насупленного неба, снедаемый лишь заботой не упустить из виду вожденную цель, вынуждаемый вдобавок к постыдной скрытности, заставлявшей его то прятаться за спинами прохожих, то пугливо вжиматься в стены домов, он давно уже не замечал, ведать не ведал, насколько измотаны, истощены его тело и дух беспрестанным напряжением чувств. Тадзио шел за своими, чуть поотстав, в узеньких улочках он уже по привычке пропускал вперед воспитательницу и сестер, а сам в одиночестве брел следом, изредка оглядываясь через плечо, дабы удостовериться в неотступном сопровождении своего поклонника. Взгляд его бездонно-дымчатых глаз находил обожателя – и никому не выдавал. Теряя голову от одной лишь этой мысли, привороженный одним лишь этим взглядом, несчастный влюбленный, словно ослик за морковкой, плелся вперед и вперед следом за своей постыдной надеждой – покуда та вдруг внезапно не скрылась из глаз. Взойдя на крутой мостик, поляки лишь на пару секунд

исчезли из виду, а когда он на этот мостик взбежал, их уже и след простыл. Тщетно он озирался, смотрел направо, налево, прямо, тщетно рыскал по всем трем направлениям в узких грязных улочках и по такой же вонючей набережной, – все напрасно. В конце концов приступ внезапной слабости и опустошения вынудил его прекратить поиски.

Голова пылала, все тело покрылось липкой испариной, в затылке ощущалась какая-то дрожь, невыносимая жажда одолевала его, он озирался в поисках хоть чего-то, что способно ее утолить. На лотках зеленой лавки он углядел клубнику, купил себе мягких, переспелых ягод и тут же, на ходу, съел. Вскоре перед ним распахнулась укромная площадь, небольшая, заброшенная, вся как будто заколдованная, и он тотчас узнал ее: да, это здесь пару-тройку недель назад он обдумывал план своего неудавшегося бегства. Прямо посреди площади, возле водоема, он опустился на ступени, прильнув головой к холодному камню ограждения. Вокруг было тихо, между плитами мостовой пробивалась мурава. Повсюду валялся мусор. Среди обступивших площадь обветшалых, разновысоких зданий выделялось одно – почти дворец, со стрельчатыми окнами, глядевшими черными провалами пустоты, и миниатюрными балконами со львами. Рядом виднелась вывеска аптеки. Теплые порывы ветра доносили запах карболки.

Так он и сидел, увенчанный лаврами мастер, автор знаменитого рассказа «Ничтожество», где в безупречно отточенной форме отринуты соблазны богемы и прочие омуты жизни, порицается сомнительная тяга к безднам, а все презренное удостоено презрения, он, взошедший к вершинам, поднявшийся над высотами познания, неуязвимый для любой иронии, привычно окруженный благоговением почитателей, он, чья слава, чье имя официально облечены признанием властей и дворянством, он, чей слог предъявляется юношеству в качестве безусловного образца, – сидел, немощно смежив веки, из-под которых изредка, украдкой, стрелял по сторонам плутовато-смущенный взгляд, а с дряблых губ, нелепо подкрашенных косметикой, время от времени, обрывками бреда, что проносится сквозь полудрему сознания, срывались отдельные, невнятные слова.

– Ибо красота, Федр, – заруби себе на носу! – только красота божественна и вместе с тем доступна взору, а значит, лишь она одна, Федр, мальчик, и есть путь чувственного познания, путь художника к вершинам духа. Но веришь ли ты, мой милый, что можно сподобиться мудрости и истинно мужского достоинства, восходя к вершинам духа путем чувственности? Или ты скорее полагаешь – выбор я предоставляю тебе –

что этот опасно-сладостный путь на самом деле есть путь заблуждения и греха, с неизбежностью ведущий в беспутье? Ибо, да будет тебе известно, мы, художники слова, не в силах следовать путем красоты, если не прибьется к нам в проводники, а то и в вожатые, пресловутый Эрос; да, какими бы героями, какими бы благородными воинами мы ни представляли в собственных глазах, на поверку все мы просто бабы, и возвышает нас всего лишь страсть, а все томления наши живут только любовью, – тут и улада наша, и наш позор. Теперь ты понимаешь, что мы, художники слова, не в силах сподобиться ни мудрости, ни достоинства? Что мы с неизбежностью влечемся в беспутье, с неизбежностью обречены на сердечные авантюры и блудливые шашни? Что вся хваленая мастеровитость нашего письма – надувательство и шарлатанство, наши слава и почет – жалкий фарс, уважительное доверие толпы – посмешище, а просвещение народа и воспитание юношества средствами искусства – весьма опасное, чтобы не сказать преступное предприятие. Как может быть воспитателем тот, кого от рождения манят бездны? Мы можем это влечение отрицать, напускать на себя личины достоинства, но, как ни вертись, они нас притягивают. Поэтому, кстати, мы и отрекаемся от всепроникающего познания, ведь познанию, Федр, чужды строгость и достоинство, – оно постигает, понимает и приемлет, а значит, прощает все подряд, без удержу и разбора; оно питает симпатию к безднам, оно и есть бездны. А коли так – мы его решительно отринем, и впредь все наши упования устремлены к красоте, то бишь к строгой соразмерности простоты и величия и, значит, к другой безудержности – безудержности упоения формой. Однако форма и безудержность упоения, Федр, прямиком ведут к дурману и вожделению и вполне могут подбить даже благородный дух на мерзостное растление чувств, какое с брезгливым ужасом отвергает прекрасная строгость разума, – выходит, и они ведут к безднам, и они тоже. Нас, художников слова, они ведут именно туда, ибо не к воспарению влечет нас, но к отклонениям. А теперь я пойду, Федр, а ты оставайся, и лишь когда я скроюсь из виду, уходи и ты.

* * *

Несколько дней спустя Густав фон Ашенбах, чувствуя себя неважно, в утренний час шел из отеля позже обычного. Превозмогая легкие приступы дурноты – пожалуй, не только телесного свойства, ибо они сопровождались накатами жуткого страха и растерянности, – он ничего не мог поделать с

гнетущим чувством безысходной тоски, тщетно пытаясь понять, относится оно к внешнему миру вообще или только к его собственному душевному состоянию. В вестибюле ему бросилась в глаза солидная партия приготовленного к отправке багажа, он спросил у швейцара, кто отъезжает, и услышал в ответ знатную польскую фамилию, которую, разумеется, давно уже тайком вызнал. Ни единый мускул не дрогнул на осунувшемся лице его, он лишь слегка вскинул голову, как мимоходом принимают к сведению любопытную, но не стоящую особого внимания безделицу, и спросил только:

– Когда?

– После обеда, – прозвучало в ответ.

Он кивнул и направился к морю.

Там было неуютно. Широкую промоину, отделившую пляж от длинной полосы первой отмели, хмурила убегающая от берега свинцовая рябь. Запустелое омертвление осени царило над оазисом купального отдыха, совсем недавно еще столь оживленным и праздничным – а теперь даже песок, и тот был грязный. Фотографический аппарат за отсутствием хозяина сиротливо торчал на треноге возле самой кромки воды, и наброшенный на него черный платок с прихлопами трепыхался на студеном ветру.

Тадзио, увлеченный очередной ребячьей затеей, в компании троих-четверых товарищей, последних спутников его каникул, находился возле своей кабинки, и Ашенбах, устроившись в шезлонге где-то посередине между дощатым настилом и морем, укутав колени одеялом, мог снова, еще раз, на него наглядеться. Без присмотра взрослых – женщины, вероятно, были поглощены приготовлениями к отъезду – игра проходила буйно и незаметно переросла в стычку. Один из ребят, – чернявый, коренастый, в подпоясанной куртке, с напыженными волосами, тот самый, кого кликали «Яшу», – разъяренный, да и ослепленный пригоршней песка, которую швырнули ему в лицо, сцепился с Тадзио в ожесточенной схватке и в два счета бросил наземь своего прекрасного, но явно более слабого противника. Похоже, в этот прощальный час все долгое раболепство клеветы обернулось лютой жадой отмщения: победитель и не думал отпускать поверженного, наоборот, взгромоздившись на нем сверху, упершись в спину коленом, он все сильней вдавливал Тадзио лицом в песок, покуда тот, и без того запыхавшийся в поединке, не начал задыхаться. Его тщетные попытки сбросить с себя чернявого становились все судорожней, предпринимались все реже и все больше походили на слабые конвульсии. Ашенбах в панике готов был уже броситься на помощь,

но тут мучитель наконец отпустил жертву. Тадзио, смертельно бледный, приподнялся, потом сел и долго, несколько минут, опершись рукой на песок, сидел неподвижно, весь растрепанный, молча глядя перед собой черными от гнева глазами. Потом встал и медленно пошел прочь. Его окликали, сперва дружески, потом пугливо и заискивающе, – он не оборачивался. Чернявый, давно уже раскаявшись, догнал его и уговаривал помириться. Одним движением плеча он был отвергнут и отброшен. Тадзио шел к воде, шел не прямо, а как-то наискось. Шел босиком, все в том же своем полосатом костюме с красным бантом.

На кромке берега он помедлил, опустив голову и чертя ногой на мокром песке какие-то фигуры, потом вошел в тихую, мягкую рябь и по мелководью – даже в самых глубоких местах вода не доходила до колен – неспешной, тягучей поступью добрал до отмели. Там он ненадолго замер, обратив взор в морскую даль, а потом задумчиво двинулся налево по узкой и длинной полоске обнаженной суши. Отделенный от берега пластом воды, от товарищей – прихотью гордой обиды, он так и шел там, вдали, в бездонной туманной дымке – одинокая фигура, силуэт, бесконечно чуждый всех и вся, словно взявшийся ниоткуда, отрок с развевающимися на ветру волосами. Потом снова остановился, глядя вдаль. И внезапно, будто припомнив что-то, будто подтолкнутый воспоминанием, обернулся – нехотя, только корпусом, даже не сбрасывая с пояса руку – и через плечо обратил взор в сторону пляжа. И тот, кто смотрел на него неотрывно, этот взор встретил, – точно так же, как в тот вечер, когда от застекленной двери на него впервые глянули эти дымчато-серые очи. Голова наблюдателя, медленно перемещавшаяся по спинке шезлонга вслед за движением фигуры вдали, дрогнула под этим взором, чуть вскинулась и тут же поникла на грудь, а в глазах, смотревших теперь исподлобья, замерло отрешенное, незрячее выражение глубокой дремы. Но из этих глубин ему все еще грезилось, будто бледнолицый чаровник-проводжатый там, вдали, улыбается ему и машет, будто он, сбросив с пояса руку, указывает и зовет за собой, в обетованную неимоверность. И, как это столь часто бывало, он готов был последовать за ним мгновенно.

Лишь минуты спустя, заметив в шезлонге странно обмякшую, сползающую набок фигуру, ему бросились на помощь. Постояльца отнесли в его комнату. И в тот же день, почтительно ужаснувшись, мир встретил весть о его смерти.

Непорядок и ранние страдания

На второе были одни овощи – капустные котлеты, зато потом еще холодный пудинг, изготовленный при помощи порошка с запахом миндаля и мыла, другого нынче не купить, и пока слуга Ксавер – юноша в полосатой куртке, из которой он вырос, белых шерстяных перчатках и желтых сандалиях подает его, – большие деликатно напоминают отцу, что у них сегодня гости.

Большие – это восемнадцатилетняя кареглазая Ингрид, весьма привлекательная девушка, которая хоть и собирается вот-вот сдавать экзамены и, вероятно, их сдаст, пусть только потому, что до полнейшей снисходительности сумела вскружить голову учителям, особенно директору, но вовсе не намерена искать аттестату какое-либо применение (по причине приятной улыбки, благозвучного голоса, а также ярко выраженного и довольно забавного подражательского таланта, ее тянет к театру), и Берт (блондин, семнадцать лет), который вообще не хочет оканчивать школу, а мечтает как можно скорее окунуться в жизнь, в качестве либо танцора, либо эстрадного юмориста, а может, и официанта, но последнее – непременно в «Каире», с каковой целью он однажды, в пять утра, уже предпринял чуть было не удавшуюся попытку к бегству. Берт имеет бесспорное сходство со своим ровесником, слугой Ксавером Кляйнсгютлем, не вследствие неприметной наружности, – напротив, чертами лица он поразительно похож на отца, профессора Корнелиуса, – но в силу похожести с другого боку, или по крайней мере, благодаря обоюдному подражанию, в котором решающую роль играет обстоятельная взаимоподгонка одежды и манер в целом. У обоих густые, очень длинные волосы с небрежным пробором посередине, следовательно – оба одинаковым движением отбрасывают их назад. Когда кто-нибудь из них без головного убора – при любой погоде, – в ветровке, из чистого кокетства подхваченной кожаным ремнем, слегка подавшись торсом вперед, да еще пригнув голову на плечо, плетется через садовые ворота или садится на велосипед (Ксавер всюду пользуется хозяйскими велосипедами, в том числе и женскими, а в особо беспечном расположении духа – даже профессорским), доктор Корнелиус, глядя из окна спальни, при всем желании не в состоянии определить, кто перед ним – слуга или его сын. Они очень похожи на молодых русских мужиков, считает профессор, что один, что другой, и оба – страстные курильщики, хотя Берт и не

располагает средствами, чтобы выкуривать так же много, как Ксавер, который дорос до тридцати сигарет в день, причем сигарет той марки, что носит имя находящейся в самом расцвете кинодивы.

Большие называют родителей «стариками» – не за спиной, они обращаются к ним так, причем очень ласково, хотя Корнелиусу всего сорок семь, а его жене еще на восемь лет меньше. «Почтенный старик! – говорят они. – Милейшая старушка!», а родители профессора, которые влачат в его родных краях порушенную, запуганную старческую жизнь, именуются ими «простаречьем». Маленькие же, Лорхен и Кусачик, что столуются наверху вместе с «голубой Анной», называемой так из-за синевы щек, по примеру матери обращаются к отцу по имени, то есть говорят «Абель». Звучит это в своей вызывающей доверительности невероятно смешно, особенно в прелестном исполнении пятилетней Элеоноры, которая точь-в-точь похожа на госпожу Корнелиус с детских фотографий и которую профессор любит больше всего на свете.

– Старичок, – приятно говорит Ингрид, положив свою крупную, но красивую кисть на руку отцу, который сообразно бюргерскому, не вполне противоестественному обычаю сидит во главе семейного стола (сама Ингрид занимает место слева от него, напротив матери), – дражайший предок, позволь освежить твою память, ибо ты наверняка сублимировал. Так вот, сегодня после обеда у нас намечено небольшое увеселение – гусиный припляс и селедочный салат. Лично для тебя сие означает, что следует сохранять выдержку и не падать духом – в девять все закончится.

– Вот как? – откликается Корнелиус, у которого вытягивается лицо. – Ну что ж, отлично, – кивает он, демонстрируя тем самым, что находится в гармонии с необходимостью. – Я, правда, думал... Значит, час пробил? Ну да, четверг. Как летит время. И когда же придут гости?

– Начнут прибывать в половине пятого, – отвечает Ингрид, которой брат при общении с отцом уступает первенство, так что пока он будет отдыхать наверху, то почти ничего не услышит, а с семи до восьми все равно отправится на прогулку. При желании может, конечно, улизнуть и через террасу.

– О, – отмахивается Корнелиус, имея в виду: «Ты преувеличиваешь».

Тут все-таки вступает Берг:

– Ваня не играет только в четверг. В любой другой день ему пришлось бы уйти в половине седьмого. Всем было бы обидно.

«Ваня» – это Иван Герцль, прославленный первый любовник Государственного театра, близкий друг Берта и Ингрид, которые частенько попивают с ним чай и навещают его в гримерке. Он артист новейшей

школы, на сцене принимает странные, по мнению профессора, крайне жеманные позы и надрывно кричит. Профессора истории это расположить никак не может, а вот Берт находится под сильным влиянием Герцля, подводит черным нижние веки, что уже неоднократно приводило к тяжелым, хоть и безрезультатным сценам с отцом, и с юношеским бессердечием по отношению к душевным страданиям пращуров заявляет, что изберет профессию танцора, Герцль для него – образец, и даже официантом, в «Каире», он намерен двигаться точно так же.

Корнелиус чуть наклоняется к сыну и слегка приподнимает брови, подпустив лояльной нетребовательности и самообладания, что подобают его поколению. В пантомиме не заметна явная ирония, за руку не схватишь, она так, вообще. Берт вправе отнести ее как к себе, так и к таланту самовыражения своего друга.

«Кто же еще придет», – осведомляется хозяин дома. Называются имена, более-менее ему знакомые, имена из района особняков, из города, соучениц Ингрид по женской гимназии... Короче, нужно еще созвониться. Например, позвонить Макс, Макс Гергезелю, студ., инж.; само имя дочь тут же произносит в тягучей, гнусавой манере, в которой, по ее утверждению, все Гергезели ведут частные разговоры и которую она и дальше передразнивает так забавно и достоверно, что родители от смеха рискуют подавиться скверным пудингом. Ибо даже в нынешние времена, когда что-то смешно, нужно смеяться.

В кабинете профессора то и дело звонит телефон, и большие бегут туда, ибо знают, что это им. Многие после последнего подорожания вынуждены были отказаться от телефона, но Корнелиусам еле-еле удалось его сохранить, как удастся пока сохранять и выстроенный до войны особняк – благодаря многомиллионному жалованью ординарного профессора истории, которое худо-бедно принаровили к обстоятельствам. Дом в предместье элегантен, удобен, хоть и несколько запущен, поскольку из-за дефицита стройматериалов ремонтные работы невозможны, к тому же изуродован железными печами с длинными трубами. Но именно в таких условиях живет теперь бывшая верхняя прослойка среднего сословия, поскольку живет она скудно и трудно, в поношенной, перелицованной одежде. Дети другого не знают, для них это норма и порядок, они родились усадебными пролетариями. Вопрос гардероба их не особо волнует. Этот народец изобрел себе сообразный времени костюм – продукт бедности и бойскаутского вкуса, летом состоящий чуть ли не исключительно из подпоясанной льняной рубахи и сандалий. Взрослым – бургерам – тяжелее.

Побросав салфетки на спинки стульев, большие в соседней комнате говорят с друзьями. Звонят приглашенные. Подтверждают, что придут, или говорят, что не придут, или хотят что-то обсудить, и большие обсуждают затронутые вопросы на жаргоне своего круга, который переполнен идиоматическими выражениями и озорством и из которого «старики» не понимают почти ни слова. Они тем временем тоже кое-что обсуждают – угощение для гостей. Профессор демонстрирует бургерское честолюбие. Он хочет, чтобы на ужин после итальянского салата и бутербродов с черным хлебом был еще торт, что-нибудь тортообразное, но госпожа Корнелиус заявляет, что это слишком – молодежь ничего такого и не ждет вовсе, полагает она, и дети, в очередной раз вернувшись к пудингу, с ней соглашаются.

Хозяйка дома, тип внешности которой унаследовала более высокая Ингрид, от сумасшедших экономических сложностей поникла и потускнела. Ей бы на воды, но из-за того, что все перевернулось вверх тормашками, что задрожала под ногами земля, данное предприятие покамест неосуществимо. Она думает о яйцах, которые непременно нужно сегодня купить, и говорит об этом – о яйцах по шесть тысяч марок, их дают только по четвергам в определенном количестве и в определенном магазине, в четверти часа ходьбы отсюда, и с целью приобретения этих самых яиц дети сразу после обеда прежде всего остального должны отправиться туда. За ними зайдет Данни, соседский сын, Ксавер в цивильном костюме тоже присоединится к юному обществу.

Магазин выдает только по пять яиц в неделю на семью, и потому молодые люди по отдельности, по очереди и под разными вымышленными именами переступят порог магазина, дабы раздобыть для особняка Корнелиусов два десятка яиц. Это главное еженедельное развлечение всех участников, не исключая и русского мужика Кляйнсгютля, но прежде всего Ингрид и Берта, которые весьма склонны к мистификациям, розыгрышам ближних и на каждом шагу устраивают их просто так, даже когда из этого не выходит никаких яиц. В трамвае они обожают неявно, представляясь, выдавать себя совсем не за тех молодых людей, кем являются в действительности; изъясняясь на местном диалекте, на котором вообще-то не говорят, они ведут громкие, долгие, завиральные, самые обычные людские разговоры: обыденнейшие замечания про политику, цены на продукты, про несуществующих людей, так что весь вагон благосклонно, но все же со смутным подозрением, что здесь что-то не так, прислушивается к безгранично-будничной бойкой болтовне. Тогда они распускаются и начинают рассказывать про несуществующих людей

самые ужасные истории. Ингрид может высоким, дрожащим, вульгарно щебечущим голосом признаться, что она продавщица, имеющая внебрачного ребенка, сына, который обладает садистскими наклонностями и недавно в деревне так неслыханно истязал корову, что христианину и смотреть-то невозможно. От того, как она выщербивает слово «истязал», Берт чуть не лопается со смеху, но выказывает жутковатое участие и вступает с несчастной продавщицей в долгий, жуткий и вместе с тем порочный и глупый разговор о природе болезненной жестокости; наконец чаша терпения пожилого господина напротив, что держит билет между указательным и безымянным пальцами, переполнена и он публично ропщет в связи с тем, что столь молодые люди в таких подробностях обсуждают подобные темы (он использует высоконаучное греческое окончание множественного числа – «themata»). В ответ Ингрид делает вид, что захлебывается слезами, а Берт притворяется, будто лишь крайним усилием подавляет, смирят ужасный гнев на пассажира, хоть надолго его и не хватит, он сжимает кулаки, скрежещет зубами, дрожит всем телом, и пожилой господин, который хотел только добра, на ближайшей остановке поскорее сходит с трамвая.

Таковы забавы «больших». В них огромную роль играет телефон; большие звонят всему белу свету – оперным певцам, государственным деятелям, церковным иерархам, представляются продавщицей или графом и графиней Маннстойфель и никак не хотят примириться с тем, что их неправильно соединили. Однажды они выгребли с родительского подноса все визитные карточки и разбросали их в почтовые ящики округи как попало, хотя и не без чутья на обескураживающую полувероятность, что привело к немалым волнениям, поскольку невесть кто вдруг ни с того ни с сего якобы нанес визит бог знает кому.

Ксавер, сняв перчатки (которые надевает, чтобы подавать на стол), так что на левой руке можно видеть желтое кольцо цепочкой, отбрасывая волосы, заходит в комнату убрать посуду. Пока профессор допивает слабенькое пиво за восемь тысяч марок и закуривает сигарету, на лестнице и в холле раздается гомон «маленьких». Они, как обычно, являются показаться родителям после еды; сразившись с дверью, на ручке которой висают вместе, топоча по ковру, спотыкаясь на торопливых, неловких ножках в красных войлочных тапочках, съехавших носочках, крича, лопоча, что-то рассказывая, врываются в столовую, причем каждый стремится к своей цели: Кусачик – к матери, вовсю орудуя ногами и забираясь ей на колени, чтобы сообщить, сколько съел, а в доказательство предъявить надутое пузико, Лорхен – к своему «Абелю», полностью

своему, потому что она – «его», потому что она, радостно улыбаясь, ощущает задушевную и, как всякое глубокое чувство, несколько печальную нежность, с которой он обхватывает тельце маленькой девочки, любовь, с какой смотрит на нее и целует изящно сформированную ручку или висок, где так нежно и трогательно проступают голубоватые прожилки.

Являя сильное и одновременно неопределенное родственное сходство, подчеркиваемое единообразной одеждой и стрижкой, дети вместе с тем заметно отличаются друг от друга – прежде всего с точки зрения мужского и женского. Это маленький Адам и маленькая Ева, совершенно очевидно, что Кусачик, кажется, акцентирует даже сознательно, повинаясь своему самоощущению: у него и так более коренастая, кряжистая, мощная фигура, но он дополнительно педалирует четырехлетнее мужское достоинство повадками, выражением лица, речью, тем, как по-спортивному болтает ручками, свисающими с несколько приподнятых плеч, будто у какого-нибудь молодого американца; во время разговора он оттягивает рот книзу и пытается придать голосу низкое, грубоватое звучание. Впрочем, это достоинство и мужественность – скорее цель, нежели в самом деле укоренены в его природе, ибо он выношен и рожден в разоренное, опустошенное время; у него довольно лабильная, возбудимая нервная система; он тяжело переживает жизненные неурядицы, склонен к вспышкам ярости и бешенства, к горьким, ожесточенным рыданиям из-за любой мелочи и уже потому является предметом особого попечения матери. У него карие, как каштаны, глаза, которые слегка косят, так что ему, пожалуй, скоро придется надеть специальные очки, длинный носик и маленький рот. Нос и рот от отца, что стало совсем ясно, с тех пор как профессор, избавившись от бородки клинышком, стал гладко бриться. (Бородка была уже в самом деле невозможна; даже исторический человек в конечном счете вынужден идти на подобные уступки современным нравам.) А у Корнелиуса на коленях дочка, его Элеонорхен, маленькая Ева – куда изящнее Кусачика, с куда более прелестным выражением личика, и отец, как можно дальше отводя от нее сигарету, позволяет изящным ручкам тербить свои очки с разными для чтения и дали стеклами, которые изо дня в день требуют ее любопытствующего внимания.

Вообще-то он чувствует, что предмет жениного предпочтения избран с большим благородством, чем его, что трудная мужественность Кусачика, возможно, повесомее более уравновешенного очарования его дитенка. Но сердцу, полагает он, не прикажешь, и его сердце принадлежит малышке, с тех пор как она явилась на свет, с тех пор как он в первый раз увидел ее, и почти всегда, держа ее на руках. Корнелиус вспоминает тот первый раз: это

произошло в светлой палате женской клиники, где родилась Лорхен – через двенадцать лет после больших. Он подошел, и почти в то самое мгновение, когда, ободренный материнской улыбкой, осторожно отвел балдахин кукольной кровати, что стояла подле большой и вмещала маленькое чудо (оно лежало в подушках, будто омываемое ясным светом восхитительной гармонии, дивно вылепленный образ – совсем еще крохотные ручки уже тогда так же красивы, как сейчас; открытые глаза, тогда небесно-голубые, отражают светлый день), – почти в ту самую секунду он почувствовал, как его схватило, скрутило; это была любовь с первого взгляда и навсегда, неведомое, нежданное, нечаемое – если иметь в виду рассудок – чувство овладело им, и он сразу, с изумлением и радостью понял, что оно ему до конца дней и ночей.

Впрочем, доктору Корнелиусу известно, что о нежданности, абсолютной непредвиденности и даже полной невольности этого чувства, если поразмыслить, говорить не приходится. Вообще-то он понимает, что оно неспроста навалилось на него, сплелось с его жизнью, что неосознанно он был к нему готов, вернее, подготовлен, что-то в нем было подготовлено для того, чтобы в нужный момент породить это чувство, и это «что-то» есть его ипостась профессора истории. Звучит крайне странно, но доктор Корнелиус этого и не говорит, просто иногда знает, украдкой улыбаясь. Знает, что профессора истории любят эту свою историю не когда она совершается, а когда уже свершилась, что они ненавидят текущие сдвиги, воспринимая их незаконными, нелогичными, наглыми, одним словом, «неисторическими», а душой тянутся к логичному, добропорядочному и историческому прошлому. Ибо прошлое, вынужден признавать университетский ученый, прогуливаясь перед ужином по набережной, окутано атмосферой вневременного и вечного, и атмосфера эта намного милее нервам профессора истории, нежели наглость настоящего. Прошлое увековечено, а значит – мертво, и источником всякой добропорядочности и всякого уцелевшего чувства является смерть. Доктор таинственно прозревает это, одиноко шагая сквозь мрак. Именно его уцелевший инстинкт чувство «вечного» спаслось от наглости времени в любви к дочери. Ибо отцовская любовь и дитя на груди матери безвременны, вечны и потому так священны и прекрасны. И тем не менее Корнелиус сквозь мрак угадывает, что с этой его любовью что-то не так, не совсем в порядке – он теоретически признается себе в этом во имя науки. Она имеет в своем истоке некую пристрастность, эта любовь; есть в ней какая-то враждебность, какое-то отторжение истории, совершающейся и предпочтение истории свершившейся, а значит – смерти. Да, довольно

странно, и тем не менее верно, в известной степени верно. Его пылкость по отношению к этой чудесной толпе жизни и потомства имеет что-то общее со смертью, связана со смертью, она против жизни, и в известном смысле это не очень-то прекрасно, не очень-то хорошо, хотя, конечно, было бы безрассуднейшим аскетизмом из-за таких случайных научных прозрений вырвать из сердца самое нежное, самое чистое чувство.

Он держит на коленях дочку, свесившую тонкие розовые ножки, и, приподняв брови, говорит с ней ласковым, игриво-почтительным тоном, с восхищением слушает милый, высокий голосок, каким она отвечает ему, называет Абелем. Он обменивается понимающими взглядами с матерью; та занимается своим Кусачиком, с мягким упреком взывая к его разуму, силе воли, поскольку сегодня, раздраженный жизнью, он опять впал в ярость и вел себя, как бесноватый дервиш. Порой Корнелиус бросает чуть подозрительный взгляд и на «больших», предполагая определенную вероятность того, что они тоже не бесконечно далеки от некоторых научных прозрений его вечерних прогулок. Но если и так, они ничем не дают этого понять. Стоя за стульями, облокотившись на спинки, они благосклонно, хоть и довольно иронично созерцают родительское счастье.

На маленьких плотные, в свое время принадлежавшие еще Берту и Ингрид, костюмчики кирпичного цвета, недавно обновленные художественной вышивкой, и дети совсем одинаковые, с той единственной разницей, что у Кусачика из-под курточки выглядывают короткие брючки. И стрижка у них одинаковая – под пажа. У Кусачика неравномерно светлые, еще только начинающие темнеть волосы, нескладно растущие отовсюду, косматые и похожие на смешной, плохо сидящий парик. У Лорхен – русые, шелково-нежные, блестящие, приятные, как и она сама. Они зачесаны на уши, которые, как известно, разной величины: одно правильных пропорций, а другое несколько отклоняется от нормы, решительно слишком большое. Отец порой приоткрывает эти ушки и в сильных выражениях обнаруживает свое изумление, будто впервые заметил маленький дефект, отчего Лорхен становится неловко и смешно одновременно. У нее широко посаженные, золотисто-карие глаза с очаровательным блеском и таким ясным, таким милым взглядом, брови над ними светлые. Нос пока совсем бесформенный, ноздри довольно толстые, так что отверстия почти круглые, рот большой и выразительный, с красиво выгнутой, подвижной верхней губой. Когда она смеется, обнажая прореженный ряд жемчужных зубиков (в котором пока только одна дырка; она дала отцу вытащить шатающуюся во все стороны штукенцию носовым платком, причем очень побледнела и задрожала), на щеках образуются

ямочки, которые, оттого что подбородок слегка выдвинут вперед, имеют характерную, несколько вогнутую форму. На одной щеке, ближе к гладко стекающим волосам – покрыто пушком родимое пятнышко.

В целом Лорхен не слишком довольна своей внешностью – признак того, что вопрос ее волнует. Лицо, печально констатирует она, увы, просто противное, а вот фигурка «что надо». Она любит изысканные, ученые вводные обороты и нанизывает их друг на друга – «возможно», «однако», «в конечном счете». Самокритичное беспокойство Кусачика лежит скорее в моральной плоскости. Он нередко бывает раздавлен чувством вины, по причине вспышек гнева считает себя великим грешником и уверен, что попадет не на небеса, а в «геенну». Тут не помогают никакие увещевания, что Господь, мол, очень снисходителен и Ему ничего не стоит решить, что дважды два – пять: с упорным унынием он только трясет плохо сидящим париком и заявляет, что для него вхождение в блаженство совершенно исключается. Когда он простужается, то, кажется, весь состоит из слизи, с головы до пят, сипит и сопит, стоит до него дотронуться; у него тут же подскакивает непомерная температура, и он только хрипит. Что касается особенностей его органики, дитячья Анна также тяготеет к мрачным прогнозам и придерживается того мнения, что мальчика с такой «жутко густой кровью» любую минуту может хватить удар. Как-то раз ей уже привиделось, что эта страшная минута настала: когда Кусачика в наказание за вспышку ярости – прямо как у берсеркера, – развернув лицом к стенке, поставили в угол, лицо это, на которое кто-то случайно взглянул, налилось весьма и весьма синим, куда более синим, чем собственное лицо дитячьей Анны. Она подняла на ноги весь дом, заявив, что из-за слишком густой крови пробил-таки последний час мальчика, и разозленный Кусачик, к своему вполне законному изумлению, внезапно оказался окружен перепуганной нежностью, пока не выяснилось, что источником синевы стал не приток крови, а штукатурка стены в детской, поделившаяся своим индиго с распухшей от слез мордашкой.

Дитячья Анна также заходит в комнату и, скрестив руки, стоит в дверях: в белом фартуке, с маслянистыми волосами, глазами гусыни и выражением, в котором проступает строгое достоинство ограниченного самодовольства.

– Дети чудесно проявляются, – заявляет она, гордая своим уходом за маленькими и назидательностью сентенций.

Недавно ей удалили семнадцать сгнивших зубных пеньков и подогнали правильной формы протез с желтыми зубами и темно-красным каучуковым нёбом, скрашивающий теперь крестьянское лицо. Голубая

Анна находится во власти своеобразного представления о том, что этот ее протез является темой для разговоров столь широких кругов, что о нем судачит весь город. «Ходило много пустых разговоров, – строго и таинственно говорит она, – потому что, как известно, я вставила себе зубы». Она вообще склонна к темным, неясным речам, не приспособленным для понимания остальных людей, например, про доктора Бляйфуса, известного каждому ребенку, в доме у которого, по ее словам, «немало таких, кто выдает себя за него». Отделаться от этого можно, лишь признав ее правоту. Она разучивает с детьми замечательные стишки, например:

Поезд, поезд, поезд,
Локомотив.
Стоит он или едет,
Он все равно свистит.

Или еще полный лишений – под стать времени, – хоть и веселенький хозяйственный список на неделю, звучит он так:

Понедельник – первый день,
Вторник – нам готовить лень.
В среду трудимся с утра,
А в четверг горят дрова.
В пятницу на ужин сельдь.
По субботам – карусель.
В воскресенье на обед
Всем дадут больших котлет.

Или некое четверостишие непостижимой и непроницаемой романтики:

К нам приехала карета.
Все сбегаются во двор.
Рыцарь едет в той карете,
У него горящий взор.

Или, наконец, чертовски задорную балладу про Марихен, которая сидела на утесе, на утесе, на утесе и плела золотые косы, золотые косы, золотые косы. И про Рудольфа, который нож тянул, тянул да потянул, однако в конечном итоге встретил страшную смерть.

Лорхен со своей подвижной гримаской чудесным голосом прелестно декламирует и поет все это куда лучше, чем Кусачик. Она все делает лучше, чем Кусачик, и тот, нужно сказать, искренне ею восхищается и по всем статьям ставит себя ниже – если только на него не находят приступы неподчинения и яростного бешенства. Она часто сообщает ему научные сведения, показывает птиц в книжке с картинками, приводит их названия: поднебесница, задомница, надеревница. И он должен повторять. Она просвещает его и в области медицины, учит болезням: воспаление груди, воспаление крови, воспаление воздуха. Если он недостаточно внимателен и не может повторить, Лорхен ставит его в угол. Как-то раз она вдобавок дала ему пощечину, но потом ей стало так стыдно, что она сама надолго поставила себя в угол. В целом они ладят, живут душа в душу. Все проживают вместе, все приключения. Приходят домой и с неостывшим возбуждением в один голос рассказывают, как видели «две буренки и теленка». С обитающей внизу прислугой, с Ксавером и дамами Хинтерхёфер, двумя сестрами, некогда принадлежавшими к бюргерскому сословию, которые, как говорится, *au pair*, то есть за кошт и комнату занимают должности кухарки и горничной, они на дружеской ноге и ощущают – по меньшей мере иногда – известное родство своих отношений с родителями и отношений «нижних» с хозяевами. Получив нагоняй, они идут на кухню и говорят: «Господа недовольны!» И все-таки с «верхними» играть интересней, прежде всего с «Абелем», когда тому не нужно читать и писать. Он придумывает куда более чудесные вещи, чем Ксавер или дамы. Маленькие любят играть в четырех вышедших на прогулку «аристократов». Тогда «Абель» подгибает колени, как будто он такой же маленький, и тоже отправляется на прогулку, держа детей за руки, что доставляет им непреходящее удовольствие. Они – если считать укоротившегося «Абеля», в совокупности пять аристократов – могут так гулять по столовой целый день.

Далее существует крайне увлекательная игра в подушку, которая заключается в том, что кто-нибудь из детей, как правило, Лорхен, якобы не замечаемая Абелем, усаживается на свой стул за обеденным столом и тихо, как мышка, ждет его появления. Поглядывая вокруг и сопровождая свое приближение речами, громко и убедительно нахваливающими удобство стула, профессор подходит и садится прямо на Лорхен. «Что это? –

воскликает он. – Как это?» И елзлит туда-сюда, не слыша раздающееся позади него запрятанное хихиканье. «Мне на стул положили подушку? Да что же это за подушка такая, жесткая, свалялась, вся комками! Как же на ней неудобно сидеть». И он все сильнее ерзает по неподдающейся подушке и шарит позади руками – по восторженному хихиканью и писку, пока наконец не оборачивается и драму не завершает бурная сцена открытия и узнавания. От стократного повторения и эта игра нисколько не утрачивает своей увлекательности и напряженности.

Но сегодня не до подобных развлечений. В воздухе висит беспокойство, связанное с предстоящим торжеством «больших», которому еще предшествует распределенное по ролям приобретение яиц. Лорхен только продекламировала «Поезд, поезд, поезд», доктор Корнелиус, к стыду ее, только выяснил, что уши у нее разной величины, как за Бертом и Ингрид заходит соседский сын Данни, да и Ксавер уже сменил полосатую ливрею на штатскую куртку, тут же придавшую ему несколько жуликоватый, хоть и по-прежнему беспечный, симпатичный вид. Поэтому маленькие вместе с дитячьей Анной возвращаются в свое царство на верхнем этаже, профессор, по послеобеденной привычке, удаляется в кабинет почитать, а хозяйка сосредоточивает мысли и действия на бутербродах с анчоусами и итальянском салате, которые нужно приготовить танцующей компании. Пока не пришла молодежь, она должна еще с сумкой съездить на велосипеде в город и обратить в продукты питания деньги, что у нее на руках и дожидаться обесценивания которых она не имеет права.

Корнелиус, откинувшись на спинку стула, читает. Зажав сигару указательным и средним пальцами, у Маколея он прочитывает про возникший в конце семнадцатого века английский государственный долг, а потом у одного французского автора – про растущие долги Испании в конце шестнадцатого; и то и другое для семинара, назначенного на завтрашнее утро. Он намерен сравнить тогдашнее изумительное экономическое процветание Англии с роковыми последствиями, которые на сто лет раньше имела государственная задолженность Испании, и проанализировать этические и психологические причины данного различия. Это дает ему неплохую возможность перейти от Англии эпохи Вильгельма III (о ней, собственно, и пойдет речь) к эпохе Филиппа II и Контрреформации; последняя его конек, про нее он написал заслуженную книгу – часто цитируемый труд, которому профессор и обязан своей ординатурой. Сигара укорачивается и становится уже крепковатой, а он прокручивает несколько негромких, окрашенных печалью фраз, что

намерен произнести завтра перед студентами – о бесперспективной с практической точки зрения борьбе медлительного Филиппа с новым, с ходом истории, с разлагающими государство силами индивидуума и германской свободы, об осужденной жизнью, а следовательно, обреченной Богом борьбе упорствующего благородства с мощью прогресса и преобразований. Он находит, что фразы удались, еще немного оттачивает их, возвращая потрепанные книги на полки, и поднимается в спальню, чтобы поставить в течение дня привычную цезуру, а именно: провести час с закрытыми ставнями и закрытыми глазами, в котором так нуждается и который сегодня, как вспоминается ему после научных отвлечений, пройдет под знаком домашне-праздничного беспокойства. Воспоминание вызывает у него слабое сердцебиение, он улыбается этому; наброски фраз про закутанного в черный шелк Филиппа путаются у него в голове с мыслями о танцевальном вечере детей, и на пять минут он засыпает.

Он лежит в кровати, отдыхает и слышит входной колокольчик – раз, другой, стук калитки, и всякий раз при мысли о том, что молодые люди уже начинают заполнять просторный холл, испытывает уколочик возбуждения, волнения и смущения. Всякий раз на такой уколочик он улыбается сам себе, но даже эта улыбка есть выражение некоей нервозности, содержащей, разумеется, и определенную радость, ибо кто же не рад празднику. В половине пятого (уже темно) он встает и приводит себя в порядок возле умывального столика. Тазик для умывания год тому назад сломался. Это вращающийся тазик, и с одной стороны крепление надломилось; его нельзя починить, потому что не дозовешься мастера, и нельзя заменить, потому что ни один магазин не в состоянии поставить данный товар. Поэтому тазик, хочешь не хочешь, пришлось подвесить повыше, над вырезом мраморной столешницы, и пользоваться им теперь можно, лишь приподняв и накренив обеими руками. При виде тазика Корнелиус качает головой, что проделывает по несколько раз на дню, затем умывается – к слову сказать, со всей тщательностью, – подставив очки под верхний свет, протирает их до полной чистоты и прозрачности и выходит в коридор, ведущий в столовую.

Заслышав снизу перекрывающие друг друга голоса и уже заведенный граммофон, он придает лицу необходимое светское выражение. «Прошу вас, не смущайтесь!» – решает сказать он и сразу пройти в столовую к чаю. В данной ситуации эти слова представляются ему уместными: непринужденно-предупредительны вовне и неплохие нагрудные доспехи для него самого.

Холл ярко освещен; горят все электрические свечи люстры, кроме

одной, которая совсем прогорела. На нижней ступени лестницы Корнелиус останавливается и оглядывает помещение. Оно красиво смотрится в свете: копия Маре над камином из красного кирпича, стенная обшивка мягкого дерева, красный ковер, на котором вразброс стоят гости – болтают, держат чашки с чаем и половинки хлебных ломтиков, куда мазнули паштетом из анчоусов. В холле праздничная атмосфера, легкий аромат платьев, волос, дыхания – такой характерный, полный воспоминаний. Дверь в гардеробную открыта – гости еще подходят.

В первый момент зрелище ослепляет, профессор видит собрание лишь в целом. Он не замечает, что Ингрид в темном шелковом платье без рукавов с белой плиссированной накидкой на плечи стоит с друзьями прямо возле него, у ступени. Она кивает и улыбается ему красивыми зубами.

– Отдохнул? – тихонько, не для чужих ушей спрашивает она и, когда профессор с неоправданным изумлением узнает ее, знакомит с друзьями. – Позволь представить тебе господина Цубера. А это фройляйн Плайхингер.

Господин Цубер тщедушного вида, Плайхингер же, напротив, – что статуя Германии, светловолоса, роскошна, легко одета, со вздернутым носом и высоким голосом дородных женщин, как выясняется, когда она отвечает профессору на учтивое приветствие.

– О, добро пожаловать, – говорит он. – Как чудесно, что вы оказали нам честь. Соученица, вероятно?

Господин Цубер – товарищ Ингрид по игре в гольф. Он занят в хозяйственной сфере, трудится в пивоварне своего дяди, и профессор коротко перешучивается с ним по поводу слабого пива, делая вид, что безгранично переоценивает влияние молодого Цубера на качество напитка.

– Но не смущайтесь же! – говорит он затем и хочет пройти в столовую.

– А вот и Макс! – восклицает Ингрид. – Эй, Макс, копуша, сколько можно тебя дожидаться на танцы?..

Тут все друг с другом на ты и общаются в манере, совершенно чуждой старикам: благопристойности, галантности, салона совсем не чувствуется.

Молодой человек с белой манишкой и узенькой бабочкой, что полагается к смокингу, подходит от гардероба к лестнице и здоровается – черноволосый, но румяный, разумеется, гладко выбритый, хотя возле ушей намечаются бакенбарды, очень красивый молодой человек – не смехотворно красивый, не знойно, как какой-нибудь цыганский скрипач, а весьма приятно, воспитанно и обаятельно, с приветливыми черными глазами; и даже смокинг пока сидит на нем несколько нескладно.

– Ну-ну, не бранись, Корнелия. Дурацкий семинар, – говорит он, и Ингрид представляет его отцу как господина Гергезеля.

Так вот он какой, Гергезель. Тот благовоспитанно выражает пожимающему ему руку хозяину дома признательность за любезное приглашение.

– Задержался, – объясняет он и отпускает шуточку: – До четырех просиживал штаны на семинаре, а потом пришлось сходить домой переодеться. – После чего переключает внимание на свои туфли-лодочки, с которыми, по его словам, только что отмучился в гардеробе. – Я принес их в мешочке. Не топтать же вам ковер уличной обувью. Но впопыхах забыл рожок и, ей-богу, просто не мог в них влезть, ха-ха, представьте себе, вот уродство! В жизни у меня не было таких тесных лодочек. Ставят размеры как придется, на эти размеры вообще нельзя положиться, а кроме того, сегодня это вообще не кожа, посмотрите, это же чугун! Даже палец себе расплющил...

И он доверительно демонстрирует покрасневший указательный палец и еще раз поминает «уродство», причем мерзкое уродство. Он и впрямь говорит так, как его показывала Ингрид, – в нос и по-особенному тягуче, но, видимо, ничуть не выделяваясь, просто у Гергезелей так принято.

Доктор Корнелиус ворчит, что в гардеробе нет рожка, и выказывает обеспокоенное участие указательному пальцу.

– Но в самом деле, не смущайтесь, – говорит он. – Веселитесь!

И проходит через холл в столовую. Там тоже гости; семейный стол раздвинут, за ним пьют чай. Но профессор проходит прямо в обтянутый вышитой тканью и освещенный отдельным потолочным светильником угол, где за круглым столиком имеет обыкновение пить чай. Там его жена беседует с Бертом и двумя юными господами. Один из них – Герцль; Корнелиус с ним знаком и здоровается. Второго зовут Мёллер – тип перелетной птички^[27], который, по всей видимости, не имеет и не желает иметь выходного бюргерского костюма (вообще-то такого больше не существует); молодой человек далек от того, чтобы разыгрывать из себя «господина» (вообще-то такого тоже больше не существует): подпоясанная рубаха, короткие брюки, мощный кокон из волос, длинная шея и очки в роговой оправе. Он, как сообщают профессору, по банковской части, но кроме того – еще нечто вроде фольклорного певца, собиратель и исполнитель народных песен всех наречий, городов и весей. И сегодня, выполняя просьбу, он прихватил гитару. Та, защищенная воценым чехлом, еще висит в гардеробе.

Артист Герцль тонок и мал, но у него мощная черная щетина, что становится понятно по толстому слою пудры. Пламенеющие глаза несоразмерно велики и глубоко-печальны; при этом, однако, помимо

большого количества пудры, он, очевидно, наложил еще немного румян – матовый кармазин на скулах явно косметического происхождения. Странно, думает профессор. Казалось бы – либо печаль, либо косметика. И то и другое в сочетании создает душевное противоречие. Разве печальный человек может румяниться? Но тут особая, чужеродная душевная разновидность артиста, в которую это противоречие укладывается, а может, как раз из него и состоит. Интересно, и вовсе не причина снижать градус предупредительности. Законная разновидность, исконная разновидность...

– Возьмите лимона, господин придворный актер!

Придворных актеров больше не существует, но Герцлю приятно слышать титул, хоть он и революционный артист. Еще одно противоречие, связанное с его душевной разновидностью. Правомерно предположив ее наличие, профессор льстит, отчасти искупая тайную неприязнь, вызванную тонким слоем румян на щеках Герцля.

– Премного вам благодарен, многоуважаемый господин профессор! – отвечает Герцль с такой скоростью, что лишь прекрасно поставленная речь уберегает язык артиста от вывиха.

Его манера общения с хозяевами, и с хозяином в особенности, отличается крайней почтительностью, почти даже преувеличенной и приниженной вежливостью. Герцля как будто мучит совесть из-за румян, которыми он по внутренним причинам хоть и вынужден был воспользоваться, но которые немymi устами профессора, словно бы сам не одобряет и с которыми силится примирить посредством крайней непритязательности по отношению к ненарумяненному миру.

За чаем говорят о песнях Мёллера, о народных песнях испанцев, басков, от них переходят к новому прочтению шиллеровского «Дон Карлоса» в Государственном театре, постановке, в которой Герцль исполняет заглавную роль. Он заводит речь о своем Карлосе.

– Надеюсь, – говорит он, – в моем Карлосе не заметно швов.

Обсуждают и остальной состав, достоинства инсценировки, воссозданную атмосферу, и профессор вдруг обнаруживает, что оседлал своего конька – Испанию эпохи Контрреформации, отчего ему становится почти неловко. Он совсем не виноват, он не сделал ничего, чтобы разговор принял такой оборот. Он боится, как бы не подумали, что он искал возможности прочесть лекцию, удивляется и оттого замолкает. Ему приятно, что к столу подсади маленькие – Лорхен и Кусачик. На них синие бархатные костюмчики – воскресный наряд, и до отхода ко сну дети хотят на свой манер принять участие в празднике взрослых. Боязливо, с расширенными глазами, они здороваются с незнакомыми людьми и

вынуждены отвечать, как их зовут и сколько им лет. Господин Мёллер смотрит на них всего-навсего серьезно, а вот актер Герцль просто восхищен, покорен, упоен. Он чуть не благословляет детей, воздевает очи горе и, сложив ладони домиком, подносит их ко рту. Это, несомненно, исходит от сердца, но привычка к условиям воздействия на театре придает его словам и жестам жуткую фальшь, а кроме того, создается впечатление, что и подобострастие по отношению к детям призвано примирить с румянами на скулах.

Большой чайный стол уже опустел, в холле начались танцы, маленькие бегут туда, а профессор ретируется.

– Желаю вам приятного вечера! – говорит он, пожимая руки господам Мёллеру и Герцлю, которые вскакивают со стульев.

И профессор идет к себе в кабинет, в свое мирное царство, где опускает шторы, зажигает настольную лампу и садится за работу.

Это работа, которую при необходимости можно проделать и в беспокойной обстановке, – пара писем, пара выписок. Конечно, Корнелиус рассеян. Он переваривает мелкие впечатления – негнущиеся туфли господина Гергезеля, высокий голос Плайхингер в толстом теле. Мысли его, когда он пишет или, откинувшись, смотрит в пустоту, вертятся и вокруг собрания баскских песен Мёллера, вокруг униженности и утрированности Герцля, «его» Карлоса и двора Филиппа. С разговорами, считает профессор, дело такое. Они податливы и безо всякой указки таинственным образом подлаживаются под подспудно главенствующий интерес. Он, пожалуй, не раз наблюдал подобное. Время от времени он прислушивается к гомону вечера, впрочем, вовсе не шумному. Слышны одни разговоры, даже не танцевальное шарканье. Они ведь и не шаркают, не кружатся, а странно перетаптываются по ковру, причем последний им ничуть не мешает, совершенно иначе держат партнера, чем в его время, все это под звуки граммофона; главным образом профессор прислушивается к этим странным мелодиям нового мира, в джазообразной аранжировке, со всякими ударными, которые аппарат прекрасно воспроизводит вместе с пощелкиванием и перестуком кастаньет, воспринимаемых именно как джазовый инструмент, а вовсе не как Испания. Нет, совсем не Испания. И Корнелиус возвращается к профессиональным мыслям.

Через полчаса ему приходит в голову, что было бы только любезно поспособствовать веселью пачкой сигарет. Не годится, считает он, чтобы молодые люди курили собственные – хотя сами они вряд ли придадут этому особое значение. Он идет в пустую столовую и достает из стенного шкафчика пачку из своих запасов, не самых лучших, по крайней мере не

тех, которые предпочитает сам; эти чуть слишком длинные и слабые; от них, воспользовавшись случаем, он с удовольствием избавится, ведь в конечном счете гости – всего лишь молодые люди. Профессор идет в холл, улыбается, высоко поднимает сигареты, открыв пачку, ставит ее на камин и почти сразу же, обведя танцующих беглым взглядом, возвращается к себе.

В танцах как раз перерыв, музыкальный аппарат умолк. Гости сидят на стульях перед камином, стоят по периметру холла, перед окном у стола для атласов и альбомов, беседуют. И на ступенях лестницы с изрядно вытертой плюшевой дорожкой, как в амфитеатре, расселась молодежь: Макс Гергезель, к примеру, сидит возле роскошно-звонкоголосой Плайхингер, которая смотрит ему в лицо, он же полулежа обращается к ней, одним локтем опираясь на следующую ступеньку, а другой рукой сопровождая свои речи жестикуляцией. Комната словно опустела; только в середине, прямо под люстрой кружатся маленькие – в синих костюмчиках, неуклюже обнявшись, молча, медленно, словно в забытии. Проходя мимо, Корнелиус наклоняется к ним и, пробормотав ласковые слова, гладит по головкам, но это не отвлекает их от маленького, серьезного занятия. В дверях он успевает заметить, как студ., инж. Гергезель, вероятно, завидев профессора, локтем отталкивается от ступени, спускается вниз, извлекает Лорхен из объятий брата и сам пускается с ней в потешный танец без музыки. Почти как Корнелиус, гуляющий с «четырьмя аристократами», он сильно сгибает колени, пытаясь держать ее, как большую, и делает со смутившейся Лорхен несколько па шимми. Всех, кто заметил, это забавляет. Беззвучный шимми служит знаком вновь завести граммофон и возобновить танцы. Профессор, положив руку на дверную ручку, кивает, смеется плечами, мгновение наблюдает сцену, затем возвращается в кабинет. Еще несколько минут лицо его механически удерживает танцевальную улыбку.

Он снова листает что-то в свете лампы с абажуром, пишет, заканчивает несколько не самых ответственных дел и через какое-то время слышит, как компания перебирается в салон жены, куда можно пройти как из холла, так и из его комнаты. Оттуда доносятся разговоры, в них вторгается робко-обольстительная гитара. Значит, господин Мёллер собирается петь, да вот он уже и поет. Под звучные гитарные аккорды юный чиновник сильным басом поет песню на чужом языке – может быть, шведском; с полной уверенностью профессор не может определить язык до самого конца, до самого оживленными аплодисментами сопровождаемого конца. За дверью в салон – портьера, она приглушает звук. Когда начинается новая песня, Корнелиус тихонько переходит к гостям.

Там царит полумрак. Горит только торшер с наброшенной на него

шалью, возле которого на обитом сундуке, перебросив ногу на ногу и вгрызаясь большим пальцем в струны, сидит Мёллер. Публика расселась свободно, что окрашено некоей небрежной вынужденностью, поскольку для такого количества слушателей сидячих мест нет. Кто-то стоит, но многие, в том числе и юные дамы, просто устроились на полу, на ковре, обхватив руками колени, а то и вытянув ноги. Гергезель, к примеру, хоть и в смокинге, тоже уселся на пол, возле ножек рояля, рядом с ним – Плайхингер. И «маленькие» здесь; фрау Корнелиус, сидя напротив певца на стуле с подлокотниками и высокой спинкой, держит их на коленях, и Кусачик – варвар – начинает болтать прямо посреди песни, так что приходится припугнуть его шиканьем и грозным указательным пальцем. Лорхен никогда не позволила бы себе такого: она нежно, тихонько притулилась к матери. Профессор пытается встретиться с ней глазами, чтобы тайком подмигнуть своему дитенку; но она на него не смотрит, хотя, кажется, не обращает внимания и на певца. Взгляд ее пронизывает глубины.

Мёллер поет «Joli tambour»:

Sire, mon roi, donnez-moi votre fille^[28].

Все в восторге. Слышно, как Гергезель в нос, по-особенному, как бы избалованно, по-гергезелевски, говорит: «Прекрасно!» Затем следует нечто немецкое, на что господин Мёллер сам сочинил мелодию и что молодежь встречает бурным воодушевлением, песенка нищих:

Ой, да пошла нищенка по миру,
Тру-ли-ля-ля!
Ой, да нищий за ней ковыляет,
Тидль-дудль-ду!

После радостной песенки нищих воцаряется чуть не ликование. «Как невыразимо прекрасно!» – снова на свой лад гундосит Гергезель. Потом наступает черед чего-то венгерского, еще один ударный номер, он исполняется на диковато-незнакомом языке, и Мёллер пожинает плоды шумного успеха. Профессор тоже демонстративно присоединяется к аплодирующим. Его греет эта образовательная нотка ретроспективно-исторических художественных усилий в компании шимми. Он подходит к Мёллеру, поздравляет его, говорит о его песнях, об их источниках, о

песеннике с нотным материалом, который Мёллер обещает одолжить профессору для ознакомления. Корнелиус тем любезнее с певцом, чем больше, по примеру всех отцов, тут же сравнивает таланты и достоинства других молодых людей с талантами и достоинствами собственного сына, испытывая при этом беспокойство, зависть и стыд. Вот тебе и Мёллер, думает он, прилежный банковский чиновник. (Он понятия не имеет, так ли уж тот прилежен в своем банке.) Да еще демонстрирует этот особый талант, для развития которого, разумеется, были необходимы энергия и усидчивость. А мой бедный Берт? Ничего-то не знает, ничего не умеет, бредит своей клоунадой, хоть очевидно, что даже для нее не обладает талантом! Профессор хочет быть справедливым, пытается утешиться соблазнительной мыслью, что при всем том Берт чудесный юноша, может, куда с большими задатками, чем удачливый Мёллер, что, возможно, в нем спит поэт или что-нибудь в этом роде, а его танцевально-ресторанные планы не что иное, как ребяческие, подмытые временем «заблуждания». Но завистливый отцовский пессимизм оказывается сильнее. Когда Мёллер опять принимается петь, доктор Корнелиус возвращается к себе.

Постоянно отвлекаясь, профессор еще немного работает, и вот уже семь; а поскольку ему приходит в голову одно короткое деловое письмо, которое он вполне может написать сейчас, то уже почти половина восьмого – так как писание есть занятие, отнимающее огромное количество времени. В половине девятого нужно отведать итальянского салата, и для профессора это значит теперь выйти на улицу, опустить письма и в зимних потемках принять свою порцию воздуха и движения. Танцы в холле давным-давно опять в разгаре; к пальто и ботам ему придется пройти мимо, но это уже не сопряжено ни с малейшим напряжением, хоть он и не прописан в молодежном обществе, однако уже примелькался, бояться, что помешает, не нужно. Убрав бумаги и захватив письма, он выходит и на какое-то время даже задерживается в холле, заметив в кресле у дверей в свою комнату жену.

Она сидит и смотрит, к ней время от времени подходят «большие», другие молодые люди, и Корнелиус, встав рядом, тоже с улыбкой наблюдает суету, которая, судя по всему, достигла апогея оживленности. Есть и еще зрители: голубая Анна в непробиваемо-ограниченной строгости стоит на лестнице, потому что маленьким все мало праздника и ей приходится следить, чтобы Кусачик не слишком бесновался, чем спровоцировал бы опасное бурление своей слишком густой крови. И «нижние» не прочь, чтобы им перепало кое-что от танцевальных радостей «больших»: у дверей в буфетную, развлекая себя наблюдением, стоят и

дамы Хинтерхёфер, и Ксавер. Фройляйн Вальбурга, старшая из деклассированных сестер, гастрономическая половина (чтобы прямо не называть ее кухаркой, поскольку она не любит этого слышать), смотрит карими глазами сквозь круглые очки с толстыми линзами, которые на переносице, дабы не слишком давили, обмотаны льняной тряпочкой, – добродушно-юмористический тип, а фройляйн Сесилия, моложе, хоть и не вполне молодая, по обыкновению представляет взорам крайне чванное выражение лица, сохраняя достоинство бывшей принадлежности к третьему сословию. Фройляйн Сесилия жестоко страдает оттого, что выпала из мелкобуржуазной среды и рухнула в сферу услуги. Она категорически отказывается носить наколку или какую-либо иную примету профессии служанки; ее горчайшие часы – в среду вечером, когда Ксавер свободен и ей приходится подавать на стол. Она прислуживает, отворотившись, задрав нос – свергнутая королева; быть свидетелем ее унижения – мучение, тяжелейшее испытание, и «маленькие», как-то раз случайно ужинавшие со взрослыми, завидев ее, в один голос и в один момент громко заплакали.

Юноше Ксаверу подобные страдания неведомы. Он подает даже с удовольствием и делает это с известной сноровкой, сколь прирожденной, столь и приобретенной, поскольку когда-то прислуживал в ресторане. В остальном же он и в самом деле отпетый бездельник и вертопрах – с положительными качествами, как всякую минуту готовы признать его не предъявляющие завышенных требований хозяева, но все-таки невозможный вертопрах. Нужно принимать его таким, каков он есть, и не ждать от терновника смоквы. Он дитя и продукт вольного времени, образчик своего поколения, слуга-революционер, симпатяга большевик. Профессор называет его «церемониймейстером», поскольку при чрезвычайном, развеселом стечении обстоятельств он не сядет в лужу, проявит сообразительность и предупредительность. Но совершенно незнакомого с представлением о долге молодого человека так же невозможно убедить выполнять скучно-текущие, будничные обязанности, как некоторых собак – прыгать через палку. Судя по всему, это противоречит его природе, что обезоруживает и заставляет махнуть на него рукой. По какому-нибудь необычному, занимательному поводу он готов вскочить с постели хоть ночью. Но вообще раньше восьми не встает – не встает и всё, не прыгает через палку; зато с утра до вечера по всему дому – от кухонного полуподвала до верхних комнат – раздаются проявления его вольной натуры: губная гармошка, хриплое, но прочувствованное пение, радостное насвистывание; а дым от сигарет окутывает буфетную. Он

просто стоит и смотрит, как трудятся низринутые дамы. Утром, когда профессор завтракает, он отрывает у него на письменном столе листок календаря, в остальном даже не притрагивается к кабинету. Доктор Корнелиус неоднократно велел ему оставить календарь в покое, поскольку Ксавер имеет склонность отрывать и следующий день, навлекая тем самым опасность, что нарушится весь порядок. Но эта работа – отрывать листки календаря – нравится юному Ксаверу, и он не собирается от нее отказываться.

Он, кстати, любит детей, это относится к числу его привлекательных свойств. Самым душевным образом играет с маленькими в саду, талантливо что-нибудь вырезает им или мастерит, а то и толстыми губами читает вслух книжки, что довольно странно слышать. Он всем сердцем любит кино и, посмотрев какую-нибудь фильму, впадает в печаль, тоску и декламации. Его тревожат неопределенные мечты в будущем самому принадлежать этому миру и составить в нем свое счастье. Основанием Ксаверу служат отбрасываемые волосы и физическая ловкость и отвага. Нередко он забирается на ясень перед домом – высокое, но непрочное дерево – и, перелезая с ветки на ветку, добирается до самой верхушки, так что у всех, кто его видит, захватывает дух. Наверху он закуривает сигарету, раскачивается во все стороны, так что высокая мачта ствола шатается до самого основания, и высматривает какого-нибудь проходящего мимо кинодиректора, который пригласил бы его сниматься.

Замени он свою полосатую куртку на обычный костюм, запросто мог бы принять участие в танцах – не слишком выбивался бы. Компания «больших» на вид весьма пестрая; бюргерский вечерний наряд хоть и попадает, но не довлеет среди молодых людей, он прорежен типами вроде песенного Мёллера, причем как в дамском, так и в мужском варианте. Профессору, который стоит у кресла жены и смотрит на гостей, не очень хорошо, лишь понаслышке известны социальные условия, в каких живет смена. Это гимназистки, студентки и рукодельницы; в мужской части – порой совершенно головокружительные, будто специально изобретенные временем существа. Бледный, вытянувшийся, как каланча, юноша с жемчужинами на рубашке, сын зубного врача, – не что иное, как биржевой спекулянт и, судя по тому, что слышал профессор, живет в этом качестве, как Аладдин со своей волшебной лампой. Держит автомобиль, дает для друзей приемы с шампанским и не упускает возможности раздавать им подарки – дорогостоящие сувениры из золота и перламутра. Он и сегодня принес юным хозяевам подарки: Берту – золотой карандаш, а Ингрид – серьги, поистине варварского размера кольца; правда, их, к счастью, не

нужно всерьез продевать в мочки, они прикрепляются к уху зажимом. «Большие» со смехом показывают подарки родителям, и те, даваясь диву, покачивают головами, а Аладдин издала несколько раз кланяется.

Молодежь усердно танцует, если то, что она там исполняет с невозмутимой увлеченностью, можно назвать танцами. Будто согласно непроницаемому предписанию танцующие перемещаются по ковру в какую-то странную обнимку, в новомодной манере – выставленная вперед нижняя часть туловища, приподнятые плечи и несколько вихляющие бедра, – без устали, потому что так устать нельзя. Вздыхающихся грудей, да хотя бы раскрасневшихся щек – нет и в помине. Иногда в паре танцуют две девушки, а то и двое юношей; им это все равно. И так они ходят под экзотические звуки граммофона, снабженного крупной, мощной иглой, чтобы получалось громко, и выдающего все эти их шимми, фокстроты и уанстепы, эти дубль-фоксы, африканские шимми, Java-dances и креольские польки – ароматизированная дикость чуждых ритмов, которая то млеет, то отбивает такт, будто рота солдат на плацу, монотонные, расфуфыренные негритянские забавы с оркестровыми виньетками, ударными, бренчанием и прицелкиванием.

– Как называется эта пластинка? – после одной пьесы, которая совсем недурно млеет и отбивает такт и кой-какими сочинительскими подробностями сравнительно ему симпатична, осведомляется Корнелиус у Ингрид – та как раз танцует у него под носом с бледным спекулянтом.

– «Утешься, прекрасное дитя», князь фон Папанхайм, – отвечает она, приятно улыбаясь белыми зубами.

Под люстрой колыхается дым от сигарет. Дух многолюдного общества усилился – тот сладковато-сухой, сгущенный, возбуждающий, богатый ингредиентами праздничный чад, который для всякого, но особенно для переживших слишком чувствительную юность, так полон воспоминаний о незрелой душевной боли... «Маленькие» все еще в холле; поскольку праздник доставляет им такую радость, они получили разрешение веселиться до восьми. Молодые люди к ним привыкли; малыши в какой-то мере по-своему стали частью вечера. Они, кстати сказать, разделились: Кусачик в своей синей бархатной курточке кружится в одиночестве на середине ковра, а Лорхен уморительно докучает перемещающейся паре, стараясь ухватить танцора за смокинг. Это Макс Гергезель со своей дамой, Плайхингер. Они движутся хорошо, следить за ними – одно удовольствие. Нужно признать, из этих танцев дикого нового времени вполне можно смастерить нечто симпатичное, если за них берутся правильные люди. Насколько можно понять молодой Гергезель ведет превосходно – в рамках

правил, но свободно. Как элегантно он отводит ногу назад, когда хватается пространства для маневров! Но и на месте, в толчее ему удастся держаться со вкусом – при содействии податливости его партнерши, обладающей, как оказывается, удивительной грациозностью, которую иногда демонстрируют полные женщины. Они болтают глаза в глаза, делая вид, будто не замечают преследующую их Лорхен. Все вокруг смеются над упорствующей малышкой, и, когда троица скользит мимо него, доктор Корнелиус пытается поймать своего дитенка, привлечь его к себе. Но Лорхен, чуть не морщась, уворачивается, в эту минуту она Абеля знать не хочет. Она знать его не знает, упирается ему ручонками в грудь и нервно, раздраженно, отвернув милое личико, силится отделаться от него, поспешая вослед своему капризу.

Профессору не удастся подавить болезненное чувство. Сейчас он ненавидит праздник, который своими ингредиентами смутил сердечко его любимицы, отдалил ее. Его любовь – не вполне беспристрастная, не вполне в своих корнях безупречная – обидчива. Он машинально улыбается, но взгляд его помрачнел и зацепился за что-то под ногами, за какой-то узор на ковре, между ног танцующих.

– Маленьким пора спать, – говорит он жене.

Но она просит для них еще пятнадцать минут. Им ведь разрешили, поскольку они в таком упоении от праздничной сутолоки. Профессор опять улыбается, качает головой, секунду еще стоит неподвижно, а затем идет в гардероб, забитый пальто, кашне, шляпами и ботами.

Он с трудом вытаскивает свои вещи из-под груды, и тут, утирая лоб платком, в гардероб заходит Макс Гергезель.

– Господин профессор! – по-гергезелевски говорит он, несколько подольщаясь, как подобает молодому человеку. – Вы уходите? Какое уродство с моими туфлями, давят, как Карл Великий. Эта ерунда, оказывается, мне просто мала, да к тому же еще не гнется. Вот здесь так жмет, на ноготь большого пальца, что и не передать, – говорит он, стоя на одной ноге, а другую обхватив обеими руками. – Все-таки придется переобуться в уличные... О, могу я вам помочь?

– Что вы, спасибо! – откликается Корнелиус. – Оставьте, прошу вас! Лучше поскорее избавьтесь от вашей муки!.. Очень любезно с вашей стороны... – говорит он, поскольку Гергезель уже опустил на колено застегнуть ему пряжку на ботах.

Профессор благодарит, приятно тронутый такой почтительно-искренней услужливостью.

– Переобувайтесь и веселитесь! – желает он. – Никуда не годится

танцевать в туфлях, которые жмут. Непременно переобуйтесь. Всего доброго, я немного продышусь.

– Я еще потанцую с Лорхен, – кричит ему вдогонку Гергезель. – Она станет прекрасной танцовщицей, когда войдет в возраст. Даю слово!

– Вы так думаете? – переспрашивает Корнелиус от входной двери. – Ну да, вы же специалист, чемпион. Только смотрите, не повредите позвоночник, когда будете нагибаться!

Он кивает и удаляется. Милый юноша, думает профессор, оставшись в одиночестве. Студ., инж., ясная цель, все в полном порядке. И при этом такой красивый, приветливый. И опять им овладевает эта отцовская зависть по поводу его «бедного Берта», это беспокойство, из-за которого существо стороннего юноши представляется ему в самом розовом свете, а сына – в наимрачнейшем. Так Корнелиус начинает свою вечернюю прогулку.

Он идет по аллее, через мост, на тот берег, затем вдоль реки по набережной, до третьего моста. На улице промозгло, то и дело занимается снег. Он поднял воротник пальто, трость, зацепив рукояткой за плечо, заложил за спину и время от времени глубоко вентилирует легкие зимним вечерним воздухом. Как обычно, за моционом он думает о своих научных делах, о семинаре, о фразах про борьбу Филиппа с германскими ниспровергателями, которые намерен завтра произнести и которые должны быть пропитаны справедливостью и печалью. Прежде всего справедливостью, думает он! Она есть дух науки, принцип познания, свет, и этим светом нужно освещать мир молодым, как с целью воспитания духовной дисциплины, так и по человечески-личностным причинам, чтобы не оттолкнуть и косвенно не задеть их политические убеждения, которые сегодня, разумеется, страшно разрозненны и противоречивы, так что кругом сплошной горячий материал, и историческая пристрастность может легко довести до того, что противники начнут бить копытом, а то и до скандала. А ведь пристрастность, думает профессор, как раз не исторична, исторична лишь справедливость. Правда, вот потому-то... если как следует подумать... Справедливость не есть юношеская горячность или решимость в духе быстрее-выше-сильнее, она есть печаль. Но, являясь по естеству своему печалью, она этим естеством подспудно и тянется скорее к печальной, обреченной стороне и исторической силе, нежели к быстрее-выше-сильнее. Значит, справедливость и есть это тяготение, без которого ее не было бы вообще? Так значит, вообще нет никакой справедливости? – спрашивает себя профессор, настолько погруженный в эти мысли, что совершенно машинально опускает письма в почтовый ящик у третьего моста и разворачивается назад. Поглощающая его мысль мешает науке, но

она и есть сама наука, вопрос совести, психология, и, во имя долга, отбросив все предрассудки, ее нужно принять вне зависимости от того, мешает она чему-нибудь или нет... В подобных мечтаниях профессор Корнелиус возвращается домой.

В проеме входной двери стоит Ксавер и, кажется, его ждет.

– Господин профессор, – ворочает он толстыми губами, отбрасывая волосы, – поскорей, бегите туда, к ней, к Лорхен. Она это...

– Что случилось? – пугается Корнелиус. – Заболела?

– Да нет, не то чтоб заболела, – отвечает Ксавер. – Ну, ее того... зацепило, и она разнюнилась, порядком разнюнилась. Это все из-за этого господина, который с ней... ну... танцевал... который во фраке... господин Гергезель. Ни за что, хоть тресни, не хотела уходить, хоть кол на голове теши, ну и навзрыд. Совсем разнюнилась, прямо наизнанку.

– Глупости какие, – говорит профессор, заходя в дом, и кидает верхнюю одежду в гардероб.

Не произнеся больше ни слова, он открывает застекленную дверь в холл и, не удостоив танцующих и взглядом, спешит направо к лестнице. Перескакивая через ступеньки, Корнелиус поднимается наверх, пересекает широкую площадку, потом еще маленькую переднюю и в сопровождении Ксавера, который остается стоять в дверях, заходит в детскую.

Здесь еще горит яркий свет. По стене идет бумажный фриз с картинками, стоит большая полка, на которой в беспорядке навалены игрушки, лошадь-качалка с красными лакированными ноздрями упирается копытами в изогнутые полозья, по застеленному линолеумом полу разбросаны еще игрушки – маленькая труба, кубики, железнодорожные вагончики. Белые кровати с перильцами стоят рядышком: кроватка Лорхен – в самом углу у окна, Кусачика – в шаге от нее перпендикулярно стене.

Кусачик спит. Он звучно помолился – голубая Анна, как обычно, ассистировала – и тут же уснул, порывистым, невероятно крепким, накалившимся докрасна сном, из которого его не вырвал бы даже пушечный залп, прогремевший у ложа: сжатые кулаки отброшены на подушку по обе стороны от головы, растрепанного бурным сном, слипшегося, плохо сидящего парика.

Постель Лорхен окружили женщины. Помимо голубой Анны, у перил стоят еще дамы Хинтерхёфер, переговариваясь с ней и друг с другом. При приближении профессора они расступаются, и тот видит Лорхен: она сидит на подушках, бледная, и так горько, судорожно плачет, как доктор Корнелиус, пожалуй, еще не видел. Красивые ручки лежат на одеяле; ночная рубашечка с узенькой кружевной оторочкой съехала с худенького,

как у воробушка, плеча, голову, эту милую головку (которую самозабвенно любит Корнелиус, благодаря выдвинутому подбородку она так необычно, подобно цветку, сидит на тонком стебельке шейки) Лорхен закинула набок и чуть назад; плачущие глаза устремлены в угол между стеной и потолком; и туда дитенок будто беспрестанно кивает своему огромному сердечному горю; головка ходит вверх-вниз, то ли осознанно, изливая страдание, то ли сотрясаясь от рыданий; подвижный рот с выгнутой верхней губой приоткрыт, как у маленькой *mater dolorosa*^[29]; слезы хлещут из глаз, и Лорхен издает монотонный жалобный стон; он не имеет ничего общего с надсадными, непомерными воплями невоспитанных детей, а порожден самой настоящей душевной болью и вызывает у профессора (который вообще не может видеть, как Лорхен плачет, но такой не видел ее еще никогда) непереносимое сострадание. Это сострадание проявляется прежде всего в острейшем раздражении на стоящих подле дам Хинтерхёфер.

– Наверняка еще много хлопот с ужином, – взволнованно говорит он. – Видимо, госпоже придется потрудиться самой?

Для тонкого слуха бывших представительниц среднего сословия этого достаточно. Не на шутку уязвленные, они удаляются, причем в дверях Ксавер Кляйнсгютль, который изначально, без разбега принадлежал к низам и которому падение дам доставляет огромное удовольствие, еще строит им издевательские гримасы.

– Дитенок, мой дитенок, – подавленно говорит Корнелиус и, садясь на стул возле кровати с перилами, заключает страдающую Лорхен в объятия. – Что такое с моим дитенком?

Та орошает его лицо слезами.

– Абель... Абель... – всхлипывая, бормочет она. – Почему... Макс... не мой брат? Пусть... Макс... будет моим братом...

Какое несчастье, какое стыдное несчастье! Что же наделало танцующее общество со всеми своими ингредиентами? – думает Корнелиус и в полной растерянности смотрит на исполненную сурового достоинства ограниченности голубую дитячью Анну, которая, сложив руки на фартуке, стоит в ногах кровати.

– Это связано с тем, – строго и мудро говорит она, поджав нижнюю губу, – что у ребенка ужас как сильно проявляются женские инстинкты.

– Да помолчите вы, – морщится Корнелиус.

Хорошо еще, что Лорхен не вырывается, не отталкивает его, как давеча, а в поисках помощи прижимается к нему, повторяя свое неразумное, нечеткое желание, чтобы Макс все-таки был ее братом, и с жалобными всхлипами требуя непременно вернуться в холл, чтобы он с

ней еще потанцевал. Но Макс танцует там с фройляйн Плайхингер, вполне взрослым колоссом, которая имеет на него все права, а Лорхен еще никогда не казалась раздираемому состраданием профессору таким воробушком, как сейчас, когда беспомощная, сотрясаемая рыданиями, прижалась к нему, не понимая, что происходит с ее бедной маленькой душой. Она не понимает этого. Ей не ясно, что она страдает из-за толстой, взрослой, полноправной Плайхингер, которая может танцевать в холле с Максом Гергезелем, а Лорхен станцевала только раз и для забавы, всего лишь в шутку, хотя она несравненно прелестнее. Однако упрекать в этом молодого Гергезеля совершенно невозможно, такой упрек содержал бы в себе безумное, невыполнимое требование. Горе Лорхен бесправно и безнадежно и потому должно таиться ото всех. Но поскольку оно не осознанно, то и не сдерживается, и от этого становится страшно стыдно. Для голубой Анны и Ксавера этой неловкости будто и нет вовсе, они демонстрируют свою полную к ней нечувствительность – то ли по глупости, то ли из сухого здравого смысла. Но отцовское сердце профессора раздавлено ею и постыдным страхом перед бесправной и безнадежной страстью.

Он увещевает бедную Лорхен, что в лице бурно спящего рядом Кусачика она имеет замечательного братика, – все без толку. Сквозь слезы она бросает на соседнюю кровать презрительный, исполненный боли взгляд и требует Макса. Профессор обещает ей на завтра продолжительную прогулку пяти аристократов по столовой и пытается описать, как блистательно-подробно они будут играть в подушку, – тоже без толку. Она и слышать об этом не хочет, как и о том, чтобы лечь и уснуть. Она не хочет спать, она хочет сидеть и страдать... Но тут оба, Абель и Лорхен, слышат нечто волшебное – шаги, шаги двух человек, они приближаются к детской, и волшебство является во всем своем великолепии...

Это все Ксавер, что становится ясно сразу. Ксавер Кляйнсгютль не все время стоял в дверях, издеваясь над изгнанными дамами. Он действовал, он кое-что устроил и принял свои меры. Он спустился в холл, потянул за рукав господина Гергезеля и толстыми губами кое-что ему сказал, кое о чем попросил. И вот оба здесь. Ксавер, сделав свое дело, опять останавливается в дверях, а Макс Гергезель, в смокинге, с темным налетом бакенбард возле ушей, с красивыми черными глазами подходит к кровати Лорхен, подходит с очевидным сознанием играемой им роли – сказочного принца, который приносит счастье, рыцаря-лебедя, – подходит, как тот, кто обычно говорит: «Ну вот я и пришел, вот все мучения и кончились!»

Корнелиус потрясен почти так же, как и Лорхен.

– Смотри, кто пришел, – слабо говорит он. – Невероятно любезно со

стороны господина Гергезеля.

– Да какая там любезность, ничего особенного, – отвечает тот. – Само собой разумеется, ему еще захотелось взглянуть на свою партнершу и пожелать ей спокойной ночи.

И он подходит к перилам, за которыми сидит онемевшая Лорхен. Она блаженно улыбается сквозь слезы. У нее вырывается высокий, короткий полувсхлип счастья, а потом она молча смотрит на рыцаря-лебедя золотистыми глазами, которые, хоть и распухли, хоть и покраснели, все же несравненно чудеснее, чем у дородной Плайхингер. Она не поднимает ручек, чтобы обнять его за шею. Ее счастье, как и боль, неосознанно, и тем не менее она этого не делает. Красивые маленькие руки лежат на одеяле, а Макс Гергезель облокотился на перила, как на парапет балкона.

– Чтоб не рыдала горько-горько в постели ночи напролет!^[30] – говорит он и искоса смотрит на профессора в надежде стяжать похвалу своей эрудиции. – Ха-ха-ха, в твои-то годы! «Утешься, прекрасное дитя!» Ты чудо. Ты еще всем покажешь. Просто оставайся такой, какая есть. Ха-ха-ха, в твои-то годы! Теперь, когда я пришел, ты уснешь и больше не будешь плакать, маленькая Лорелея?

Лорхен смотрит на него зачарованным взглядом. Профессор натягивает ей на обнажившееся воробьиное плечико узенькую кружевную кайму. Он невольно вспоминает сентиментальный рассказ про умирающего ребенка – тому позвали клоуна, который как-то в цирке привел его в непреходящий восторг. Клоун, спереди и сзади обшитый серебряными бабочками, пришел к детскому смертному одру, и ребенок умер, испытывая блаженство. Макс Гергезель ничем таким не обшит, и Лорхен, слава богу, не умирает, просто «страсть как разнюнилась», но в остальном история и впрямь чем-то похожа, и в ощущениях, испытываемых профессором по отношению к юному Гергезелю, который облокотился на перила и несет бог знает что – больше для отца, чем для дочери, чего Лорхен, однако, не видит, – самым странным образом перемешались благодарность, смущение, ненависть и восхищение.

– Спокойной ночи, маленькая Лорелея! – говорит Гергезель и через перила протягивает ей руку. Ее маленькая, красивая, белая ручка исчезает в его большой, сильной, красной. – Усни, – продолжает он. – Сладких снов! Но не про меня! Ради Бога! В твои-то годы! Ха-ха-ха!

И он завершает свой сказочный визит клоуна, а Корнелиус провожает его до двери.

– Не стоит благодарности! Ни слова об этом! – по дороге вежливо-великодушно отбивается он. Ксавер присоединяется к нему, чтобы подать

внизу итальянский салат.

А профессор Корнелиус возвращается к Лорхен, она уже улеглась, прижавшись щечкой к плоской подушечке.

– Видишь, как хорошо, – говорит он, нежно поправляя ей одеяло, и она кивает, напоследок судорожно вздыхая.

Где-то с четверть часа он еще сидит у перилец и смотрит, как она засыпает, вслед за братом, который куда раньше ступил на этот благословенный путь. Шелковые русые волосы ниспадают красивыми волнами, как всегда, когда она спит; длинные ресницы затевают глаза, из которых излилось столько страдания; в сладком умиротворении приоткрыт ангельский рот с выгнутой верхней губой; и лишь иногда в медленное дыхание с дрожью врывается запоздалый всхлип.

А ручки, розово-белые ручки словно цветы, какие же они прелестные, одна лежит на синем стеганом одеяле, другая – возле лица на подушке. Сердце доктора Корнелиуса будто вином напитывается нежностью.

Какое счастье, думает он, что с каждым вздохом этого забытья в ее маленькое сердце вливаются воды Леты, что детская ночь разверзает глубокую, широкую пропасть между днем сегодняшним и завтрашним! Завтра юный Гергезель, несомненно, станет лишь бледной тенью, неспособной нарушить мир ее души, и с беспамятным удовольствием она вместе с Абелем и Кусачиком покорится очарованию прогулки пяти аристократов и увлекательной игры в подушку.

Благодарение небесам!

Хозяин и собака

Он появляется из-за угла

Когда весна и вправду заслуживает наименования лучшей поры года и я рано просыпаюсь под ликующие трели птиц, потому что накануне вовремя лег, я люблю еще до завтрака выйти на воздух, без шляпы погулять по аллее перед домом или пройти в парк – подышать утренней свежестью и хоть немного насладиться ясной чистотой утра, перед тем как уйти с головой в работу. На ступеньках крыльца я останавливаюсь и свищу, свищу две ноты, тонику и кварту вниз, похожие на начало второй темы шубертовской «Неоконченной симфонии», – это сигнал или, если хотите, переложенное на музыку имя из двух слогов. И в то же мгновение, пока я иду к калитке, до меня издалека доносится сперва еле слышное, а потом уже громкое и явственное позвякивание – это жестяной номерок бьется о металлическую отделку ошейника, и, обернувшись, я вижу Баушана, который стремглав огибает дальний угол дома и мчится ко мне во весь опор, словно задавшись целью непременно сбить меня с ног. От напряжения у него отвисла нижняя губа, и зубы сверкают ослепительной белизной в ярком утреннем солнце.

Он примчался из своей конуры, которая устроена с другой стороны дома под полом стоящей на столбах веранды, где скорее всего дремал после беспокойно проведенной ночи, пока мой двойной свист не заставил его встрепенуться. Конура закрыта занавесками из дерюги и устлана соломой, отчего в шерсти Баушана, и без того несколько взъерошенной от лежания, и между когтями лап почти всегда торчат соломинки, – зрелище, всякий раз напоминающее мне старого графа Моора, каким я однажды видел его в чрезвычайно натуралистической постановке: он появлялся из башни, где его морили голодом, еле волоча «босые» ноги в розовом трико с торчащей между пальцами соломой. Я невольно становлюсь боком к мчащемуся на меня Баушану – занимаю, так сказать, оборонительную позицию, ибо его очевидное намерение кинуться мне под ноги и повалить на землю неизменно вводит меня в заблуждение. Однако в последнюю секунду, когда Баушан уже, кажется, вот-вот налетит на меня, он вдруг резко тормозит и сворачивает в сторону, что свидетельствует о его умении великолепно владеть как собой, так и своим телом; и тут в полном молчании – Баушан не часто пользуется своим звучным и выразительным голосом – он начинает кружиться вокруг меня в какой-то неистовой приветственной пляске, в которой притоптывания сменяются безумными вилияниями не

только предназначенного к тому самой природой хвоста, но захватывают в страстном порыве и заднюю часть туловища до ребер, переходят в винтообразные движения всего тела, замысловатые прыжки в воздухе и повороты вокруг собственной оси; но Баушан почему-то упорно пытается скрыть это представление от моего взора, так что, куда бы я ни повернулся, он всегда оказывается за моей спиной. Однако стоит мне только нагнуться и протянуть руку, как Баушан одним прыжком уже подле меня и, прислонившись плечом к моему колену, застывает как изваяние; он стоит, прижавшись ко мне всем боком, упершись крепкими лапами в землю, и, запрокинув морду, снизу вверх глядит мне в лицо; в сосредоточенном внимании, с каким он прислушивается к ласковым словам, которые я бормочу, хлопая его по лопатке, чувствуется не меньшая сила страсти, чем в прежних его бурных изъятиях восторга.

Баушан – короткошерстная немецкая легавая, если отнестись к такому определению не слишком придирчиво, а принять его с должной крупницей юмора, ибо если разобрать Баушана по косточкам, или, как полагается говорить, по статям, то его вряд ли можно отнести к чистокровным представителям этой породы. Прежде всего Баушан мал, он, надо прямо сказать, значительно меньше обычных подружейных легавых, и потом, передние лапы у него чуточку кривоваты, что тоже не вполне соответствует признанному идеалу. Некоторая склонность к «подгрудку», то есть к мешкообразным складкам кожи под шеей, которые придают собачьей осанке особую величавость, чрезвычайно красит Баушана, но и это, с точки зрения ревнителей собаководства, наверное, было бы поставлено ему в упрек, ибо у легавых, насколько мне известно, кожа должна плотно прилегать к шее. Окрас Баушана очень хорош. По кофейной рубашке у него разбросаны черные пятна. Но местами проглядывают и белые пежинки, почти сплошь покрывающие грудь, живот и лапы, тогда как тупую морду Баушана, кажется, взяли да и окунули в чернила. На широком лбу и прохладных, лопухом, ушах черная и кофейная шерсть сплетается в причудливый бархатистый узор, но всего забавнее и милее вихор, в который закручивается у него на груди белая псовина, торчащий, словно шип на старинном панцире. Впрочем, пестрота Баушана тоже может показаться «недопустимой» тем, для кого чистота родословной важнее личных качеств, ибо классической легавой, говорят, надлежит быть одноцветной или пегой в крале, но никак не пятнистой. Однако главным камнем преткновения при формальном подходе к определению породы Баушана служит, конечно, обильная растительность, свисающая у него с уголков верхней губы и с подбородка, которая не без основания может быть

названа усами и бородой и составляет, как известно, характерную особенность пинчера или шнауцеля.

Но не все ли равно, легавая или пинчер! Что за красавец и симпатяга Баушан, когда он вот так стоит, прижавшись к моему колену, и снизу вверх глядит на меня с беспредельной преданностью! Лучше всего у него глаза – кроткие и умные, хотя, быть может, слишком выпуклые и потому чуть-чуть стеклянные. Радужная оболочка глаз – каряя, такого же кофейного оттенка, что и шерсть, но из-за отливающего черным непомерно расширенного зрачка она кажется узеньким колечком, которое тут же переходит в белок. Прямота и смышленность – а именно эти душевные качества написаны на морде Баушана – свидетельствуют о его нравственном мужестве, а телосложение – о мужестве физическом: выпуклая грудная клетка с четко выступающими под тонкой и эластичной кожей мощными ребрами, подтянутый живот, нервные ноги в сетке сухожилий, крепкие, в комке, лапы – все это говорит об отваге и мужской доблести, говорит о мужицкой охотничьей крови; да, в облике Баушана чувствуется настоящий охотничий пес, и, на мой взгляд, он по праву может называться легавой, хоть и не обязан своим появлением на свет чванливому кровосмешительству; таков примерно смысл сбивчивых и довольно бессвязных слов, которые я говорю Баушану, похлопывая его по плечу.

А он стоит и смотрит, прислушивается к звукам моего голоса, улавливая в убеждающих интонациях явное одобрение своей персоне. И вдруг быстрым движением вскидывает голову к самому моему лицу и смыкает в воздухе челюсти, будто хочет откусить мне нос, – пантомима, которая служит, по-видимому, ответом на мои похвалы и всякий раз заставляет меня со смехом отпрянуть, к чему Баушан тоже давно привык. Это своего рода воздушный поцелуй, наполовину ласка, наполовину шалость, штука, которую он проделывал еще щенком и не свойственная ни одному из его предшественников. Впрочем, он тут же со смущенно-лукавым видом просит прощения за допущенную вольность, виляет хвостом и смешно пригибает голову. Но вот мы выходим за калитку.

Навстречу нам несется шум, похожий на рокот моря. Дом мой стоит возле быстрой порожистой реки, от которой его отделяет лишь тополевая аллея, обнесенная решеткой полоска газона с молоденькими кленами и насыпная дорога; по обе ее стороны растут огромные осины – великаны, явно поддельвающиеся под старые искривленные ветлы; их белый пух к началу июня будто снегом засыпает окрестность. Вверх по реке, в сторону города, саперы проводят занятия по наведению понтонного моста. Стук их тяжелых сапог о доски настила, отрывистые слова команды явственно

долетают до нас. С другого берега слышится заводской шум и грохот: вниз по течению, наискось от нашего дома, раскинулись корпуса большого паровозостроительного завода, который за войну сильно разросся; длинные окна его цехов всю ночь напролет светятся в темноте. Новенькие, отливающие лаком паровозы, проходя испытание, деловито снуют взад и вперед. Иногда протяжно завоет гудок, какой-то глухой стук время от времени сотрясает воздух, и из множества труб валит дым, но ветер, по счастью, относит его за лес на противоположном берегу, да и вообще-то дым редко переползает через реку на нашу сторону. Так мешаются в полупригородном, полудеревенском уединении этого уголка звуки погруженной в самое себя природы и человеческой деятельности, и надо всем сияет ясноокая свежесть раннего утра.

Обыкновенно я выхожу на прогулку этак в половине восьмого по официальному времени, на самом деле, значит, в половине седьмого. Я иду, заложив руки за спину, по залитой нежарким еще солнцем аллее, которую пересекают длинные тени тополей; реки мне не видно, но я слышу ее вольное мерное течение; тихо шелестят деревья, воздух наполнен неумолчным чириканьем, щебетом, раскатистыми трелями и переливами певчих птиц; во влажной голубизне неба, с востока, летит аэроплан – жесткая механическая птица, направляя свой ничем не стесненный полет над рекой и лесом; гул его сперва усиливается, затем постепенно замирает; а Баушан радуется моим легкими красивыми прыжками через низенькую решетку газона – туда и обратно, туда и обратно. Он прыгает, зная, что доставляет мне удовольствие; ведь я сам обучал его этому, постукивая тросточкой по ограде, и хвалил, когда у него хорошо получалось; вот и теперь он чуть ли не после каждого прыжка подбегает ко мне, ждет, что я скажу ему, какой он молодчина, какой он смелый и ловкий пес, пытается допрыгнуть до моего лица и, когда я его отстраняю, мокрым носом мусолит мне ладонь. Кроме того, эти усердные гимнастические упражнения заменяют ему утренний туалет, с их помощью он приглаживает свою взъерошенную шерсть и избавляется от застрявших в ней соломинок старика Моора.

До чего же хорошо после целительной ванны сна и долгого забвения ночи, помолодев телом и очистившись душой, ранним утром выйти на прогулку. Бодро, уверенно взираешь ты на предстоящий день, хоть и медлишь начать его, желая сполна насладиться чудесными, свободными от всяких обязательств и забот минутами между сном и работой, которые достались тебе в награду за примерное поведение. Ты тешишь себя иллюзией, что всегда будешь жить такой вот простой, серьезной,

созерцательной жизнью, что всегда будешь волен распоряжаться собой, ибо человек почему-то склонен считать минутное свое состояние, весел он или подавлен, спокоен или возбужден, за единственно истинное и постоянное и всякое счастливое *ex tempore*^[31] мысленно возводить в непреложное правило и нерушимый закон, тогда как в действительности он осужден жить по наитию изо дня в день. Вот и веришь, вдыхая утренний воздух, в свою свободу и добродетель, хотя должен бы знать, да, по существу, и знаешь, что мир уже плетет для тебя свои сети и что скорее всего ты уже завтра провалишься в кровати до девяти, потому что накануне развлекался и только в два часа ночи, разгоряченный, захмелевший и взвинченный, удосужился лечь в постель... Пусть так. Но сегодня ты образец благоразумия и внутренней дисциплины и самый подходящий хозяин вот для этого юного охотника, который только что опять перемахнул через ограду газона от радости, что сегодня ты, как видно, предпочитаешь общаться с ним, а не с обитателями того, большого мира.

Мы идем по аллее минут пять до того места, где она перестает быть аллеей и превращается в хаотическое нагромождение крупного щебня, тянущееся вдоль реки; тут мы сворачиваем вправо, на засыпанную более мелким щебнем широкую, но пока еще не застроенную улицу, по которой, однако, как и по нашей аллее, проложена велосипедная дорожка; улица эта проходит между расположенными несколько ниже ее лесистыми участками и упирается в склон горы, замыкающей с востока наш прибрежный район – местожительство Баушана. Немного погодя мы пересекаем еще другую, тоже будущую улицу; выше, возле трамвайной остановки, она сплошь застроена доходными домами, но здесь, ничем не огражденная, идет куда-то через лес и поле; затем мы по отлого спускающейся дорожке попадаем в великолепный парк, разбитый на манер курортных парков, но совершенно безлюдный, как, впрочем, и вся местность в этот ранний час; везде стоят скамейки, покатые дорожки звездообразно сходятся или приводят к площадкам для детских игр, вокруг – зеленые поляны с кучами старых, пышно разросшихся деревьев – вязов, буков, лип, серебристых ветел, кроны которых спускаются так низко, что оставляют на виду лишь небольшой кусочек ствола. Я не нарадуюсь на этот тщательно распланированный парк, в котором гуляю, как в собственном поместье. Все здесь продумано до мелочей, вплоть до того, что у посыпанных гравием дорожек, сбегających с отлогих, поросших травой холмов, зацементированы обочины. Гуща зелени то и дело расступается, открывая взору чудесный вид на белеющую вдали виллу.

Я прохаживаюсь по дорожкам, а Баушан, ошалев от здешнего

приволья, носится как полоумный с поляны на поляну таким галопом, что у него даже заносит зад, или же с негодующе-блаженным лаем гоняется за птичкой, которая то ли со страху, то ли затем, чтобы его подразнить, вьется над самым его носом. Но стоит мне сесть на скамейку, как Баушан уже тут как тут и пристраивается у меня в ногах. Ибо для моего четвероногого друга непреложный закон – бегать, когда я нахожусь в движении, и садиться, когда я сажусь. Надобности в этом никакой нет, но Баушан твердо следует этому правилу.

Мне и странно, и уютно, и забавно ощущать на ноге тепло его разгоряченного тела. Как и всегда почти, когда я бываю с Баушаном и гляжу на него, радостное умиление спирает мне грудь. Он и сидит-то по-крестьянски – лопатки наружу, ступни внутрь. В этой позе он кажется более приземистым и неуклюжим, чем на самом деле, а белый клочок шерсти на груди выпирает совсем уж нелепо и смешно. Зато, взглянув на его важно поднятую голову, никто не осмелится обвинить его в неумении держать себя – столько в ней настороженного внимания... Мы притихли, и сразу же нас обступила тишина. Шум реки едва сюда долетает. И потому любой самый слабый шорох и движение вокруг становятся особенно слышны и привлекают внимание: вот в траве прошуршала ящерица, вот пискнула птаха, где-то поблизости роется крот. Уши Баушана подняты, насколько это позволяет мускулатура висячих ушей, голова, чтобы лучше слышать, наклонена набок, и ноздри влажного черного носа, втягивая все запахи, находятся в беспрестанном трепетном движении.

Потом он ложится, но так, чтобы все-таки касаться моей ноги. Он лежит в профиль ко мне, в древней как мир, симметричной позе полуидола-полузверя, сфинкс с поднятой головой и грудью, прижатыми к туловищу локтями и бедрами и вытянутыми вперед лапами. Но ему жарко, он открывает пасть – и сразу же вся непроницаемая мудрость его облика исчезает, и он становится самым обыкновенным псом: глаза моргают и суживаются, а из-за крепких белых клыков вываливается длинный розово-красный язык.

Как нам достался Баушан

Сосватала нам Баушана плотная, не лишенная приятности, черноглазая фрейлейн, которая с помощью рослой и такой же черноглазой дочки содержала пансион в горах неподалеку от Тельца. Это случилось два года назад, и Баушан был тогда полугодовальным подростком-щенком. Анастасия – так звали хозяйку пансиона – знала, что мы вынуждены были пристрелить нашу шотландскую овчарку Перси – слабоумного пса-аристократа, который в преклонном возрасте подхватил очень прилипчивую и противную накожную болезнь, – и с того самого дня нуждаемся в стороже. Она протелефонировала нам из своего горного домика и сообщила, что приняла на постой и на комиссию собаку, лучше которой и желать нечего, и что мы можем в любое время прийти ее посмотреть.

Уступив настояниям детей – впрочем, нас, взрослых, тоже разбирало любопытство, – мы на следующий же день после обеда отправились в горы. Анастасию мы застали в просторной кухне, наполненной теплыми и сытными запахами; покрасневшая и потная, с расстегнутым воротом и обнаженными по локоть округлыми руками, она готовила ужин своим постояльцам. Дочь со спокойной расторопностью подавала ей все нужное для стряпни. Нас приветливо встретили и не преминули похвалить за то, что мы явились без проволоочки. Заметив, что мы озираемся по сторонам, дочь хозяйки, Рези, подвела нас к кухонному столу, уперлась руками в колени и, склонив голову, адресовала несколько ласковых слов кому-то под столом. Оказывается, там, привязанное обрывком грязной веревки, стояло существо, которое в полумраке кухни, освещенной только отблесками огня, мы сначала не заметили и вид которого поневоле вызывал улыбку жалости.

Оно стояло, поджав хвост, сгорбившись и сдвинув все четыре тонкие, подгибающиеся от слабости лапы, и тряслось. Возможно, оно тряслось от страха, но скорее всего от полного отсутствия каких-либо жировых или мускульных тканей, ибо это был форменный скелет – ребрышки и позвоночник, обтянутые облезлой шкурой, на четырех палочках. Уши у него были плотно прижаты – положение, которое способно сразу же погасить всякий признак живости и ума в физиономии собаки, а в его совсем еще щенячьей мордочке столь полно достигало этого эффекта, что она выражала одну только глупость, страдание и мольбу о снисхождении; к тому же усы и борода, и поныне украшающие Баушана, в ту пору были

куда более пышными и придавали его и без того жалкому облику еще и оттенок угрюмой подавленности.

Все нагнулись, чтобы утешить и приласкать горемыку. И пока дети шумно изъясляли свою жалость, Анастасия, хлопоча у плиты, сообщила нам всю подноготную своего постояльца. Он сын почтенных родителей, и звать его пока что Люкс, – степенно рассказывала она ровным приятным голосом. Мать его она сама знала, а об отце слышала одно только хорошее. Родом Люкс с фермы в Хюгельфинге, и, если бы не некоторые чрезвычайные обстоятельства, хозяева никогда бы с ним не расстались; но теперь они вынуждены уступить его за сходную цену, для чего и доставили песика к ней – ведь у нее в доме всегда бывает много народу. Хозяева приехали в своей тележке, а Люкс все двадцать километров мужественно бежал между задними колесами. Зная, что мы ищем хорошую собаку, она сразу подумала о нас и почти уверена, что мы его возьмем. Тогда все устроится ко всеобщему благополучию. Нам собачка, несомненно, придется по душе, Люкс, со своей стороны, имея теплый угол, уже не будет чувствовать себя таким одиноким и неприкаянным, и она, Анастасия, перестанет беспокоиться за него. Пусть нас только не смущает его понурый и несчастный вид. Его сбила с толку незнакомая обстановка, и он потерял уверенность в себе. Но в скором времени мы поймем, от каких он превосходных родителей.

– Да, но они, по-видимому, не очень-то друг к другу подходили.

– Отчего же, если оба великолепные собаки. – В щенке заложены самые лучшие качества, она, фрейлейн Анастасия, готова за это поручиться. И потом, он не избалован и привык довольствоваться малым, что в нынешние трудные времена тоже весьма существенно. До сих пор он вообще питался одной картофельной шелухой. Лучше всего нам прямо взять его к себе домой на пробу – это нас ровно ни к чему не обяжет. Если окажется, что сердце у нас к нему не лежит, она тут же примет его обратно и вернет нам деньги. Это она может смело пообещать, нисколько не опасаясь, что мы поймем ее на слове. Она достаточно хорошо знает и его и нас – то есть обе стороны, уверена, что мы его полюбим и даже думать не захотим о том, чтобы с ним расстаться.

Она еще долго говорила в том же духе, спокойно, без запинки, с обычной своей приятностью, и вырывавшийся из конфорки огонь, когда она снимала кастрюлю, озарял ее как пламя волшебного котла. В конце концов она подошла к Люксу и обеими руками открыла ему пасть, чтобы показать нам его великолепные зубы и, еще по каким-то соображениям, его розовое рифленое нёбо. На поставленный тоном знатока вопрос – чумился

ли он? — она с оттенком нетерпения отвечала, что не знает. А уж ростом, заверила она, он со временем наверняка будет с нашего погибшего Перси. Дети волновались, Анастасия, ободренная настойчивыми упрашиваниями детей, рассыпалась в похвалах собаке, а мы не знали, на что решиться. Кончилось дело тем, что мы выпросили себе отсрочку на размышление и в тяжелом раздумье побрели в долину, взвешивая все «за» и «против».

Но, как и следовало ожидать, четвероногий горемыка под столом обворожил наших ребят, и хотя мы, взрослые, для вида потешались над их неудачным выбором, но и у нас щемило сердце, и мы понимали, что теперь нам, пожалуй, нелегко будет вытравить из памяти образ бедняги Люкса. Что ожидает его, если мы от него отвернемся? В какие руки он попадет? И в нашем воображении уже возникала загадочная и страшная фигура живодера, от гнусного аркана которого Перси некогда спасла рыцарская пуля оружейного мастера и почетное погребение в дальнем углу нашего сада. Лучше бы нам не встречаться с Люксом, не видеть его усатой и бородатой щенячьей мордочки, тогда бы мы не думали об ожидавшей его неизвестной и, быть может, страшной участи; но теперь, когда мы знали о его существовании, на нас как бы ложилась моральная ответственность, от которой мы лишь с трудом, да и то навряд ли, сможем отвертеться. Так вот и вышло, что через два дня мы уже снова взбирались вверх по пологим отрогам Альп к домику Анастасии. Не то чтобы мы твердо решились на покупку, — нет, но мы понимали, что при сложившихся обстоятельствах дело скорее всего этим кончится.

На этот раз Анастасия с дочерью сидели друг против друга по обоим концам длинного кухонного стола и пили кофе. А между ними, перед столом, сидел тот, кто носил условное имя Люкс, сидел уже точно так, как сидит теперь: лапами внутрь, по-мужицки вывернув лопатки, а за его истрепанным ошейником красовался букетик полевых цветов, придававший ему празднично-нарядный вид, — ни дать ни взять разрядившийся по случаю воскресенья деревенский щеголь или дружка на крестьянской свадьбе. Младшая фрейлейн, сама выглядевшая очень нарядно в национальном костюме с бархатным лифом на шнуровке, собственноручно продела ему за ошейник этот букет «по случаю новоселья», как она пояснила. И мать и дочь, по их заверениям, не сомневались в том, что мы придем за нашим Люксом, и придем именно сегодня.

Итак, с самого начала путь к отступлению был отрезан. Анастасия в обычной своей приятной манере поблагодарила нас за десять марок, которые мы ей вручили в качестве платы за Люкса. Было совершенно ясно,

что берет она эти деньги больше в наших интересах, чем в своих собственных или же в интересах людей с фермы, и берет с единственной целью – придать бедному Люксу в наших глазах какую-то выраженную в цифрах реальную стоимость. Так мы это и поняли и охотно выложили деньги. Люкса отвязали от ножки стола, конец веревки был вручен мне, и, провожаемая любезными напутствиями и пожеланиями, наша процессия покинула кухню фрейлейн Анастасии.

Не скажу, чтобы почти часовой обратный путь с нашим новым домочадцем представлял собой триумфальное шествие, тем более что деревенский щеголь очень быстро потерял свой нарядный букет. На лицах встречавшихся нам прохожих мы, правда, замечали улыбку, но с каким-то оттенком обидного пренебрежения, а прохожих попадалось все больше, так как путь наш лежал через рыночную площадь, которую нам предстояло пересечь из конца в конец. В довершение всего у Люкса оказался понос, которым он, вероятно, страдал уже не первый день, что вынуждало нас к частым остановкам на глазах у горожан. Встав в круг, мы, как могли, загораживали несчастного страдальца и с ужасом спрашивали себя, уж не первые ли это зловещие признаки чумы, – опасения, как потом оказалось, совершенно напрасные, ибо будущее показало, что мы имеем дело с натурой исключительно крепкой и здоровой, неуязвимой ни для какой заразы и болезней.

Дома мы позвали горничную и кухарку, чтобы представить им нового члена семьи и заодно уж узнать их мнение. По всему было видно, что они приготовились восхищаться, но, увидев понуро стоявшего Люкса и наши смущенные лица, обе прыснули со смеху, отвернулись и замахали на него руками. После этого едва ли можно было надеяться, что гуманные соображения, побудившие Анастасию потребовать с нас плату, найдут в них сочувственный отклик, и мы почли за благо сказать, что собаку нам подарили. Люкса отвели на веранду, где ему был предложен праздничный обед, составленный из самых лакомых остатков.

Но он настолько пал духом, что даже ни к чему не притронулся. Он, правда, обнюхивал кусочки, которые ему подсовывали, но тут же боязливо пятился, не в силах поверить, что такая роскошь, как куриные лапки и корки от сыра, в самом деле предназначается ему. Зато от мешка, набитого морской травой, который положили для него в прихожей, он не отказался и сразу же улегся, поджав под себя лапы. А в доме тем временем спорили и наконец порешили, как ему в дальнейшем именоваться.

На следующий день он опять не прикасался к пище, потом, примерно с неделю, жадно и без разбору хватал все, что ему ни подставляли, пока

наконец не стал есть со спокойной размеренностью и подобающим достоинством. Постепенно он осваивался и начинал чувствовать себя полноправным членом семьи. Но входить в подробное описание этого длительного процесса нет никакой надобности. Правда, на какое-то время этот процесс был прерван исчезновением Баушана: дети вывели щенка в сад и отвязали веревку, чтобы дать ему побегать на воле, но не успели они отвернуться, как Баушан подлез под калитку и был таков. Пропажа ввергла в смятение и печаль если не весь дом, то по крайней мере господ; прислуга вряд ли приняла близко к сердцу утрату дареной собаки, если вообще сочла это за утрату. Мы задали немало работы телефону, то и дело звоня в пансион к Анастасии в надежде, что пес прибежит туда. Напрасно, он там не показывался, и только через два дня фрейлейн Анастасия сообщила нам, что ей звонили из Хюгельфинга: полтора часа назад Люкс появился на родимой ферме. Да, он был там, идеализм инстинкта привел его обратно в мир картофельной шелухи, заставив снова проделать те двадцать километров, которые он когда-то пробежал между колесами тележки, в полном одиночестве, в дождь и слякоть! Пришлось его бывшим хозяевам опять запрягать лошадь и трястись двадцать километров в тележке, чтобы доставить Люкса к Анастасии, а через два дня и мы собрались в путь за беглецом, которого нашли, как и в первый раз, привязанным к ножке стола, по уши забрызганного грязью проселочных дорог, истерзанного и усталого. Правда, он сразу узнал нас, завилял хвостом – словом, всячески выказывал свою радость. Но в таком случае почему же он сбежал?

Со временем стало ясно, что Баушан выкинул из головы всякую мысль о ферме, но и у нас он еще не окончательно обжился, никто еще не завладел его душой, и он был как листок, крутящийся по воле ветра. В ту пору на прогулках нельзя было ни на секунду спускать с него глаз, ибо ему ничего не стоило бы порвать слабые узы дружбы, связывавшие нас с ним, и улизнуть в лес, где, ведя бродячую жизнь, он бы очень быстро одичал и уподобился своим нецивилизованным предкам. Только наша неусыпная забота спасла его от этой страшной участи и удержала на той высокой ступени культуры, которой он и его сородичи достигли за многие тысячелетия общения с человеком; а потом перемена места, наш переезд в город, или, вернее, пригород, немало способствовали тому, чтобы окончательно привязать Баушана к нам и к нашему дому.

Некоторые данные о характере и образе жизни Баушана

Один человек из долины Изара предупредил меня, что собаки этой породы часто становятся в тягость хозяину, так как ни на шаг от него не отходят. Поэтому, когда Баушан в скором времени стал действительно выказывать упорную приверженность к моей особе, я остерегся приписать это своим личным достоинствам – так мне было легче сдерживать его порывы и по мере возможности себя от них ограждать. Мы сталкиваемся здесь с наследственным патриархальным инстинктом собаки, который побуждает ее – я говорю, разумеется, не об изнеженных комнатных породах – видеть и почитать в лице главы семьи, мужчины – хозяина, защитника очага и добытчика, находить в преданном и рабском служении ему утверждение собственного достоинства и держаться по отношению ко всем остальным домочадцам с куда большей независимостью. В этом духе и вел себя Баушан со мной почти с первых же дней; как верный оруженосец глядел мне в глаза, дожидаясь приказаний, которые я предпочитал ему не давать, так как очень быстро выяснилось, что он отнюдь не отличается послушанием, и ходил за мною по пятам, очевидно, в полной уверенности, что ему самой природой предназначено неотлучно находиться при мне. Когда вся семья была в сборе, он, разумеется, ложился только у моих ног. Если на прогулке я отдалялся от остальных, он, разумеется, следовал за мной. Он непременно желал находиться возле меня, когда я работал, и, если дверь оказывалась заперта, стремительно вскакивал в окно, при этом гравий сыпался в комнату, – и с глубоким вздохом ложился под письменный стол.

Но в нас настолько крепко сидит уважение ко всему живому, что присутствие хотя бы собаки стеснительно, когда хочется побыть одному; вдобавок Баушан мешал мне и самым прямым и непосредственным образом. Он подходил к моему креслу, вилял хвостом, умоляюще смотрел на меня и топтался на месте, требуя, чтобы я его развлекал. Стоило мне хотя бы одним движением откликнуться на его мольбы, как он уже становился лапами на подлокотники кресла, лез ко мне на грудь, смешил меня своими воздушными поцелуями, потом начинал шарить носом по письменному столу, видимо, полагая, что раз я так старательно над ним нагибаюсь, то там непременно должно быть что-нибудь съедобное, и, конечно, мял и пачкал мне рукопись своими мохнатыми лапищами. Правда,

после строгого окрика «на место!» он ложился и засыпал. Но во сне ему что-то грезилось, он быстро-быстро, как на бегу, перебирал всеми четырьмя лапами, издавая глухой и вместе с тем пискливый, чревовещательный и какой-то потусторонний лай. Немудрено, что это меня волновало и отвлекало от работы; во-первых, мне становилось как-то не по себе, и, во-вторых, меня грызла совесть. Сновидения эти уж слишком явно были суррогатом настоящей гоньбы и охоты, стряпней организма, вынужденного хоть чем-то возместить радость движения на вольном воздухе, которая при совместной жизни со мной выпадала на долю Баушана отнюдь не в той мере, в какой этого требовали его инстинкт и охотничья кровь. Меня это мучило; но так как ничего тут поделать было нельзя, высшие интересы повелевали мне избавиться от вечного источника беспокойства; причем в оправдание себе я говорил, что Баушан в плохую погоду наносит много грязи в комнаты и рвет когтями ковры.

В конце концов Баушану строго-настрого запретили переступать порог дома и находиться со мной, когда я бывал в комнатах, хотя иногда и допускались исключения; он быстро понял, что от него требовали, и покорился противоестественному положению, ибо такова была неисповедимая воля его господина и повелителя. Ведь разлука со мной, нередко, особенно в зимнее время, продолжавшаяся большую часть дня, все-таки только разлука, а не настоящий разрыв или разобщенность. Он не со мной, потому что я так приказал, но это всего лишь выполнение приказа, бытие со мной в его противоположности, и о какой-то самостоятельной жизни Баушана в часы, которые он проводит без меня, вообще не приходится говорить. Правда, сквозь стеклянную дверь кабинета я вижу, как он с неуклюжей шаловливостью доброго дядюшки забавляется с детьми на лужайке перед домом. Но время от времени он непременно подходит к двери и, так как за тюлевой занавеской меня не видно, обнюхивает дверную щель, чтобы удостовериться, там ли я, садится на ступеньки ко мне спиной и ждет. Со своего места за письменным столом мне видно также, как он иногда задумчивой рысцой бежит по насыпной дороге между старыми осинами, но такие прогулки годны лишь на то, чтобы как-то убить время, в них нет самоутверждения, нет радости, нет жизни, и уж совершенно немыслимо себе представить, чтобы Баушан вздумал охотиться без меня, хотя никто ему охотиться не запрещает и мое присутствие, как будет видно из дальнейшего, вовсе для этого не обязательно.

Жизнь его начинается, когда я выхожу из дому, — но, увы, и то не всегда! Ведь в то время, как я направляюсь к калитке, еще неизвестно, куда

я поверну – направо ли, вниз по аллее, к просторам и уединению наших охотничьих угодий, или налево, к трамвайной остановке, чтобы ехать в город, а сопровождать меня Баушану есть смысл только в первом случае. Вначале он увязывался за мной и тогда, когда я отправлялся в этот суматошный мир, с изумлением взирал на грохочущий трамвай и, поборов страх, самоотверженно и слепо кидался за мной на забитую людьми площадку. Но взрыв общественного негодования немедленно сгонял его на мостовую, и он скрепя сердце пускался галопом вслед за звенящей и гремящей машиной, нисколько не похожей на тележку, между колесами которой он когда-то трусил рысцой. Пока хватало сил и дыхания, Баушан честно старался не отставать. Но бедного деревенщину сбивала с толку городская суматоха и толчея; он попадал прохожим под ноги, чужие собаки бросались на него с тыла, вакханалия резких, неведомых дотоле запахов ударяла ему в нос и кружила голову, углы домов, пропитанные густым ароматом былых любовных интриг, неудержимо влекли его к себе, и он отставал; правда, потом ему удавалось нагнать точно такой же вагон, бегущий по рельсам, но – увы! – это был не тот вагон; Баушан мчался наугад все дальше и дальше, пока окончательно не сбивался с пути; и лишь через два дня, измученный и голодный, являлся наконец, прихрамывая, домой, в тишину виллы на берегу реки, куда тем временем достало благоразумия вернуться и его хозяину.

Это случалось не раз, потом Баушан смирился и больше не провожал меня, когда я поворачивал налево. Лишь только я выхожу за дверь, он уже знает, что у меня на уме: охота или светские развлечения. Он вскакивает с половика, на котором лежал, поджидая меня в тени подъезда, сразу угадав мои намерения по тому, как я одет, какая у меня тросточка, какое выражение лица, по тому, взглянул ли я на него мельком, холодно и деловито, или же, напротив, ласково и дружелюбно. Как тут не понять! Если по всему видно, что прогулка состоится, он кубарем скатывается со ступенек и в немом восторге гарцует впереди меня по направлению к калитке, а если надежды нет, настроение его падает, он никнет, прижимает уши, вид у него становится трагически-печальный, а в глазах появляется то робкое, жалко-виноватое выражение, которое в несчастье одинаково свойственно и людям и животным.

Иногда, наперекор всему, он отказывается верить, что на сегодня все кончено и охота не состоится. Уж очень ему хотелось погулять! И, обманывая себя, Баушан предпочитает не видеть ни городской тросточки, ни благопристойной сюртучной пары, в которую я облакаюсь ради такого случая. Он проталкивается вместе со мной в калитку, крутится вокруг

собственной оси и, в надежде меня соблазнить, припускается галопом направо по аллее, все время оглядываясь и не желая понять роковое «нет», которым я отвечаю на все его ухищрения. А когда я тем не менее поворачиваю налево, он бежит обратно и, громко сопя, с тонким жалобным присвистом, которого от волнения не в силах сдержать, провожает меня вдоль всего нашего забора; дойдя до решетки прилегающего парка, Баушан начинает прыгать через нее туда и обратно; решетка эта довольно высокая, и, боясь ободрать себе живот, он всякий раз охает. Прыгает он с отчаяния, из того бесшабашного удалства, которому все нипочем, а в основном, конечно, чтобы меня задобрить и покорить своим усердием. Ведь еще не все потеряно, еще есть надежда, – правда, очень слабая, – что в конце парка я не пойду к трамвайной остановке, а еще раз сверну налево и, сделав небольшой крюк, чтобы опустить письмо в почтовый ящик, все же поведу его в лес. Это хоть и редко, но бывает, а когда и эта последняя надежда рассыпается прахом, Баушан садится на землю и предоставляет мне идти на все четыре стороны.

Так он и сидит посреди дороги в неуклюжей мужицкой позе и смотрит мне вслед, пока я не дохожу до самого конца проспекта. Если я оборачиваюсь, Баушан настораживает уши, но не бежит ко мне, – свистни я или позови его, он все равно не пойдет, он знает, что это бесполезно. Вот и конец аллеи, а Баушан все еще сиротливо сидит посреди дороги – крохотное, темное, нескладное пятнышко, при виде которого у меня всякий раз сжимается сердце, и я сажусь в трамвай, терзаясь угрызениями совести. Как он ждал! И что может быть ужаснее мук ожидания. А ведь вся его жизнь – ожидание прогулки со мной; не успеет он отдохнуть, как уж опять ждет, что я пойду с ним в лес. Он и ночью ждет, потому что спит Баушан урывками круглые сутки, то часик вздремнет на зеленом ковре лужайки, когда солнце славно припекает спину, то прикорнет за дерюжными занавесками конуры, коротая длинный, ничем не заполненный день. Но зато он не знает и ночного покоя, сон его прерывист и тревожен, он кружит в темноте по двору и саду, бросается туда и сюда и – ждет. Он ждет обхода сторожа с фонарем и вопреки здравому смыслу провожает его шаркающие шаги угрожающим и призывным лаем, ждет, когда посветлеет небо, ждет, когда в дальнем садоводстве пропоет петух, ждет, когда утренний ветерок проснется в ветвях и когда отопрут наконец кухонную дверь и он сможет туда прошмыгнуть и погреться у плиты.

И все же, думается мне, ночная пытка скукой для Баушана ничто по сравнению с тем, что он испытывает днем, особенно в хорошую погоду, все равно, зимой или летом, когда солнце манит на волю, в каждой жилочке

трепещет страстное желание порезвиться и поиграть, а хозяин, без которого прогулкой как следует не насладишься, будто назло сиднем сидит за своей стеклянной дверью. Подвижное тельце Баушана, в котором с лихорадочной быстротой пульсирует жизнь, отдохнуло досыта, даже до пресыщения, о сне нечего и думать. Он подымается на террасу, подходит к моей двери, со вздохом, идущим из самой глубины души, растягивается на полу, кладет голову на вытянутые лапы и обращает страдальческий взор к небу. Но, впрочем, роль мученика он выдерживает секунды две-три, не более. Что бы такое предпринять? Может, спуститься по ступенькам к пирамидальным туям, что стоят по обе стороны куртины с розами, и поднять ногу – на ту, что справа, которая из-за дурной привычки Баушана каждый год засыхает, так что вместо нее приходится подсаживать новую? Итак, он спускается вниз и делает то, в чем не испытывает ни малейшей нужды, но что может хоть на время рассеять его и занять. Долго стоит он на трех ногах, несмотря на явную бесплодность своих усилий, так долго, что четвертая нога у него начинает дрожать, и Баушан вынужден подпрыгивать, чтобы сохранить равновесие. Потом он опять становится на все четыре лапы, но, что ни делай, все равно ему не легче. Тупо глядит он вверх в сплетенные ветви ясеней, где, весело щебеча, гоняются друг за дружкой две птички, и, когда они стрелой улетают, проводив их долгим взглядом, отворачивается, будто пожимая плечами и дивясь такой ребяческой беспечности. Затем он начинает потягиваться так, что трещат все суставы, обстоятельности ради разделяя эту операцию на две части: сначала он вытягивает передние ноги, высоко вскидывая зад, потом вытягивает задние ноги и оба раза зверски зевает во всю пасть. Но вот и с этим покончено, как ни старался он продлить удовольствие, а если уж ты потянулся по всем правилам, сразу опять не потянешься. Баушан стоит и в мрачном раздумье смотрит в землю. Наконец медленно и осторожно он начинает кружиться на месте, будто собираясь лечь, но еще не зная наверное, как лучше к этому приступить. Тут, однако, его осеняет новая мысль: ленивой походкой он идет на середину лужайки – и вдруг диким, почти бешеным броском кидается на землю и давай кататься по зеленому бобрику подстриженного газона, который щекочет и охлаждает ему спину. Такое занятие, вероятно, сопряжено с чувством острого удовольствия, потому что, катаясь по лужайке, Баушан судорожно поджимает лапы и в пылу упоения и восторга хватается зубами воздух. Да, потому он и пьет до дна кубок наслаждения, что знает, сколь это счастье недолговечно, ведь кататься по траве можно от силы какие-нибудь десять секунд, и за этим наступит не здоровая усталость, служащая наградой настоящей физической работе, а лишь то

отрезвление и постылая тоска, которыми мы расплачиваемся за хмель и пьяное беспутство. Несколько мгновений он лежит на боку, закатив глаза, будто мертвый. Затем встает и отряхивается. Отряхивается так, как это умеют только собаки, не рискуя получить сотрясение мозга; отряхивается так, что все у него ходуном ходит, уши шлепаются о подбородок и губы отскакивают от сверкающих белизной клыков. А дальше? Дальше он стоит неподвижно в полной растерянности посреди лужайки и уж окончательно не знает, чем себя занять.

Бедняге остается лишь прибегнуть к крайнему средству. Он подымается на террасу, подходит к застекленной двери и, прижав уши, боязливо и нерешительно, словно нищий, протягивает лапу и скребется в дверь – скребется только раз, да и то совсем тихо; но эта робко и смиренно протянутая лапа, это слабое, не повторяющееся больше царапанье в дверь, на которое он решается, не зная, как себе помочь, переворачивает мне всю душу, и я встаю, чтобы открыть дверь и впустить его к себе, хотя знаю, что к добру это не приведет. И правда, Баушан тотчас принимается скакать и прыгать, призывая меня к более мужественным занятиям, причем сразу же сбивает ковер в сотни складок и переворачивает все в комнате вверх дном, так что прощай и покой и работа.

Посудите же сами, легко ли мне, зная, как ждет меня Баушан, садиться в трамвай, бросив и гнусно предав сиротливое пятнышко в конце тополевой аллеи! Летом, когда поздно темнеет, беда невелика, есть надежда, что я хоть вечером пойду гулять в лес, и Баушан, прождав меня так долго, все же не останется внакладе и, если ему улыбнется охотничье счастье, еще погоняется за зайцем. Но зимой, когда я после завтрака уезжаю в город, день бесповоротно потерян, и Баушан должен оставить всякую надежду на целые сутки. Тогда ко времени моей вечерней прогулки уже давно спустились сумерки, в наших охотничьих угодьях стоит непроглядная тьма, и я вынужден направлять свои стопы вверх по реке, по улицам и городским скверам, где сияют газ и электричество, что никак не вяжется с простыми и непрехотливыми наклонностями Баушана; вначале он, правда, сопровождал меня, но вскоре стал отпускать одного, предпочитая оставаться дома. Мало того, что там не порезвишься, – его тревожил неестественный полумрак, он пугался прохожих, пугался кустов, с визгом шарахался от взлетевшей пелеринки полицейского, чтобы тут же, с отвагой, порожденной страхом, кинуться на не менее перепуганного блюстителя порядка, который облегчал душу потоком угроз и ругательств по нашему адресу, – да каких только неприятностей не бывало у нас, когда Баушан сопровождал меня под покровом ночи! Раз уж я упомянул о

постовом, мне хочется добавить, что есть три категории людей, которых Баушан совершенно не терпит: это полицейские, монахи и трубочисты. Он ненавидит их всем сердцем и провожает разъяренным лаем всякий раз, как они проходят мимо нашего дома или вообще попадают ему на глаза.

Притом зима, надо прямо сказать, время года, когда светская жизнь особенно дерзко посягает на нашу свободу и добродетель, пора наименее благоприятная для жизни размеренной и собранной, для уединения и тихого раздумья, так что город притягивает меня очень часто еще и вечером, и лишь поздно, в первом часу ночи, последний трамвай по дороге в парк доставляет меня на предпоследнюю свою остановку, а не то я возвращаюсь еще позднее, когда уже никакие трамваи не ходят, возвращаюсь пешком, навеселе, с сигаретой в зубах, слишком возбужденный, чтобы чувствовать усталость, во власти той фальшивой беззаботности, при которой море кажется по колено. И вот тут-то мой собственный угол, моя подлинная мирная и тихая жизнь предстает предо мной в образе Баушана и не только не встречает меня обидами и попреками, но с ликованием приветствует, безмерно радуется и возвращает меня самому себе. В полной темноте, определяя дорогу по шуму реки, я сворачиваю на нашу аллею и едва успеваю пройти несколько шагов, как чувствую вокруг себя какую-то безмолвную возню и движение. Сперва я не понимал, что происходит. «Баушан?» – спрашивал я, обращаясь в темноту... Движение и возня усиливаются до предела, переходят в дикую, неистовую пляску – и все это в полном безмолвии, и лишь только я останавливаюсь, честные, хотя и очень мокрые и грязные лапы опускаются на отвороты моего пальто, и у самого лица слышится такое отчаянное сопение и пыхтение, что я поневоле откидываюсь назад, но все-таки ласково треплю намокшую под дождем и снегом худенькую лопатку... Бедняга ходил меня встречать к трамваю; хорошо изучив все привычки и повадки непутевого своего хозяина, он, когда, по его представлению, подошло время, побежал на трамвайную остановку и ждал там меня – может быть, даже долго ждал, под дождем и снегом, – но в радости, с которой он меня приветствует, когда я наконец возвращаюсь, нет ни злобы, ни обиды на постыдное мое вероломство, а ведь я сегодня покинул его на целый день, и он ждал и надеялся понапрасну. И когда я треплю его по спине, и когда мы вместе идем к дому, я не перестаю его хвалить. Я говорю Баушану, что он поступил прекрасно, и даю самые торжественные обещания на завтрашний день, заверяя его (вернее, самого себя), что уж завтра днем мы непременно и при любой погоде сходим с ним на охоту, и от таких намерений мое светское настроение улетучивается как дым, ко

мне возвращается обычная спокойная серьезность и ясность, а представление о наших охотничьих угодьях и о благодатном их уединении наводит меня на мысль о более высоких, сокровенных и святых обязанностях...

Но я хочу отметить еще некоторые черточки в характере Баушана, с тем чтобы он как живой предстал перед взором благосклонного читателя. Быть может, это всего лучше сделать, сравнив его с нашим безвременно погибшим Перси, ибо вряд ли сыщешь внутри одной и той же родовой группы две столь диаметрально противоположные натуры. Прежде всего следует иметь в виду, что Баушан психически совершенно здоров, тогда как Перси, о чем вскользь уже упоминалось и как нередко случается с собаками-аристократами, был от рождения дурак и кретин, являя собой поучительный пример доведенной до абсурда чистопородности. Об этом уже шла речь в более широкой связи. Здесь достаточно противопоставить истинно народное здравомыслие, отличающее все поведение и поступки Баушана, – например: когда я отправляюсь с ним на прогулку или когда он встречает меня, эмоции его всегда протекают в рамках обыкновенной и здоровой сердечности, без тени какой-либо истерии, меж тем как Перси в аналогичных обстоятельствах подчас вел себя просто возмутительно.

И все же различие двух этих существ не исчерпывается сказанным; в действительности оно противоречивее и сложнее. Баушан хотя и крепок как простолюдин, но как простолюдин чувствителен, тогда как его аристократический предшественник, несмотря на более хрупкую и нежную конституцию, обладал куда более гордой и непреклонной душой и, при всей своей глупости, во многом превосходил деревенщину Баушана в смысле выдержки и самодисциплины. Вовсе не в защиту аристократической догмы, а единственно истины ради указываю я на это смешение противоположностей: здоровья и дряблости, изнеженности и стойкости. Так, например, зимой, в трескучий мороз, Баушану ничего не стоит провести ночь на улице, конечно, на соломенной подстилке и за дерюжными занавесками конуры. Слабость мочевого пузыря не позволяет ему находиться семь часов подряд в закрытом помещении без того, чтобы не проштрафиться, поэтому, полагаясь на железное здоровье Баушана, мы даже в самое неприятное время года не пускаем его в комнаты. И вот всего один лишь раз, после очень уж студеной и туманной ночи, Баушан явился на мой зов не только украшенный инеем, сказочно распушившим ему усы и бороду, но и несколько простуженный – он по-собачьи сухо и односложно кашлял, – но через несколько часов справился с недугом, и все у него прошло бесследно. Кто бы решился подвергнуть Перси, с его тонкой и

шелковистой шерстью, испытаниям подобной ночи? С другой стороны, Баушан до смешного боится всякой, даже пустячной боли и выказывает при этом такое малодушие, что это было бы противно, если бы его простоватая наивность не обезоруживала своим комизмом. Когда в поисках дичи Баушан продирается сквозь частый кустарник, я слышу, как он то и дело громко взвизгивает, – это значит, что он наступил на колючку или его хлестнула по носу ветка. А уж если Баушан, прыгая через ограду, упаси Боже, чуточку оцарапает себе живот или подвернет лапу, он испускает душераздирающий вопль не хуже героя античной трагедии, прихрамывая, на трех ногах, спешит ко мне и самым жалким образом скулит и хнычет, – причем хнычет и скулит особенно пронзительно, когда его начинаешь утешать и жалеть, хотя через какие-нибудь четверть часа бегаёт и скачет, позабыв о своих страданиях.

Иное дело Персиваль. Тот, стиснув зубы, терпел. Плетки он боялся не меньше Баушана, но отведывал ее, к сожалению, чаще, потому что, во-первых, я был тогда моложе и вспыльчивее, а во-вторых, его дурость нередко выражалась в упрямом и злобном своеволии, которое бесило меня и которое невозможно было оставить безнаказанным. Когда, выведенный из себя, я срывал с гвоздя плетку, он, правда, заползал на брюхе под стол или скамейку, но при наказании не издавал ни единой жалобы, разве только тихо застонет, если я уж очень больно хлестну, а дружище Баушан, тот, стоит мне протянуть руку к плетке, уже заранее пищит со страху. Короче говоря, ни самолюбия, ни выдержки! Впрочем, поведение Баушана редко дает повод к такого рода крайним мерам, поскольку я уже давно отвык требовать от него действий, несовместимых с его натурой, что, конечно, могло бы привести к неприятным столкновениям.

Так, например, я не спрашиваю с него никаких фокусов, да это и было бы бесполезно. Он не ученый, не балаганное чудо, не танцующий на задних лапах дурашливый пудель, он – полный энергии юный охотник, а не какой-нибудь профессор. Я уже упоминал о том, что он великолепно прыгает. Когда нужно, Баушан преодолевает любое препятствие; если оно слишком высоко, чтобы перемахнуть через него обычным прыжком, он подсакивает, цепляется лапами и, подтянувшись, спрыгивает на другую сторону – словом, берет его. Но препятствие должно быть настоящим препятствием, то есть таким, под которое не просунешься и не подлезешь, иначе Баушан считал бы безумием через него прыгать. Стена, ров, решетка, забор без лазеек – вот настоящие препятствия. Прясло в изгороди или протянутая тросточка – не препятствия, а потому незачем через них

прыгать и валять дурака наперекор себе и здравому смыслу. Баушан не желает этого делать. Сколько я его ни заставлял перепрыгивать через такое воображаемое препятствие – не желает, и баста! Бывало, обозлишься, возьмешь Баушана за загривок и, хоть он и верезжит, перебросишь через жердь, а он, шельмец, еще делает вид, что ты только этого и хотел, и приветствует такое сомнительное достижение прыжками и восхищенным лаем. Можно бить его, ласкать – ничем его не проймешь и не переубедишь: разум Баушана восстает против явной бессмыслицы чистого фокуса. Он вовсе не невежа, он рад угодить хозяину – и не только по собственной охоте, но и по моей просьбе или приказанию с готовностью прыгает через сплошную изгородь и очень бывает доволен, когда я его за это похвалю и приласкаю. А вот через жердь или тросточку он ни за что не прыгнет, а непременно проскочит под нее, хоть ты его убей. Он будет ползать у ног, скулить, молить о пощаде, потому что боится боли, боится, как самый последний трус, но никакой страх и никакая боль не заставят его пойти против внутреннего своего убеждения, хотя физически прыжок через тросточку для него сущий пустяк. Потребовать этого от него не значит ставить перед ним вопрос, будет он прыгать или нет; вопрос предрешен, и приказ может привести только к одному – к порке. Ибо требовать от Баушана непонятного и, по непонятности своей, невыполнимого, с его точки зрения, значит только искать повода к пререканиям, ссоре и порке, которые, по существу, уже заключены в самом требовании. Таково, насколько я понимаю, мнение Баушана на сей счет, причем я отнюдь не уверен, вправе ли мы назвать это упрямством. Упрямство может и должно быть сломлено; Баушан же скорее умрет, нежели станет исполнять какие-то бессмысленные фокусы.

Загадочная душа! Такая близкая и вместе с тем непонятная, а в некоторых проявлениях своих столь чуждая, что слова наши бессильны охватить ее внутреннюю логику. Как, например, объяснить тягостную по своей нервной напряженности и для участников и для свидетелей церемонию встречи, знакомства или хотя бы взаимного ознакомления двух собак? Сотни раз на прогулках с Баушаном я наблюдал такого рода встречи, вернее сказать, оказывался невольным и растерянным их свидетелем, и всякий раз во время такой сцены обычно понятное мне поведение Баушана оставалось для меня книгой за семью печатями – при всем сочувствии к нему, мне не удавалось вникнуть в ощущения, законы и родовые обычаи, лежавшие в основе его действий. Поистине нет ничего более мучительного, захватывающего и рокового, чем встреча двух собак на улице; кажется, будто над ними властвуют недобрые чары. Это какая-то связанность –

другого слова не подберешь, – они и хотели бы, но не могут пройти мимо друг друга, и замешательство их не знает границ.

Я уж не говорю о таком случае, когда одна из сторон находится взаперти за высоким забором; правда, и тогда нельзя предугадать, как тот и другой поведут себя, но это все же наименее опасная ситуация. Они чувствуют друг друга бог знает на каком расстоянии, и вдруг Баушан, как бы ища у меня защиты, начинает жаться к моим ногам и скулить, выражая такую бесконечную душевную боль и тоску, какую никакими словами не передашь; меж тем чужая собака за забором подымает свирепый лай, будто бы рьяно охраняя владения хозяев, лай, который, однако, тоже нет-нет да и сбивается на плаксиво-ревнивое и жалобное повизгивание. Мы приближаемся, вот мы уже поравнялись с забором. Чужая собака поджидает нас, она бранится и оплакивает свое бессилие, кидается как безумная на забор, всем своим видом показывая (насколько это серьезно, одному Богу известно), что непременно разорвала бы Баушана в клочья, если бы только ей дали волю. Тем не менее Баушан, который преспокойно мог бы остаться рядом со мной и пройти мимо, подходит к забору; он не может иначе поступить, он сделал бы это, даже если бы я ему запретил: пройти мимо – значило бы преступить какие-то внутренние законы, куда более глубокие и нерушимые, чем мой запрет. Итак, он подходит к забору и прежде всего со смиренным и невозмутимым видом совершает жертвоприношение, которое, как ему известно по опыту, должно несколько успокоить и хоть ненадолго умиловить противника, во всяком случае, на то время, пока он в другом месте, пусть даже рыча и повизгивая, занят тем же делом. Вслед за тем оба пса срываются с места и начинают гоняться вдоль забора, один по одну, другой по другую сторону, не отставая друг от друга ни на шаг и совершенно молча. В конце участка оба одновременно поворачивают и мчатся обратно. И вдруг, на середине, останавливаются как вкопанные, причем уже не боком к забору, а перпендикулярно к нему, и, приставив нос к носу, замирают. Так стоят они довольно долго, чтобы затем продолжать свое странное и ничем не оправданное соревнование в беге, плечом к плечу, вдоль забора. Но вот наконец Баушан, пользуясь своей свободой, удаляется. Какая ужасная минута для запертого пса! Он не может этого вынести, усматривает беспримерную подлость в том, что другой вздумал так вот, ни с того ни с сего, взять да уйти, он рвет и мечет, носится как безумный взад и вперед, грозитя перескочить через забор, чтобы расправиться с изменщиком, и шлет ему вдогонку самую страшную ругань и проклятия. Баушан все это слышит и, должно быть, болезненно переживает, о чем свидетельствует его тихий и смущенный вид; но он не

оглядывается и не спеша трусит дальше, а оскорбительная брань за нами мало-помалу переходит в повизгивание и затем смолкает.

Так примерно разыгрывается сцена, когда один из ее участников находится взаперти. Однако напряжение достигает предела, когда оба пса на свободе и встреча происходит в равных условиях; даже неприятно это описывать, ибо нет ничего более каверзного, непонятного и удручающего. Баушан, который только что беззаботно прыгал вокруг, начинает пятиться, повизгивая и скуля, льнет ко мне, и, хотя я затрудняюсь сказать, какие чувства выражают эти идущие из глубины души звуки, они настолько отличны от всех других, что по ним я безошибочно угадываю приближение незнакомого пса. Надо глядеть в оба: так и есть, вон он идет, и еще издали, по его нерешительному и напряженному поведению, ясно, что пес тоже заметил Баушана. Мое замешательство, пожалуй, ничуть не меньше; я отнюдь не жажду этого знакомства. «Пошел прочь! – говорю я Баушану. – Что ты вертишься под ногами? Неужели вам нельзя договориться между собой где-нибудь в сторонке?» И я тростью пытаюсь отогнать его, потому что если дело дойдет до драки, что отнюдь не исключено, – независимо от того, понимаю ли я ее причины, или нет, – то разыграется она у моих ног, причинив мне совершенно излишние волнения. «Пошел прочь!» – тихо повторяю я. Но Баушан не идет, он весь как-то скован, робко жметесь ко мне и лишь на минутку отходит к деревцу принести традиционную жертву, причем я вижу, как незнакомец в отдалении приносит свою. Теперь нас разделяют всего каких-нибудь двадцать шагов, напряжение еще возросло. Незнакомец прижался к земле и вытянул голову, точно тигр, готовый к прыжку, и в этой разбойничьей позе поджидает Баушана, явно намереваясь в подходящий момент кинуться на него. Однако ничего подобного не происходит, да и Баушан, по-видимому, этого не ждет; так или иначе, он идет прямо на подстерегающего его хищника, идет, правда, очень нерешительно, скрепя сердце, но все же идет, как пошел бы даже в том случае, если бы я его бросил: свернул на боковую дорожку, предоставив ему самому выпутываться из беды.

Сколь ни тягостна ему эта встреча, он не помышляет о том, чтобы уклониться от нее и улизнуть. Он идет, будто зачарованный, он связан с другим псом невидимой нитью, оба они связаны между собой невидимыми и таинственными нитями, которые не в силах порвать. Теперь нас разделяет всего два шага.

Тут другой пес тихонько подымается, будто никогда не прикидывался тигром из джунглей, и стоит точно так, как Баушан, – словно оплеванные, не зная, на что решиться и как быть, стоят они друг против друга и не

могут разойтись. Они и хотели бы уйти – не даром же они грустно косятся по сторонам, – но обоих будто придавило сознание общей вины. Напряженно, с хмурой настороженностью, они придвигаются и трутся бок о бок, обнюхивая друг у друга основание хвоста. При этом они обычно начинают урчать, и я, понизив голос, предостерегающе окликаю Баушана, ибо сейчас, сию минуту, должно решиться, произойдет ли драка, или чаша сия меня минует. Но, неизвестно как и еще менее почему, драка завязалась – Баушан и чужая собака сцепились в беспорядочный клубок, из которого вырывается яростное хриплое рычание и приглушенный визг. Тогда, во избежание несчастья, я начинаю орудовать тростью, хватаю Баушана за ошейник или загривок, чтобы стряхнуть повисшего на нем пса, и делаю еще много такого, отчего у меня долго потом трясутся руки и дрожат колени. Бывает, однако, что после всех приготовлений и церемоний встреча протекает гладко и сверх ожиданий кончается ничем. Но даже когда дело обходится без драки, им трудно сойти с места, их все еще крепко связывает какая-то внутренняя нить. Уж, кажется, они благополучно разошлись, не топчутся больше бок о бок, а стоят почти на одной линии, – чужая собака, повернувшись в мою, Баушан в противоположную сторону, – они не глядят друг на друга, почти не поворачивают головы и только уголком глаза, насколько это возможно, следят за тем, что происходит позади. Но, несмотря на отделяющее их теперь расстояние, крепкая и тягостная нить все еще держится, и ни тот, ни другой не знает, наступила ли минута избавления, обоим до смерти хотелось бы уйти, однако какая-то непонятная совестливость их удерживает. Но вот наконец чары развеялись, нить порвалась, и Баушан, словно избавившись от смертельной опасности, с легким сердцем весело срывается с места.

Я рассказал об этом, чтобы показать, какой чуждой и непонятной кажется мне в иных случаях внутренняя жизнь такого близкого друга: испытывая почти суеверный страх, глядишь и недоумеваешь и скорее чувством, нежели разумом, пытаешься в нее вникнуть. В остальном душевный мир Баушана не представляет для меня тайны, с сочувственной улыбкой разгадываю я смысл его поступков, игру его физиономии, все его поведение. Как знакома мне, например, манера Баушана громко, с визгом зевать, если он разочарован прогулкой, слишком короткой и неудачной в спортивном отношении, что случается, когда, поздно сев за работу, я только перед самым обедом выхожу с ним пройтись и почти тут же поворачиваю обратно. Он идет рядом со мной и зевает. Зевает самым бессовестным и неприличным образом, отчаянно, с визгом, раздирая пасть и принимая оскорбительно-скучающий вид. «Хороший же у меня хозяин! – кажется,

говорит этот зевок. – Поздно ночью я ходил встречать его к мосту, а сегодня он засел за своей стеклянной дверью, заставил меня прождать целое утро, хоть подыхай со скуки, а когда наконец удосужился выйти со мной погулять, сразу повернул обратно. Даже нюхнуть дичи не дал. А-а-а-и-й! Хороший же у меня хозяин! Разве это хозяин! Дрянь, а не хозяин!»

Вот о чем с грубой прямоотой говорят его зевки – не понять этого нельзя. Я сознаю, что он прав, что я виноват перед ним, и, думая его утешить, протягиваю руку, чтобы похлопать его по плечу или погладить по голове. Но не больно-то он нуждается в моих ласках, он и принимать их не хочет, снова еще более неучтиво зевает и увертывается от моей руки, хотя по натуре в отличие от Перси и в полном соответствии со своей простонародной чувствительностью очень любит всякие нежности. Особенно нравится Баушану, когда ему почесывают шею; у него даже выработалась забавная манера подталкивать головой мою руку себе под подбородок. А то, что он не настроен нежничать, помимо разочарования, объясняется еще и тем, что на ходу, точнее говоря, когда я в движении, он не видит в ласках ни прелести, ни смысла. Он пребывает в слишком мужественном расположении духа, чтобы находить в этом вкус. Но стоит мне сесть, как все разом меняется. Баушан всей душой рад любезничать и отвечает на мои ласки даже, я сказал бы, с излишней неуклюже-восторженной навязчивостью.

Как часто, читая на любимой скамейке в укромном уголке сада за выступом стены или, прислонившись спиной к дереву, на траве в лесу, я откладываю книгу, чтобы поговорить и поиграть с Баушаном. Что я ему говорю? Обычно повторяю его имя, то сочетание звуков, которое ему всего ближе, так как обозначает его самого и оказывает на него поэтому магическое действие, – подстегиваю и разжигаю его самомнение, заверяя его на все лады и призывая хорошенько поразмыслить над тем, что его звать Баушан и что именно он и есть это единственное и неповторимое существо; если долго это твердить, его можно довести до состояния экстаза, опьянения собственным «я», в котором Баушан начинает кружиться на месте и от спирающего грудь избытка счастья и гордости, подняв морду, лаять на небо. Или мы еще развлекаемся так: я легонько хлопаю его по носу, а он, щелкая зубами в воздухе, как это делают собаки, ловя мух, притворяется, будто хочет укусить меня за руку. И мы оба смеемся, да, да, Баушан тоже смеется, а я хоть и смеюсь, но это удивительное зрелище трогает меня чуть ли не до слез. В самом деле, нельзя без волнения видеть, как в ответ на шутку уголки рта и по-звериному впалые щеки Баушана начинают вздрагивать и подергиваться,

как неразумная морда животного вдруг складывается в гримасу человеческого смеха, и этот смех, или, вернее, его тусклый, беспомощный, жалкий отблеск, появляется, чтобы тут же исчезнуть, уступив место страху и растерянности, и затем вновь проступить в том же искаженно-карикатурном виде...

Но довольно, я не намерен больше углубляться в частности. Меня и без того смущает, что это краткое описание, помимо моей воли, так разрослось. Поэтому, не тратя лишних слов, я хочу показать своего героя во всем его блеске, в родной стихии, в той жизненной обстановке, где он наиболее полно бывает самим собой и которая особенно благоприятствует его талантам и наклонностям, а именно на охоте. Но предварительно необходимо хоть сколько-нибудь познакомить читателя с ареной этих радостей – с нашими охотничьими угодьями, местностью у реки, ибо она тесно связана с личностью Баушана, и я сроднился с ней и люблю и ценю ее, пожалуй, не меньше, чем своего четвероногого друга, – пусть же послужит это достаточным основанием для того, чтобы без дальнейших новеллистических мотивировок посвятить этой местности следующую главу.

Угодья

В садах нашего маленького, но широко раскинувшегося поселка на фоне нежных молодых насаждений резко выделяются возвышающиеся над крышами домов старые деревья-великаны, в которых безошибочно угадываешь коренных уроженцев этих мест. Они гордость и краса нашей сравнительно молодой колонии, и по мере возможности мы всячески старались сберечь и сохранить их, а в тех случаях, когда при разбивке участков возникал конфликт с одним из этих коренных уроженцев, то есть оказывалось, что такой вот замшелый почтенный дед стоит на меже, забор описывает небольшой полукруг, с тем чтобы включить его в сад, или же в бетоне стены учтиво оставлено свободное пространство, и старик продолжает жить наполовину частной, наполовину общественной жизнью, склоня голые сучья под тяжестью снега или шелестя своей мелкой, поздно распускающейся листвой.

Великаны эти – ясени, дерево, которое очень любит влагу, что указывает на особенность почвы нашей местности. Только совсем недавно, каких-нибудь полтора десятка лет назад, благодаря человеческой изобретательности здесь стало возможно жить и хоть что-то сажать. А раньше тут была топь и глушь – настоящее комариное царство, где только ивы, карликовые тополя да прочая искривленная и низкорослая древесная мелочь гляделась в стоячие воды болот. Дело в том, что эта полоска земли – плавни; на глубине нескольких метров лежит водонепроницаемый слой, поэтому почва здесь всегда была болотистой и в низинах держалась вода. Осушку произвели, опустив уровень реки, – я мало что смыслю в технике, но, кажется, был применен именно этот прием, – тем самым почвенная вода, которой некуда было просачиваться, получила сток; теперь в реку впадают десятки подземных ручейков, и почва в значительной мере уплотнилась – в значительной мере, потому что когда изучишь местность, как изучили ее мы с Баушаном, то знаешь в зарослях, вниз по реке, немало поросших камышом низинок, сохранивших свой первоначальный вид: укромные уголки, где даже в самый знойный летний день царит влажная прохлада и где приятно посидеть и отдохнуть в жару.

Вообще местность эта весьма своеобразна, и с первого же взгляда чувствуешь, как не похожа она на знакомый нам пейзаж горных рек с хвойными лесами и мшистыми полянами; даже после того, как ее прибрала к рукам компания по продаже земельных участков, она, повторяю, не

утратила своего первоначального своеобразия, и не только в садах, но и повсюду исконная коренная растительность явно преобладает над пришлой и посаженной. В аллеях и в парке встречаются, правда, дикий каштан, быстрорастущий клен, даже бук и всевозможные декоративные кустарники, но все это не здешнее, а посаженное, так же как и пирамидальные тополя, выстроившиеся в ряд, точно гренадеры, но бесплодные, несмотря на свою мужественную красоту. Я говорил уже о ясене, как о дереве-аборигене, – он попадает здесь на каждом шагу и представлен всеми возрастами, от нежной молодой поросли, лезущей прямо из щебня, как сорняк, до могучих столетних великанов; именно ясень вместе с серебристым тополем, осиной, березой, ивой и тальником придают ландшафту его особый характер. Но все это породы мелколиственные, а мелкость и изящество листвы, особенно на какой-нибудь древесной громадине, сразу бросается в глаза и служит отличительным признаком местности. Исключение составляют только вязы, подставляющие солнцу свои широкие, с пильчатыми краями, блестящие и клейкие с верхней стороны листья, а также множество всяких вьющихся растений, обвивающих стволы более молодых деревьев и смешивающих свою листву с их листвой, так что одну от другой даже трудно отличить. В низинах стройные тоненькие ольхи сбегаются рожицами. Липа, напротив, встречается очень редко, а дуб вовсе отсутствует, так же как и ель. Но по всему восточному склону – граница нашего района, где совсем иная почва и потому иная растительность, – высятся ели. Черные на фоне неба, стоят они, точно стража, и зорко наблюдают сверху за нашей долиной.

От склона холма до реки не больше пятисот метров, я шагами отмерил это расстояние. Вниз по течению прибрежная полоса веерообразно расширяется, но это почти незаметно. Всего-то узенькая полоска, а какое удивительное разнообразие, хотя мы с Баушаном почти никогда далеко не ходим вниз по реке: походы наши, считая путь туда и обратно, в общей сложности занимают часа два, не больше. Постоянная смена впечатлений и возможность бесконечно разнообразить и варьировать прогулки, так что даже при давнем знакомстве с местностью она не приедается и ландшафт не кажется ограниченным, объясняются тем, что она четко разделена на три совершенно несходные между собой области, или зоны, из которых можно выбрать для прогулки какую-нибудь одну или же, пользуясь поперечными тропами, пересечь все три поочередно: с одной стороны это область реки с примыкающим к ней берегом, с другой – область горного склона, а посередине – область леса.

Наибольшее пространство занимает зона леса или парка, чащи,

прибрежных зарослей – не знаю даже, как сказать, чтобы точнее и нагляднее, чем словом «лес», обозначить особую прелесть этого места. Конечно, это вовсе не то, что мы обычно понимаем под словом «лес» – этакая просторная зала с гладким полом, устланном мхом и опавшими листьями, и прямыми, ровными колоннами-стволами. Деревья наших охотничьих угодий самого различного возраста и толщины, среди них, особенно вдоль реки, но также и в глубине леса, попадаются настоящие исполины – родоначальники многочисленного племени ив и тополей; есть и возмужалый молодняк десяти – пятнадцати лет, и, наконец, легионы тонюсеньких стволиков, посаженные самой природой дикие питомники ясеней, берез, ольхи, которые, однако, отнюдь не выглядят худосочными, потому что, как я уже говорил, их снизу доверху густо опутывают ползучие растения, так что кажется, будто ты попал в тропики. Впрочем, я подозреваю, что эти постояльцы все же задерживают рост приютивших их деревьев, я живу здесь не один год и что-то не замечаю, чтобы стволики стали хоть сколько-нибудь толще.

Деревья тут состоят из немногих родственных пород. Ольха одного семейства с березой, тополь не очень-то в конце концов отличается от ивы. А все вместе, пожалуй, приближаются к типическим очертаниям этой последней; лесоведам известно, как приспосабливаются деревья к характеру окружающей местности, не хуже женщин склонны они подражать господствующим линиям и формам. Здесь же господствуют причудливо изломанные формы ивы, верной и постоянной спутницы всяких проточных и стоячих вод. Будто ведьма из сказки, стоит она, протянув вперед руки со скрюченными пальцами, из которых в разные стороны торчат метлы ветвей. Ей-то, должно быть, и пытаются подражать все остальные. Серебристый тополь изгибается точь-в-точь, как она, а от тополя, в свою очередь, не сразу отличишь березу, которая, соблазнившись местной модой, принимает порой самые диковинные позы, – хотя это отнюдь не значит, что здесь не встречаются, и в достаточном количестве, очень статные, а при выгодном вечернем освещении попросту обворожительные особи этого милого дерева. Здешные края знавали его и серебряным стерженьком, увенчанным редкими, торчащими врозь листиками; и миловидной стройной красавицей с нарядным, белым как мел, стволом, кокетливо и мечтательно распутившей по плечам зеленые кудри; и старухой поистине слоновьих размеров, со стволом в три обхвата и грубой черной потрескавшейся корой, только вверху еще сохранившей признаки былой белизны...

Почва в этих местах имеет очень мало общего с обычной лесной

почвой. Это галька, глина, а местами чистый песок, так что, казалось бы, ничего на ней расти не может. Однако, в пределах своих возможностей, она необычайно плодородна. Здесь растет высокая трава, напоминающая сухую остролистую траву, что встречается в дюнах, зимой она устилает землю, словно примятое сено, а иногда прямо переходит в тростник; в других местах эта трава, напротив, становится мягкой, густой и пышной и вперемежку с болиголовом, крапивой, мать-мачехой, всевозможными ползучими растениями, огромным чертополохом и гибкими молодыми побегами служит хорошим прибежищем фазанам и другим птицам, любящим ютиться среди шишковатых корней деревьев. Из этой зеленой гущины всюду тянутся вверх и обвиваются спиралью вокруг деревьев широколистные гирлянды дикого винограда и хмеля, даже зимой продолжают они лънуть к стволам своими жесткими плетями, похожими на тугие веревки.

Нет, это не лес, не парк, а настоящий волшебный сад. Да, волшебный сад, хотя речь идет о природе скудной, убогой и даже в какой-то мере искалеченной, описание которой исчерпывается десятком простейших ботанических названий. Местность то и дело волнообразно подымается и опускается, что и придает такую завершенность, такую глубину и замкнутость пейзажу. Если бы лес здесь тянулся по сторонам на много миль или хотя бы даже вширь на такое же расстояние, как в длину, а не насчитывал какую-то сотню шагов от середины до края, и тогда ощущение уединенности, глуши и оторванности от мира не могло бы быть большим. Только доносящийся с востока мерный шум напоминает о дружеской близости реки, не видной отсюда... Тут есть лощины, сплошь заросшие бузиной, бирючиной, жасмином и черемухой, от аромата которых в паркие июньские дни тяжело дышать. А есть овраги – самые обыкновенные выемки для добычи гравия, – где по склонам и на дне ничего не растет, кроме сухого шалфея да нескольких прутиков ивы.

Хотя я живу здесь несколько лет и каждый день бываю в лесу, все это до сих пор кажется мне необыкновенным и удивительным. Листва ясеней, похожая на гигантские папоротники, вьющиеся растения, тростник, эта сырость и сушь, эта убогая чащоба неизменно волнуют мое воображение; временами мне кажется, будто я перенесся в другую геологическую эру или в подводный мир, кажется, будто я бреду по морскому дну, что, впрочем, не так уж далеко от истины, потому что тут и в самом деле когда-то была вода, – во всяком случае, в тех низинах, которые теперь, в виде прямоугольных полян с посеянными самой природой дикими питомниками ясеня, служат пастбищем овцам; одна такая поляна находится возле самого

нашего дома.

Чаща вдоль и поперек изрезана тропинками: иногда это только вьющаяся среди деревьев ленточка примятой травы, иногда дорожка, конечно, не проложенная, а просто протоптанная, хотя непонятно, кто и когда протоптал ее, потому что мы с Баушаном обычно никого в лесу не встречаем, а уж если, в виде исключения, нам кто-нибудь вдруг попадется навстречу, спутник мой остановится, недоуменно поглядит на чужака и глухо твякнет, что довольно точно выражает и мое отношение к событию. Даже летом, в погожие воскресные дни, когда к нам на лоно природы из города валят толпы людей (здесь как-никак на несколько градусов прохладнее), по этим стежкам можно бродить, не боясь столкнуться с гуляющими: большинство горожан не знает об их существовании, а кроме того, всех, как полагается, неудержимо тянет к воде, и людской поток движется вдоль берега реки, по каменной каемке, если только она не залита водой, а вечером тем же путем возвращается в город. В лесу наткнешься разве что на юную парочку под кустом – дерзко и боязливо, как зверьки, выглядывают влюбленные из своего убежища, словно намереваясь заносчиво спросить нас, уж не возражаем ли мы, что они тут сидят и развлекаются на свободе, – предположение, которое мы молча отвергаем тем, что спешим пройти мимо: Баушан со свойственным ему безразличием ко всему, что не пахнет дичью, а я с каменным и бесстрастным лицом, не выражающим ни одобрения, ни порицания и явно говорящим, что мне до них нет никакого дела.

Но эти тропки не единственные пути сообщения в моем парке. Там есть и улицы – вернее сказать, остатки того, что некогда было улицами, или должно было ими стать, или когда-нибудь, с Божьей помощью, еще станет... Дело в том, что следы кирки первооткрывателей и необузданной предпринимательской деятельности встречаются далеко за пределами отстроенной части местности – нашего небольшого поселка. В ту пору размахивались широко, строили самые смелые планы. Компания по продаже земельных участков, которая лет десять – пятнадцать назад забрала в свои руки всю прибрежную полосу, затевала нечто куда более грандиозное (в том числе и по части дивидендов), чем потом получилось: не как нынешняя жалкая кучка вилл был задуман наш поселок. Земли под участки хватало с избытком, с добрый километр вниз по реке все было подготовлено, да и сейчас готово к приему любителей оседлого образа жизни и земельных спекулянтов. На заседаниях правления компании утверждались щедрые сметы. Мало того, что были укреплены берега реки, устроена набережная, разбит парк, рука цивилизации протянулась и дальше

в лес; там корчевали, насыпали гравий, в самой чаще вдоль и поперек прорубали просеки – прекрасно задуманные великолепные улицы, или наброски будущих улиц, с обозначенными щебнем мостовыми и широкими тротуарами для пешеходов, по которым, однако, прохаживаемся только мы с Баушаном; он – на неизносимо-добротных подошвах своих четырех лап, а я в башмаках, подбитых гвоздями, чтобы не сбить ноги о камень. Да это и понятно, виллы, которым по замыслам и расчетам компании давным-давно надлежало красоваться среди зелени, так до сих пор и не построены, и это несмотря на то, что я подал благой пример, поставив себе здесь дом. Прошло уже десять или пятнадцать лет, а этих вилл нет как нет, – немудрено, что на всем вокруг лежит печать унылого запустения, а компания не желает больше вкладывать деньги и достраивать начатое с таким размахом.

А ведь эти улицы без жителей уже имеют названия, как всякие другие в городе или в предместье; и я бы дорого дал, чтобы узнать, какой это фантазер и глубокомысленный эстет из земельных спекулянтов был их крестным отцом. Тут есть улица Геллерта, улица Опица, Флемминга, Бюргера и даже Адальберта Штифтера, по которой я с чувством особой признательности и благоговения прохаживаюсь в своих подбитых гвоздями башмаках. На углах просек поставлены столбы, как это делается на недостроенных окраинных улицах, где нет углового дома, и к ним прибиты таблички с названием: синие эмалевые таблички с белыми литерами. Но, увы, таблички эти несколько обветшали – слишком уж давно обозначают они наименование запроектированных улиц, на которых никто не желает селиться, и, может быть, они-то яснее всего и говорят о запустении, банкротстве и застое в делах. Никому до них нет дела, никто их не подкрашивает, от солнца и дождя синяя эмаль облупилась, сквозь белые литеры проступила ржавчина, так что на месте некоторых букв остались либо рыжие пятна, либо просто дыры с противной ржавой бахромой по краям, и название поэтому иногда так искажается, что его и не прочтешь. Помню, когда я только что поселился здесь и начал исследовать окрестности, мне долго пришлось ломать себе голову над одной такой табличкой. Это была на редкость длинная табличка, и слово «улица» сохранилось полностью, зато в самом названии, которое, как я уже говорил, было очень длинным или, вернее, должно было быть длинным, большая часть букв стерлась или же была изъедена ржавчиной: их можно было сосчитать по коричневым пятнам, но разобрать что-либо, кроме половинки «в» вначале, «ш» где-то посередине да еще «а» в конце, не представлялось возможным. Для моих умственных способностей отпавших данных

оказалось маловато, и я решил, что в этом уравнении слишком много неизвестных. Долго стоял я, задрав голову и заложив руки за спину, изучая длинную табличку. Потом мы с Баушаном пошли дальше по тротуару. Но хотя я, казалось, думал о других вещах, во мне шла подсознательная работа, мысль моя упорно возвращалась к стертому имени на табличке, и вдруг меня осенило, – я даже остановился с испугу, затем поспешил обратно к столбу, снова уставился на табличку и прикинул. Да, так оно и есть. Оказывается, я бродил не более и не менее как по улице Вильяма Шекспира.

Таблички под стать улицам, и улицы под стать табличкам – запущенные, погруженные в тихую дремоту. Справа и слева стоит лес, через который улицы эти были прорублены, и лес-то уж не дремлет; он не дает улицам ждать десятилетиями, пока их заселят, он делает все, чтобы снова сомкнуться, – ведь здешняя растительность не боится камня, она давно к нему приспособилась; и вот пурпурный чертополох, голубой шалфей, серебристая верба и нежная зелень молодых ясеней выбиваются из мостовых и даже бесстрашно лезут на тротуары; нет сомнения, что улицы, носящие имена поэтов, зарастают, что лес мало-помалу поглощает их, и, будем ли мы сожалеть о том, или радоваться, все равно через десяток лет улицы Опица и Флемминга станут непроходимыми, а скорее всего просто исчезнут. Сейчас, правда, жаловаться не приходится: с точки зрения живописной и романтической они в нынешнем своем виде самые прекрасные улицы на свете. Приятно бродить по таким недоделанным улицам, когда ты обут в крепкие башмаки и не чувствуешь под ногами щебня, и глядеть поверх дикой поросли, покрывающей мостовые, на мелкую, будто склеенную теплой влагой, листву, которая обрамляет и замыкает эти улицы со всех сторон. Такую листву писал великий лотарингский пейзажист три века назад... Но что я – такую? Не такую, а эту самую! Он был здесь, он бродил по этим местам и, конечно, прекрасно знал их; и если бы делец-фантазер из правления компании, окрестивший мои лесные улицы, не так строго придерживался рамок литературы, то на одной из проржавевших табличек я мог бы угадать имя Клода Лоррена.

Итак, я описал среднюю, лесную область. Но район восточного склона тоже по-своему привлекателен и для меня и для Баушана, и мы, как это будет видно из дальнейшего, отнюдь им не пренебрегаем. Его можно было бы назвать также зоной ручья, потому что именно ручей и придает ландшафту столь идиллический характер и, в мирной безмятежности своих усыпанных незабудками берегов, представляет разительный контраст могучей реке, отдаленный шум которой, при частом у нас западном ветре,

хоть и слабо, но долетает сюда. В том месте, где первая из поперечных улиц, наподобие дамбы идущая от тополевой аллеи между полянами и лесными участками по направлению к склону, упирается в его подножие, слева круто спускается вниз дорога, по которой зимой молодежь катается на санках. Ручей берет свое начало дальше, там, где дорога уже идет по ровной местности, и по его берегу, с правой или с левой стороны, а не то и переходя с одной стороны на другую, вдоль постоянно изменяющего свой облик склона горы, охотно прогуливаются хозяин и собака. Слева расстилаются луга с разбросанными по ним купами деревьев. Неподалеку виднеются сараи и какие-то постройки крупного садоводства, рядом пасутся и пощипывают клевер овцы под началом довольно бестолковой девочки в красном платье, которая в упоении властью не своим голосом кричит на них, упершись руками в колени, но втайне ужасно боится большого барана, очень величественного и важного в густой своей шубе, так что тот совсем перестал ее слушаться и делает что хочет. Особенно истошно кричит девочка, когда овцы при появлении Баушана панически разбегаются, что происходит почти всякий раз помимо его воли и желания, ибо Баушану до овец нет никакого дела, он смотрит на них, как на пустое место, и даже старается предотвратить их безумства, проходя мимо с подчеркнутой осторожностью, безразличием и презрительным высокомерием. Для моего обоняния овцы пахнут достаточно сильно (впрочем, я не сказал бы, что уж так неприятно), но это все-таки не запах дичи, и потому Баушану совсем неинтересно за ними гоняться. И все же достаточно одного его резкого прыжка или даже просто его появления, чтобы все стадо, которое за минуту до того мирно паслось, разбредясь по всему пастбищу и блея на все голоса, мгновенно сбилось в кучу и шарахнулось в сторону; а глупая девчонка, низко согнувшись, кричит им вслед так, что у нее срывается голос и глаза вылезают из орбит. Баушан же недоуменно оборачивается ко мне, будто призывая меня в свидетели полной своей непричастности. «Ну скажи, при чем тут я? Ведь, право же, я их не трогал», – выражает все его существо.

Но однажды случилось нечто прямо противоположное – происшествие, пожалуй, даже более тягостное и, во всяком случае, куда более удивительное, нежели обычная овечья паника. Овца, самый обыкновенный экземпляр своей породы, среднего роста, с заурядной овечьей мордой, но с тонким, приподнятым в уголках, будто улыбающимся ртом, придававшим этой твари выражение какой-то злобной глупости, по-видимому, не на шутку пленилась Баушаном и увязалась за ним. Она просто за ним пошла, отделилась от стада, бросила выгон и молча,

идиотски улыбаясь, тащи́лась за ним по пятам. Он сойдет с дороги – и она за ним; он побежит – и она припустится галопом; он остановится – и она тоже станет позади него и загадочно улыбается. Баушан был явно недоволен и смущен; да и в самом деле он попал в дурацкое, я бы сказал, нелепейшее положение, ничего более глупого никогда не случалось ни с ним, ни со мной. Овца уже изрядно удалилась от стада, но это, по-видимому, ее ничуть не тревожило. Она шла следом за обозленным Баушаном, решив, должно быть, никогда с ним больше не разлучаться и, прилепившись к нему, идти за ним хоть на край света. Присмирив, Баушан старался держаться поближе ко мне не столько из страха перед навязчивой особой – для чего, собственно, не имелось никаких оснований, – сколько от стыда за такой срам. Наконец вся эта история ему, видимо, осточертела, он остановился и, повернув голову, угрожающе зарычал. Тут овца заблеяла, ну совсем как если бы ехидно засмеялся человек, и это так испугало бедного Баушана, что, поджав хвост, он пустился наутек, а овца вприпрыжку кинулась за ним.

Между тем мы довольно далеко отошли от стада, и глупая девчонка уже не кричала, а дико вопила, чуть не лопа́ясь с нату́ги; теперь она не только пригибалась к коленкам, а, помогая крику, вскидывала коленки под самый подбородок, так что издали казалась беснующимся красным пятном. То ли на ее крик, то ли просто заметив что-то неладное, из-за построек выбежала скотница в фартуке. В одной руке у нее были вилы, другой она придерживала колыхавшуюся на бегу грудь. Тяжело дыша, она подбежала к нам и, замахиваясь вилами на овцу, которая тем временем сбавила шаг, потому что и Баушан пошел тише, пыталась повернуть беглянку к стаду, но ей это не удавалось. Овца, правда, отскакивала в сторону от вил, но, описав круг, опять трусила вслед за Баушаном, и никакими силами ее нельзя было отогнать от него. Тут я понял, что единственный выход – повернуть обратно. И все мы пошли назад: я, рядом со мной Баушан, за ним овца, а за овцой скотница с вилами. Между тем девочка в красном, согнувшись, топотала ногами и что-то выкрикивала нам навстречу. Мы вернулись к стаду, но на этом мытарства наши не кончились; пришлось довести дело до конца, то есть дойти до скотного двора и овчарни и ждать, пока скотница, навалившись всей тяжестью на раздвижную дверь, не отворит ее. А когда вся процессия, соблюдая тот же порядок, вошла туда, мы потихоньку выскользнули из овчарни, захлопнув дверь перед носом одураченной овцы, так что она оказалась в плену. Только после этого, напутствуемые благодарностями скотницы, Баушан и я могли продолжать прерванную прогулку, но бедняга до самого нашего возвращения домой был не в духе и

выглядел пристыженным.

Но хватит об овцах. Слева к садоводству примыкает вытянувшийся в длину дачный поселок; легкие фанерные домишки и беседки, очень похожие на часовенки, посреди крохотных огороженных решетками садилов, придают ему сходство с кладбищем. Сам поселок тоже обнесен оградой; только счастливые владельцы участков могут проникнуть туда через решетчатые ворота, и порой я вижу, как какой-нибудь любитель-садовод, засучив рукава, усердно вскапывает свой огорожок шага в четыре длиной, а издали кажется, что он роет себе могилу. Потом опять идут луга, покрытые бугорками кротовых нор, они тянутся до самой опушки леса средней зоны. Кроме кротов, тут водится уйма полевых мышей – что следует иметь в виду, памятуя о многообразии охотничьих вкусов Баушана.

По другую сторону, то есть справа, ручей бежит все дальше вдоль склона, который, как я уже говорил, постоянно меняет свой облик. Сперва этот склон, поросший елями, угрюм и сумрачен, дальше он переходит в ярко отражающий солнечные лучи песчаный карьер, еще немного дальше – в гравийный карьер и, наконец, в осыпь из битого кирпича, словно кто-то там, наверху, развалил дом и ненужные обломки скинул вниз, так что ручей на своем пути наталкивается на неожиданное препятствие. Но все ему нипочем, он лишь ненадолго замедляет свой бег и чуточку выступает из берегов, а красная от кирпичной пыли вода его, омыв прибрежную траву, оставляет на ней розоватый след. Но вот затор позади, и ручей бойко спешит дальше, еще чище и прозрачнее прежнего, весь осыпанный солнечными блестками.

Я люблю ручьи, люблю, как и всякую воду, будь то море или поросшая камышом лужица, и когда летом в горах до моего слуха откуда-то доносится тихий говор и болтовня ручейка – я иду на этот звук и готов пройти сколько угодно, лишь бы разыскать, где спрятался словоохотливый сынок горных высот, поглядеть ему в лицо и познакомиться с ним. Хороши горные потоки, которые, по-весеннему грохоча, сбегают между елями с крутых уступов скал, собираются в ледяные купели и, окруженные белым облаком брызг, отвесно падают на следующий уступ. Но и ручьи равнин тоже по-своему привлекательны и дороги мне – все равно, мелкие ли, едва покрывающие отшлифованные скользкие камешки на дне, или глубокие, как небольшие речки, стремительно несущие свои воды в тени низко склонившихся ив, замедляющие бег у берега и убыстряющие его на середине. Кто из нас не предпочитал всем удовольствиям пешую прогулку вдоль берега реки? То, что вода имеет для человека такую притягательную силу, естественно и закономерно. Человек – дитя воды, ведь наше тело на

девять десятых состоит из нее, и на какой-то стадии внутриутробного развития у нас появляются жабры. Для меня лично любоваться водой во всяком ее состоянии и виде – самый проникновенный и непосредственный способ общения с природой; только любуясь водой, я сливаюсь с природой до самозабвения, до растворения моего собственного ограниченного бытия в бытии вселенной. Вид моря, дремлющего или с грохотом набегающего на берег, приводит меня в состояние такого глубокого безотчетного забытья, такой самоотрешенности, что я утрачиваю всякое ощущение времени, перестаю понимать, что такое скука, и часы наедине с природой летят, как минуты. Но так же могу я без конца стоять, облокотившись на перила мостков, переброшенных через ручей, и, забыв обо всем, смотреть, как внизу течет, бежит и струится вода, и тогда то, другое течение вокруг меня и во мне – быстрый бег времени – не властно надо мной, и я уж не ведаю ни страха, ни нетерпения. Я люблю стихию воды, и потому мне так дорога наша узенькая полоска земли между рекой и ручьем.

Здесь ручей принадлежит к самым скромным и простым из разнообразного семейства ручьев; ничем он особенным не примечателен, и характер у него такой, какому и полагается быть у всякой благодушной посредственности. До наивности прозрачный, не ведая ни лжи, ни фальши, он далек от того, чтобы, прикрываясь мутью, изображать глубину: он мелок, чист и бесхитростно выставляет напоказ покоящиеся на дне его, среди зеленой тины, старые жестяные кастрюли и останки башмака со шнурком. Впрочем, он достаточно глубок, чтобы служить приютом хорошеньким серебристо-серым, удивительно прытким рыбешкам, которые при нашем приближении замысловатыми зигзагами бросаются враспыльную. Кое-где ручей образует бочажки, и его обрамляют чудесные ивы; особенно полюбились мне одна – проходя мимо, я всякий раз на нее засматриваюсь. Она растет на склоне, в некотором отдалении от воды. Но одна из ее ветвей в страстной тоске тянется вниз к ручью и достигла, казалось бы, невозможного: струйки прохладной воды омывают серебристую листву самой нижней веточки. А ива стоит, наслаждаясь этим прикосновением.

До чего же хорошо идти здесь, подставляя лицо теплему летнему ветерку. Жарко, и Баушан лезет в ручей охладить живот; спину и плечи он никогда по доброй воле в воду не окунет. Он стоит неподвижно и, прижав уши, со смиренным видом смотрит, как вода обтекает его и, журча, струится у него из-под брюха. Но вот он бежит ко мне отряхиваться, так как, по его глубокому убеждению, это почему-то нужно делать в непосредственной близости от меня, и, конечно, отряхивается с такой

силой, что обдаёт меня с головы до ног дождем брызг и тины. И как я его ни отгоняю, и словами и тростью, – все без толку. Тем, что кажется ему естественным, закономерным и необходимым, он никогда не поступится.

Дальше ручей поворачивает на запад, к маленькой деревушке, которая, раскинувшись между лесом и склоном, замыкает вид с севера; на краю ее стоит трактир. Там ручей опять расширяется наподобие пруда; крестьянки, стоя на коленях, полощут в нем белье. На ту сторону переброшены мостки, и, если пройти по ним, попадаешь на проселочную дорогу, которая идет от деревни опушкой леса и краем огороженного выгона по направлению к городу. Если свернуть с проселка направо, можно по такой же изъезженной разбитой дороге, ближним путем через лес, попасть к реке.

Итак, мы добрались до зоны реки, и вот сама река перед нами, зеленая, в белой кипящей пене; по существу, это просто большой горный поток, но его несмолкаемый шум, который слышится по всей окрестности, где более, где менее приглушенно, а здесь, ничем не сдерживаемый, заполняет слух, может на худой конец сойти за священный рев морского прибоя. К этому шуму примешивается непрерывный крик множества чаек, которые осенью, зимой и даже еще ранней весной с голодным воплем кружатся у сточных труб, добывая себе пищу, пока наступление тепла не позволит им снова отлететь на горные озера; и криканье диких и полудиких уток, которые тоже проводят холодное время года поблизости от города, качаются на волнах и, отдав себя во власть быстрине, позволяют ей кружить их и нести к порогам, чтобы в самый последний миг взлететь и немного выше снова сесть на воду...

Прибрежная область, в свою очередь, состоит из нескольких областей помельче, или своего рода уступов. У опушки леса, как продолжение тополевой аллеи, о которой я уже не раз упоминал, лежит широкая, покрытая крупным щебнем равнина, простирающаяся примерно на километр вниз по реке, а именно до домика перевозчика, – об этом домике еще будет речь впереди, – за которым чаща подступает ближе к берегу. Что это за пустыня из щебня, мы уже знаем: это первый и главный из продольных проспектов, на котором компания по продаже земельных участков, прельстившись чудесным видом, задумала устроить роскошную эспланаду для гулянья: тут кавалеры на кровных лошадях, склонившись к дверцам великолепных лакированных ландо, должны были обмениваться тонкими любезностями с откинувшимися на сиденье улыбающимися дамами. Возле домика перевозчика большая доска с объявлением, наклонившаяся и готовая от ветхости упасть, проливает свет на то, куда должен был на первых порах устремляться поток экипажей и верховых, на

конечную цель гулянья: огромными буквами она оповещает, что угловой участок продается под ресторан или кафе на открытом воздухе... Да, продается и, видимо, еще долго будет продаваться. Потому что вместо кафе на открытом воздухе, вместо маленьких столиков, снующих официантов и посетителей, прихлебывающих кофе, тут все еще висит покосившаяся доска с объявлением, воплощенное свидетельство безнадежно падающего предложения при отсутствии спроса, а шикарный проспект так и остался покрытой щебнем пустыней, где ивняк и голубой шалфей разрослись почти так же буйно, как на улицах Опица и Флемминга.

Рядом с эспланадой, ближе к реке, проходит узенькая, покрытая щебнем насыпь с травянистыми откосами, на которой стоят телеграфные столбы; она тоже сильно заросла. Я иногда хожу здесь разнообразия ради или в дождливую погоду: по щебню идти хоть и трудно, но зато здесь чище, чем на глинистой пешеходной дорожке внизу. Эта пешеходная дорожка – несостоявшийся «променад», – которая тянется далеко вдоль берега и переходит затем в обыкновенную тропинку, со стороны реки обсажена молодыми деревцами, кленами и березами, а по другую ее сторону растут здешние могучие старожилы – исполинские ивы, осины и серебристые тополя. От дорожки вниз к реке идет крутой откос. Чтобы его не размыло, когда раз или два в году, во время таяния снегов в горах или во время продолжительных ливней, поднимается вода, откос хитроумно закреплен плетенками из ивняка и вдобавок, в нижней своей части, забетонирован. Местами на этом откосе устроены спуски с деревянными перекладами, нечто вроде лестниц, по которым можно довольно удобно спускаться к речному руслу – вернее, к шестиметровому каменистому пространству, служащему лишь в паводок ложем большому горному потоку, который по примеру своих меньших братьев, в зависимости от водных условий в горах, то пересыхает до крохотного ручейка, едва прикрывающего камни даже в самых глубоких местах, так что кажется, будто голенастые чайки стоят прямо на воде, то вдруг вздувается, превращаясь в огромную бурную реку, способную на любое бесчинство и насилие, и, беснуясь, мчитя по широкому своему руслу, с диким ревом увлекая и кружа самые неподобающие предметы – корзины, кусты, дохлых кошек и тому подобное. Русло также, на случай паводка, укреплено идущими по диагонали заграждениями из ивняка, похожими на плетни. Заросшее песчанкой, диким овсом и вездесущей красой наших мест – сухим голубым шалфеем, это русло благодаря выложенной у самой воды каемке из отесанных камней вполне проходимо и даже дает приятную возможность разнообразить прогулки. Ходить по твердому камню несколько

утомительно, но это искупается милой близостью воды, а потом можно иногда пройти кусочек и рядом, по песку, – да, среди гальки и дикого овса там попадает и песок, правда, с некоторой примесью глины и не такой девственной чистоты, как морской, но все же настоящий прибрежный песок, так что гуляешь здесь внизу, вдоль реки, совсем как по бесконечному взморью – тут и шум волн, и крики чаек, и даже то поглощающее время и пространство однообразие, в котором блаженно замирает само течение жизни. Скатываясь с небольших порогов, всюду бурлит вода, а на полпути к дому перевозчика к этому примешивается еще и грохот водопада – шум наклонно впадающего в реку на той стороне водостока. Выгнутая, как бы поблескивающая чешуей, струя водопада похожа на большую рыбину, и вода под ней постоянно кипит.

Хорошо здесь, когда небо голубое и ялик перевозчика то ли в честь прекрасной погоды, то ли по случаю праздника украшен вымпелом. У причала стоит несколько лодок, но к ялику перевозчика прикреплен трос, который, в свою очередь, соединяется с другим, более толстым тросом, протянутым наискось поперек реки, и ходит по нему на блоке. Лодку гонит само течение, а перевозчик только направляет ее, чуть поворачивая руль. Перевозчик с женой и ребенком живут в домике, который стоит немного отступя от верхней пешеходной дорожки; при домике огород и курятник, квартира эта, конечно, казенная, и они ничего за нее не платят. Затейливой архитектуры, со множеством фонариков и балкончиков, домик с двумя комнатами в нижнем и двумя – в верхнем этаже похож на игрушечную виллу. Я люблю сидеть на скамейке перед садиком у самой пешеходной дорожки, Баушан укладывается на моей ноге, вокруг бродят куры перевозчика, при каждом шаге вскидывая голову, а рядом, на спинку скамьи, обычно взгромождается красавец петух и, опустив хвост с роскошными, как у берсальеров, зелеными перьями, искоса зорко наблюдает за мной красным глазом. Я смотрю, как работает перевоз; не сказал бы, чтобы дело шло бойко или хотя бы оживленно, – в кои-то веки кого перевезут! Тем приятнее видеть, когда с той или с этой стороны реки появится мужчина или женщина с корзинкой и потребует, чтобы их переправили, ибо романтика «перевоза» сохранила для нас свою былую притягательную силу, даже когда все, как тут, устроено на современный лад и усовершенствовано. Сдвоенные деревянные лестницы для прибывающих и отбывающих ведут с обоих откосов вниз к мосткам; сбоку, возле лестниц, проведены электрические звонки. Вот на том берегу показался человек, он стоит неподвижно и смотрит через реку на нашу сторону. Теперь уж ему не приходится кричать, как бывало, сложив руки трубой. Он подходит к

звонку и нажимает кнопку. Пронзительный звонок на вилле означает: «Эй, перевозчик!» – но даже и в таком виде вызов лодки не утратил своей поэзии. Потом жаждущий переправы стоит, ждет и всматривается, не идет ли кто. Не успел еще отзвонить звонок, а уж перевозчик выходит из своего казенного домика, словно он все время стоял или сидел за дверью, дожидаясь звонка, – выходит и идет, как заводная игрушка, – нажали на кнопку, она и пошла, – впечатление почти такое, как в тире, когда стреляешь в дверцу домика и, если выстрел удачный, оттуда выскакивает фигурка – альпийская пастушка или солдатик. Не спеша, в такт шагам размахивая руками, перевозчик идет через садик, пересекает пешеходную дорожку, спускается по деревянной лестнице к реке, отвязывает ялик и садится за руль. Блок бежит по тросу, и лодку несет течением к противоположному берегу. Там он ждет, пока не усядется пассажир, а когда они подъезжают к нашим мосткам, тот подает перевозчику десять пфеннигов и, довольный тем, что река осталась позади, весело взбегают по лестнице и поворачивает направо или налево по тропинке. Когда перевозчик болен или занят неотложными домашними делами, случается, что вместо него на звонок выходит его жена или даже сынишка; они справляются с его работой ничуть не хуже, чем он сам, как, впрочем, справился бы и я. Должность перевозчика не сложная и не требует никаких особых талантов или специального обучения. Словом, он должен денно и нощно благодарить судьбу за то, что ему досталась такая синекура и хорошенький домик. Любой дурак мог бы его заменить, он и сам это великолепно знает и потому держится скромно, даже несколько подобострастно. Увидев меня на скамье в обществе петуха и собаки, он учтиво желает мне доброго утра, да и вообще по всему видно, что он не хочет наживать себе врагов.

Запах смолы, влажный ветер и глухой плеск волн о борта лодок. Чего же мне еще желать? Но порой на меня находят иные, дорогие моему сердцу воспоминания: вода спала, чуть пахнет гнилью – это лагуна, Венеция. Но вот вода опять прибыла, льют нескончаемые дожди; в резиновом плаще, с мокрым лицом, я шагаю по верхней дорожке, борясь с крепким вестом, который немилосердно треплет молодые тополя в аллее, отрывая их от кольев, и наглядно показывает, отчего все деревья здесь кривые, с разросшимися в одну сторону кронами. А дождь все льет и льет, и Баушан то и дело останавливается посреди дорожки и отряхивается, обдавая грязью все вокруг. Реку не узнать. Вздувшаяся, желто-черная, она как одержимая мчится вперед. Поток напирает, спешит – грязные волны заливают все русло до самого края откоса, ударяются о его бетонированное

подножие, о переплеты из ивняка, так что поневоле начинаешь благословлять предусмотрительность людей, укрепивших берег. Река при этом почти не шумит, она как бы притихла, и тишина ее особенно зловеща. Привычных нам порогов не видно, они под водой, но по тому, что в некоторых местах волны выше, провалы между ними глубже и гребни опрокидываются не вперед, как у берега, а назад, угадываешь, что здесь-то и находятся пороги. Водопад совсем сошел на нет – это всего лишь плоская жалкая струйка, и кипение под ним почти незаметно из-за высокой воды. Баушан взирает на все эти перемены с безграничным удивлением. Он опешил и никак не может взять в толк, куда же делось сухое место, по которому он привык бегать и носиться галопом, и почему здесь сегодня вода; в страхе удирает он вверх по откосу от набегающих валов, виляя хвостом, оборачивается ко мне, опять смотрит на воду и при этом в недоумении как-то криво открывает и снова закрывает пасть, высовывая сбоку кончик языка, – игра физиономии, столь же свойственная людям, как и животным, и хотя как форма выражения не очень-то изысканная и даже вульгарная, но зато весьма удобопонятная; очутившись в таком же затруднительном положении, к ней вполне мог бы прибегнуть несколько ограниченный и не слишком культурный человек, причем он, наверное, еще почесал бы в затылке.

Остановившись более или менее подробно на зоне реки, я тем самым завершил описание всей нашей местности и сделал, насколько я понимаю, все от меня зависящее, чтобы читатель мог наглядно себе ее представить. В моем описании мне эти края нравятся, но в натуре нравятся еще больше. Как ни говори, а в жизни все определеннее и многограннее, так же как Баушан в действительности непосредственнее, живее и забавнее, чем его сотканный из слов двойник. Я привержен к здешней природе, благодарен ей и потому описал ее. Она мой парк и мое уединение; мои мысли и мечты смешались и переплелись с ее пейзажами, как листва ее хмеля и дикого винограда переплелась с листвой деревьев. Я видел ее во всякое время дня и во всякое время года: осенью, когда в воздухе стоит лекарственный запах прелого листа, когда заросли чертополоха уже успели отцвести, и громадные буки «курортного» парка расстилают по лугу ржаво-красный ковер опавших листьев, и струящиеся золотом летние дни переходят в ранние романтически-театральные вечера с плывущим по небу трафаретным серпом луны, молочными туманами над землей и закатом, пылающим сквозь черные силуэты деревьев... Осенью, а также зимой, когда щебень засыпан снегом и по мягкой ровной дороге можно спокойно ходить в резиновых ботах, когда река стремится вперед, черная между

белесыми, скованными льдом берегами, и в воздухе с утра до ночи стоит крик сотен чаек. Но все же самые короткие и непринужденные отношения устанавливаются у меня с ней в теплые месяцы, когда можно, не одеваясь, между двумя ливнями, на четверть часа выскочить на аллею, мимоходом притянуть к лицу мокрую ветку черемухи и бросить хотя бы один взгляд на бегущие волны. Или, к примеру, от тебя только что ушли гости, и ты, до смерти усталый от всех разговоров, остался один в четырех стенах, где воздух еще пропитан дыханием чужих людей. Тогда хорошо сразу же, в чем есть, выйти побродить по улицам Геллерта и Штифтера, отдышаться и прийти в себя. Смотришь вверх на небо, смотришь на тонкую и нежную листву вокруг, нервы успокаиваются, и к тебе возвращается обычная спокойная серьезность и ясность.

Но Баушан всегда со мной. Ему не удалось помешать вторжению внешнего мира в наш дом: сколько он ни протестовал яростным лаем, сколько ни рвался – все было напрасно, и он удалился в свою конуру. Теперь он не помнит себя от счастья, что я снова с ним, в наших охотничьих угодьях. Левое ухо у него небрежно завернулось, и он трусит впереди меня бочком, по собачьему обыкновению, так что задние лапы движутся не по одной линии с передними, а чуть наискось. Но вот я вижу, что-то захватило внимание Баушана, его торчащий кверху обрубок хвоста начинает отчаянно вилять. Тело напряженно вытягивается, голова опущена книзу, он делает прыжок в одну сторону, затем в другую и, наконец, избрав направление, уткнувшись носом в землю, устремляется вперед. Это след! Баушан напал на след зайца.

Охота

Местность наша богата дичью, и мы охотимся; вернее сказать, Баушан охотится, а я смотрю. Таким манером мы охотимся на зайцев, куропаток, полевых мышей, кротов, уток и чаек. Но мы не отступаем и перед охотой на крупную дичь – поднимаем фазанов и даже отслеживаем косуль, если им случается зимой забрести в наши края. Какое это волнующее зрелище, когда желтое на фоне снега тонконогое легкое животное, вскидывая белый зад, как ветер мчится от маленького, напрягающего все силы Баушана, – я не отрываясь слежу за такой погоней. Не то чтобы тут могло что-нибудь получиться – этого никогда не было и не будет. Но отсутствие осязаемых результатов не охлаждает страсти и азарта Баушана, да и мне не портит удовольствия. Мы любим охоту ради охоты, а не ради добычи или корысти, и, как я уже говорил, главную роль в ней играет Баушан. Он не ждет от меня ничего, кроме моральной поддержки, ибо из своего личного и непосредственного опыта не знает иного взаимодействия между хозяином и собакой и не представляет себе существования более жестокого и практического способа заниматься этим делом. Я подчеркиваю слова «личный» и «непосредственный», так как не подлежит сомнению, что его предки, по крайней мере по линии легавых, знали настоящую охоту, и я не раз задавал себе вопрос, не живет ли в Баушане подспудно память об этом и не может ли какой-нибудь случайный внешний толчок ее пробудить. На такой ступени различие между особью и родом более поверхностно, чем у людей, рождение и смерть не вызывают столь глубоких сдвигов бытия, и родовые традиции, вероятно, лучше передаются потомству, так что, хоть это и кажется несообразным, мы тут вправе говорить о врожденном опыте, о неосознанных воспоминаниях, которые, будучи вызваны извне, могут прийти в столкновение с личным опытом живого существа и породить в нем чувство неудовлетворенности. Мысль эта одно время меня тревожила, но потом я выкинул ее из головы, так же как Баушан, по-видимому, выкинул из головы жестокое происшествие, которому однажды был свидетелем и которое послужило поводом к моим размышлениям.

Отправляемся мы с ним на охоту обычно, когда время уже близится к полудню; впрочем, иногда, особенно в жаркие летние дни, и под вечер, часов в шесть или позже, а бывает, что в эти часы мы выходим из дому уже во второй раз, – так или иначе, но настроение у меня совсем другое, чем при нашей утренней безмятежной прогулке. Свежести и бодрости уже нет

и в помине, я трудился, мучился, стиснув зубы, преодолевал трудности, вынужденный биться с частностями и в то же время не упускать из виду той более общей и многообразной связи, которую я обязан, ничем не смущаясь и ни перед чем не отступая, проследить во всех мельчайших ее разветвлениях, и голова у меня трещит от усталости. Вот тут-то меня и выручает охота с Баушаном, я отвлекаюсь, настроение подымается, прибывают силы, и я уже могу работать всю вторую половину дня, за которую мне немало еще предстоит сделать. Я это и ценю, и помню и потому хочу описать нашу охоту.

У нас, конечно, так не выходит, чтобы нацелиться на одну какую-нибудь дичь из вышеприведенного перечня и идти, скажем, только на зайцев или на уток. Мы охотимся на все вперемешку, что бы нам ни попало – чуть было не сказал «на мушку», да нам и ходить далеко не надо, охота начинается сразу же у калитки: на лугу возле нашего дома пропасть кротов и полевых мышей. Эти плюшевые зверюшки, строго говоря, не дичь, но их подземный образ жизни и скрытный нрав, в особенности хитрость и проворство мышей, которые в отличие от своих зарывшихся в землю слепых сородичей отлично видят при свете и часто шныряют поверху, чтобы при малейшем шорохе опасливо и так стремительно юркнуть в черную норку, что даже не разглядишь, как они переступают лапками, неотразимо действуют на охотничьи инстинкты Баушана, и потом, это единственная дичь, которую ему иной раз удастся поймать, а полевая мышь или крот, по нынешним тяжелым временам, когда в миску у конуры изо дня в день наливается пресная ячневая похлебка, – право же, лакомый кусочек.

Итак, не успеваю я несколько раз взмахнуть тросточкой, шагая по нашей тополевой аллее, как только что носившийся взад и вперед Баушан уже проделывает какие-то диковинные скачки справа на лугу. Его обуяла охотничья страсть, он ничего не видит и не слышит, кроме волнующего присутствия незримых зверьков: весь напрягшись, нервно виляя хвостом и, осторожности ради, высоко подбирая ноги, крадется он по траве, на полушаге замирает с поднятой передней или задней лапой, склонив голову набок и опустив морду, так что большие лопухи приподнятых ушей свисают у него спереди по обе стороны глаз, сверху вниз в упор смотрит на землю и вдруг делает скачок вперед, накрывая что-то обеими лапами, еще скачок – и удивленно глядит туда, где только сейчас что-то было, а теперь уже ничего нет. Затем он начинает копать... Мне очень хочется посмотреть, что он копает и до чего докопается, но тогда мы далеко не уйдем, потому что Баушан способен весь свой охотничий заряд израсходовать на полянке у дома. Посему я спокойно иду дальше: сколько бы Баушан тут ни

проторчал, он все равно меня найдет, даже если не видел, куда я свернул, – след мой для него не менее ясен, чем след зверя; потеряв меня из виду, он уткнется носом в землю и помчится по следу, и вот уж я слышу позвякивание жетончика Баушана, слышу за спиной его упругий галоп, он стрелой проносится мимо, круто заворачивает и глядит на меня, виляя хвостом, будто хочет сказать: «А вот и я!»

Но в лесу или на лугах возле ручья, заведя Баушана у мышиной норы, я иногда останавливаюсь и наблюдаю за ним, даже если солнце клонится к западу и я без толку теряю время, положенное на прогулку. Меня захватывает его пыл, заражает его усердие, я от души желаю ему успеха и хочу быть свидетелем его торжества. Подчас глядишь на место, где Баушан копает, и ничего не замечаешь – просто какой-нибудь поросший мхом и оплетенный корнями бугорок под березой. Но Баушан услышал, учуял дичь, может быть, даже видел, как она туда прошмыгнула; он уверен, что мышка отсиживается тут под землей в своих ходах и переходах, нужно только до нее добраться; и вот он самоотверженно роет, позабыв обо всем на свете и не щадя сил, – впрочем, злобы в нем нет, – любо-дорого смотреть на этот чисто спортивный азарт. Его маленькое пятнистое тельце с обозначенными под тонкой кожей ребрами и играющими мускулами прогнуто посредине, зад торчит кверху, и над ним лихорадочно бьется обрубок хвоста, голова и передние лапы почти исчезли в наклонно углубляющейся ямке, которую Баушан, отвернув морду, копает железными когтями с таким жаром, что куски дерна и корней, комья земли и камешки ударяются даже о поля моей шляпы. Время от времени, когда он, продвинувшись немного вперед, перестает копать и, уткнувшись носом в землю, старается чутьем определить, где же там, внизу, притаился пугливый умненький зверек, в тишине слышно его сопение. Звук получается глухой, потому что Баушан спешит вобрать в себя воздух, чтобы очистить легкие и снова принюхаться – учуять этот тонкий, идущий из-под земли, не очень сильный, но острый мышиный запах. Каково-то несчастному зверьку слышать это глухое сопение!

Но это уж его дело и дело Господа Бога, сотворившего Баушана врагом и гонителем полевых мышей, а потом ведь страх обостряет восприятие жизни, мышка наверно бы затосковала, не будь на свете Баушана, и на что бы ей тогда ум, светящийся в бисеринках глаз, и ее сноровка сапера – словом, все, что уравнивает шансы в борьбе и делает сомнительным успех нападающей стороны? Я не испытываю ни малейшего сострадания к мышке, внутренне я полностью на стороне Баушана и часто, не довольствуясь ролью простого наблюдателя, начинаю тростью

выковыривать крепко засевший камешек или неподатливый корешок, по мере своих сил и возможностей помогая псу преодолеть лежащее на его пути препятствие. Тогда, признав во мне единомышленника, он, не отрываясь от дела, бросает на меня быстрый, горячий и благодарный взгляд. Всей пастью вгрызается он в твердую, поросшую корешками землю, оторвет комок и бросит в сторону; глухо сопя, принимается и, воодушевленный запахом, опять с остервенением пустит в ход когти...

В большинстве случаев все его усилия оказываются напрасными. С выпачканным землей носом, грязный по самые плечи, он небрежно еще раз обнюхивает ямку и траву вокруг и, отказавшись от своей затеи, с завидным безразличием семенит дальше.

– Ну зачем ты копал? Там же ничего не было, – говорю я Баушану, когда он на меня смотрит. – Ничего не было, – повторяю я и, для большей убедительности, качаю головой и даже поднимаю брови и плечи.

Но Баушана нет надобности утешать, неудача несколько его не обескуражила. Охота есть охота, жаркое тут на последнем месте, зато до чего же было хорошо потрудиться, думает он, если вообще еще думает об осаде, которую только что вел с таким усердием; его уже тянет на новые авантюры, случай к которым представляется во всех трех зонах буквально на каждом шагу.

Но бывает и так, что мышке не удастся ускользнуть от него, и тогда мне приходится пережить несколько неприятных минут, потому что Баушан тут же, без всякой жалости, пожирает ее живьем со всеми потрохами. Может быть, инстинкт самосохранения подвел злосчастную мышку – и она выбрала себе под жилье слишком рыхлое, малозащищенное место, до которого ничего не стоило докопаться; а может, ход был очень мелкий, и она, потеряв голову, не сумела его углубить: засела в нескольких дюймах от поверхности земли и с выпученными бисеринками глаз, обмерев от ужаса, прислушивалась к страшному сопению, которое все приближалось и приближалось. Как бы там ни было, железный коготь выволок ее наружу и подбросил вверх – на страшный свет божий, – пропала мышка! Недаром ты дрожала от страха, и твое счастье, если от великого страха у тебя помутился рассудок, потому что теперь ты пойдешь Баушану на жаркое! Он держит ее за хвост, мотает по земле раз-другой; слышится тонкий, слабый писк, последний писк покинутой Богом мышки, и вот уж она у Баушана в пасти, между его белыми зубами. Широко расставив задние ноги, он стоит подавшись вперед и, жуя, вскидывает голову, будто снова и снова подхватывает на лету кусок, чтобы половчее перебросить его в пасти. Косточки хрустят, еще какое-то мгновение лоскуток шкурки свисает у него

с уголка губ, он подхватывает его – все кончено; и Баушан начинает исполнять вокруг меня нечто вроде воинственного победного танца, а я стою, как стоял во время всей этой сцены, опершись на тросточку, и наблюдаю. «Ну и ну! – говорю я ему с почтением, исполненным ужаса, и качаю головой. – Знаешь, кто ты? Самый настоящий каннибал и убийца!» Но в ответ Баушан лишь пуще прежнего скачет, и недостает только, чтобы он громко захохотал. Итак, я иду дальше по тропинке, чувствуя в спине неприятный холодок от того, что сейчас видел, но вместе с тем и в какой-то мере приободренный грубым юмором жизни. То, что случилось, естественно и закономерно: если мышью плохо управляет инстинкт, она превращается в жаркое для Баушана. Однако в таких случаях мне приятнее, если я не помогал тросточкой этому естественному и закономерному порядку, а ограничился чисто созерцательной ролью.

Когда после недолгих поисков Баушан острым своим чутьем обнаруживает в кустарнике фазана, который спал там или притаился, надеясь остаться незамеченным, и тяжелая птица внезапно вылетает из куста, можно не на шутку испугаться. С шумом, с треском, взволнованно и гневно крича и кудахча, большая красно-рыжая длинноперая птица подымается в воздух и, роняя помет, тут же с глупым безрассудством курицы садится на ближнее дерево, где продолжает клохтаться, а Баушан, упершись передними лапами в ствол, бешено лает на нее. Гав! Гав! Что сидишь, безмозглая птица, лети, а я за тобой погоняюсь, как бы хочет он сказать своим лаем. И дикая курица, не выдержав мощного гласа, снова с шумом срывается с ветки и, тяжело взмахивая крыльями, летит между макушками деревьев, не переставая клохтаться и жаловаться, а Баушан молча, как и подобает мужчине, преследует ее по земле.

В этом, и только в этом, его блаженство, ничего другого он не хочет и не знает. Да и что бы произошло, если бы он в самом деле поймал фазана? Ничего бы не произошло. Я видел однажды, как Баушан держал фазана в когтях; вероятно, мой охотник наступил на него, когда тот спал, и неуклюжая птица не успела подняться в воздух – и вот смущенный победитель стоял над ней и не знал, что ему делать. Фазан лежал в траве с оттопыренным крылом и, вытянув шею, кричал, кричал без умолку, так что издали можно было подумать, что в кустах режут старуху, и я бросился туда, чтобы предотвратить злодейство. Но тут же я убедился, что страхи мои напрасны: явное замешательство Баушана, любопытство и брезгливость, с какими он, склонив голову набок, взирал на своего пленника, служили тому порукой. Этот бабий крик у его ног, видимо, действовал ему на нервы, и он не столько торжествовал победу, сколько

был смущен. Пощипал ли он немного, почета и посрамления ради, пойманную птицу? Мне представляется, что я видел, как он одними губами, не пуская в ход зубов, выдернул у нее из хвоста несколько перьев и, сердито мотая головой, отбросил их в сторону. Потом оставил фазана в покое и отошел, не из великодушия, а потому, что вся эта история уже не походила на веселую охоту и порядком ему наскучила. Посмотрели бы вы, как опешил фазан! Несчастный, должно быть, уже простился с жизнью и сперва даже не знал, как ею распорядиться, во всяком случае, он довольно долго лежал в траве, как мертвый. Затем проковылял несколько шагов, кое-как взгромоздился на сук, с которого, покачнувшись, чуть не свалился, и, волоча за собой длинный шлейф хвоста, полетел прочь. Больше фазан уже не кричал, предпочитая держать язык за зубами. Молча пролетел он над парком, пролетел над рекой, над левобережными лесами, все дальше и дальше, как можно дальше от этих проклятых мест, и, конечно, никогда уже больше сюда не возвращался.

Но в наших угодьях немало его сородичей, и Баушан охотится за ними по всем правилам охотничьего искусства. Пожирание мышей – единственное душегубство, в котором он повинен, но и оно является чем-то побочным и вовсе не обязательным по сравнению с высокой самоцелью, состоящей в том, чтобы выслеживать, поднимать, гнать, преследовать, – это признал бы всякий, увидев его за этой великолепной забавой. Как он тогда хорош, как изумителен, как великолепен: Баушан сразу преобразается, совершенно так же, как неуклюжий крестьянский парень из горной деревушки вдруг становится картинно красив, когда, охотясь на серну, стоит с ружьем на скале. Все, что есть в Баушане лучшего, подлинно благородного, раскрывается и получает развитие в эти блаженные минуты, потому-то он так и ждет их и так страдает, когда время уходит попусту. Ну какой же Баушан пинчер, это самая настоящая подружейная собака, легаш, и каждое его движение, каждая воинственная и мужественно-простая поза дышат гордостью и счастьем. Я испытываю истинное эстетическое наслаждение, когда вижу, как он пружинистой рысью бежит по кустарнику и вдруг замирает в стойке с грациозно поднятой и чуть повернутой внутрь лапой; какой у него значительный вид, какая смышленная, внимательная морда, и до чего он хорош в напряжении всех своих сил и способностей! Случается, что, пробираясь сквозь чащобу, Баушан взвизгивает. Напорется на колючку и громко скулит. Но и это в порядке вещей, и это – только беззастенчиво-откровенное выражение непосредственных ощущений, лишь ненадолго умаляющее его достоинство; секунду спустя Баушан уже снова стоит во всем своем блеске и великолепии.

Я смотрю на него и вспоминаю время, когда, утратив всякую гордость и внутреннее достоинство, он опять опустился до того жалкого физического и нравственного состояния, в каком впервые предстал перед нами на кухне фрейлейн Анастасии и которое не без труда преодолел, постепенно обретая веру в себя и в окружающий мир. Не знаю, что с ним было – шла ли у него кровь из пасти, из носа или горлом, да и по сей день это никому не известно; во всяком случае, куда бы Баушан ни пошел и где бы он ни стоял, везде оставались кровавые следы – на траве наших угодий, на его соломенной подстилке, на паркете кабинета, и никаких ран или царапин мы не обнаруживали. Иногда казалось, что он вымазал всю морду красной масляной краской. Он чихал – и во все стороны летели кровавые брызги, он наступал на них и всюду оставлял кирпичный отпечаток лап. Самый тщательный осмотр не дал никаких результатов, и мы не на шутку встревожились. Может быть, у него туберкулез? Или какая-нибудь неизвестная нам собачья болезнь? Поскольку это столь же непонятное, сколь и неопрятное явление не прекращалось, решено было поместить его в ветеринарную лечебницу.

На следующий день, около полудня, хозяин дружественной, но твердой рукой надел ему намордник – эту штуковину из кожаных ремешков, которую Баушан совершенно не выносит и от которой непременно хочет избавиться, стаскивая ее лапами и крутя головой, – пристегнул к ошейнику плетеный поводок и повел взнузданного таким образом больного налево по аллее, затем через городской парк и далее вверх по людной улице, к виднеющимся в конце ее корпусам университета. Там мы вошли в ворота, пересекли двор и очутились в приемном покое, где на скамейках вдоль стен дожидалось много народа, и у всех, как и у меня, на поводках были собаки – собаки самых различных пород и величины, которые уныло глядели друг на друга через кожаные свои забрала. Тут была старушка с апоплексическим мопсом, слуга в ливрее с тонконогой, белой, как ромашка, русской борзой, время от времени тихо и благовоспитанно покашливавшей, крестьянин с таксой, у которой были такие кривые и вывернутые наизнанку ноги, что она, по-видимому, нуждалась в услугах ортопеда, и многие другие. Сновавший взад и вперед служитель впускал посетителей по одному в кабинет напротив; наконец очередь дошла и до меня с Баушаном.

Профессор, человек еще не старый, в белом операционном халате и в золотом пенсне, с шапкой курчавых волос и таким знающим добросердечно-участливым видом, что, заболел я сам или кто-нибудь из домашних, я бы, не задумываясь, обратился к нему, слушая меня, все время

отечески улыбался сидевшему перед ним пациенту, который тоже доверчиво глядел на него снизу вверх. «Красивые у него глаза», – сказал профессор, оставив без внимания усы и клинообразную бородку Баушана, и выразил согласие его осмотреть.

Оцепеневшего от удивления Баушана с помощью санитаров разложили на столе, и я, признаться, даже растрогался, видя, с каким вниманием и добросовестностью врач прикладывал черную трубку к пятнистому тельцу кобелька, совершенно так же, как это не раз делали со мной. Он выслушал его ускоренно бьющееся собачье сердце, выслушал в различных местах работу других внутренних органов. Затем, засунув стетоскоп под мышку, обеими руками обследовал его глаза, нос, горло, после чего поставил предварительный диагноз. Собака несколько нервна и малокровна, но, в общем, в хорошем состоянии. Причина кровотечения пока неясна. Это может быть эпистаксия или гематемезия. Не исключено также и трахеальное или фарингиальное кровотечение. Но скорее всего это гематпеза. Необходимо тщательно наблюдать за животным в клинических условиях, а потому лучше оставить его здесь и через недельку навеститься.

Мне оставалось только поблагодарить профессора за столь обстоятельное разъяснение и откланяться, что я и сделал, похлопав Баушана на прощание по плечу. Направляясь к воротам, я видел, как служитель вел нового больного через двор к стоящему поодаль зданию и как Баушан, растерянно и испуганно озираясь по сторонам, искал меня глазами. А ведь по существу-то он должен был быть польщен: мне, откровенно говоря, было лестно, что профессор признал его нервным и малокровным. Кто на ферме в Хюгельфинге чаял и гадал, что о Баушане скажут такое и что его персоной будут заниматься ученые люди!

Но прогулки мои с этого дня стали какие-то пресные, я получал от них мало удовольствия. Выходишь – тебя не встречает буря молчаливого восторга, гуляешь – нет вокруг тебя мужественной охотничьей суетни. Парк, казалось, опустел, мне было скучно. Почти каждый день я по телефону справлялся о здоровье Баушана. Ответ, сообщаемый какой-то подчиненной инстанцией, неизменно гласил: «Самочувствие больного, в его состоянии, удовлетворительное», но что это за состояние, мне, по каким-то соображениям, не говорили. Тем временем прошла неделя, как я отвел Баушана в лечебницу, и я решил пойти туда сам.

Прибитые всюду таблички с надписями и указующими перстами привели меня прямо к двери клинического отделения, где помещался Баушан, и я, следуя строгому предписанию на двери, вошел туда без стука. Средней величины палата, в которой я очутился, напоминала зверинец, да и

воздух в ней был такой же тяжелый, только что к звериному духу здесь примешивался еще сладковатый запах всевозможных лекарств – смесь, от которой противно першило в горле и подташнивало. По стенам шли клетки, большая часть которых была занята. Из одной клетки навстречу мне раздался хриплый лай; у ее отворенной дверцы возился человек, вооруженный граблями и лопатой, должно быть, служитель. Не прерывая своего занятия, он ответил на мое приветствие и предоставил меня самому себе.

Еще на пороге я, оглядевшись, увидел Баушана и теперь направился к нему. Он лежал за решеткой своей клетки на подстилке то ли из толченой дубовой коры, то ли из каких-то опилок, отчего в палате, помимо звериного запаха, воняло карболки и лизоформа, разило еще чем-то, – лежал, как леопард, но очень усталый, очень безучастный и скучный леопард; я даже испугался, когда увидел, с каким мрачным безразличием он отнесся к моему появлению и присутствию здесь. Раз или два вяло стукнул хвостом по подстилке и только после того, как я с ним заговорил, оторвал голову от лап, но тут же снова ее уронил и хмуро уставился в стенку. К его услугам в глубине клетки стояла глиняная миска с водой. Снаружи к прутьям решетки был прикреплен в рамочке наполовину печатный, наполовину заполненный от руки скорбный лист, где под графами кличка, порода, пол и возраст была выведена температурная кривая. Там стояло: «Помесь легавой, кличка Баушан, кобель, возраст два года, поступил такого-то числа, такого-то месяца, года... для исследования по поводу скрытых кровотечений». Ниже следовала начертанная пером и, кстати говоря, не показывающая особых колебаний кривая температуры, возле которой цифрами указывалась частота пульса Баушана.

Ему, оказывается, измеряли температуру, и даже врач приходил щупать ему пульс – в этом отношении лучшего нельзя было и желать. Зато его моральное состояние сильно меня встревожило.

– Ваш кобелек? – спросил служитель, подходя ко мне со своим инструментом. Это был приземистый человек в дворницком фартуке, бородатый, краснощекий, с карими, чуть налитыми кровью глазами, удивительно похожими на собачьи, – до того они были честные, влажные и добрые.

Я отвечал утвердительно, сослался на приглашение прийти через недельку навеститься, на телефонные переговоры и заявил, что пришел узнать, как обстоит дело. Служитель посмотрел на скорбный лист. Да, у собаки скрытые кровотечения, сказал он, а это история затяжная, в особенности когда не установлено, чем они вызваны. «А до сих пор не

установлено?» Нет, еще окончательно не установлено. Но ведь собака поступила сюда для наблюдения, вот ее и наблюдают. «А кровотечения все продолжаются?» Да, бывают временами. «И тогда их наблюдают?» Да, самым аккуратным образом. «А жар есть?» – спросил я, тщетно стараясь разобраться в температурной кривой. Нет, жара нет. Пульс и температура у собаки нормальные; пульс примерно девяносто в минуту, как полагается, меньше и не должно быть, а если бы было меньше, тогда наблюдать пришлось бы еще тщательнее. Вообще-то, если бы не кровотечения, пес в неплохом состоянии. Сперва он, правда, круглые сутки выл, а потом обошелся. Ест он вот маловато, но ведь и то сказать – сидит взаперти, без движения, а потом много значит, сколько он раньше ел.

– А чем его кормят?

– Похлебкой, – ответил служитель, – но он плохо ест.

– Вид у него какой-то подавленный, – заметил я с деланным спокойствием.

– Есть немножко, да только это ничего не значит. В конце концов, собаке не очень-то весело сидеть в клетке под наблюдением. Все они у нас подавлены, кто больше, кто меньше, – конечно, те, что поскромнее, а иной пес так начинает даже злобиться, кусаться. Ну да ваш не такой. Он смирный, его хоть до самой смерти наблюдай, кусаться не станет.

Тут я был целиком согласен со служителем, но, соглашаясь, чувствовал, как во мне нарастают боль и возмущение.

– И сколько же, – спросил я, – ему придется еще здесь пробыть?

Служитель снова взглянул на листок.

– Господин профессор считает, что его надо понаблюдать еще деньков семь-восемь, – ответил он. – Через недельку можно справиться. В общей сложности это составит две недели, и тогда уже точно смогут сказать, что с собакой и как ее лечить от скрытых кровотечений.

Еще раз напоследок поговорив с Баушаном, с тем чтобы поднять его дух, и нисколько в этом не преуспев, я ушел. Уход мой он воспринял так же безразлично, как и мое появление. Презрение и глубокая безнадежность, видимо, завладели им. «Если ты способен был посадить меня в эту клетку, – казалось, говорил он всем своим видом, – чего же мне от тебя еще ждать?» Да и как ему было не разочароваться, как не утратить веру в разум и справедливость? В чем он повинен, чем заслужил такую кару и как это я не только допустил, но сам привел его сюда? А я ведь желал ему только добра. У него открылось кровотечение, и если сам он от этого особенно не страдал, то все же я, его хозяин, счел необходимым, чтобы существующая на то наука занялась им, – ведь не какая-нибудь он дворняжка, а собака из

хорошего дома, и в университете я своими собственными ушами слышал, что его признали несколько нервным и малокровным, словно какое-нибудь графское дитя. И вот как все для него обернулось! Попробуйте ему растолковать, что, посадив его в клетку, как ягуара, и вместо воздуха, солнца, движения каждый день потчuya его градусником, ему оказывают честь и внимание?

Всю дорогу домой я казнилcя, и если раньше я скучал по Баушану, то теперь к этому прибавилось беспокойство за него, за его душевное состояние, сомнение в чистоте собственных побуждений и укоры совести. Уж не из тщеславия ли и эгоистического чванства потащил я Баушана в университет? А может быть, мною руководило тайное желание избавиться от него, любопытно было посмотреть, как потечет моя жизнь, когда я освобожусь от его неотступного надзора и со спокойной душой буду сворачивать куда захочу – направо или налево, не вызывая ни в едином живом существе чувства радости или горького разочарования? Что греха таить, с того дня как Баушана поместили в клинику, я и в самом деле наслаждался давно не испытанной внутренней свободой. Никто не донимал меня видом своего мученического ожидания за стеклянной дверью. Никто, стоя у порога с робко поднятой лапой, не вызывал у меня растроганной улыбки и не отрывал раньше времени от работы. Шел ли я в парк, сидел ли дома, никому до этого не было дела. Жизнь и вправду потекла удобная, покойная и не лишенная прелести новизны. Но так как обычный стимул для прогулок отсутствовал, то я почти перестал выходить. Здоровье мое пошатнулось, и когда я уже, можно сказать, дошел до состояния запертого в клетке Баушана, то вынужден был сделать вывод, что оковы сострадания более способствовали моему личному благополучию, нежели эгоистическая свобода, которой я так жаждал.

Прошла еще одна неделя, и в назначенный день я снова стоял с бородатым служителем перед клеткой Баушана. Он лежал на боку, бессильно растянувшись на подстилке из толченой дубовой коры, которая пачкала ему шерсть; голова у него запрокинулась, и тупой стеклянный взгляд был устремлен на выбеленную известкой заднюю стенку. Он не шевелился. Лишь присмотревшись, можно было увидеть, что он еще дышит. Но время от времени тихий, раздиравший мне сердце вибрирующий стон вздымал его грудную клетку с выпирающими ребрами. Оттого, что он страшно исхудал, ноги его казались несоразмерно длинными, а лапы огромными. Шерсть облезла, свалялась и, как я уже говорил, перепачкалась оттого, что он ворочался в дубовом корье. Он не обратил на меня никакого внимания; и казалось, вообще никогда уже ни на

что не будет обращать внимания.

Кровотечения еще не совсем прошли, сказал служитель, иногда они ни с того ни с сего опять начинаются. Чем они вызваны, еще окончательно не установлено, во всяком случае, это не опасно. Если мне угодно, я могу оставить собаку здесь для дальнейшего наблюдения, чтобы уж знать наверное, что с ней, но могу и забрать ее домой, там она со временем поправится. Тут я вытащил из кармана поводок, который прихватил с собой, и сказал, что забираю Баушана. Служитель нашел это разумным. Он отворил клетку, и мы оба, порознь и вместе, стали звать Баушана, но бедняга не шел, он по-прежнему лежал, уставившись в белую стенку над своей головой. Правда, когда я просунул руку в клетку и вытащил его за ошейник, он не сопротивлялся. Но он не выпрыгнул, а скорее свалился на все четыре лапы и стоял, поджав хвост и опустив уши, – донельзя жалкое зрелище. Я пристегнул ему поводок, дал служителю на чай и пошел в контору рассчитаться: при таксе в семьдесят пять пфеннигов за сутки, плюс гонорар врачу за первый осмотр, пребывание Баушана в лечебнице обошлось мне в двенадцать с половиной марок. Затем, окутанные облаком сладковато-звериного запаха клиники, которым насквозь пропитался Баушан, мы тронулись домой.

Баушан был сломлен физически и нравственно. Животные непосредственнее, самобытнее и тем самым в известной мере человечнее, чем мы, во внешних проявлениях своих чувств: обороты речи, которые продолжают жить среди нас лишь в переносном смысле и как метафоры, не утратили у них своего первоначального прямого значения, а это всегда радует глаз. Баушан, как говорится, «повесил голову», то есть он сделал это буквально и так же наглядно, как делает это заезженная извозчичья кляча со сбитыми бабками, когда она, время от времени подрагивая кожей, понуро стоит на углу улицы, и кажется, будто пудовая гиря оттягивает ее облепленную мухами морду к булыжнику мостовой. Короче говоря, две недели, проведенные Баушаном в университете, низвели его до того состояния, в котором я некогда получил его в предгорьях Альп; я сказал бы, что от него осталась одна тень, если бы такое сравнение не было оскорбительным для тени жизнерадостного и гордого Баушана. После того как Баушана несколько раз хорошенько вымыли в корыте, больничный запах, которым он был пропитан, почти исчез, хотя еще долгое время от него вдруг начинало тянуть карболкой, но если для нас, людей, ванна является как бы символическим актом и действует на душевное состояние, то у бедняги Баушана за телесным очищением бодрости духа не последовало. В первый же день я взял его с собой в наши угодья, но он еле

плелся за мной, по-дурацки свесив на сторону язык, и фазаны еще долго после его возвращения наслаждались привольной жизнью. Дома он целыми днями лежал неподвижно, остекленевшим взглядом уставившись куда-то вверх, как тогда в клетке, вялый и расслабленный; теперь уж не он выманивал меня погулять, а мне самому приходилось идти за ним к конуре и чуть не силой тащить его на прогулку. Даже неразборчивая жадность, с которой он глотал пищу, и та напоминала об унижительной поре его детства. Тем отраднее было видеть, как он мало-помалу приходил в себя; как при каждой новой встрече в нем пробуждалась прежняя простодушно-веселая живость; как в одно прекрасное утро он не притащился нехотя и угрюмо на мой свист, а налетел на меня, словно вихрь, прыгнул передними лапами мне на грудь и опять стал хватать зубами воздух перед самым моим носом; как на прогулках к нему вернулось гордое сознание своей силы и красоты, и я опять мог любоваться его мужественной грациозной стойкой и стремительными прыжками с подтянутыми лапами на шевелящихся в высокой траве зверюшек... Он забыл. Тяжелый и бессмысленный, на взгляд Баушана, инцидент канул в прошлое, по сути дела, не разрешенный и не исчерпанный, ибо объяснение между нами было невозможно, но время все сгладило, как бывает и между людьми, и мы продолжали жить бок о бок, словно ничего не произошло, меж тем как невысказанное все больше и больше забывалось... Еще с месяц Баушан иногда появлялся с окровавленным носом, но случалось это все реже, а затем кровотечение и вовсе прекратилось, так что было уже совершенно безразлично, вызвано ли оно эпистаксией или гематемезией...

Ну вот, не собирался рассказывать о лечебнице, а рассказал! Да простит мне читатель это пространное отступление и вернется со мной к охотничьим удовольствиям, на которых мы остановились. Вы слышали когда-нибудь плаксивый вой, с каким собака, напрягая все свои силы, гонит улепетывающего зайца, вой, в котором мешаются ярость и блаженство, нетерпение и исступленное отчаяние? Сколько раз я слышал, как Баушан вот именно так подвывал! Это упоение страсти, это сама страсть завывает по лесу, и всякий раз, когда ее дикий вопль издалека или откуда-то рядом достигает моего слуха, я радуюсь и пугаюсь, по спине у меня невольно пробегают мурашки; довольный, что Баушан сегодня свое наверстает, я спешу вперед или куда-нибудь в сторону, чтобы выйти на гон, и когда заяц, а за ним Баушан проносятся мимо, стою как зачарованный и с блуждающей по лицу взволнованной улыбкой гляжу на них, хотя знаю заранее, что ровно ничего из этого не выйдет.

Лукавый или трусливый заяц! Прижав уши и втянув голову, он бежит

что есть духу, длинными прыжками удирая от истошно воющего Баушана, так что в воздухе лишь мелькают его длинные ноги да желто-белый зад. А ведь в глубине своей боязливой, привыкшей давать стрекача души заяц бы должен знать, что никакой серьезной опасности ему не грозит и он, конечно, благополучно удерет, как удирали его братья и сестры, да и сам он, верно, не раз уже удирал. Никогда в жизни Баушан еще не поймал ни одного его сородича и никогда не поймают – это совершенно исключено. Недаром пословица говорит: косому не поздоровится, когда свора гонится, а один на один – косой господин. Одной собаке его не изловить, хотя бы она и бегала быстрее Баушана и была намного выносливее его, потому что заяц умеет делать «скидку», а Баушан этого не умеет, что в конечном счете и решает дело. Скидка – это надежное оружие и способность рожденного спасаться бегством, это средство, к которому он может прибегнуть всегда, но держит до поры до времени в запасе, чтобы в решающую минуту применить и оставить Баушана с носом, когда тот уже торжествует победу.

Вот они выскакивают из кустов, наискось пересекают тропинку впереди меня и мчатся к реке, заяц – молча, затаив в душе унаследованную от отцов и дедов уловку, а Баушан – пронзительно и отчаянно завывая на высоких нотах. «Ну чего ты воешь? – думаю я. – Ведь запыхаешься, задохнешься, а тебе надо беречь силы, если ты хочешь его поймать!» Я думаю так, потому что мысленно принимаю участие в охоте, потому что стою на стороне Баушана, потому что страсть его захватила и меня, и я от всего сердца желаю ему успеха, даже рискуя тем, что он на моих глазах разорвет зайца. Как он бежит! И что может быть прекраснее живого существа, напрягающего до предела все свои силы и способности! Он бежит лучше зайца, мускулатура у него сильнее, и прежде чем они скрылись из виду, расстояние между ними уже заметно сократилось. Я тоже почти бегом продираюсь через кустарник напрямик к реке и как раз вовремя попадаю на щебенную дорогу, где вижу приближающийся справа гон в самый захватывающий момент охоты. Баушан вот-вот настигнет зайца – теперь он бежит молча, стиснув зубы, запах косого сводит его с ума. «Наддай, Баушанчик, наддай! – мысленно восклицаю я и еле сдерживаюсь, чтобы не крикнуть: – Не промахнись только, не забудь про скидку!» То, чего я боялся, произошло. Когда Баушан «наддает», заяц коротким неуловимым движением делает бросок под прямым углом вправо, и мой охотник, беспомощно верезжа и стараясь затормозить, проскакивает мимо, проскакивает, расшвыривая щебень и подымая облако пыли, и пока он с душевной болью и жалобным визгом преодолевает силу инерции, пока поворачивает и бросается в новом направлении, заяц обычно успевает

далеко уйти или вообще скрыться из глаз, потому что где тут было Баушану усмотреть, куда повернул косой, когда он и на ногах-то едва удержался.

«Все это очень хорошо, но совершенно бесполезно! – думаю я, прислушиваясь к дикому завыванию удаляющейся через парк в противоположном направлении охоты. – Тут нужна не одна собака, а целая свора, штук пять или шесть. Одни бросились бы наперерез, другие наскочили бы с боков, преградили бы ему путь, вцепились в загривок...» И возбужденное воображение рисует мне свору гончих с высунутыми красными языками, которые набрасываются на зайца.

Все это мне представляется лишь в пылу охотничьего азарта, ибо что плохого сделал мне заяц, чтобы желать ему такой страшной кончины? Пусть Баушан мне ближе, пусть я ему сочувствую и желаю успеха, но ведь и заяц тоже живая тварь, и если он и обманул моего охотника, то не со зла, а лишь потому, что ему еще хочется поглотить молодые побеги в лесу и наплодить зайчат. «Конечно, дело обстояло бы иначе, если бы вот эта штука, – продолжаю я тем не менее думать, разглядывая свою тросточку, – если бы эта штука была не безобидной палкой, а вещицей более серьезной конструкции, действующей на приличном расстоянии, тогда я мог бы помочь своему честному Баушану остановить зайца, и косой, перекувырнувшись разок в воздухе, остался бы на месте. Тут уж не понадобилось бы никакой своры, а Баушан сделал бы свое дело уже тем, что поднял зайца». В действительности же картина получается как раз обратная: Баушан частенько летит кувырком, когда пытается одолеть проклятую заячью скидку, что, впрочем, иногда случается и с зайцем, но для косого это пустяк, дело привычное и, очевидно, безболезненное, а для Баушана – тяжелая травма, и, чего доброго, он так когда-нибудь свернет себе шею.

Бывает, что охота кончается, едва начавшись: заяц на первом же кругу благополучно ныряет в кусты и залегает там или же начинает так петлять и делать скидки, что сбивает охотника со следа, тогда Баушан, в полной растерянности, начинает бестолково метаться, а я, обуреваемый кровожадными инстинктами, тщетно кричу ему вслед и тычу тростью в сторону, куда ушел заяц. Но бывает, что гон затягивается надолго и идет по всему лесу, так что залиvistый, страстно подвывающий голос Баушана раздается как охотничий рог то откуда-то издалека, то совсем рядом, и я, не ожидая его, иду потихоньку своей дорогой. И, Боже мой, в каком он наконец является виде! Вся морда в пене, бока запали, ребра ходуном ходят, длинный язык вывалился из широко оскаленной пасти, отчего его осовелые глаза становятся по-монгольски раскосыми, и дышит он при этом как

паровоз. «Ляг отдохни, Баушан, не то тебя еще хватит удар!» – говорю я и останавливаюсь, чтобы дать ему время отдышаться. Особенно боюсь я за него зимой, в мороз, когда он жадно вбирает в свое разгоряченное нутро ледяной воздух, выпуская его белым паром, или захватывает полную пасть снега и глотает его, чтобы утолить жажду. Но в то время как он лежит и снизу вверх смотрит на меня смущенными глазами, то и дело слизывая слюну, я не могу устоять перед искушением подразнить его немножко, посмеяться над неизменной бесплодностью всех его усилий. «Ну где же заяц, Баушан? – спрашиваю я его. – Что ж ты не принес мне зайчика?» А он бьет обрубок хвоста по земле и, прислушиваясь к моему голосу, на мгновение перестает лихорадочно работать боками и сконфуженно облизывается; бедняга не подозревает, что насмешка моя только ширма, за которой я скрываю от него, да и от самого себя, чувство стыда и укоры совести – ведь я опять ничем ему не помог и не остановил косого, как это сделал бы всякий другой порядочный хозяин. Он этого не подозревает, и потому я могу спокойно подшучивать над ним и делать вид, будто это он что-то прошляпил и упустил...

Любопытные происшествия случаются иной раз у нас на охоте. Никогда не забуду, как заяц однажды сам дался мне в руки... Случилось это на узком глинистом «променаде» над рекой. Услышав, что Баушан гонит зайца, я вышел из леса к прибрежной зоне и, продравшись через колючки чертополоха, которым порос «главный проспект», спрыгнул с травянистого откоса на дорожку в ту самую минуту, когда со стороны домика перевозчика, в направлении которого я смотрел, показался заяц, а за ним, шагах в пятнадцати, Баушан; русак мчался длинными скачками по самой середине дорожки прямо на меня. Первым моим побуждением, в котором сказалась злонамеренность охотника, было воспользоваться случаем, преградить косому дорогу и постараться повернуть его назад, прямо в пасть плаксиво подвывающего Баушана. Я замер и затаив дыхание стал поджидать быстро приближающегося зайца; в азарте я даже не заметил, что кручу в руке тросточку. Я знал, что у зайцев очень слабое зрение и только слух и обоняние предупреждают их об опасности. Рассчитывая на это, я решил, что, если буду стоять неподвижно, заяц, пожалуй, примет меня за дерево; эту его роковую ошибку – а мне очень хотелось, чтобы он ошибся, – я и собирался использовать, не очень-то представляя ее вероятные последствия. Действительно ли заяц на какой-то миг ошибся – сказать трудно. Кажется, он вообще увидел меня лишь в самую последнюю секунду, и то, что он сделал, было до такой степени неожиданно, что это разом опрокинуло все мои планы и расчеты и мгновенно изменило мое

настроение. Не знаю, обезумел ли он со страха, во всяком случае, он прыгнул на меня, как собачонка, цепляясь передними лапками за пальто, встал во весь рост и пытался запрятать голову в мои колени, колени страшного охотника! Раскинув руки и подавшись назад, я смотрел вниз на зайца, который, в свою очередь, смотрел вверх на меня. Это длилось всего какую-нибудь секунду или даже долю секунды, но я видел его необыкновенно ясно, видел его длинные уши – одно торчало кверху, а другое свисало вниз, – видел большие, блестящие близорукие глаза навывкат, его рассеченную губу и длинные волоски усов, белую грудь и маленькие лапки, чувствовал, или мне казалось, что чувствую, биение его загнанного сердчишка – и до чего же странно было мне видеть его вблизи, маленького демона здешних мест, живое трепещущее сердце знакомых пейзажей, вечно ускользающее существо, которое я наблюдал среди любимых просторов и далее лишь в те краткие мгновения, когда оно, забавно подкидывая зад, удирало во все лопатки; а теперь это маленькое существо, в минуту грозной опасности, жалось ко мне, как бы обнимая мои колени, колени человека, – но, как представлялось мне, не колени хозяина Баушана, а того, кто господин и над зайцами, кто и его и Баушана господин. Как я уже говорил, это длилось какую-то долю секунды, потом заяц от меня отпрянул, упал на свои короткие передние лапки и стрелой взлетел на правый откос, а к тому месту, где я стоял, примчался Баушан, примчался с воем, украшенным всеми фиоритурами страсти, который неожиданно и резко оборвался. Ибо господин зайца преднамеренным и точным ударом трости сразу охладил его пыл, и Баушан, визжа, кубарем пролетел чуть не до половины левого откоса, куда потом, прихрамывая на ушибленную заднюю ногу, все-таки опять взобрался и только тогда, с большим опозданием, пустился вдогонку за зайцем, а того уже давно и след простыл...

Ну и, конечно, остается еще охота на водоплавающую птицу, которой я тоже хочу посвятить несколько строк. Время ее – зима да еще холодная ранняя весна, до отлета птиц на озера; в эту пору они, повинаясь требованию желудка, волей-неволей вынуждены держаться поблизости от города; охота эта менее увлекательна, чем травля зайцев, но тоже имеет свою прелесть и для охотника и для собаки, или, вернее говоря, для «охотника» и его хозяина: последнего она привлекает главным образом дорогой его сердцу и животворной близостью воды и еще тем, что, наблюдая образ жизни этих водяных птиц, рассеиваешься и отвлекаешься, особенно если выходишь из собственного круга чувств и представлений и пытаешься поставить себя на их место.

Нрав у уток более мирный, положительный и добродушный, нежели у чаек. Они, должно быть, сыты, их меньше тревожат заботы о хлебе насущном, поскольку все, что им нужно для пропитания, постоянно имеется в избытке, и стол для них, так сказать, всегда накрыт. Едят они, как я вижу, почти что всё: червей, улиток, букашек, а то и просто тину и поэтому могут себе позволить, расположившись на камнях, погреться в лучах солнышка; соснуть четверть часика, засунув голову под крыло; заняться туалетом, тщательно смазывая перышки так, чтобы они не намокали, а вода скатывалась с них капельками, или же, единственно удовольствия ради, отправиться на прогулку по реке, где, подняв треугольную гузку, они кружатся и нежатся на волнах, самодовольно поводя плечами.

В натуре чайка есть что-то дикое, грубое, уныло-однообразное и нагоняющее тоску. Голод и алчность слышатся в хриплом крике, с которым они день-деньской кружат стаями над водопадом и там, где в реку из труб сбрасываются коричневые сточные воды. Ибо рыбная ловля, которой иные из них промышляют, занятие не очень-то прибыльное, когда хотят набить себе желудки сотни высматривающих добычу голодных птиц, так что чаще всего чайкам приходится довольствоваться отвратительными отбросами, которые они подхватывают на лету у водостоков и уносят в своих кривых клювах куда-нибудь в сторону. Сидеть на берегу они не любят. Но как только спадает вода, они теснятся на выступающих из реки камнях, покрывая их сплошной белой массой, напоминающей птичьи базары на скалах и островах северных морей, где гнездятся гаги, и до чего же красиво, когда они, испугавшись Баушана, который с берега грозно лает на них через протоку, вдруг с криком снимаются и взлетают в воздух. Но пугаются они совершенно напрасно, никакая опасность им не угрожает. Не говоря уже о врожденной водобоязни Баушана, он весьма благоразумно и с полным основанием остерегается быстрого течения, с которым ему, конечно, не совладать и которое неизбежно унесло бы его бог знает куда, — чего доброго, до самого Дуная, в чьи голубые воды он, однако, попал бы в сильно попорченном виде, судя по вздувшимся трупам кошек, что проносятся мимо нас, направляясь в те края. Никогда он не входит в реку дальше чуть покрытых водой прибрежных камней, и как бы его ни подстегивала охотничья страсть, как бы он ни прикидывался, что хочет броситься в волны и вот-вот бросится, можно вполне положиться на его рассудительность, которая при всем азарте никогда его не покидает, так что вся его пантомима с разбегами, все его чрезвычайные приготовления к решительному прыжку в воду — не более как пустые угрозы,

продиктованные к тому же не страстью, а холодным расчетом, цель которого запугать лапчатонюгих.

А чайки, как видно, слишком глупы и трусливы, чтобы смеяться над его ухищрениями. Баушану до них не добраться, но он лает, и его далеко разносящийся по воде громовой голос докатывается до них, а ведь и голос нечто вещественное, мощные звуки приводят чаек в смятение, они не могут долго выдержать такого натиска. Сперва они, правда, стараются не обращать внимания, продолжают по-прежнему сидеть, но вот вся чайачья толпа начинает беспокойно колыхаться, птицы поворачивают головы, то одна, то другая на всякий случай хлопает крыльями, и вдруг, дрогнув, все разом взмывают ввысь белым облаком, из которого слышится жалобный вопль и горькие сетования, а Баушан прыгает то туда, то сюда по камням, стараясь разбить стаю и не дать ей спуститься: движение – вот что привлекает его, он ни за что не позволит чайкам сесть, пусть носятся над рекой, а он будет за ними гоняться.

Баушан прочесывает берег, издавек чуя дичь, потому что всюду с обидным спокойствием, засунув голову под крыло, сидят утки, и всюду, куда бы он ни ткнулся, они взлетают прямо из-под его носа, так что и вправду получается как бы веселая облава – взлетают и сразу же плюхаются на воду, где в полной безопасности качаются и кружатся на волнах или же, вытянув шею, летят от него, и Баушан, носясь галопом по берегу, честно меряет силу своих ног с силой их крыльев.

Только бы они летали, только бы доставили ему удовольствие, состязаясь с ними, погонять взад и вперед вдоль берега, о большем он не просит и не мечтает, а утки, как видно, знают его слабость и при случае пользуются ею. Как-то весной, когда птицы уже все улетели на озера, я заметил в тинистой лужице, оставшейся после паводка в ямке высохшего русла, утку с утятами; должно быть, птенцы еще не научились летать и она из-за них задержалась. Там-то Баушан неожиданно и наткнулся на выводок – я наблюдал всю сценку с верхней дороги. Он прыгнул в лужу, стал с лаем и дикими телодвижениями кружиться в ней и страшно переполошил все утиное семейство. Никого он, разумеется, не тронул, но нагнал такого страха, что птенцы, трепыхая коротенькими обрубками крылышек, бросились врассыпную, а утка встала на защиту своего потомства со слепым героизмом матери, которая может ринуться на противника в десять раз более сильного, чем она, и своей безумной, переходящей всякие границы храбростью не только его смутить, но подчас даже и обратить в бегство. Взъерошив перья и безобразно разинув клюв, она подлетала к самой морде Баушана, героически возобновляя атаку, снова и снова с

шипением кидалась на него и видом своей устрашающей решимости в самом деле привела противника в замешательство, хотя и не заставила его окончательно ретироваться, ибо Баушан, отступив, опять с лаем насккивал на нее. Тогда утка переменила тактику и взялась за ум, поскольку героизм не оправдал себя. Вероятно, она знала Баушана, знала с давних пор его слабости и ребяческие желания. Она бросила своих малышей – не на самом деле, конечно, – и пустилась на хитрость: поднялась и полетела над рекой, «преследуемая» Баушаном, – так по крайней мере представлялось ему, в действительности же утка, пользуясь страстью нашего охотника, водила его за нос: полетела сначала по течению, потом против него, увлекая скачущего с ней наперегонки пса все дальше и дальше от лужицы с утятами, так что, продолжая свой путь, я вскоре потерял из виду и утку и собаку. А немного погодя мой простофиля явился, запыхавшийся и вконец запаренный. Но когда мы проходили мимо лужицы на обратном пути, там уже никого не было...

Так поступила эта мать, и Баушан еще сказал ей спасибо. Но он ненавидит уток, которые, погрязнув в мещанском своем благополучии, не желают служить ему дичью и при его приближении просто-напросто соскальзывают с камней в воду и с обидным безразличием качаются там перед самым носом Баушана, нисколько не потрясенные его громовым голосом и, в отличие от слабонервных чаек, не обманутые его пантомимой разбегов. Мы стоим рядышком на прибрежных камнях, Баушан и я, а в двух шагах от нас с наглой самоуверенностью, жеманно пригнув к грудке клюв, покачивается на волнах утка – образец благоразумия и степенности, на которую нимало не действует взбешенный голос Баушана. Она гребет против течения и потому почти стоит на месте, но все-таки ее понемножку относит назад, а примерно в метре от нее порог – эдакий хорошенький пенящийся водопадик, к которому она повернулась тщеславно поднятой гузкой. Баушан лает, упершись передними лапами в камни, а я, вторя ему, лаю про себя, потому что в какой-то мере разделяю его ненависть к уткам с их наглым здравомыслием и желаю им зла. «Хоть бы заслушалась, как мы лаем, – думаю я, – да угодила бы прямо в водоворот, посмотрели бы мы, как ты там закрутишься». Но и эта мстительная надежда не сбывается, потому что в тот самый миг, когда утка достигает края водопада, она взмахивает крыльями, пролетает несколько метров и снова, негодница, садится на воду.

Когда я думаю о том, с какой досадой мы в таких случаях смотрим на утку, мне вспоминается одно происшествие, о котором я хочу напоследок рассказать. С одной стороны, оно принесло мне и моему спутнику как бы

некоторое удовлетворение, а с другой – немало огорчений, беспокойства и тревоги и даже явилось причиной временной размолвки между мною и Баушаном; знай я наперед, как все сложится, я бы уж сумел обойти это злополучное место.

Было это далеко от дома, на берегу реки, за домиком перевозчика, там, где прибрежная чаща почти вплотную подступает к верхней пешеходной дорожке, по которой мы и продвигались вперед, – я неторопливым шагом, а Баушан, чуть впереди меня, своей ленивой рысцой, как всегда, немного бочком. Он успел уже погоняться за зайцем, или, вернее, дал зайцу себя погонять, поднял на крыло двух или трех фазанов и теперь, не желая обижать хозяина, держался поблизости от меня. Над рекой, вытянув шеи, клином летела стайка уток, но летели они довольно высоко и ближе к противоположному берегу, так что как дичь не представляли для нас ни малейшего интереса. Они летели в том же направлении, в каком мы шли, даже не замечая нас, да и мы только изредка бросали на них нарочито равнодушный взгляд.

Тут на противоположном, тоже довольно крутом берегу из кустов вдруг вышел человек и сразу принял столь необычную позу, что мы оба, и Баушан и я, как по команде остановились и, сделав пол-оборота налево, стали за ним наблюдать.

Это был рослый мужчина несколько грубоватой наружности, с отвислыми усами, в обмотках и в сдвинутой набекрень фетровой шляпе, коротких пузатых штанах из жесткого, в рубчик, бархата, именуемого, кажется, манчестером, и такой же куртке, поверх которой у него перекрещивалось множество ремней: пояс, лямки от рюкзака и ремень висящего за плечом ружья. Вернее сказать, висевшего, потому что, едва он показался из кустов, как тотчас же снял его и, приложившись щекой к прикладу, направил ствол к небу. Одну ногу в обмотке он выставил вперед, цевье держал на вытянутой ладони согнутой под прямым углом левой руки, локоть нажимавшей на гашетку правой оттопырил в сторону и, целясь, гордо подставлял небесам свою скошенную физиономию. Во всем его облике было что-то донельзя оперное, когда он так вот стоял над прибрежной осыпью, четко вырисовываясь на фоне живой декорации кустов, реки и неба. Но нам недолго пришлось взирать на незнакомца с почтительным и пристальным вниманием; почти тотчас с противоположного берега донесся сухой хлопок выстрела – я ждал его с внутренним трепетом и потому вздрогнул, – мы увидели слабую при дневном свете вспышку, затем облачко дыма, и в то время как мужчина, сделав чисто оперный выпад, шагнул вперед с обращенным к небу лицом и

выпяченной грудью, держа за ремень ружье в правой руке, в вышине, куда смотрели и он и мы, разыгралась коротенькая сценка смятения и бегства: утиный порядок расстроился, крылья, как плохо натянутые паруса на ветру, отчаянно захлопали, была сделана попытка спланировать, и вдруг подбитая утка, кувыркнувшись в воздухе, камнем полетела вниз и шлепнулась в воду неподалеку от противоположного берега.

Это была лишь первая половина представления. Но тут я должен прервать свой рассказ и обратиться к Баушану. Чтобы изобразить его состояние в эту минуту, сами собой напрашиваются штампованные сравнения, ходовая монета, которую можно пустить в оборот во всех случаях жизни, – я мог бы, например, сказать: «Он стоял будто громом пораженный». Только мне это не по душе и не по вкусу. Громкие слова, стершиеся от частого употребления, не годятся для изображения из ряда вон выходящего события, скорее здесь нужно простое слово поднять до вершины его значения. Я скажу только, что Баушан, услышав выстрел и увидев сопровождавшие этот выстрел обстоятельства, а также всё, что засим последовало, опешил, как случалось с ним уже не раз, когда он сталкивался с чем-то необычным, но теперь это было усилено во сто крат. Он так опешил, что его отшвырнуло назад и зашатало из стороны в сторону, так опешил, что голова у него сперва дернулась к груди, а потом, когда его качнуло вперед, ее чуть не вырвало из плеч, так опешил, что, казалось, из него рвется крик: «Что? Как? Что это было? Стой, что за чертовщина? Что же это такое?!» Он смотрел и прислушивался к чему-то внутри себя с тревогой, которая вызывается высшей степенью удивления, а оказывается, там, внутри его, как ни ново было все случившееся, это уже жило, жило с самого рождения Баушана. Когда его отшвырнуло и зашатало из стороны в сторону, чуть не повернув вокруг собственной оси, он, как бы оглядываясь сам на себя, спрашивал: «Что я? Как я? Я ли это?» А когда утка упала в воду, Баушан рванулся вперед, к самому краю откоса, словно собирался сбежать вниз и кинуться в воду. Но, вспомнив о течении, он сдержал свой порыв, устыдился и снова стал наблюдать.

Я с беспокойством следил за ним. Когда утка упала, я счел, что мы видели достаточно, и предложил идти дальше. Но Баушан сидел, насторожив уши и повернув морду к противоположному берегу, и в ответ на мои слова: «Пошли, Баушан?» – только мельком посмотрел на меня и тут же отвернулся, что, видимо, означало нечто вроде нашего: «Да оставьте же меня в покое!» Что ж, пришлось смириться, я скрестил ноги, оперся на трость и тоже стал смотреть, что будет дальше.

А утку, одну из тех уток, что так часто с наглой самоуверенностью

качались перед самым нашим носом, теперь крутило в воде, как щепку, так что и разобрать было нельзя, где у нее голова, а где гузка. За городом река уже не такая порожистая и бурная, здесь она поспокойнее. Однако течение сразу подхватило сбитую птицу, закружило ее и понесло, и если мужчина в обмотках стрелял и убивал не для пустой забавы, а преследовал и практическую цель, то ему надо было торопиться. Он и в самом деле не стал терять ни секунды времени, все произошло с величайшей быстротой. Едва утка коснулась воды, как он, прыгая, спотыкаясь и чуть не падая, ринулся с откоса. Ружье он держал в вытянутой руке, и опять было что-то очень романтическое и оперное в том, как он, подобно разбойнику или отважному контрабандисту из мелодрамы, прыгая с камня на камень, спускался по осыпи, напоминающей декорацию. Он спускался наискось, левее того места, где сначала стоял, чтобы успеть перехватить увлекаемую течением утку. Войдя в воду по щиколотку, он, ухватившись за конец ствола, низко согнулся и старался дотянуться до нее прикладом, это ему удалось: он поддел ее, не без труда, осторожно, стал подталкивать к прибрежным камням и наконец вытащил на берег.

Итак, дело было сделано, и мужчина облегченно вздохнул. Он положил ружье на берег возле себя, скинул со спины рюкзак, запрягал в него добычу, снова пристегнул лямки и с этой приятной ношей, опираясь на ружье, как на палку, стал бодро подыматься по осыпи к кустам.

«Ну, этот добыл себе жаркое на завтра», – подумал я с одобрением, к которому, однако, примешивалась доля неприязни.

– Вставай, Баушан, пойдем и мы, больше ничего не будет.

Но, встав и повернувшись разок вокруг собственной оси, Баушан снова уселся и стал смотреть вслед мужчине в обмотках, даже когда тот уже скрылся за кулисами кустов. Я и не подумал повторить приглашение. Баушан знает, где мы живем, и, если ему угодно, пусть хоть до вечера торчит здесь и пялит глаза на пустой берег. До дома не так уж близко, и я, не мешкая, двинулся в обратный путь. Он пошел за мной.

Весь тягостный путь к дому Баушан держался поблизости от меня и не охотился. Но вместо того чтобы бежать бочком впереди, как он это обычно делает, когда не настроен рыскать по кустам и подымать дичь, Баушан плелся сзади и, как я заметил, случайно обернувшись, строил самую кислую рожу. Но мне было все равно, не хватало еще, чтобы я из-за этого портил себе кровь. Возмутило меня другое: каждые тридцать или сорок шагов он зевал. Зевал отчаянно, с визгом, раздирая пасть, и с тем бессовестным, непристойно-скучающим видом, которым он как бы говорит: «Хороший же у меня хозяин! Разве это хозяин? Дрянь, а не

хозяин!» – и если оскорбительное взвизгивание, которым он сопровождал каждый зевок, всегда действовало мне на нервы, то на сей раз оно грозило навеки разрушить нашу дружбу.

– Пошел! Убирайся от меня! – сказал я. – Ступай к этому господину с пищалью и ходи за ним по пятам, у него, видно, нет собаки, может быть, ты и пригодишься ему для его пакостных дел. Хоть он носит дерюгу в рубчик и на приличного господина не похож, но, по-твоему, он настоящий господин и самый подходящий для тебя хозяин; что ж, мой тебе от души совет – переходи к нему, раз уж ко всем твоим занозам он тебе еще одну в сердце вогнал. (Вот как далеко я зашел!) Лучше даже не спрашивать, имеется ли у этого молодчика охотничий билет, вот попадетесь когда-нибудь, и достанется вам на орехи, но уж это ваше дело, я тебе от души советовал, а там как знаешь. А ты, горе-охотник? Сколько раз разрешал я тебе гонять зайцев, принес ли ты мне хоть одного на обед? Значит, я виноват, что ты не умеешь делать скидки и проезжаешься носом по земле, когда надо проявить ловкость и быстроту! И фазана ты ни разу не принес; как бы он пригодился в нынешние трудные времена! А теперь, извольте видеть, он зевает! Ступай, говорят тебе. Ступай к своему господину в обмотках, посмотришь, такой ли он человек, чтобы чесать тебе шею или, тем более, тебя смешить; по-моему, он и сам-то толком смеяться не умеет и разве только грубо гогочет! А если ты полагаешь, что он отведет тебя для клинического наблюдения в университет, когда тебе вздумается чихать кровью, или что у такого хозяина тебя найдут несколько нервным и малокровным, то сделай одолжение, ступай к нему, но как бы тебе не ошибиться. Вряд ли ты дождешься от него особой любви и внимания! Есть признаки и различия, на которые такие вот господа с ружьями имеют особый нюх и глаз: природные достоинства или изъяны, чтобы сделать мои намеки более понятными или чтобы сказать еще яснее – щекотливые вопросы родословной и предков; не всякий станет их обходить из сочувствия и гуманности, и когда при первой же стычке он попрекнет тебя твоей бородкой, этот великолепный стрелок, и назовет всякими неблагозвучными именами, тогда ты вспомнишь меня и то, что я тебе говорил...

Все это я по пути домой не без сарказма выложил трусившему за мной Баушану, и если, не желая казаться чересчур экзальтированным, я говорил это мысленно, а не вслух, то все же убежден, что он прекрасно понял, что именно я имел в виду, и, во всяком случае, усвоил весь ход моих рассуждений. Короче говоря, это был полный разрыв, и, дойдя до дома, я нарочно быстро захлопнул за собой калитку, так что он не успел

прошмыгнуть в нее и вынужден был подпрыгнуть и перелезть через забор. Я слышал, как он жалобно пискнул, зацепившись животом, но даже не обернулся и, язвительно пожимая плечами, вошел в дом.

Но это было давно, более полугода назад, и тут повторилось то же, что и после университетской клиники: время все сгладило и сровняло, и на этой наносной почве, почве всякого существования, мы и продолжаем жить, как жили. Несколько дней Баушан, правда, ходил задумчивый и скучный, но уже давно он опять наслаждается охотой на мышей, фазанов, зайцев и водоплавающую птицу и, едва вернувшись домой, уже с нетерпением ждет следующего нашего выхода. Поднявшись на крыльцо, я еще раз оборачиваюсь к нему, и по этому знаку он в два прыжка взлетает на ступеньки и, опираясь передними лапами в дверь, тянется ко мне, чтобы я на прощание похлопал его по плечу. «Завтра опять пойдем, Баушан, – говорю я ему, – если только не придется ехать в город», – и спешу в дом, чтобы стащить тяжелые башмаки на гвоздях, потому что суп уже давно на столе.

Марио и фокусник

Вспоминать наше пребывание в Торре-ди-Венере и всю тамошнюю атмосферу тягостно. С самого начала в воздухе ощущались раздражение, возбужденность, взвинченность, а под конец еще эта история с ужасным Чиполлой, в чьем лице роковым и вместе с тем впечатляющим образом словно бы нашло свое воплощение и угрожающе сгустилось все специфически злокачественное этого настроения. То, что при страшной развязке (развязке, как нам казалось потом, заранее предначертанной и, в сущности, закономерной) присутствовали наши дети, было, конечно, прискорбно и непозволительно, но нас ввела в заблуждение мистификация, к которой прибегнул этот весьма необычный человек. Слава Богу, дети так и не поняли, когда кончилось лицедейство и началась драма, и мы не стали выводить их из счастливого заблуждения, что все это было игрой.

Торре расположен километрах в пятнадцати от Портеклементе, одного из самых популярных курортов на Тирренском море, по-столичному элегантного и большую часть года переполненного, с нарядной, застроенной отелями и магазинами эспланадой вдоль моря, с пестрящим кабинками, флажками песочных замков и загорелыми телами широченным пляжем и шумными увеселительными заведениями.

Поскольку пляж, окаймленный рощей пиний, на которую смотрят сверху ближние горы, покрыт вдоль всего побережья тем же мелким песком, удобен и просторен, немудрено, что чуть поодаль вскоре возник менее шумный конкурент. Торре-ди-Венере, где, впрочем, напрасно будешь озираться в поисках башни, которой поселок обязан своим названием, представляет собой как бы филиал соседнего большого курорта и на протяжении ряда лет был раем для немногих, приютом для ценителей природы, не опошленной светской толпой. Но, как это водится с такими уголками, тишине давно пришлось отступить еще дальше по побережью, в Марина-Петриера и бог весть куда; свет, как известно, ищет тишины и ее изгоняет, со смешным вожделием набрасываясь на нее и воображая, будто способен с ней сочетаться и будто там, где пребывает она, может находиться и он; что говорить, даже раскинув в ее обители свою ярмарку, он готов верить, что тишина еще осталась. Вот и Торре, хотя он пока еще и поспокойнее и поскромнее, чем Портеклементе, уже вошел в моду у итальянцев и приезжих из других стран. В международный курорт больше не едут или не едут в прежней мере, что не мешает ему оставаться шумным

и переполненным международным курортом; едут чуть подальше, в Торре, это даже шикарнее, а кроме того, дешевле, причем притягательная сила этих достоинств остается неизменной, хотя сами достоинства исчезли. Торре обзавелся «Гранд-отелем», расплодились бесчисленные пансионы с претензиями и попроще, так что владельцы и наниматели вилл и садилов в сосновой роще над морем уже не могут похвастаться покоем на пляже; в июле – августе там точно та же картина, что и в Портеклементе: весь пляж кишмя кишит гомонящими, галдящими, радостно гогочущими купальщиками, которым неистовое солнце лохмотьями сдирает кожу с шеи и плеч; на искрящейся синеве покачиваются плоскодонные, ядовито окрашенные лодки с детьми, и звучные имена, которыми окликают своих чад боящиеся потерять их из виду мамы, насыщают воздух хриплой тревогой; а к этому добавьте еще разносчиков устриц, прохладительных напитков, цветов, коралловых украшений, cornetti al burro^[32], которые, переступая через раскинутые руки и ноги загорающих, тоже по-южному гортанными и бесцеремонными голосами предлагают свой товар.

Так выглядел пляж в Торре, когда мы прибыли, – красочно, ничего не скажешь, но мы все же решили, что приехали слишком рано. Стояла середина августа, итальянский сезон был еще в самом разгаре – для иностранцев не лучшая пора, чтобы оценить прелесть этого местечка. Какая после обеда толчея в открытых кафе на променаде вдоль моря, хотя бы в «Эсквизито», куда мы иногда заходили посидеть и где нас обслуживал Марио, тот самый Марио, о котором я намерен рассказать! С трудом найдешь свободный столик, а оркестры – каждый, не желая считаться с другими, играет свое! К тому же как раз после обеда ежедневно прибывает публика из Портеклементе, ибо, понятно, Торре излюбленная цель загородных прогулок для непоседливых отдыхающих большого курорта, и, по вине мчащихся взад и вперед фиатов, кусты лавров и олеандров по обочинам ведущего отсюда шоссе покрыты, как снегом, дюймовым слоем белой пыли – диковинная, однако отвратительная картина.

В самом деле, ехать в Торре-ди-Венере надо в сентябре, когда широкая публика разъезжается и курорт пустеет, или же в мае, прежде чем море прогреется настолько, чтобы южанин рискнул в него окунуться. Правда, и в межсезонье там не пусто, но куда менее шумно и не так заполнено итальянцами. Английская, немецкая, французская речь преобладает под тентами кабин на пляже и в столовых пансионатов, тогда как еще в августе, по крайней мере в «Гранд-отеле», где мы за неимением частных адресов вынуждены были остановиться, такое засилье флорентийцев и римлян, что иностранец чувствует себя не только посторонним, но как бы постояльцем

второго сорта.

Это мы с некоторой досадой обнаружили в первый же вечер по приезде, когда спустились обедать в ресторан и попросили метрдотеля указать нам свободный столик. Против отведенного нам столика, собственно, нечего было возразить, однако нас пленила выходящая на море застекленная веранда, которая, как и зал, была заполнена, но где еще оставались свободные места и на столиках горели лампочки под красными абажурами. Такая праздничность привела в восторг наших малышей, и мы по простоте душевной заявили, что предпочитаем столоваться на веранде, – тем самым, как оказалось, обнаружив полную свою неосведомленность, ибо нам с некоторым смущением разъяснили, что эта роскошь предназначена «нашим клиентам», «ai nostri clienti». Нашим клиентам? Стало быть, нам. Мы ведь не какие-нибудь бабочки-однодневки, а прибывшие на три недели или месяц постояльцы, пансионеры. Впрочем, мы не пожелали настаивать на уточнении различия между нами и той клиентурой, что вправе кушать при свете красных лампочек, и съели наш pranzo^[33] за скромно и буднично освещенным столом в общем зале – весьма посредственный обед, безличный и невкусный гостиничный стандарт; кухня пансиона «Элеонора», расположенного на какие-нибудь десять шагов дальше от моря, показалась нам потом несравненно лучше.

Туда мы перебрались всего через три или четыре дня, даже еще как следует не освоившись в «Гранд-отеле», – и вовсе не из-за веранды и красных лампочек: дети, сразу подружившись с официантами и посыльными, без памяти радуясь морю, очень скоро и думать забыли о красочной приманке. Но с некоторыми завсегдатаями веранды или, вернее, с пресмыкавшейся перед ними дирекцией отеля тотчас возник один из тех конфликтов, которые способны с самого начала испортить все пребывание на курорте. Среди приезжих была римская знать, некий principe^[34] Икс с семейством, номер этих господ находился по соседству от нашего, и княгиня, великосветская дама и вместе с тем страстно любящая мать, была напугана остаточными явлениями коклюша, который оба наши малыша незадолго перед тем перенесли и слабые отголоски которого еще изредка по ночам нарушали обычно невозмутимый сон нашего младшего сына. Сущность этой болезни не очень ясна, что оставляет простор для всяких предрассудков, а потому мы нисколько не обиделись на нашу элегантную соседку за то, что она разделяла широко распространенное мнение, будто коклюшем заражаются акустически, – иначе говоря, попросту опасалась дурного примера для своих детей. По-женски гордясь и упиваясь своей

знатностью, она обратилась в дирекцию, после чего облаченный в непременный сюртук управляющий поспешил с превеликим сожалением нас известить, что в данных обстоятельствах наше переселение во флигель отеля совершенно обязательно. Напрасно заверяли мы его, что эта детская болезнь находится в последней стадии затухания, что она фактически преодолена и не представляет уже никакой опасности для окружающих. Единственной уступкой нам было дозволение вынести случай на суд медицины, гостиничный врач – и лишь он, а не какой-нибудь приглашенный нами – может быть вызван для разрешения вопроса. Мы согласились на это условие, поскольку не сомневались в том, что таким образом и княгиня успокоится, и нам не придется перебираться. Приходит доктор, он оказывается честным и достойным слугой науки. Он обследует малыша, находит, что тот совершенно здоров, и отрицает какую-либо опасность. Мы полагаем себя вправе считать дело улаженным, как вдруг управляющий заявляет, что, несмотря на заключение врача, нам надлежит освободить номер и переселиться во флигель.

Такое раболепие возмутило нас. Вряд ли вероломное упорство, с которым мы столкнулись, исходило от самой княгини. Скорее всего подобострастный управляющий просто не решился доложить ей заключение врача. Как бы то ни было, мы уведомили его, что предпочитаем вообще выехать, притом немедленно, – и стали укладываться. Мы могли так поступить с легким сердцем, потому что тем временем успели мимоходом побывать в пансионе «Элеонора», сразу приглянувшемся нам своим приветливо-семейным видом, и познакомиться с его хозяйкой, синьорой Анджольери, которая произвела на нас самое благоприятное впечатление. Миловидная, черноглазая дама, тосканского типа, вероятно, немногим старше тридцати, с матовой, цвета слоновой кости, кожей южанки, мадам Анджольери и ее супруг, всегда тщательно одетый, тихий и лысый господин, содержали во Флоренции пансион покрупнее и лишь летом и ранней осенью возглавляли филиал в Торре. Раньше, до замужества, наша новая хозяйка была компаньонкой, спутницей, костюмершей, более того – подругой Дузе, – эпоха, которую она, по-видимому, считала самой значительной и счастливой в своей жизни и о которой в первое же наше посещение принялась оживленно рассказывать. Бесчисленные фотографии великой актрисы с сердечными надписями и другие реликвии их прежней совместной жизни украшали стены и этажерки гостиной г-жи Анджольери, и хотя было ясно, что этот культ ее интересного прошлого в какой-то мере также призван увеличить притягательную силу ее теперешнего предприятия, мы, следуя за ней по

дому, с удовольствием и участием слушали преподносимый на отрывистом и звучном тосканском наречии рассказ о безграничной доброте, сердечной мудрости и отзывчивости ее покойной хозяйки.

Туда-то мы и велели перенести наши вещи, к огорчению служащих «Гранд-отеля», по доброму итальянскому обыкновению очень любящих детей; предоставленное нам помещение было изолированным и приятным, путь к морю, по аллее молодых платанов, выходившей на приморский променад, близок и удобен, столовая, где мадам Анджольери ежедневно в обед собственноручно разливала суп, прохладна и опрятна, прислуга внимательна и любезна, стол преотличный, мы даже встретили в пансионе знакомых из Вены, с которыми после обеда можно было поболтать перед домом и которые, в свою очередь, свели нас со своими друзьями, так что все могло бы быть прекрасно – мы только радовались перемене жилья, и ничто, казалось, не мешало хорошему отдыху.

И все-таки душевного покоя не было. Возможно, нас продолжала точить вздорная причина нашего переезда – я лично должен признать, что с трудом прихожу в равновесие, когда сталкиваюсь с такими общераспространенными человеческими свойствами, как примитивное злоупотребление властью, несправедливость, холуйская развращенность. Это чрезмерно долго занимает меня, погружает в раздумье, раздражающее и бесплодное, потому что подобные явления стали слишком уж привычными и обыденными. Притом у нас даже не было ощущения, что мы рассорились с «Гранд-отелем». Дети по-прежнему дружили с персоналом, коридорный чинил им игрушки, и время от времени мы пили чай в саду гостиницы, иногда лицезрея там княгиню, которая, с чуть тронутыми коралловой помадой губками, грациознотвердым шагом появлялась, чтобы взглянуть на своих вверенных англичанке дорогих крошек, и не догадывалась о нашей опасной близости, так как нашему малышу при ее появлении строго-настрого запрещалось даже откашливаться.

Надо ли говорить, что стояла ужасная жара? Жара была поистине африканской: свирепая тирания солнца, стоило лишь оторваться от кромки синей, цвета индиго, прохлады, была до того неумолимой, что сама мысль о необходимости даже в одной пижаме пройти несколько шагов от пляжа к обеденному столу вызывала вздох. Выносите ли вы жару? Особенно когда она стоит неделями? Конечно, это юг и, так сказать, классическая для юга погода, климат, послуживший расцвету человеческой культуры, солнце Гомера и прочее и прочее. Но спустя некоторое время помимо воли я уже склоняюсь к тому, чтобы считать этот климат отупляющим. День за днем

все та же раскаленная пустота неба вскоре начинает меня угнетать, яркость красок, чрезмерно прямой и бесхитростный свет хоть и будят праздничное настроение, вселяют беззаботность и уверенность в своей независимости от капризов и изменчивости погоды, однако, пусть вначале не отдаешь себе в том отчета, иссушают, оставляют неудовлетворенными более глубокие и непростые запросы нордической души, а со временем внушают даже нечто вроде презрения. Вы правы, не случись этой глупой историйки с коклюшем, я, наверное, воспринял бы все иначе: я был раздражен, возможно, я желал все именно так воспринять и полубессознательно подхватил готовый штамп, если не для того, чтобы вызвать у себя такое восприятие окружающего, то хотя бы чтобы как-то его оправдать и подкрепить. Но даже если допустить с нашей стороны злую волю – в том, что касается моря, утренних часов, проведенных на песке перед его неизменным величием, ни о чем подобном не может быть и речи; и все-таки вопреки всему нашему прошлому опыту мы и на пляже не чувствовали себя легко и радостно.

Да, мы приехали слишком, слишком рано: пляж, как уже сказано, все еще был во власти местного среднего класса – несомненно, отрадная разновидность людей, вы и тут правы, среди молодежи можно было встретить и высокие душевные качества, и физическую красоту, но, как правило, нас окружала человеческая посредственность и мещанская безличность, которые, вы не станете отрицать, отштампованные в здешнем поясе, ничуть не привлекательнее тех экземпляров, что существуют под нашим небом. Ну и голоса у этих женщин! Порой просто не верилось, что мы в Италии – колыбели всего западноевропейского вокального искусства. «Fuggiero!» И по сей день у меня в ушах стоит этот крик, недаром двадцать дней кряду он беспрестанно раздавался в непосредственном соседстве от меня, беззастенчиво хриплый, ужасающе акцентированный, с пронзительно растянутым «ё», исторгаемый каким-то ставшим уже привычным отчаянием: «Fuggiero! Rispondi almeno!»^[35] Причем «sp» произносилось очень вульгарно, как «шп», что само по себе раздражает, особенно если ты и без того в дурном настроении. Крик этот адресовался мерзкому мальчишке с тошнотворной язвой от солнечного ожога между лопатками, упрямством, озорством и зловредностью превосходившему все, с чем мне когда-либо приходилось встречаться; к тому же он оказался страшным трусом, не постеснявшимся, из-за возмутительного своего слабодушия, всполошить весь пляж. Как-то раз его в воде ущипнул за ногу краб, но изданный им по столь ничтожному поводу на манер героев античности горестный вопль был поистине душераздирающим, и все решили, что

произошло несчастье. Очевидно, он считал себя тяжело раненным. Ползком выбравшись на берег, он в невыносимых, казалось, муках катался по песку, орал «ohi!» и «oime!», бил руками и ногами, отвергая заклинания матери и уговоры окруживших его близких и знакомых. Со всех сторон сбежались люди. Привели врача, того самого, что так здраво разобрался в нашем коклюше, и опять подтвердилось его научное беспристрастие. Добродушно утешая пострадавшего, он заявил, что это сущие пустяки, и просто порекомендовал своему пациенту продолжить купание, чтобы охладить ссадинку от крабьих клешней. Вместо того Фуджеро, словно сорвавшегося со скалы или утопленника, уложили на импровизированные носилки и, в сопровождении толпы народа, унесли с пляжа – что не помешало ему на следующее же утро вновь там появиться и по-прежнему, будто нечаянно, разрушать песочные крепости других ребятишек. Словом, ужас что такое!

Вдобавок этот двенадцатилетний паршивец был одним из главных выразителей определенного умонастроения, которое, почти неуловимо витая в воздухе, омрачило и испортило нам приятный отдых у моря. Почему-то здешней атмосфере недоставало простоты и непринужденности; местная публика «себя блюла», поначалу даже трудно было определить, в каком смысле и духе, она считала своим долгом пыжиться, выставляла напоказ друг перед другом и перед иностранцами свою серьезность и добропорядочность, особую требовательность в вопросах чести – что бы это значило? Но скоро нам стала ясна политическая подоплека – тут замешана была идея нации. В самом деле, пляж кишел юными патриотами – противоестественное и удручающее зрелище. Дети ведь составляют как бы особый человеческий род, так сказать, собственную нацию; всюду в мире они легко и просто сходятся в силу одинакового образа жизни, даже если их малый запас слов принадлежит к разным языкам. И наши малыши очень скоро стали играть со здешними, как, впрочем, и с детьми иностранцев. Но их постигало одно непонятное разочарование за другим. То и дело возникали обиды, заявляло о себе самолюбие, слишком болезненное и напористое, чтобы быть принятым всерьез; вспыхивали распри между флагами, споры о месте и первенстве; взрослые вмешивались, не столько примиряя, сколько пресекая споры и оберегая устои, гремели фразы о величии и чести Италии, фразы совсем не забавные и портящие всякую игру; мы видели, что оба наши малыша отходят озадаченные и растерянные, и старались, как могли, объяснить им положение вещей: этих людей, говорили мы им, лихорадит, они переживают такое состояние, ну, что-то вроде болезни, не очень приятное,

но, видимо, неизбежное.

Нам оставалось только пенять на себя и собственную беззаботность, если дело у нас дошло до конфликта с этим, хоть и понятым и принятым нами в расчет, состоянием, – еще одного конфликта; похоже, что предыдущие тоже не были целиком чистой случайностью. Короче говоря, мы оскорбили нравственность. Наша дочурка – ей восемь лет, но по физическому развитию ей и семи не дашь, такая это худышка, – вдоволь накупавшись и, как это водится в жаркую погоду, продолжив прерванную игру на пляже в мокром костюмчике, получила от нас разрешение прополоскать в море купальник, на котором налипла толстая корка песка, с тем чтобы потом надеть его и уже больше не пачкать. Голенькая она бежит какие-то несколько метров к воде, окунает костюмчик и возвращается обратно. Могли ли мы предвидеть ту волну злобы, возмущения, протеста, которую вызвал ее, а стало быть, наш поступок? Я не собираюсь читать вам лекцию, но всюду в мире отношение к человеческому телу и к его нагому за последние десятилетия коренным образом изменилось, воздействовал и на наши чувства. Есть вещи, на которые просто «не обращают внимания», и к ним относилась свобода, предоставленная этому детскому, никаких эмоций не вызывающему телу. Но здесь это было воспринято как вызов. Юные патриоты заулюлюкали. Фуджеро, заложив пальцы в рот, свистнул. Возбужденные разговоры взрослых по соседству с нами становились все громче и не предвещали ничего доброго. Господин во фраке и в сдвинутом на затылок, мало подходящем для пляжа котелке заверяет свою скандализованную даму, что так этого не оставит; он вырастает перед нами, и на нас обрушивается филиппика, в которой весь пафос темпераментного юга поставлен на службу самым чопорным требованиям приличий. Забвение стыда, в коем мы повинны – так было нам заявлено, – тем более предосудительно, что оно является, по сути, неблагодарностью и оскорбительным злоупотреблением гостеприимством Италии. Нами преступно попраны не только дух и буква правил общественного купания, но также честь его страны, и, защищая эту честь, он, господин во фраке, позаботится о том, чтобы такое посягательство на национальное достоинство не осталось безнаказанным.

Слушая это словоизвержение, мы скрепя сердце только глубокомысленно кивали. Возражать разгоряченному господину значило бы лишь совершить новую оплошность. Много вертелось у нас на языке, например, что не все обстоит здесь настолько благополучно, чтобы считать вполне уместным слово «гостеприимство» в подлинном его значении, и что мы, если говорить без прикрас, гости не столько Италии, сколько синьоры

Анджольери, в свое время сменившей род занятий – из доверенной Дузе сделавшейся содержательницей пансиона. Не терпелось нам также возразить, что мы не представляли себе, как низко пала нравственность в этой прекрасной стране, если потребовался возврат к подобным ханжеским строгостям. Однако мы ограничились заверениями, что и в мыслях не имели вести себя вызывающе или непочтительно, и в качестве извинения ссылались на юный возраст и физическую неразвитость малолетней правонарушительницы. Все напрасно. Наши заверения были отвергнуты как неправдоподобные, наши доводы объявлены несостоятельными, и нас решили, чтобы и другим было неповадно, проучить. Вероятно, по телефону сообщили в полицию, на пляже появился представитель власти, назвавший происшествие весьма серьезным, «molto grave», и предложивший нам следовать за ним на «площадь», в муниципалитет, где более высокий чин подтвердил предварительный вердикт «molto grave» и, употребляя те же самые, что и господин в котелке, по-видимому, принятые здесь дидактические выражения, разразился длиннейшей тирадой по поводу нашего преступления и в наказание наложил на нас штраф в пятьдесят лир. Мы сочли наше приключение достойным такого пожертвования в государственную казну, заплатили и ушли. Может быть, нам следовало бы тут же уехать?

Зачем мы так не поступили? Мы избежали бы тогда встречи с роковым Чиполлой; однако слишком многое сошлось, чтобы заставить нас тянуть с отъездом. Кто-то из поэтов сказал, что единственно лень удерживает нас в неприятной обстановке, – можно было бы привлечь это остроумное замечание для объяснения нашего упорства. К тому же после таких стычек не очень-то охотно покидаешь поле боя; не хочешь признаваться, что оскандалился, особенно если выражения сочувствия со стороны укрепляют твой боевой дух. В вилле «Элеонора» не существовало двух мнений относительно причиненной нам несправедливости. Итальянские знакомые, наши послеобеденные собеседники, считали, что история эта никак не способствует доброй славе страны, и собирались, на правах соотечественников, потребовать от господина во фраке объяснения. Но тот уже на следующий день скрылся с пляжа вместе со всей своей компанией – не из-за нас, разумеется, однако не исключено, что именно сознание предстоящего отъезда придало ему отваги, – так или иначе, его исчезновение было для нас большим облегчением. А если говорить начистоту – мы остались еще и оттого, что в здешней обстановке было что-то необычное, а необычное само по себе представляет ценность, независимо от того, приятно оно или неприятно. Надо ли капитулировать и

уходить от переживаний, если они не обещают вам радости или удовольствия? Надо ли «уезжать», когда жизнь становится тревожной и не совсем безопасной или же несколько тяжелой и огорчительной? Нет, надо остаться, надо все увидеть и все испытать, тут-то и можно кое-чему научиться. Итак, мы остались и, как страшную награду за нашу стойкость, пережили впечатляюще злополучное выступление Чиполлы.

Я не упомянул, что примерно ко времени учиненного над нами административного произвола наступил конец сезона. Донесший на нас блюститель нравственности в котелке был не единственным приезжим, покинувшим курорт; итальянцы уезжали толпами, и множество ручных тележек с багажом потянулись к станции. Пляж утратил свой сугубо национальный характер, жизнь в Торре, в кафе, на аллеях сосновой рощи стала и более простой, и более европейской; вероятно, теперь нас даже допустили бы на застекленную веранду «Гранд-отеля», но мы туда не стремились, мы чувствовали себя хорошо и за столом синьоры Анджольери – если вообще мыслимо было считать наше самочувствие хорошим, с той поправкой, которую вносил в него витавший здесь злой дух. Однако вместе с такой благотворной, на наш взгляд, переменой резко изменилась погода, показав себя в полном согласии с графиком отпусков. Небо заволокло, нельзя сказать, чтобы стало прохладней, но откровенный зной, царивший эти три недели (а скорее всего еще задолго до нашего приезда), сменился томящей духотой сирокко, и время от времени слабый дождичек кропил бархатистую арену, на которой мы проводили наши утра. К тому же надо заметить, что две трети срока, выделенного нами на Торре, уже истекло; сонное, выцветшее море с чуть колышущимися на его плоской глади вялыми медузами как-никак было нам внове, и смешно было бы тосковать по солнцу, которое, когда оно безраздельно властвовало, исторгало у нас столько вздохов.

К этому-то времени и появился Чиполла. Кавалере Чиполла, как он именовался в афишах, которые в один прекрасный день запестрели повсюду, в том числе и в столовой пансиона «Элеонора», – гастрوليрующий виртуоз, артист развлекательного жанра, *forzatore*, *illusionista* и *prestidigitatore*^[36] (так он себя представлял), намеревающийся познакомить высокоуважаемую публику Торре-ди-Венере с некоторыми из ряда вон выходящими явлениями таинственного и загадочного свойства. Фокусник! Объявления оказалось достаточно, чтобы вскружить голову нашим малышам. Они еще никогда не видели ничего подобного, каникулы подарят им неизведанные ощущения. С этого времени они донимали нас просьбами взять билеты на фокусника, и хотя нас сразу смутил поздний час

начала представления – оно было назначено на девять вечера, – мы уступили, решив, что после некоторого знакомства со скромными, по всей вероятности, талантами Чиполлы отправимся домой, а дети на следующее утро поспят подольше, и приобрели у самой синьоры Анджольери, взявшей на комиссию достаточное количество хороших мест для своих постояльцев, четыре билета. Поручиться за качество исполнения она не бралась, да мы и не ждали ничего особенного; но нам самим не мешало немного рассеяться, а кроме того, нас заразило неотступное любопытство детей.

В помещении, где кавальере предстояло выступить, в разгар сезона демонстрировали сменявшиеся каждую неделю кинофильмы. Мы там ни разу не были. Путь туда лежал мимо «palazzo» – развалин, сохранивших контуры средневекового замка и, кстати говоря, продававшихся, – по главной улице, с аптекой, парикмахерской, лавками, которая как бы вела от мира феодального через буржуазный к миру труда, так как заканчивалась она среди убогих рыбацких лачуг, где старухи, сидя у порога, чинили сети, и здесь-то, уже в самой гуще народа, находилась «sala», по существу, вместительный дощатый сарай; его похожий на ворота вход с двух сторон украшали красочные плакаты, наклеенные один поверх другого. Итак, в назначенный день, пообедав и не спеша собравшись, мы отправились туда уже в полной темноте, дети в праздничном платье, счастливые, что им делается столько поблажек. Как и все последние дни, было душно, изредка вспыхивали зарницы и накрапывал дождь. Мы шли, укрывшись зонтами. Ходу до зала было всего четверть часа.

У двери проверили наши билеты, но предоставили нам самим отыскивать свои места. Они оказались в третьем ряду слева; усевшись, мы обнаружили, что с достаточно поздним временем, на которое было назначено начало представления, не очень-то считаются: курортная публика лениво, словно намеренно желая прийти с опозданием, заполняла партер, которым, собственно, поскольку лож тут не было, и ограничивался зрительный зал. Такая неторопливость нас несколько встревожила. Уже сейчас на щечках детей от ожидания и усталости горел лихорадочный румянец. Лишь отведенные под стоячие места боковые проходы и конец зала при нашем появлении были битком набиты. Там стояли, скрестив голые по локоть руки на полосатых тельняшках, представители мужской половины коренного населения Торре: рыбаки, задорно озирающиеся молодые парни, и если нас обрадовало присутствие в зале местного трудового люда, который один только способен придать подобного рода зрелищам красочность и юмор, то дети были просто в восторге. У них

были друзья среди местных жителей, они заводили знакомства во время вечерних прогулок на дальние пляжи. Часто, когда солнце, устав от титанического своего труда, погружалось в море, окрашивая накатывающую пену прибоя золотистым багрянцем, мы по пути домой встречали артели босоногих рыбаков; гуськом, упираясь ногами и напряживая руки, они с протяжными возгласами вытаскивали сети и собирали свой, по большей части скудный, улов *frutti di mare*^[37] в мокрые корзины, а наши малыши глядели на них во все глаза, пускали в ход те несколько итальянских слов, которые они знали, помогали тянуть сети, завязывали с ними дружбу. И сейчас дети обменивались приветствиями со зрителями стоячих мест, вон там стоит Гискардо, вон там Антонио, они знали их по именам и, маша рукой, вполголоса окликали, получая в ответ кивок или улыбку, обнажавшую ряд крепких белых зубов. Смотри-ка, пришел даже Марио из «Эсквизито», Марио, который подает нам к столу шоколад! Ему тоже захотелось посмотреть фокусника, и, должно быть, он пришел спозаранок, он стоит почти спереди, но и виду не подает, что заметил нас, уж такая у него манера, даром что только младший официант. Зато мы машем лодочнику, выдающему напрокат байдарки на пляже, и он там стоит, но позади, у самой стенки.

Четверть десятого... почти половина... Вы понимаете наше беспокойство? Когда же мы уложим детей спать? Конечно, не следовало приводить их сюда, ведь оторвать их от обещанного представления, едва только оно начнется, будет попросту жестоко. Постепенно партер заполнился; можно сказать, тут собрался весь Торре; постояльцы «Гранд-отеля», постояльцы виллы «Элеонора» и других пансионатов, все знакомые по пляжу лица. Вокруг слышалась английская и немецкая речь. Слышался и тот французский, на котором румыны обычно разговаривают с итальянцами. За нами, через два ряда, сидела сама мадам Анджольери возле своего тихого и лысого супруга, поглаживающего себе усы указательным и средним пальцами правой руки. Все пришли с опозданием, однако же никто не опоздал: Чиполла заставлял себя ждать.

Именно заставлял себя ждать, в самом прямом смысле. Оттягивая свой выход, он намеренно усиливал напряжение. Можно было понять этот его прием, но всему есть границы. Около половины десятого публика начала хлопать – вежливая форма выражать законное нетерпение, ибо она заодно выражает готовность аплодировать. Наши малыши все ладошки себе поотбивали, это составляло для них уже как бы часть программы. Все дети любят аплодировать. С боковых проходов и из глубины зала раздавались

решительные возгласы: «Pronti!»^[38] и «Cominciamo!»^[39]. И что же, выходит, начать представление возможно, ничто этому не препятствует. Прозвучал удар гонга, встреченный со стоячих мест многоголосым «А-а!», и занавес раздвинулся. Открылся помост, убранством своим скорее напоминавший классную комнату, нежели арену фокусника; это впечатление создавала черная аспидная доска, установленная на подставке на авансцене слева. Кроме того, мы увидели самую обыкновенную желтую вешалку, два крестьянских соломенных стула и в глубине круглый столик, на котором стоял графин с водой и стакан, а на особом подносыке графинчик поменьше, наполненный какой-то светло-желтой жидкостью, и ликерная рюмка. Нам были даны две секунды, чтобы хорошенько рассмотреть этот реквизит. Затем, при незатемненном зрительном зале, кавальере Чиполла появился на эстраде.

Он вошел той стремительной походкой, которая говорит о желании угодить публике и вызывает обманчивое представление, будто вошедший, торопясь предстать перед глазами зрителей, проделал тем же шагом немалый путь, тогда как на самом деле он просто стоял за кулисами. Одевание Чиполлы подкрепляло впечатление его прихода прямо с улицы. Неопределенного возраста, но, во всяком случае, человек далеко не молодой, с резкими чертами испитого лица, пронзительными глазками, плотно сжатыми тонкими губами, нафабранными черными усиками и так называемой мушкой в углублении между нижней губой и подбородком, он нарядился в какую-то замысловатую верхнюю одежду. На нем был широкий черный плащ без рукавов с бархатным воротником и подбитой атласом пелериной – фокусник придерживал его спереди руками в белых перчатках, – на шее белый шарф, а на голове надвинутый на одну бровь изогнутый цилиндр. Вероятно, в Италии, более чем где бы то ни было, жив еще восемнадцатый век, а с ним и тип шарлатана, ярмарочного зазывалы – продавца снадобий, который столь характерен для той эпохи и относительно хорошо сохранившиеся экземпляры которого только в Италии и можно встретить. В облике Чиполлы было много от этой исторической фигуры, а впечатление шутовской крикливости и эксцентризма, которые составляют ее неотъемлемую принадлежность, достигалось уже тем, что претенциозная одежда фокусника очень странно на нем сидела или, вернее, висела, где прилегая не на месте, где падая неправильными складками: что-то было неладно с его фигурой, неладно и спереди и сзади – позже это стало еще заметнее. Но я должен подчеркнуть, что ни о какой шутовской, а тем более клоунаде ни в его движениях, ни в мимике, ни в манере держаться не могло быть и речи: скорее, напротив, в

них выражалась предельная серьезность, отказ от всякого юмора, порой даже мрачноватая гордость, а также некоторые, свойственные калекам, важность и самодовольство, – все это, однако, не препятствовало тому, что поведение его поначалу вызывало в разных местах зала смех.

Теперь в его манере держаться уже не было ни малейшей угодливости; стремительный выход оказался всего лишь выражением внутренней энергии, в которой подобострастие не играло никакой роли. Стоя у рампы и небрежно стягивая перчатки с длинных желтоватых пальцев – на одном оказался перстень с большой выпуклой печаткой из ляпис-лазури, – он маленькими строгими глазками с припухшими под ними мешочками озирает зал, неторопливо, то тут, то там испытующе-высокомерно задерживаясь на чем-нибудь лице – и все это язвительно сжав губы и не говоря ни слова. Свернутые в клубок перчатки он с удивительной и, несомненно, привычной ловкостью кинул с большого расстояния в стоявший на круглом столике стакан, затем, все так же молча оглядывая зал, достал из какого-то внутреннего кармана пачку сигарет, судя по обертке, самых дешевых, бережно вытащил одну и, не глядя, прикурил от мгновенно вспыхнувшей зажигалки. Глубоко затянувшись, он с вызывающей гримасой, широко раздвинув губы и тихонько постукивая носком башмака об пол, выпустил серую струйку дыма между острых гнилушек съеденных зубов.

Публика разглядывала его не менее пристально, чем он ее. У молодых людей в боковых проходах брови были нахмурены, и придиричиво-сверлящий взгляд только и ждал промаха, который этот самоуверенный фигляр не преминет допустить. Но промаха не было. Доставание пачки сигарет и зажигалки и последующее водворение их на место представляло известную сложность из-за одежды фокусника: ему пришлось откинуть плащ, и тут обнаружилось, что на кожаной петле, накинутой на левую руку, у него почему-то висит хлыст с серебряной рукояткой в виде когтистой лапы. Затем обратили внимание на то, что он в сюртуке, а не во фраке, и так как Чиполла распахнул и сюртук, стала видна повязанная вокруг его торса, наполовину скрытая жилетом, широкая разноцветная лента, которую зрители, сидевшие за нами и вполголоса обменивавшиеся впечатлениями, сочли знаком его кавалерского достоинства. Так ли это, не знаю, поскольку никогда не слышал, чтобы титулу кавалере соответствовал подобный знак отличия. Возможно, лента была чистейшим блефом, так же как и безмолвная неподвижность фигляра, который продолжал на глазах у публики со значительным и бесстрастным видом курить сигарету.

Как я уже упоминал, в зале смеялись, а когда голос с партерной

«галерки» вдруг громко и отчетливо-сухо произнес: «Buona sera!»^[40] – раздался дружный взрыв смеха.

Чиполла встрепенулся.

– Кто это? – спросил он, словно кидаясь в атаку. – Кто это сказал? Ну-ка? Сначала таким смельчаком, а потом в кусты? Paura, eh?^[41] – Голос у фокусника был довольно высокий, несколько астматический, но с металлом. Он ждал.

– Это я, – произнес в наступившей тишине, усмотрев в словах Чиполлы вызов и посягательство на свою честь, стоящий неподалеку от нас молодой человек – красивый малый в ситцевой рубашке, с переброшенным через плечо пиджаком. Его черные жесткие и курчавые волосы были по принятой в «пробудившейся Италии» моде зачесаны кверху и стояли дыбом, что несколько его безобразило и придавало ему что-то африканское. – Ве...^[42] Ну, я сказал. Вообще-то поздороваться следовало бы вам, но я на это не посмотрел.

Веселье возобновилось. Парень за словом в карман не лез. «Ha sciolto lo scilinguagnolo»^[43], – заметил кто-то рядом с нами. Урок вежливости, если на то пошло, был здесь вполне уместен.

– Bravo! – ответил Чиполла. – Ты мне нравишься, Джованотто. Поверишь ли, я тебя давно приметил. У меня особая симпатия к таким людям, как ты, они могут мне пригодиться. Видать, ты молодец что надо. Делаешь что хочешь. Или тебе уже случилось не делать того, что хочется? Или даже делать то, чего не хочется? То, чего *не тебе* хочется? Послушай, дружок, а ведь, должно быть, иногда приятно и весело отказаться от роли молодца, берущего на себя и одно и другое, и хотение и делание. Ввести наконец какое-то разделение труда – sistema americano, sa?^[44] Вот, к примеру, не хочешь ли ты показать собравшейся здесь высокоуважаемой публике язык, весь язык до самого корня?

– Нет, – враждебно отрезал парень, – не хочу. Это доказало бы, что я дурно воспитан.

– Ничего не доказало бы, – ответил Чиполла, – потому что ты сделаешь это помимо твоего хотения. Пусть ты хорошо воспитан, но сейчас, прежде чем я посчитаю до трех, ты повернешься направо к публике и высунешь язык, да еще такой длинный, какого ты у себя и не предполагал.

Чиполла посмотрел на парня, пронзительные глазки его, казалось, еще глубже ушли в орбиты.

– Uno!^[45] – проговорил он и, спустив с локтя петлю хлыста, со свистом

рассек им воздух.

Парень повернулся к публике и высунул такой напряженный и длинный язык, что не оставалось сомнений – длиннее этого ему уже не высунуть. Затем с ничего не выражающим лицом вернулся в прежнее положение.

– «Это я... – передразнил Чиполла, подмигивая и кивая на парня. – Ве... Ну, я сказал». – После чего, предоставив публике самой разбираться в своих впечатлениях, подошел к столику, налил себе из графинчика, в котором, очевидно, был коньяк, полную рюмку и привычным жестом опрокинул в рот.

Дети от души смеялись. Они мало что поняли из этой перепалки; но то, что между чудным человеком там, наверху, и кем-то из публики сразу разыгралась такая потешная сцена, их чрезвычайно позабавило, и так как они не очень представляли себе, в чем должна состоять программа обещанного афишей вечера, то готовы были считать подобное начало превосходным. Что касается нас, то мы обменялись взглядом, и, помнится, я невольно тихонько повторил губами звук, с которым хлыст Чиполлы рассек воздух. Впрочем, было ясно, что зрители не знали, как отнестись к такому ни с чем не сообразному началу представления фокусника, и толком не поняли, что же вдруг заставило Джованотто, который, так сказать, выступал от их лица, обратить свой задор против них, против публики. Что за мальчишество! И, выбросив его из головы, зрители сосредоточили все свое внимание на артисте, который тем временем от столика с подкрепительным вернулся на авансцену и обратился к ним со следующей речью.

– Уважаемые дамы и господа, – произнес он своим астматически-металлическим голосом. – Вы сейчас видели, что меня несколько задел за живое урок, который пытался мне преподать этот подающий надежды молодой языковед («questo linguista di belle speranze» – каламбур вызвал смех). Я человек, не лишенный самолюбия, и с этим вам придется считаться! Я не люблю, когда мне без должной серьезности и почтительности желают доброго вечера – да и поступать иначе нет смысла. Желая мне доброго вечера, вы тем самым желаете того же и себе, поскольку публика лишь в том случае хорошо проведет вечер, если он будет хорош у меня, а потому этот кумир всех девиц Торре-ди-Венере (он все продолжал язвить парня) прекрасно поступил, представив наглядное доказательство тому, что вечер сегодня у меня будет хороший и я, таким образом, могу обойтись без его пожеланий. Смею похвалиться, почти все вечера у меня бывают хорошие. Случается, что выпадет и менее удачный,

но редко. Профессия у меня тяжелая, и здоровье не слишком крепкое – небольшой телесный изъян, помешавший мне принять участие в борьбе за величие нашей родины. Единственно силой разума и духа одолеваю я жизнь, что опять же прежде всего значит: одолеть себя, и льщусь надеждой, что работой своей заслужил благосклонное внимание просвещенной публики. Столичная пресса оценила мою работу, «Corriere della sera»^[46] воздал мне должное, назвав феноменом, а в Риме родной брат дуче оказал мне честь самолично присутствовать на представлении. И если в столь блестящих и высоких сферах Рима благоволили закрывать глаза на некоторые мои привычки, я не почел нужным от них отказываться в сравнительно менее значительном городе, каким все же является Торре-ди-Венере (тут публика посмеялась над жалким маленьким Торре), и терпеть, чтобы личности, хотя бы и избалованные вниманием прекрасного пола, что-то мне указывали.

Опять досталось парню, которого Чиполла не переставал выставлять в роли donnaiuolo^[47] и доморощенного донжуана, причем упорное раздражение и враждебность, с какими фокусник вновь и вновь на него напускался, никак не вязались с самоуверенностью кавальере и светскими успехами, которыми он похвалялся. Конечно, парень должен был служить мишенью для острот Чиполлы, мишенью, которую тот каждое представление избирал себе из публики и на чей счет прохаживался. Однако в его колкостях звучало и подлинное озлобление, подоплека которого становилась по-человечески понятной при одном взгляде на физическое сложение того и другого, даже если бы горбун постоянно не намекал на верный успех красивого парня у женщин.

– Но прежде чем начать представление, – добавил он, – я, с вашего разрешения, освобожусь от плаща! – И он направился к вешалке.

– Parla benissimo^[48], – восхитился кто-то по соседству с нами.

Артист еще ничем не показал своего искусства, но его умение говорить само по себе было признано искусством, он произвел впечатление уже одним своим красноречием. У южан живая речь составляет одну из неотъемлемых радостей жизни, и ей уделяют куда больше внимания, нежели где-либо на севере. Национальное средство общения, родной язык окружен у этих народов достойным подражания почетом, и есть нечто забавное и неподражаемое в том придиричиво-страстном почтении, с каким следят за соблюдением его форм и законов произношения. Здесь и говорят с удовольствием, и слушают с удовольствием, но слушают как строгие ценители. Ибо по тому, как человек говорит, определяют его место в

обществе; неряшливая, корявая речь вызывает презрение, изящная и отточенная – создает престиж, и потому маленький человек, если ему важно произвести выгодное впечатление, старается употреблять изысканные обороты и следит за своим произношением. По крайней мере с этой стороны Чиполла явно расположил к себе публику, хотя и не относился к разряду людей, которые итальянцу, с присущим ему смешением моральных и эстетических мерил, кажутся *sympatico*^[49].

Сняв шелковый цилиндр, шарф и плащ, Чиполла, на ходу одергивая сюртук, вытягивая манжеты с крупными запонками и поправляя бутаторскую ленту, возвратился на авансцену. Шевелюра у него была безобразная: собственно, почти голый череп, лишь узкая нафабренная полоска волос, разделенная прямым пробором, тянулась, будто наклеенная, от затылка ко лбу, а волосы с висков, тоже нафабренные, были начесаны к уголкам глаз – прическа старомодного директора цирка, смехотворная, но идущая к его необычному, индивидуальному стилю и носимая с такой самоуверенностью, что, несмотря на ее комичность, публика в зале хранила сдержанное молчание. Небольшой телесный изъян, о котором Чиполла намеренно заранее упомянул, был теперь на виду, хотя по природе своей не совсем ясен: грудная клетка, как всегда в таких случаях, была смещена кверху, но горб на спине торчал не на обычном месте, между лопатками, а ниже, над бедрами и поясницей, не мешая ходьбе, но придавая ей что-то нелепо-карикатурное, так как каждый шаг получался враскачку. Впрочем, поскольку Чиполла предупредил о своем уродстве, оно никого не поразило, и в зале к нему отнеслись с подобающей деликатностью.

– К вашим услугам! – сказал Чиполла. – Если вы не возражаете, мы начнем нашу программу с кое-каких арифметических упражнений.

Арифметика? Это, пожалуй, на фокусы не похоже. У меня уже начало закрадываться подозрение, что Чиполла что-то темнит, но кто он на самом деле, было еще неясно. Мне стало жаль детей; но пока что они были счастливы просто оттого, что сидят здесь.

Номер с числами, который Чиполла продемонстрировал, был столь же прост, сколь ошеломляюще эффектен по концовке. Чиполла начал с того, что прикрепил кнопками лист бумаги в правом верхнем углу доски и, приподняв лист, написал что-то мелом на доске. При этом он без умолку болтал, стремясь, очевидно, непрерывным словесным сопровождением оживить номер, чтобы он не показался суховатым; по существу, фокусник одновременно выступал и в роли собственного конференсье, очень бойкого на язык и находчивого. Он все время старался уничтожить пропасть, существующую между эстрадой и зрительным залом, пропасть, через

которую он уже перебросил мостки своей перепалкой с молодым рыбаком, и с этой целью то приглашал на сцену кого-нибудь из публики, то сам по деревянной лесенке спускался вниз, в партер, чтобы вступить в личное общение со зрителями. Все это составляло стиль его работы и очень нравилось детям. Не знаю, в какой мере входило в намерения и систему Чиполлы то, что он тут же, сохраняя, впрочем, полную серьезность и даже мрачность, пускался в пререкания с отдельными лицами, – публика, во всяком случае, публика попроще, видимо, считала это в порядке вещей.

Кончив писать и прикрыв написанное листом бумаги, он попросил двух человек подняться на эстраду, чтобы ассистировать при предстоящем подсчете: ничего трудного тут нет, даже тот, кто не очень силен в арифметике, вполне справится. Как обычно бывает, желающих не нашлось, а Чиполла не хотел утруждать привилегированную публику. Он держался народа и обратился к двум здоровенным дубоватым парням на стоячих местах в глубине зала, подбадривал их, стыдил, что они праздно стоят и глазают, не желая сделать одолжение собравшимся, и в конце концов уговорил. Неуклюже шагая, парни двинулись вперед по проходу, поднялись по ступенькам и, смущенно ухмыляясь, под крики «браво» своих приятелей встали возле доски. Чиполла еще несколько секунд подшучивал над ними, восхваляя геркулесову мощь их конечностей, их огромные ручки, прямо-таки созданные для того, чтобы оказать подобную услугу присутствующим, после чего сунул одному в руку грифель и велел просто-напросто записывать цифры, которые ему будут называть. Но парень заявил, что не умеет писать. «Non so scrivere», – пробасил он, а товарищ его добавил: «И я тоже».

Бог ведает, говорили они правду или просто решили посмеяться над Чиполлой. Во всяком случае, тот вовсе не склонен был разделять общей веселости, с какой встречено было это признание. На лице его выражались обида и отвращение. Чиполла сидел в эту минуту на соломенном стуле посреди сцены и, положив ногу на ногу, снова курил дешевую сигарету, которая ему, видно, особенно пришлась по вкусу, – пока оба увальня шли к эстраде, он успел пропустить вторую рюмочку коньяку. И снова, после глубокой затяжки, он струйкой выпустил дым через оскаленные зубы и, покачивая ногой, устремил исполненный сурового порицания взгляд поверх обоих беспечных негодников и поверх публики куда-то в пространство, как человек, столкнувшийся с чем-то настолько возмутительным, что он вынужден замкнуться в себе, в чувстве собственного достоинства.

– Позор, – произнес он наконец холодно и зло. – Ступайте в зал! В

Италии все умеют писать, ее величие не оставляет места мраку и невежеству. Глупая шутка делать вслух такие заявления перед лицом собравшегося здесь иностранного общества, вы унижаете этим не только самих себя, но и правительство, даете повод злословить о нашей стране. Если Торре-ди-Венере действительно такой глухой угол нашего отечества, последний приют неграмотности, мне остается только пожалеть о своем приезде в этот город, о котором мне, правда, было известно, что он кое в чем уступает Риму...

Но здесь его прервал юноша с нубийской прической и переброшенным через плечо пиджаком, чей воинственный пыл, как выяснилось, угас лишь на время и который теперь с высоко поднятой головой рыцарски встал на защиту родного городка.

– Хватит! – громко сказал он. – Хватит шуток над Торре. Мы все родились здесь и не потерпим, чтобы над нашим городом издевались в присутствии иностранцев. Да и эти двое – наши приятели. Они, конечно, не ученые профессора, но зато честные ребята, почестнее кое-кого здесь, в зале, хвастающего Римом, хоть он его и не основал.

Вот это отповедь! Парень и вправду оказался зубастым. Публика не скучала, наблюдая за этой сценкой, хотя начало программы все оттягивалось. Спор всегда захватывает. Одних пререкания просто забавляют, и они не без злорадства наслаждаются тем, что сами остались в стороне; другие принимают все близко к сердцу и волнуются, и я их очень хорошо понимаю, хотя тогда у меня создалось впечатление, что тут какой-то сговор и оба неграмотных увальня, так же как Джованотто со своим пиджаком, отчасти подыгрывают артисту, чтобы развеселить публику. Дети слушали развесив уши. Они ничего не понимали, но интонация до них доходила и держала их в напряжении. Так вот что такое фокусник, по крайней мере итальянский. Они были в полном восторге.

Чиполла встал и, раскачиваясь, сделал два шага к рампе.

– Смотри-ка! – произнес он с ядовитой сердечностью. – Старый знакомый. Юноша, у которого что на уме, то и на языке! (Он сказал «sulla linguaccia», что означает «обложенный язык» и вызвало взрыв смеха.) Ступайте, друзья! – повернулся он к двум остолопам. – Я на вас нагляделся, сейчас у меня дело к этому поборнику чести, con questo torregiano di Venere, этому стражу башни Венеры, несомненно, предвкушающему сладостную награду за свою преданность.

– Ah, non scherziamo!^[50] Поговорим серьезно! – воскликнул парень, глаза его сверкнули, и он даже сделал такое движение, словно хотел сбросить пиджак и от слов перейти к делу.

Чиполла отнесся к этому довольно спокойно. В отличие от нас, обменявшихся тревожным взглядом, кавальере имел дело с соотечественником, чувствовал под ногами родную почву. Он остался холоден, выказав полное свое превосходство. Насмешливым кивком в сторону молодого петушка, сопровождаемым красноречивым взглядом, он призвал публику посмеяться вместе с ним над драчливостью своего противника, свидетельствующей о его простодушной ограниченности. И тут опять произошло нечто поразительное, осветившее это превосходство жутковатым светом и самым постыдным и непонятным образом обратившее воинственное напряжение всей сцены во что-то смехотворное.

Чиполла еще ближе подошел к парню и как-то по-особенному посмотрел ему в глаза. Фокусник даже наполовину сошел с лесенки, которая слева от нас вела в зал, так что стоял лишь чуть повыше и почти вплотную перед воякой. Хлыст висел у него на руке.

– Итак, ты не расположен шутить, сынок, – сказал он. – Да это и понятно, ведь каждому видно, что ты нездоров. И давеча язык у тебя – прямо скажем, не очень-то чистый – указывал на острое расстройство желудка. Не следует ходить на представления, когда себя так плохо чувствуешь; ты и сам, я знаю, колебался, думал, не лучше ли лечь в постель и сделать себе согревающий компресс на живот. Непростительное легкомыслие было пить после обеда столько белого вина – добро бы хорошего, а то такую кислятину. И вот теперь у тебя колики, и ты готов корчиться от боли. А ты не стесняйся! Дай волю своему телу, согнись, это всегда приносит облегчение при кишечных спазмах.

Пока Чиполла дословно произносил эту речь со спокойной настойчивостью и своего рода суровым участием, глаза его, впившиеся в глаза молодого парня, словно бы сделались сухими и горячими поверх слезных мешочков, – то были совсем необычные глаза, и становилось понятно, что его противник не только из мужского самолюбия не мог отвести от них взгляд. Да и вообще на смуглом лице Джованотто скоро не осталось и следа прежней самонадеянности. Он смотрел на кавальере, приоткрыв рот, и рот этот кривился в смущенной и жалкой улыбке.

– Дай себе волю, согнись! – вновь повторил Чиполла. – Ничего другого тебе не остается! При таких резах всегда корчатся. Не станешь же ты противиться естественному движению только потому, что тебе это советуют.

Парень медленно поднял руки и еще до того, как крест-накрест обхватил ими живот, стал сгибаться, поворачивая корпус и наклоняясь вперед все ниже и ниже, пока наконец, со сдвинутыми коленями, расставив

пятки, почти что не сел на корточки, живая картина скрючивающей боли. Чиполла дал ему постоять в этой позе несколько секунд, потом щелкнул в воздухе хлыстом и враскачку направился к круглому столику, где опять выпил коньяку.

– Il boit beaucoup^[51], – заметила сидящая за нами дама. Неужели это было единственное, что ее поразило? Нам все еще было неясно, насколько публика разобралась в происходящем. Парень уже выпрямился и стоял, смущенно улыбаясь, словно толком не знал, что с ним случилось. Все наблюдали эту сцену с живейшим интересом и теперь зааплодировали, крича то «Браво, Чиполла!», то «Браво, Джованотто!». По-видимому, зрители не восприняли исход спора как личное поражение парня и подбадривали его, словно актера, превосходно исполнившего доставшуюся ему роль смешного и жалкого персонажа. И в самом деле, он очень убедительно и даже слишком натурально, будто в расчете на галерку, корчился в коликах, выказав, так сказать, настоящее актерское дарование. Впрочем, я не уверен, чему следует приписать отношение зала – только ли чувству такта, в котором южане неизмеримо нас превосходят, или же подлинному проникновению в суть дела.

Подкрепившись, кавальере закурил новую сигарету. Можно было опять приступить к арифметическому опыту. В заднем ряду без труда нашелся молодой человек, изъявивший желание записывать цифры, которые ему будут диктовать. Его мы тоже знали; здесь столько было знакомых лиц, что представление становилось каким-то даже домашним. Молодой человек служил в лавке, торгующей фруктами и колониальными товарами на главной улице, и неоднократно нас обслуживал, очень вежливо и внимательно. Пока он с расторопностью приказчика орудовал мелком, Чиполла, спустившись к нам в партер, прохаживался раскорякой среди публики и, обращая то к одному, то к другому, просил назвать ему, по своему желанию, двух, – трех-или четырехзначную цифру, которую, едва она слетала с губ опрошенного, повторял молодому бакалейщику, а тот записывал на доске столбиком. Все это с обоюдного согласия было рассчитано на развлекательность, шутку, ораторские отступления. Конечно, случалось, что артист натыкался на иностранцев, которые не могли сладить с цифрами на чужом языке; с ними Чиполла долго, с подчеркнутой рыцарской галантностью, бился под сдержанные смешки местных жителей, которых он, в свою очередь, приводил в замешательство, заставляя переводить ему цифры, сказанные по-английски или по-французски. Некоторые называли цифры, указывающие на великие даты итальянской истории. Чиполла сразу же это улавливал и пользовался случаем, чтобы

мимоходом пристегнуть какое-нибудь патристическое рассуждение. Кто-то сказал «Ноль!», и кавалере, как всегда глубоко обиженный попыткой подшутить над ним, бросил через плечо, что это не двузначное число, на что другой остряк выкрикнул: «Два нуля!», вызвав всеобщее веселье, которое всегда вызывает у южан любой намек на естественную нужду. Один только кавалере держался высокомерно-осуждающе, хотя сам же и спровоцировал двусмысленность; однако, пожав плечами, он велел бакалейщику внести и эту цифру.

Когда на доске набралось около пятнадцати разнозначных чисел, Чиполла попросил зрителей произвести сложение. Искушенные в математических вычислениях пусть подсчитывают в уме прямо с доски, но никому не возбранялось пользоваться карандашом и записной книжкой. Пока все трудились, Чиполла сидел возле доски и, гримасничая, курил с присущей калекам самодовольно-заносчивой миной. Быстро подвели общий итог – шестизначное число. Кто-то назвал сумму, другой подтвердил, у третьего результат не совсем совпадал, у четвертого сходился. Чиполла встал, стряхнул пепел с сюртука, приподнял лист бумаги в правом верхнем углу доски, открыв то, что было им написано. Там стояла эта же сумма, что-то около миллиона. Он написал ее заранее.

Всеобщее изумление и гром аплодисментов. Дети даже рты разинули. Как это он ухитрился, приставали они к нам. Не так легко объяснить этот трюк, отвечали мы, на то Чиполла и фокусник. Теперь они знали, что такое представление фокусника. Ну просто здорово: как у рыбака вдруг разболелся живот, а теперь заранее готовый итог на доске, – и мы уже с тревогой предвидели, что, несмотря на воспаленные глаза и позднее время, почти половину одиннадцатого, будет очень нелегко увести их отсюда. Без слез тут не обойдется. А между тем совершенно очевидно, что горбун не прибегает к каким-либо манипуляциям – в смысле ловкости рук, и все это совсем не для детей. Не знаю, что обо всем этом думала публика, но с выбором слагаемых «по своему желанию» дело было явно не чисто; конечно, не исключено, что тот или другой из опрошенных отвечал по своему выбору, но одно несомненно: Чиполла отбирал себе людей, и весь ход опыта, нацеленный на получение предрешенного итога, был подчинен его воле; однако же нельзя было не восхищаться его математическими способностями, хотя все остальное почему-то не вызывало восхищения. Вдобавок его ура-патристизм и непомерное самомнение – соотечественники кавалере, может, и чувствовали себя в своей стихии и способны были еще шутить, но на человека со стороны все, вместе взятое, действовало удручающе.

Впрочем, Чиполла сам способствовал тому, чтобы у людей сколько-нибудь сведущих не оставалось сомнений относительно природы его искусства, хотя ни разу, конечно, не обронил ни одного термина и ничего своим именем не назвал. Однако же он говорил об этом – он все время говорил, – но в туманных, самонадеянных, выпячивающих его исключительность выражениях. Еще какое-то время он продолжал те же опыты, сначала усложняя получение итога привлечением других арифметических действий, а затем до крайности все упростил, чтобы показать, как это делается. Заставлял просто «угадывать» числа, которые перед тем записывал под листом бумаги на доске. Кто-то признался, что сперва хотел назвать другую цифру, но именно в этот миг перед ним просвистел в воздухе хлыст кавальере, и у него слетела с губ та самая, что оказалась написанной на доске. Чиполла беззвучно засмеялся одними плечами. Всякий раз он притворялся изумленным проникательностью опрошенного; но в комплиментах его сквозило что-то ироническое и оскорбительное, не думаю, чтобы они доставляли удовольствие испытуемым, хотя те и улыбались и не прочь были в какой-то мере приписать оации себе. Мне представляется также, что артист не пользовался расположением публики. В ее отношении к нему скорее ощущались скрытая неприязнь и непокорство; но, не говоря уже о простой учтивости, сдерживающей проявление подобных чувств, мастерство Чиполлы, его безграничная самоуверенность не могли не импонировать, и даже хлыст, по-моему, способствовал тому, чтобы бунт не прорвался наружу.

От опытов с цифрами Чиполла перешел к картам. Он извлек из кармана две колоды, и, помнится, суть эксперимента заключалась в том, что, взявши из одной колоды, не глядя, три карты и спрятав их во внутренний карман сюртука, Чиполла протягивал вторую кому-нибудь из зрителей, с тем чтобы тот вытащил именно эти же три карты, причем фокус не всегда полностью удавался; иногда только две карты сходились, но в большинстве случаев, раскрыв свои три карты, Чиполла торжествовал и легким поклоном благодарил публику за аплодисменты, которыми та, хотела она или нет, признавала его могущество. Молодой человек в переднем ряду справа от нас, итальянец с гордым точеным лицом, поднял руку и заявил, что решил выбирать исключительно по своей воле и сознательно противиться любому постороннему влиянию. Каков в таком случае будет исход опыта, по мнению Чиполлы?

– Вы лишь несколько утяжелите мне задачу, – ответил кавальере. – Но, как бы вы ни сопротивлялись, результат будет тот же. Существует свобода,

существует и воля; но свободы воли не существует, ибо воля, стремящаяся только к своей свободе, проваливается в пустоту. Вы вольны тянуть или не тянуть карты из колоды. Но если вытянете, то вытянете правильно, и тем вернее, чем больше будете упорствовать.

Нужно признать, что он не мог ничего лучше придумать, чтобы напустить туману и посеять смятение в душе молодого человека. Упрямец в нерешительности медлил протянуть руку к колоде. Вытащив одну карту, он тут же потребовал, чтобы ему для проверки предъявили спрятанные.

– Но зачем? – удивился Чиполла. – Не лучше ли уж все зараз?

Но так как строптивый молодой человек продолжал настаивать на такой предварительной пробе, фигляр, с неожиданной для него лакейской ужимкой, произнес: «E servito!»^[52] – и, не глядя, веером раскрыл свои три карты. Крайняя слева была той самой, что вытянул молодой человек.

Борец за свободу воли сердито уселся на место под аплодисменты зрителей. В какой мере Чиполла в помощь своему природному дару прибегал ко всяким механическим трюкам и ловкости рук – черт его знает. Но даже если предположить подобный сплав, все, кто с жадным любопытством следили за необыкновенным представлением, искренне наслаждались и признавали неоспоримое мастерство артиста. «Lavora bene!»^[53] – слышалось то тут, то там в непосредственной близости от нас, а это означало победу объективной справедливости над личной антипатией и молчаливым возмущением.

Вслед за последним, пусть частичным, но зато особенно впечатляющим успехом Чиполла первым делом снова подкрепился коньяком. Он и в самом деле «много пил», и смотреть на это было не очень приятно. Видимо, он нуждался в спиртном и табаке для поддержания и восстановления своих жизненных сил, к которым, как он сам намекнул, во многих отношениях предъявлялись большие требования. Временами он действительно выглядел из рук вон плохо – ввалившиеся глаза, осунувшееся лицо. А рюмочка вновь приводила все в норму, и речь у него после того опять текла, вперемешку с серыми струйками выдыхаемого дыма, живо и плавно. Я хорошо помню, что от карточных фокусов он перешел к тем салонным играм, которые основываются на сверх-или подсознательных свойствах человеческой природы – на интуиции и «магнетическом» внушении, – словом, на низшей форме ясновидения. Только внутреннюю связь и последовательность номеров я не запомнил. Да и не стану докучать вам описанием этих опытов, они известны всем, все хоть однажды участвовали в них – в розысках какого-нибудь спрятанного

предмета, послушном выполнении каких-либо наперед задуманных действий, импульс к которым необъяснимым путем передается от организма к организму.

И каждый при этом, покачивая головой, бросал любопытно-брезгливые взгляды в двусмысленно-нечистоплотные и темные дебри оккультизма, который, по человеческой слабости его адептов, постоянно тяготеет к тому, чтобы, дурача людей, смешиваться с мистификацией и плутовством, однако подобная примесь отнюдь не опровергает подлинность других составных частей этой сомнительной амальгамы. Я хочу лишь отметить, что воздействие, естественно, возрастает и впечатления становятся глубже, когда такой вот Чиполла выступает в качестве режиссера и главного действующего лица этой темной игры. Он сидел спиной к публике в глубине эстрады и курил, пока где-то в зале втихомолку договаривались, придумывая ему задачу, и из рук в руки передавался предмет, который ему надо будет найти и с ним что-то проделать. Потом, держась за руку посвященного в задачу поводыря из публики, которому велено было идти чуть позади и лишь мысленно сосредоточиться на задуманном, Чиполла, откинув назад голову и вытянув вперед руку, зигзагом двигался по залу, совершенно так же, как двигаются в таких опытах все – то порываясь вперед, будто его что-то подталкивало, то неуверенно, ощупью, словно прислушиваясь, то становясь в тупик и внезапно, по наитию, поворачивая. Казалось, роли переменились, флюид шел в обратном направлении, и не перестававший разглагольствовать артист прямо на это указывал. Теперь пассивной, воспринимающей, повинующейся стороной является он, собственная его воля выключена, он лишь выполняет безмолвную, разлитую в воздухе общую волю собравшихся, тогда как до сих пор лишь он один хотел и повелевал; но Чиполла подчеркивал, что это, по существу, одно и то же. Способность отрешиться от своего «я», стать простым орудием, уверял он, – лишь обратная сторона способности хотеть и повелевать; это одна и та же способность, властвование и подчинение в совокупности представляют один принцип, одно нерасторжимое единство; кто умеет повиноваться, тот умеет и повелевать, и наоборот, одно понятие уже заключено в другом, неразрывно с ним связано, как неразрывно связаны вождь и народ, но зато напряжение, непомерное, изнуряющее напряжение целиком падает на его долю, руководителя и исполнителя в одном лице, в котором воля становится послушанием, а послушание – волей, он порождает и то и другое, и потому ему приходится особенно тяжело. Артист не раз усиленно подчеркивал, что ему чрезвычайно тяжело, вероятно, чтобы объяснить

свою потребность в подкреплении и частые обращения к рюмочке.

Чиполла двигался ощупью, как в трансе, направляемый и влекомый общей тайной волей всего зала. Он вытащил украшенную камнями булавку из туфли англичанки, куда ее спрятали, и понес, то неуверенно замедляя шаг, то порываясь вперед, другой даме – синьоре Анджольери, – встал на колени и подал ей с условленными словами; они, правда, подходили к случаю, но угадать их было совсем не просто – фразу составили по-французски. «Примите этот дар в знак моего поклонения!» – надлежало ему сказать, и нам казалось, что в трудности задачи крылась известная злонамеренность и отразился разлад между одолевавшей публику жаждой чудесного и желанием, чтобы высокомерный Чиполла потерпел поражение. Очень любопытно было наблюдать, как он, стоя на коленях перед мадам Анджольери, пробовал и так и этак, доискиваясь нужной ему фразы.

– Я должен что-то сказать, – проговорил он, – и ясно чувствую, что именно следует сказать. И в то же время чувствую, что произнести это будет ошибкой. Нет, прошу, ни в коем случае не подсказывайте! Не помогайте мне ни одним жестом! – воскликнул он, хотя... а может, как раз потому, что именно на это и надеялся. – *Pensez tres fort!*^[54] – вдруг выкрикнул он на скверном французском и тут выпалил нужную фразу, правда по-итальянски, но так, что последнее и главное слово внезапно вырвалось у него на, видимо, вовсе ему незнакомом, но родственном языке: он произнес вместо «*venerazione*» «*veneration*»^[55] с ужасным носовым звуком в конце слова – частичный успех, который, после всего уже исполненного – нахождения булавки, выбора той, кому следовало ее вручить, коленопреклонения, – произвел, пожалуй, даже больший эффект, чем произвела бы полная победа, и вызвал бурю восхищения.

Вставая с колен, Чиполла отер выступившую на лбу испарину. Вы понимаете, что, рассказывая про булавку, я лишь привожу особенно мне запомнившийся образец его работы. Но Чиполла постоянно разнообразил эту основную форму и к тому же переплетал свои опыты с подобного же рода импровизациями, отнимавшими много времени, на которые его на каждом шагу наталкивало общение с публикой. Больше других, казалось, вдохновляла его наша хозяйка; она вызывала его на ошеломляющие откровения.

– От меня не укрылось, синьора, – обратился он к ней, – что в вашей жизни были необыкновенные, блистательные страницы. Кто умеет видеть, различит над вашим прелестным челом сияние, которое, если я не ошибаюсь, некогда было ярче, чем ныне, – медленно угасающее сияние...

Ни слова! Не подсказывайте мне! Рядом с вами сидит ваш супруг, не так ли? – повернулся он к тихому господину Анджольери. – Ведь вы супруг этой дамы, и брак ваш счастлив. Но в счастье это вторгаются воспоминания... царственные воспоминания... Прошлое, синьора, кажется мне, играет в вашей теперешней жизни огромную роль. Вы знали короля... скажите, ведь в минувшие дни на вашем жизненном пути вам встретился король?

– Не совсем, – чуть слышно пролепетала наша миловидная хозяйка, оделявшая нас бульонами и супами, и ее золотисто-карие глаза вспыхнули на аристократически бледном лице.

– Не совсем? Нет, конечно же, не король, я говорил лишь примерно, в самых грубых, общих чертах. Не король и не князь – и тем не менее князь и король в другом, высшем, царстве прекрасного. То был великий артист, возле которого... Вы порываетесь мне возразить и все же не решаетесь или можете возразить лишь наполовину. Так вот! Великая, прославленная во всем мире артистка одарила вас своей дружбой в вашей юности, и это ее священная память осеняет и озаряет всю вашу жизнь... Имя? Нужно ли называть имя той, слава которой давно слилась со славой нашей родины и обрела бессмертие? Элеонора Дузе, – торжественно заключил он, понизив голос.

Маленькая женщина, сраженная его словами, лишь наклонила голову. Нестихающие аплодисменты едва не перешли в патриотическую овацию. Почти все в зале, и в первую голову присутствующие здесь постояльцы casa «Eleonora»^[56] знали о необыкновенном прошлом госпожи Анджольери и потому способны были оценить по достоинству интуицию кавальере. Вставал только вопрос, что успел разузнать сам Чиполла, когда по приезде в Торре стал наводить необходимые в его профессии справки... Впрочем, у меня нет никаких оснований подвергать рационалистическим сомнениям способности, которые на наших глазах оказались для него столь роковыми...

Объявили антракт, и наш повелитель удалился за кулисы. Признаюсь, еще только приступая к рассказу, я опасался этого момента в своем повествовании. Читать мысли чаще всего не так уж сложно, а здесь и вовсе легко. Вы, разумеется, меня спросите, почему же мы наконец не ушли, – и я не сумею вам ответить. Я сам не понимаю, я попросту не знаю, как это объяснить. Наверное, было уже начало двенадцатого, скорее всего даже позже. Дети спали. Последняя серия опытов наскучила им, и природа наконец взяла свое. Девочка прикорнула у меня на коленях, мальчик – у матери. С одной стороны, это было утешительно, но с другой – вызывало

жалость и напоминало нам, что им давно пора в постель. Клянусь, мы хотели внять этому трогательному напомианию, искренне хотели. Мы разбудили бедняжек, говоря, что теперь и вправду надо отправляться домой. Но едва они по-настоящему очнулись, как начались неотступные мольбы, а вы сами знаете, убедить детей по доброй воле уйти до конца представления немислимо, их можно разве только заставить. До чего же тут замечательно, канючили они, и ведь никто не знает, что будет дальше, надо хотя бы подождать и посмотреть, с чего фокусник начнет после антракта, да они и капельку уже поспали, только не домой, только не в постель, пока идет чудесное представление!

Мы уступили, положив про себя побыть еще совсем недолго, какие-нибудь несколько минут. Конечно, непростительно, что мы остались, и уж тем более – необъяснимо. Может, мы решили, что, сказав «а» и совершив ошибку, приведя сюда детей, должны сказать и «б»? Но такое объяснение, на мой взгляд, недостаточно. Или представление нас самих уж очень увлекло? И да и нет: чувства, которые вызывал в нас синьор Чиполла, были весьма противоречивы, но таковы же были, если не ошибаюсь, чувства всего зала, однако ведь никто не ушел. Или мы поддались чарам этого человека, столь странным способом зарабатывающего свой хлеб, чарам, которые исходили от него даже помимо всякой программы, даже между номерами, и парализовали нашу решимость? Но с таким же правом можно сказать, что нами владело простое любопытство. Хотелось узнать, чем продолжится так необычно начавшийся вечер, а кроме того, Чиполла, уходя за кулисы, дал понять, что репертуар его отнюдь не исчерпан и у него припасены для нас еще и не такие сюрпризы.

Но дело не в том или не только в том. Вернее всего было бы объединить вопрос, почему мы тогда не ушли, с другим вопросом – почему мы раньше не уехали из Торре. По-моему, это один и тот же вопрос, и, чтобы как-то выйти из затруднения, я мог бы напомнить, что уже раз на него ответил. Все, что здесь происходило, было так же необычно и захватывающе, оно так же тревожило, оскорбляло и угнетало, как и все остальное в Торре; нет, более того: зал этот словно бы явился средоточием всего необычного, жутковатого, взвинченного, чем была, как нам казалось, заряжена атмосфера курорта, и человек, возвращения которого мы ждали, представлялся нам олицетворением всего этого зла, а поскольку мы не уехали вообще, было бы нелогично уйти теперь. Вот объяснение тому, что мы остались, ваше дело принять его или нет. А лучшего я все равно не могу представить.

Итак, на десять минут был объявлен антракт, который растянулся на

целых двадцать. Дети, стряхнув с себя сон и в восторге от нашей уступчивости, весь антракт развлекались. Они опять стали переговариваться со зрителями стоячих мест, с Антонио, с Гискаардо, с лодочником. Складывая ладошки рупором, они кричали рыбакам добрые пожелания, которые переняли у нас:

– Побольше бы вам завтра рыбки!

– Полные-преполные сети!

Марио, младшему официанту из «Эсквизито», они крикнули:

– Mario, una cioccolata e biscotti!^[57]

На этот раз он обратил внимание и с улыбкой ответил:

– Subito!^[58]

Впоследствии мы не без причины вспоминали эту приветливую, чуть рассеянно-меланхолическую улыбку.

Так прошел антракт, прозвучал удар гонга, зрители, болтавшие в разных концах зала, вновь заняли свои места, дети в жадном нетерпении, поерзав, уселись поудобнее, сложив руки на коленях. Эстрада в перерыве оставалась открытой. Чиполла вышел своей походкой враскачку и тотчас на правах конференсье принялся знакомить публику со второй серией своих опытов.

Короче говоря, чтобы у вас тут не оставалось неясности, этот самонадеянный горбун был сильнейшим гипнотизером, какого я когда-либо встречал в жизни. Если на афишах он выдавал себя за фокусника и морочил публике голову относительно истинной природы своих представлений, то, видимо, исключительно для того, чтобы обойти закон и полицейские постановления, строго запрещающие заниматься гипнозом в качестве промысла. Возможно, такая чисто формальная маскировка в Италии принята и власти либо мирятся с ней, либо смотрят на это сквозь пальцы. Во всяком случае, Чиполла фактически с самого начала не очень-то скрывал подлинный характер своих номеров, а второе отделение программы было уже совершенно открыто и полностью посвящено специальным опытам, демонстрации гипнотического сна и внушения, хотя и тут он в своем конференсе ничего не называл настоящим именем. В нескончаемой череде комических, волнующих, ошеломляющих опытов, которые еще в полночь были в самом разгаре, перед нашими глазами прошел весь арсенал чудес – от самых незначительных до самых страшных, – коими располагает эта естественная и загадочная сила, и зрители, хохоча, покачивая головой, хлопая себя по коленям и аплодируя, встречали каждую забавную подробность, они явно подпали под власть

беспредельно уверенной в себе личности гипнотизера, хотя, как мне кажется, их и коробило и возмущало то унижительное, что для всех и каждого заключалось в его триумфах.

Две вещи играли главную роль в этих триумфах: рюмка коньяка и хлыст с рукояткой в виде когтистой лапы. Первое должно было вновь и вновь разжигать его демоническую силу, которая иначе, видимо, грозила иссякнуть; и это могло бы возбудить к нему какое-то человеческое сочувствие, если бы не второе – оскорбительный символ его господства, свистящий в воздухе хлыст, с помощью которого он высокомерно подчинял нас себе, что исключало всякие другие, более теплые чувства, помимо изумленной и негодующей покорности. Но быть может, именно участия-то ему и недоставало? Неужели он претендовал еще и на это? Неужели хотел завладеть всем? Мне запомнилось одно его замечание, которое указывало на такую претензию с его стороны. Оно вырвалось у него в самый напряженный момент его экспериментов, когда, доведя посредством пассов и дуновений до полного каталептического состояния молодого человека, который сам предложил свои услуги и оказался необычайно восприимчивым объектом для внушения, он не только уложил погруженного в глубокий сон юношу затылком и ногами на спинку двух стульев, но и сам на него уселся, и одеревеневшее тело даже не прогнулось. Вид этого чудовища в вечернем костюме, взгромоздившегося на оцепеневшее тело, был настолько фантасмагоричен и омерзителен, что публика, в представлении, будто жертва этого научного развлечения мучается, принялась ее жалеть. «Poveretto!», «Бедняга!» – раздавались простодушные голоса.

– Poveretto! – злобно передразнил Чиполла. – Вы ошиблись адресом, господа! Sono io il poveretto!^[59] Это я терплю все муки.

Зрители молча проглотили его замечание. Ладно, пусть на Чиполлу ложилось все бремя представления, пусть даже он мысленно принял на себя рези в желудке, от которых так жалостно корчился Джованотто, но с виду все было как раз наоборот, и кто же станет кричать «poveretto!» человеку, который мучается ради того, чтобы унижить другого.

Но я забежал вперед и нарушил всякую последовательность. Голова у меня и по сей день полна деяниями этого страстотерпца, только не помню уж, в каком они шли порядке, да это и не важно. Но одно я помню хорошо: большие и сложные опыты, имевшие наибольший успех, производили на меня куда меньшее впечатление, чем некоторые пустяковые и как бы сделанные мимоходом. Эксперимент с молодым человеком, послужившим гипнотизеру скамейкой, пришел мне на ум лишь из-за связанной с ним

нотации... Уснувшая на соломенном стуле пожилая дама, которой Чиполла внушил, будто она совершает поездку по Индии, и которая в состоянии транса очень бойко рассказывала о своих дорожных впечатлениях на суше и на воде, меня меньше заинтриговала и не так поразила, как маленький проходной эпизод, последовавший сразу же за антрактом: высокий плотный мужчина, по виду военный, не смог поднять руку лишь потому, что горбун сказал, будто он ее не подымет, и щелкнул в воздухе хлыстом. Я, как сейчас, вижу перед собой лицо этого усатого, подтянутого colonello^[60] и насильственную улыбку, с которой он, сжав зубы, сражался за отнятую у него свободу распоряжаться собой. Какой конфуз! Он хотел и не мог; но, видимо, он мог только не хотеть, тут действовала парализующая свободу внутренняя коллизия воли, которую злорадно предрек молодому римлянину наш укротитель.

Незабываема также, во всей ее трогательной и призрачной комичности, сцена с госпожой Анджольери, чью эфирную беззащитность перед его могуществом кавалере, конечно, не преминул заметить еще при первом своем беззастенчиво-наглom осмотре публики в зале. Он чистейшим колдовством буквально поднял ее со стула и увлек за собой вон из ее ряда, да еще, решив блеснуть, внушил господину Анджольери мысль окликнуть жену по имени, словно затем, чтобы тот бросил на чашу весов и себя, и свои права и супружеским зовом пробудил в душе своей спутницы чувства, способные защитить ее добродетель от злых чар. Но все напрасно! Чиполла, стоя в некотором отдалении от супружеской четы, лишь раз щелкнул хлыстом, и наша хозяйка, вздрогнув всем телом, повернула к нему лицо. «Софрония!» – уже тут крикнул господин Анджольери (а мы и не знали, что госпожу Анджольери зовут Софрония), и с полным основанием крикнул, ибо всякому было ясно, какая грозит опасность – его жена, повернув лицо к проклятому кавалере, просто глаз с него не сводила. А Чиполла с висящим на руке хлыстом стал всеми десятью длинными желтыми пальцами манить и звать свою жертву, шаг за шагом отступая. И тут прозрачно-бледная госпожа Анджольери привстала с места, уже всем корпусом повернулась к заклинателю и поплыла за ним. Призрачное и фатальное видение! Как лунатичка, с неестественно неподвижными, какими-то скованными плечами и шеей, слегка выставив вперед прекрасные руки, она, словно не отрывая ног от пола, скользила вдоль своего ряда вслед за притягивающим ее обольстителем...

– Окликните ее, сударь, ну, окликните же! – требовал изверг.

И господин Анджольери слабым голосом позвал:

– Софрония!

Ах, много еще раз звал он ее и, видя, что жена все больше от него отдаляется, даже прикладывал одну руку горсткой ко рту, а другой – махал. Но жалобный призыв любви и долга бессильно замирал за спиной у пропащей, и в лунатическом скольжении, зачарованная и глухая ко всему, госпожа Анджольери выплыла в средний проход и заскользила по нему дальше, к манившему ее горбуну, в сторону выхода. Создавалось полное впечатление, что она последует за своим повелителем хоть на край света, если только он пожелает.

– *Accidente!*^[61] – вскочив с места, завопил в подлинном страхе господин Анджольери, когда они достигли двери зала.

Но в тот же миг кавалере, так сказать, сбросил с себя лавры победителя и прервал опыт.

– Достаточно, синьора, благодарю вас, – сказал он, с комедиантской галантностью предложил руку точно упавшей с неба женщине и отвел ее к господину Анджольери. – Сударь, – обратился он к нему с поклоном, – вот ваша супруга! С глубочайшим уважением вручаю ее вам целой и невредимой. Берегите и охраняйте это преданное вам всецело сокровище со всей решимостью мужчины, и пусть вашу бдительность обострит понимание того, что существуют силы более могущественные, нежели рассудок и добродетель, и они лишь в редчайших случаях сочетаются с великодушным самоотречением!

Бедный господин Анджольери, такой тихий и лысый! Непохоже было, чтобы он сумел защитить свое счастье даже от сил, куда менее демонических, чем те, что, в довершение ко всем страхам, теперь еще и глумились над ним. Важный и напыжившийся кавалере проследовал на эстраду под бурю аплодисментов, которые не в малой степени относились к его красноречию. Если не ошибаюсь, именно благодаря этой победе его авторитет настолько возрос, что он мог заставить публику плясать – да, да, плясать, это следует понимать буквально, – что, в свою очередь, повлекло за собой известную разнузданность, некий полуночный угар, в хмельном дыму которого потонули последние остатки критического сопротивления, так долго противостоявшего влиянию этого отталкивающего человека. Правда, для установления полного своего господства Чиполле пришлось еще выдержать жестокую борьбу с непокорным молодым римлянином, чья закоснелая моральная неподатливость могла явить публике нежелательный и опасный для этого господства пример. Но кавалере прекрасно отдавал себе отчет в важности примера и, с умом избрав для атаки слабейшую точку обороны, пустил на затравку плясовой оргии того самого хилого и легко впадающего в транс юнца, которого перед тем обратил в

бесчувственное бревно. Одного взгляда маэстро было достаточно, чтобы тот, будто громом пораженный, откинув назад корпус, руки по швам, впадал в состояние воинского сомнамбулизма, так что его готовность выполнить любой бессмысленный приказ с самого начала бросалась в глаза. К тому же ему, видимо, нравилось подчиняться, и он с радостью расставался с жалкой своей самостоятельностью, то и дело предлагая себя в качестве объекта для эксперимента и явно считая делом чести показать образец мгновенного самоотрешения и безволия. И сейчас он тут же полез на эстраду, и достаточно было раз щелкнуть хлысту, чтобы он по приказу кавальере принялся отплясывать степ, то есть в самозабвенном экстазе, закрыв глаза и покачивая головой, раскидывать в стороны тощие руки и ноги.

Как видно, это доставляло удовольствие, и очень скоро к нему примкнули другие: двое юношей, один бедно, а другой хорошо одетый, тоже принялись, справа и слева от него, исполнять степ.

Тогда-то и вмешался молодой римлянин, он заносчиво спросил, возьмется ли кавальере обучить его танцам, даже если он этого не хочет.

– Даже если вы не хотите! – ответил Чиполла тоном, которого я никогда не забуду. Это ужасное «*Anche se non vuole!*» и сейчас звучит у меня в ушах.

И тут начался поединок. Выпив свою рюмочку и закулив новую сигарету, Чиполла поставил римлянина где-то в среднем проходе лицом к двери, сам встал на некотором расстоянии позади него и, щелкнув в воздухе хлыстом, приказал:

– Balla!^[62]

Противник не тронулся с места.

– Balla! – веско повторил кавальере и опять щелкнул хлыстом.

Все видели, как молодой человек повел шеей в воротничке, как одновременно рука у него дернулась вверх, а пятка вывернулась наружу. Но дальше этих признаков разбиравшего его искушения, признаков, которые то усиливались, то затихали, долгое время дело не шло. Каждый в зале понимал, что Чиполле тут предстоит сломить героическое упорство, твердое намерение сопротивляться до конца; смельчак отстаивал честь рода человеческого, он дергался, но не плясал; и эксперимент настолько затянулся, что кавальере пришлось делить свое внимание: время от времени он оборачивался к пляшущим на эстраде и щелкал хлыстом, чтобы держать их в повиновении, и тут же, повернув лицо вполоборота к залу, заверял публику: сколько бы эти беснующиеся ни прыгали, они не почувствуют потом никакой усталости, потому что, по существу, пляшут не

они, а он. А затем Чиполла опять впивался буравящим взглядом в затылок римлянина, чтобы взять приступом твердыню воли, не покоряющуюся его могуществу.

Мы видели, как под повторными ударами и окриками Чиполлы твердыня зашаталась – мы наблюдали за этим с деловитым интересом, не свободным от эмоциональных примесей жалости и злорадства. Насколько я понимаю, римлянина подорвала его позиция чистого отрицания. Вероятно, одним нехотением не укрепишь силы духа; не хотеть что-то делать – этого недостаточно, чтобы надолго явиться смыслом и целью жизни; чего-то *не* хотеть и вообще уже ничего не хотеть и, стало быть, все-таки выполнить требуемое, – тут, видимо, одно так близко граничит с другим, что свободе уже не остается места. На этом и строил свои расчеты кавальере, когда, между щелканьем хлыста и приказами плясать, уговаривал римлянина, пользуясь, помимо воздействий, составляющих его тайну, и смущающими психологическими доводами.

– Balla! – говорил он. – К чему же мучиться? И такое насилие над собой ты называешь свободой? Una ballatina!^[63] Да у тебя руки и ноги сами рвутся в пляс. Какое облегчение дать им наконец волю! Ну вот, ты и танцуешь! Это тебе уже не борьба, а одно наслаждение!

Так оно и было, подергивания и судорожные трепыхания в теле упрямяца все усиливались, у него заходили плечи, колени, и вдруг что-то во всех его суставах будто развязалось, и, вскидывая руки и ноги, он пустился в пляс и все продолжал плясать, пока кавальере под аплодисменты зрителей вел его к эстраде, к другим марионеткам. Теперь нам открылось лицо покоренного, там, наверху, оно было видно всем. «Наслаждаясь», он широко улыбался, полузакрыв глаза. Некоторым утешением нам могло служить то, что ему теперь было явно легче, чем в пору его гордыни.

Можно сказать, что его «падение» послужило поворотным пунктом. Оно растопило лед, и торжество Чиполлы достигло апогея; жезл Цирцеи, то бишь свистящий кожаный хлыст с рукояткой в виде когтистой лапы, властвовал безраздельно. К тому времени – это было, как я припоминаю, далеко за полночь, – на тесной эстраде плясало человек восемь или десять, но и в самом зале отнюдь не сидели смирно, так, например, длиннозубая англичанка в пенсне без всякого приглашения маэстро вышла из своего ряда и в среднем проходе исполнила тарантеллу. Чиполла тем временем сидел развалившись на соломенном стуле в левом углу сцены, курил и высокомерно пускал струйкой дым через щербатые зубы. Раскачивая ногой, а иногда беззвучно смеясь одними плечами, он смотрел на беспорядок в зале и время от времени, почти даже не оборачиваясь назад, щелкал

хлыстом перед каким-нибудь плясуном, вздумавшим было прекратить удовольствие. Дети в ту пору не спали. Я упоминаю о них со стыдом. Здесь было скверно, а детям уж и вовсе не место, и если мы их все еще не увели, то я объясняю это лишь тем, что нам тоже отчасти передалось охватившее всех в этот поздний час безрассудство. Ах, будь что будет! Впрочем, наши малыши, слава Богу, не понимали всей непристойности этого вечернего увеселения. По наивности они не переставали радоваться небывалому разрешению: вместе с нами сидеть здесь и наблюдать такое зрелище – представление фокусника. Они уже не раз засыпали у нас на коленях и теперь, с пунцовыми щеками и блестящими глазенками, хохотали от души над скачками, которые проделывали взрослые дяди по приказу повелителя вечера. Они и не думали, что будет так смешно, и лишь только раздавались аплодисменты, тоже принимались радостно хлопать неумелыми ручонками. Но оба по-ребячьи запрыгали от восторга на своих местах, когда Чиполла поманил к себе их друга Марио, Марио из «Эсквизито», – поманил по всем правилам, держа руку у самого носа и попеременно то вытягивая, то сгибая крючком указательный палец.

Марио повиновался. Я и сейчас вижу, как он поднимается по ступенькам к кавалюере, а тот продолжает все так же карикатурно манить его к себе указательным пальцем. На какое-то мгновение юноша заколебался, я и это хорошо помню. Весь вечер он простоял, прислонившись к деревянному столбу, скрестив руки или засунув их в карманы пиджака, в боковом проходе, слева от нас, там же, где стоял и Джованотто с воинственной шевелюрой, и внимательно, но без особой веселости, – насколько мы могли заметить, – и бог ведает, понимая ли, что здесь творится, следил за представлением. Ему, видимо, было не по нутру, что и его напоследок позвали. Однако неудивительно, что он послушался знака Чиполлы. К этому его приучила профессия; потом, даже психологически невозможно представить себе, чтобы скромный малый мог послушаться такого вознесенного в этот час на вершину славы человека. Итак, волей-неволей Марио отошел от столба и, поблагодарив стоящих перед ним зрителей, которые, оглянувшись, расступились, пропуская его вперед, с недоверчивой улыбкой на толстых губах поднялся на эстраду.

Представьте себе коренастого двадцатилетнего парня, коротко стриженного, с низким лбом и тяжелыми веками, полуопущенными над глазами неопределенного сероватого цвета в зеленых и желтых крапинках. Я хорошо это помню, потому что мы часто с ним беседовали. Верхняя половина лица с приплюснутым носом, усыпанным у переносицы веснушками, несколько отступала назад по отношению к нижней, где

прежде всего выделялись толстые губы, за которыми, когда Марио что-то говорил, поблескивал влажный ряд зубов; именно выпяченные губы, в сочетании с полуприкрытыми глазами, придавали его лицу выражение какой-то простодушной задумчивой грусти, из-за которой Марио нам сразу понравился. Ничего грубого не было в его чертах, да этому противоречили бы его на редкость узкие, будто точеные руки, которые, даже среди южан, выделялись своим благородством, и было приятно, когда он вас обслуживал.

Мы знали, что он за человек, не зная его лично, если вы разрешите мне провести такое различие. Видели мы Марио почти ежедневно и даже прониклись своего рода сочувствием к его манере держаться, мечтательной и легко переходившей в рассеянность, которую он, спохватившись, тотчас спешил искупить особым усердием; он держался серьезно, лишь дети иногда вызывали у него улыбку, и не то чтобы неприветливо, но без угодливости, без деланной любезности, – или, вернее, он отказался от всяких любезностей, не питая, видимо, никакой надежды понравиться. Образ Марио, во всяком случае, остался бы у нас в памяти – как одно из тех незначительных дорожных впечатлений, которые ярче запоминаются, чем куда более важные. О домашних его обстоятельствах нам было известно лишь то, что отец его служит мелким писарем в муниципалитете, а мать – прачка.

Белая куртка официанта шла ему несравнимо больше, чем поношенный костюм из реденькой полосатой ткани, в котором он сейчас поднялся на эстраду; он был без воротничка, но повязал шею огненно-красной шелковой косынкой, концы которой запрятал под пиджак. Марио остановился неподалеку от кавальере, но так как тот продолжал сгибать крючком палец перед своим носом, юноша вынужден был придвинуться еще ближе и стал возле самых ног повелителя, почти вплотную к сиденью стула, и тут Чиполла, растопырив локти, обхватил Марио и повернул так, чтобы нам из зала видно было его лицо. Затем весело, небрежным и властным взглядом окинул юношу с головы до ног.

– Как же так, *ragazzo mio*?^[64] – сказал он. – Мы только сейчас знакомимся? Но можешь мне поверить, я-то с тобой познакомился давно... Ну да, я давно тебя приметил и убедился в твоих отличных данных. И как же я мог о тебе забыть? Все дела, дела, понимаешь... Но скажи мне, как тебя зовут? Меня интересует только имя.

– Меня зовут Марио, – тихо ответил юноша.

– Ах, Марио, прекрасно. Да, имя это часто встречается. Распространенное имя. Древнее имя, одно из тех, что напоминают о

героическом прошлом нашей родины. Bravo! Salve!^[65] – И, приподняв кривое плечо, Чиполла вытянул вперед руку с повернутой вниз ладонью в римском приветствии.

Если он несколько захмелел, то тут нет ничего удивительного; но говорил он по-прежнему четко и свободно, пусть даже во всем его поведении и тоне появилась какая-то сытость и ленивая барственность и в то же время что-то хамоватое и наглое.

– Так вот, Марио, – продолжал он, – как хорошо, что ты пришел сегодня вечером, да еще надел такой нарядный галстук, он очень тебе к лицу и сразу покорит всех девушек, очаровательных девушек Торре-ди-Венере...

Со стоячих мест, примерно оттуда, где весь вечер простоял Марио, раздался громкий хохот – это смеялся Джованотто с воинственной шевелюрой; стоя там с переброшенным через плечо пиджаком, он без стеснения грубо и язвительно хохотал:

– Ха-ха-ха-ха!

Марио, кажется, пожал плечами. Во всяком случае, он передернулся. Возможно, что на самом-то деле он вздрогнул, а пожимание плеч должно было служить последующей маскировкой, призванной выразить одинаковое безразличие и к галстуку, и к прекрасному полу.

Кавалере мельком посмотрел вниз, в проход.

– Ну а до того зубоскала нам нет дела. Он просто завидует успеху твоего галстука у девушек, а может быть, тому, что мы здесь с тобой на эстраде так дружески и мирно беседуем... Если ему уж очень хочется, я ему мигом напомню его колики. Мне это ровно ничего не стоит. Но скажи, Марио, сегодня вечером ты, стало быть, развлекаешься... А днем ты работаешь в галантерейной лавке?

– В кафе, – поправил его юноша.

– Ах так, в кафе! Тут Чиполла, значит, попал пальцем в небо. Ты – cameriere^[66], виночерпий, Ганимед – мне это нравится, еще одно напоминание античности, – salvietta!^[67] – И Чиполла, на потеху публике, опять простер вперед руку в римском приветствии.

Марио тоже улыбнулся.

– Раньше, правда, – добавил он, справедливости ради, – я некоторое время служил приказчиком в ПортекLEMENTе. – В его словах сквозило свойственное обычно людям желание как-то помочь гаданию, найти в нем хоть крупицу истины.

– Так-так! В галантерейной лавке?

– Там торговали гребнями и щетками, – уклончиво отвечал Марио.

– Ну вот, не говорил ли я, что ты не всегда был Ганимедом, не всегда прислуживал с салфеткой под мышкой? Даже если Чиполла иной раз попадет пальцем в небо, все же он не совсем завирается, и ему можно хоть отчасти верить. Скажи, ты мне доверяешь?

Неопределенный жест.

– Тоже своего рода ответ, – заключил кавальере. – Да, доверие твое завоевать нелегко. Даже мне, как я вижу, придется с тобой повозиться. Но я замечаю на твоём лице печать замкнутости, печали, *un tratto di malinconia*^[68]. Скажи мне, – и он схватил Марио за руку, – ты несчастлив?

– No, signore!^[69] – поспешно и решительно отозвался тот.

– Нет, ты несчастлив, – настаивал фигляр, властно преодолевая эту решимость. – Будто я не вижу? Молод еще втирать Чиполле очки! И конечно, тут замешаны девушки, нет, одна девушка. У тебя несчастная любовь?

Марио отрицательно затряс головой. Одновременно рядом с нами опять раздался грубый хохот Джованотто. Кавальере насторожился. Глаза его блуждали по потолку, но он явно прислушивался к хохоту, а потом, как уже раз или два во время беседы с Марио, наполовину обернувшись, щелкнул хлыстом на свою топочущую команду, чтобы у них не остыло рвение. Но при этом он чуть не упустил своего собеседника, так как Марио, внезапно вздрогнув, отвернулся от него и направился к лестнице. Вокруг глаз юноши залегли красные круги. Чиполла едва успел его задержать.

– Стой, куда! – сказал он. – Это еще что? Ты хочешь удрать, Ганимед, в счастливейшую минуту твоей жизни – она сейчас наступит? Оставайся, и я обещаю тебе удивительные вещи. Я обещаю доказать тебе всю нелепость твоих страданий. Девушка, которую ты знаешь и которую и другие знают, эта... ну, как же ее? Постой! Я читаю ее имя в твоих глазах, оно вертится у меня на языке, да и ты, я вижу, сейчас его назовешь...

– Сильвестра! – выкрикнул все тот же Джованотто снизу.

Кавальере и бровью не повел.

– Есть же такие бессовестные люди! – произнес он, даже не взглянув вниз, а словно бы продолжая начатый разговор с глазу на глаз с Марио. – Такие бесстыжие петухи, которые кукарекают ко времени и без времени. Только мы хотели ее назвать, а он возьми и опереди нас, и еще, наглец какой, воображает, будто у него какие-то особые на то права! Да что о нем говорить! Но вот Сильвестра, твоя Сильвестра, уж признайся, вот это девушка! Настоящее сокровище! Сердце замирает, когдамотришь, как она

ходит, дышит, смеется, до того она хороша. А ее округлые руки, когда она стирает и откидывает назад голову, стряхивая кудряшки со лба! Ангел, да и только!

Марио уставился на него, сбывчив голову. Он словно забыл, где он, забыл о публике. Красные кольца вокруг его глаз расширились и казались намалеванными. Мне редко случалось такое видеть. Рот с толстыми губами был полуоткрыт.

– И этот ангел заставляет тебя страдать, – продолжал Чиполла, – или, вернее, ты сам из-за него страдаешь... А это разница, дорогой мой, огромнейшая разница, уж ты мне поверь! Любви свойственны такие вот недоразумения, можно даже сказать, что недоразумения нигде не встречаются так часто, как именно в любви. Ты небось думаешь: а что смыслит Чиполла, с его маленьким телесным изъяном, в любви? Ошибаешься, очень даже смыслит, да еще так основательно и глубоко смыслит, что в подобных делах не мешает иной раз к нему прислушаться! Но оставим Чиполлу, что о нем толковать, подумаем лучше о Сильвестре, твоей восхитительной Сильвестре! Как? Она могла предпочесть тебе какого-то кукарекающего петуха, и он смеется, а ты льешь слезы? Предпочесть другого тебе, такому любящему и симпатичному парню? Невероятно, невозможно, мы лучше знаем, я, Чиполла, и она. Видишь ли, когда я ставлю себя на ее место и мне надо выбрать между такой вот просмоленной дубиной, вяленой рыбой, неуклюжей черепахой – и Марио, рыцарем салфетки, который вращается среди господ, ловко разносит иностранцам прохладительные напитки и всей душой, пылко меня любит, – Господи, сердце само подсказывает мне решение, я знаю, кому должна его отдать, кому я давно уже, краснея, его отдала. Пора бы моему избраннику это заметить и понять! Пора бы меня заметить и признать, Марио, мой любимый... Скажи же, кто я?

Отвратительно было видеть, как обманщик охорашивался, кокетливо вертел кривыми плечами, томно закатывал глаза с набрякшими мешочками и, сладко улыбаясь, скалил выщербленные зубы. Ах, но что случилось с нашим Марио, пока Чиполла обольщал его своими речами? Тяжко рассказывать, как тяжело было тогда на это глядеть; то было раскрытие самого сокровенного, напоказ выставлялась его страсть, безнадежная и нежданно осчастливленная. Стиснув руки, юноша поднес их ко рту, он так судорожно глотал воздух, что видно было, как у него вздымается и опускается грудь. Конечно, от счастья он не верил своим глазам, не верил ушам, позабыв лишь об одном, что им в самом деле не следовало верить.

– Сильвестра! – еле слышно прошептал он, потрясенный.

– Поцелуй меня! – потребовал горбун. – Поверь, я тебе разрешаю! Я люблю тебя. Вот сюда поцелуй, – и, оттопырив руку, локоть и мизинец, он кончиком указательного пальца показал на свою щеку почти у самого рта. И Марио наклонился и поцеловал его.

В зале наступила мертвая тишина. То была нелепая, чудовищная и вместе с тем захватывающая минута – минута блаженства Марио. И в эти томительные мгновения, когда мы воочию увидели всю близость счастья и иллюзии, не сразу, а тут же после жалкого и шутовского прикосновения губ Марио к омерзительной плоти, подставившей себя его ласке, вдруг слева от нас, разрядив напряженность, раздался хохот Джованотто – хохот грубый и злорадный и все-таки, как мне показалось, не лишенный оттенка и частицы сочувствия к обделенному мечтателю и не без отголоска того «proveretto», который фокусник перед тем объявил обращенным не по адресу и приписал себе.

Но не успел затихнуть смех в зале, как Чиполла, со все еще подставленной для поцелуя щекой, щелкнул хлыстом возле ножки стула, и Марио, пробудившись, выпрямился и отпрянул. Он стоял, широко раскрыв глаза и откинув назад корпус, сначала прижал обе ладони, одну поверх другой, к своим оскверненным губам, потом стал стучать по вискам костяшками пальцев, рванулся и, в то время как зал аплодировал, а Чиполла, сложив на коленях руки, беззвучно смеялся одними плечами, бросился вниз по ступенькам. Там, с разбегу, круто повернулся на широко раздвинутых ногах, выбросил вперед руку, и два оглушительных сухих хлопка оборвали смех и аплодисменты.

Все сразу смолкло. Даже плясуны остановились, оторопело выпучив глаза. Чиполла вскочил со стула. Он стоял, предостерегающе раскинув руки, будто хотел крикнуть: «Стой! Тихо! Прочь от меня! Что такое?!», но в следующий миг, уронив голову на грудь, мешком осел на стул и тут же боком повалился на пол, где и остался лежать беспорядочной грудой одежды и искривленных костей.

Поднялась невообразимая суматоха. Дамы, истерически всхлипывая, прятали лицо на груди своих спутников. Одни кричали, требуя врача, полицию. Другие устремились на эстраду. Третьи кучей навалились на Марио, чтобы его обезоружить, отнять у него крошечный, матово поблескивающий предмет, даже мало похожий на револьвер, который повис у него в руке и чей почти отсутствующий ствол судьба направила столь странно и непредвиденно.

Мы забрали детей – наконец-то! – и повели мимо двух подоспевших карабинеров к выходу.

– Это правда-правда конец? – допытывались они, чтобы уж уйти со спокойной душой.

– Да, это конец, – подтвердили мы. Страшный, роковой конец. И все же конец, приносящий избавление, – я и тогда не мог и сейчас не могу воспринять это иначе!

notes

Примечания

1

«Молись и трудись» (*лат.*).

Шутовство (*фр.*).

Жуир, бонвиван (фр.).

4

На русский лад (*фр.*).

Здесь: отверженный (*фр.*).

«Это Мария!» (англ.).

Осторожно (*англ.*).

Дорогая (англ.).

Няня (*англ.*).

Негритянские песенки (*англ.*).

Имею честь представиться, моя фамилия Кнаак... *(фр.)*

Вперед (*фр.*).

Поклон! Дамы – накрест! За руки – кружиться! (*фр.*)

Назад (*φp.*).

$\Phi_{\text{и}}(\phi p.)$.

Красота (*um.*).

Дайте мне, пожалуйста, колбасы (*англ.*).

Это не колбаса, это ветчина (*англ.*).

Спасибо! Большое спасибо! (датск.)

«Непрестанное движение души» (*лат.*).

В отличие от потомственного дворянства, титул личного дворянства присваивается за личные заслуги и не передается по наследству. – *(Здесь и далее примеч. переводчика).*

До свиданья, извините, хорошего дня (*фр.*).

Феаки – упоминаемый у Гомера (в 8-й песне «Одиссеи») «блаженный народ», милостью богов ведущий вольный, близкий к природе образ жизни.

Гомер, Одиссея (8,249, перевод В. Вересаева).

Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, кн. 1, гл. 3.

Не повезло, сударь (*фр.*).

«Перелетные птицы» – молодежное движение, зародившееся в Германии в конце XIX в., приверженцы которого исповедовали независимость от старшего поколения, государства и политики, противопоставляя им близость к природе. – *(Здесь и далее примеч. переводчика).*

«Прекрасный барабанщик»: «Сир, мой король, отдайте за меня вашу дочь» (*фр.*).

Богоматерь скорбящая (*лат.*).

Неточная цитата из романа И. В. Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера».

Буквально: «вне времени» (*лат.*); здесь употреблено в значении необычайного происшествия, нарушающего привычный порядок вещей.

Рожков в масле (*ит.*).

Обед (*ит.*).

Князь (*ит.*).

Фуджеро! Отзовись! (*ит.*)

Заклинатель, иллюзионист, фокусник (*ит.*).

Плодов моря (*ut.*): здесь имеются в виду мелкие морские животные – устрицы, креветки и др.

Живее! (*ит.*)

Начнем! (*ит.*)

Добрый вечер! (*вт.*)

Испугался, а? (*ит.*)

Hy... (*um.*)

Он за словом в карман не лезет (*ит.*).

Американская система, не так ли? (*ит.*)

Раз! (*um.*)

«Вечерний вестник» (*ит.*).

Волокиты (*um.*).

Превосходно говорит (*ит.*).

Симпатичными (*ut.*).

Ах, довольно шутить! (*ит.*)

Он много пѣет (*фр.*).

К вашим услугам! (*ит.*)

Чистая работа! (*ит.*)

Усиленно думайте! (фр.)

Поклонение (*ит. и фр.*).

Виллы «Элеонора» (*ит.*).

Марио, один шоколад с бисквитами! (*ит.*)

Сию минуту! (*ит.*)

Это я бедняга! (*ит.*)

Полковника (*ит.*).

Караул! (*ит.*)

Пляши! (*ит.*)

Только один танец! (*ит.*)

Мой мальчик (*ит.*).

Приветствую! (*ut.*)

Официант (*ит.*).

Салфетка (*ит.*). Игра слов: по аналогии с *salve* – приветствую (*лат.*).

След меланхолии (*ит.*).

Нет, синьор! (*ит.*)